

12

НОВОБЫТЪ
МИРЪ

1952

НОВОБЫТЪ
МИРЪ

12



1952

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXVIII

№ 12

Декабрь, 1952 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
РЫТХЭУ — Два рассказа. Авторизованный перевод с чукотского А. Смоляна	3
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН — Памяти Кирова, стихи	27
КОНСТАНТИН СИМОНОВ — Товарищи по оружию, роман. Окончание	28
С. МАРШАК — Четыре стихотворения	139
НАЗЫМ ХИКМЕТ — Легенда о любви, драматическая поэма. Перевод с турецкого А. Бабаева, М. Павловой, Р. Фиша	142
ВАСИЛИЙ КАЗИН — Лирические стихи	184
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
ВАЛЕНТИН ОВЕЧКИН — В одном колхозе	187
ПУБЛИЦИСТИКА	
Доктор философских наук М. ДЫННИК — Враги человечества	210
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
АРВИД ГРИГУЛИС — Творчество Андрея Упита. Перевод с латышского Т. Иллеш	218
ИВАН КАШКИН — Традиция и эпигонство. (Об одном переводе байронского «Дон-Жуана»)	229
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
А. Турков. Альманах воронежских писателей. — А. Кондратович. Завот и люди. — Е. Герасимов. Черты современников. — Ю. Олеша. Образ и содержание. — С. Смирнов. Богатыри. — С. Машинский. Избранные произведения Пазла Грабовского. — В. Жданов. Сборник статей о классиках.	241
<i>Политика и наука</i>	
Действительный член Академии медицинских наук СССР О. Б. Лепешинская. О продлении жизни. — В. Асмус. Труд Аристотеля в русском переводе. — С. Артемьев. Африка борется — А. Никифоров. Энциклопедия бандитизма. — Н. Болотников. Арктика глазами художника.	266
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ (Октябрь — ноябрь 1952 года)	260
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» за 1952 год	283

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»

Москва

РЫТХЭУ

★

ДВА РАССКАЗА

С чукотского

Автор публикуемых ниже рассказов Рыхэу — двадцатидвухлетний комсомолец, уроженец Уэллена, в настоящее время учится на Северном факультете Ленинградского университета.

Рыхэу написал ряд рассказов и стихотворений. В его лице народ чукчей обрёл своего первого представителя в многонациональной советской литературе.

Окошко

Старый Гэмалькот сидит у входа в свою ярангу и, тихонько напевая, строгаёт чурку: давно уже пора подновить нарты, с правой стороны двух копыльев нехватает.

Правда, сейчас весна, нарты ещё не скоро понадобятся. Но недаром русские говорят: «Готовь сани летом...». Правильно говорят! Плох тот хозяин, который вспоминает про свои сани только тогда, когда выпадет снег. Гэмалькот не из таких, он хозяйственный человек. Он даже лета не будет дожидаться, а приведёт свои нарты в полный порядок весной, перед тем, как убрать их на тёплые месяцы.

— Из этой чурки хороший копыл выйдет, — напевает старик, — крепкий копыл выйдет, ладный...

Он перестаёт строгать, поднимает голову и видит, что вдоль стойбища идут домой его сыновья — Унпэнэр и Йорэлё. Унпэнэр бережно, обеими руками несёт большой кусок оконного стекла, а Йорэлё со школьной сумкой из нерпичьей шкуры не идёт, а прямо-таки пляшет вокруг старшего брата. То справа забежит, то слева. И всё норозит притронуться к стеклу — делает вид, будто помогает нести.

Гэмалькот встаёт, стряхивает с кухлянки стружки и входит в ярангу. У очага хлопчет его жена Нутэнэут. Старик пододвигает поближе к очагу китовый позвонок, уже много лет с успехом заменяющий ему табуретку, садится и говорит:

— Несут всё-таки.

Нутэнэут понимает, что он расстроен. А ведь как весело напевал только что, строгая чурку! Но стоит ли показывать, что она заметила перемену в его настроении? Как о чём-то совсем не интересном, она спрашивает:

— Что несут?

— Что? Будто не знаешь!

Старик подозрительно смотрит на жену. Скорее всего она с сыном заодно. Он разгребает щепкой угольки, откатывает один из них, берёт его загрубевшими пальцами и кладёт в свою трубку. Закурив, он собирается наконец ответить, но в это время на него нападает приступ кашля. А когда приступ кончается, отвечать уже не надо: сыновья пришли,

Унпэнэр осторожно опускает стекло на земляной пол и, прислонив его к стене, говорит:

— Вот. Принесли.

Никто не откликается. Отец взглядывает на Унпэнэра так, словно тот принёс в ярангу не кусок оконного стекла, а по меньшей мере бешеную собаку. Затем отворачивается к огню и снова начинает кашлять, хотя, по совести говоря, мог бы уже и не делать этого.

Йорэлё чувствует, что между отцом и старшим братом назревает ссора. А ему так не хочется, чтобы они ссорились! Правда, Унпэнэр спокойно счищает грязь, налипшую на торбаза; отец покуривает трубку; мать, как ни в чём не бывало, продолжает возиться у очага, от которого уже доносится аппетитный запах варёного моржового мяса. Никто ещё не сказал ни одного резкого слова. Но Йорэлё чувствует, что гроза вот-вот разразится. Ему не по себе.

Йорэлё мечтал о том, что, придя домой, они с Унпэнэром сразу же возьмутся за сооружение окна. Об этом, конечно, сейчас лучше и не заикаться. Хорошо бы сейчас рассказать что-нибудь, чтобы нарушить эту напряжённую, неприятную тишину... Но, как назло, Йорэлё ничего не может вспомнить: в школе его сегодня не вызывали, ничего интересного, кажется, не произошло.

Йорэлё снимает с себя школьную сумку. Из неё торчит свёрнутый трубкой лист бумаги — большая журнальная иллюстрация, которую Йорэлё ещё утром выменял у товарища на красный карандаш. Как же он мог забыть об этом?! С тех пор, как он встретил Унпэнэра, несущего стекло, всё остальное сразу вылетело у него из головы.

— Смотрите! — радостно кричит Йорэлё, развёртывая иллюстрацию и старательно разглаживая её ладонью на низеньком столе. — Это я у Марата выменял. Его отец в Уэллен ездил, оттуда привёз. Смотрите!

Нутэнэут и Унпэнэр склоняются над большой, во всю журнальную страницу, цветной фотографией. Йорэлё читает:

— «Москва сегодня. Высотное здание на Смоленской площади».

— Вот это да! — говорит Унпэнэр и, медленно ведя по фотографии пальцем, начинает считать этажи: — Раз, два, три...

— Двадцать шесть этажей! — восклицает Йорэлё. — Я считал! Марат говорит — двадцать пять, а я пересчитал, выходит двадцать шесть.

— Не сбивай, — отмахивается Унпэнэр, снова переставляя палец на первый этаж.

— До самого неба дом! — тихо произносит Нутэнэут. — До самых облаков! А что это внизу? Машины такие?

Гэмалькот тоже с удозольствием поглядывает на эту картинку. Интересно посмотреть, как выглядят новые московские дома. Но подойти и посмотреть через плечи сыновей он считает ниже своего достоинства. К тому же они могут истолковать это как шаг к примирению. Подумают, чего доброго, что можно начать разговор насчёт окна... Притащили, несмотря на все его возражения, стекло... Нет, он вовсе не собирается простить их так скоро!

А что касается картинки, так могли бы, если уважают отца, сами подойти и показать ему. Рассматривают, будто они тут одни.

Старый Гэмалькот неправ на этот раз. И жене и сыновьям очень хотелось бы показать ему, какой огромный, какой красивый дом построили в Москве. Нутэнэут даже подталкивает к нему младшего сына. Но Йорэлё, видя, что отец всё ещё сердится, не решается подойти.

Нутэнэут возвращается к очагу: пусть старик не думает, что она против него, пусть не чувствует себя одиноким в семье. А картинку она успеет досмотреть и после, когда старика не будет дома. Или тогда, когда душа его снова станет весёлой и доброй.

— В самом деле двадцать шесть! — восхищённо произносит Унпэнэр, кончив считать этажи.

Гэмалькот знает, что в Москве строят новые здания необычайной высоты. Недавно, когда на стойбище приезжала передвижка, он даже видел кинохронику, в которой показывали, как строят один из таких домов. Но дом этот ещё не был закончен, к тому же на экране всё промелькнуло слишком быстро. Двадцать шесть этажей? Нет, эта цифра кажется Гэмалькоту невероятной. Тем более, что её называет Унпэнэр. Что бы ни сказал сейчас Унпэнэр, даже если бы он вспомнил, что пора обедать, отец не смог бы согласиться, хотя и сам уже порядочно проголодался.

— Что? — переспрашивает он. — Двадцать шесть? Нарисовать можно всё, что хочешь. Хоть тридцать.

— Так ведь это не нарисовано, это фото! — говорит Йорэлё, обрадованный тем, что отец вступил всё-таки в разговор. — Вот посмотри. Это вправду такой дом. Высотное здание!

Мальчик произносит это с таким жаром, с такой гордостью, будто он, чукотский пионер Йорэлё, своими руками построил этот чудесный дом.

— «Высотное», — повторяет отец. — Эх ты, школьник! В пятый класс переходишь, а по-русски правильно говорить не умеешь. Не «высотное» надо говорить, а «высокое».

Йорэлё очень уважает отца: Гэмалькота в колхозе все уважают. Но авторитет печатного слова для мальчика непререкаем. Отец всё-таки иногда ошибается, а всё, что до сих пор приходилось читать Йорэлё, было правдой, умной и светлой правдой.

— Нет, высотное, — тихо, но убеждённо говорит он. — Тут так напечатано.

К счастью, Нутэнэут уже приглашает обедать. Семья садится вокруг приземистого столика. Некоторое время едят молча. Потом Унпэнэр спрашивает:

— Ну, где окно будем делать?

— Нигде не будем делать. И довольно об этом разговаривать. Нечего ярангу дырявить.

— Я всё равно сделаю. Не хочу больше в темноте жить.

— Не хочешь с нами жить — строй себе другую ярангу. Живи тогда, где хочешь. А тут я хозяин.

Так и есть. Ссора всё-таки разгорелась. И Йорэлё, глубоко обиженный за брата, говорит, укоризненно поглядывая на отца:

— А ещё член правления!.. Если Унпэнэр уйдёт, я тогда тоже уйду.

— Вот как?! — старик резко встаёт и, отшвырнув ногой китовый позвонок, гневно смотрит на сыновей. — Вот как? Старший против отца идёт и младшего за собой тянет? — Он тяжело переводит дыхание и немного спокойнее продолжает: — Пустое дело ты затеял, Унпэнэр. Подумай сам. Одну дыру в пологе надо делать, другую — в самой яранге. А как зимой будем жить? Холодно будет, замёрзнешь. Где это видано, чтобы в яранге окно делать? Соседи тебя на смех поднимут! Бон у Атыка сын — студент, а не гнушался в простой яранге жить. Без всяких окон.

— Тылык только на практику сюда приезжал. Если бы он всегда тут жил, обязательно вставил бы окно. Человек — не мышь: не должен в тёмной норе прятаться.

— Значит, мы, по-твоему, мыши? Да? Ну, Унпэнэр, говори! Молчишь?

Гэмалькот быстро подходит к стеклу. Йорэлё затаил дыхание: стоит

отцу ударить сейчас по стеклу ногой — и мелкими осколками разлетится мечта об окошке. Но отец неожиданно говорит:

— Ладно. Делай, как знаешь.

И он выходит, чтобы снова взяться за починку нарт.

Нутэнэут убирает со стола посуду. За стеной яранги слышится побряхтывание Гэмалькота и удары металла о твёрдое дерево.

Уже скоро год, как старого Гэмалькота выбрали в правление колхоза. Правление поручило ему заведовать общественным хозяйством. Вамче — председатель колхоза — сказал тогда так:

— Мы тебя знаем, Гэмалькот. Мы спокойно можем доверить тебе такое ответственное дело. Общественное добро — это основа всей колхозной жизни. Мы его можем доверить только опытному человеку, хозяйственному.

Как тут было не согласиться?

Вначале Гэмалькот боялся, что не сумеет справиться. Если бы не колхозный счетовод Рочгына, он определённо запутался бы. Но у аккуратного Рочгыны всё колхозное имущество было на строгом учёте. Всё было занесено в его «говорящие листочки» (как называли старики любую бумагу, на которой что-нибудь написано).

А имущество было такое, что в старые времена даже сам хозяин стойбища не мечтал о подобных богатствах. В тундре пасётся хорошее оленьё стадо; в земляных хранилищах лежат обильные запасы мяса; на берегу прочно закреплены вельботы, выкрашенные белой краской; байдары, обтянутые моржовой кожей, подняты на высокие подмости — чтоб не добрались охочие до кожи собаки; в колхозной мастерской у механика Кэлевги в несколько рядов стоят блестящие рульмоторы... Всего не перечислишь! Большим хозяйством заведует Гэмалькот, много добра у колхоза «Утро»!

Колхозники, выбравшие Гэмалькота, не ошиблись в нём. Он взялся за дело по-хозяйски. Первыми почувствовали это мотористы: бензин стал отпускаться строго по норме. Старик разузнал, сколько горючего полагается на километр, и заставлял мотористов отчитываться за каждый израсходованный литр. Вскоре он ввёл ещё новое правило: потребовал, чтобы охотники возвращали все стреляные гильзы. Вначале некоторые из мотористов и охотников поворчали, попробовали даже жаловаться председателю Вамче. Но потом подчинились и стали уважать Гэмалькота ещё больше, чем раньше.

Гэмалькот вечно хлопотал, старался, чтобы всё колхозное имущество было в образцовом порядке, от чистого сердца ругал нерадивых, нисколько не заботясь о том, нравятся им его выражения или не нравятся.

Уж кто-кто, а Гэмалькот не был врагом нововведений. Разве молодые охотники, привыкшие ходить в море на моторных байдарах, могли по-настоящему ценить мотор? Вот если бы пришлось им, как приходилось в молодости Гэмалькоту, до кровяных мозолей, до обморожков поработать вёслами, тогда поняли бы, какая замечательная штука мотор. Или, например, новые ружья. Знала бы молодёжь — только не понаслышке, не по рассказам стариков, а по тяжёлому опыту, по глубоким шрамам на своём теле, — с каким оружием приходилось охотиться в прежние времена! Тогда не ленились бы лишний раз почистить ружьё, смазать его как следует.

Моторы, новые охотничьи ружья — это, конечно, нужные вещи, стоящие. Да мало ли нового приходит в чукотские стойбища! Взять хотя бы кино. Гэмалькот любит кино, каждый раз, когда приезжает пере-

движка, он радуется почти так же, как Йорэлё. Хоть и старается, чтоб никто этого не заметил.

Бревенчатые дома Гэмалькот тоже одобряет. Что говорить, дом и просторнее яранги и светлей. Пожалуй, что и теплее, если, конечно, хорошо проконопачен мохом. Школа для стойбища — первейшее дело, а для школы, каждому ясно, требуется именно дом, а не яранга. Правлению колхоза тоже, конечно, удобнее в доме...

Но переселяться в дома для жилья — это Гэмалькот считал излишней роскошью. Ведь лесов на Чукотском полуострове нет, все материалы парохдами привозят, издалека. Это во сколько же провоз каждого бревна обходится?

И так ли уж плохо жить в яранге? Зайдёшь в неё — сначала в сенки попадёшь. Тут очаг, тут вдоль стен припасы хранятся. Отсюда можно во внутренний шатёр пройти — в полог. В пологе жирники горят, от них и светло и тепло... Испокон веков жили чукчи в ярангах, а теперь вот многие в дома потянулись.

А другие в дедовские яранги мебель тащат: Кровати, например. И деды и отцы без кроватей обходились, и Гэмалькоту трудно на старости лет менять свой вкус, видеть, как изменяется привычная обстановка. Ведь и так хорошо стало жить — сытно, богато. Что ж ещё нужно людям?

Старик пытается думать о другом. Он внимательно осматривает обработанную чурку и принимается за вторую. Он снова начинает напевать о том, какими ладными будут после починки нарты. Но растревоженные мысли не хотят успокоиться. Опять и опять возвращаются они к одному и тому же — к тому, как быстро меняется всё вокруг. Старик усмехается про себя, вспоминая, как появилась кровать в его собственной яранге. Что же делать, приходится понемногу уступать сыновьям.

Унпэнэр привёз её с полярной станции. То ли купил там у кого-то, то ли какой-то приятель, уезжая с зимовки, подарил её Унпэнэру на прощание. Кровать была не новая, шарики, украшавшие её спинки, кое-где промялись, но всё же ярко и весело поблёскивали никелировкой.

По крайней мере половину первой ночи кровать эта никому не дала спать. Улеглись на неё Унпэнэр и Йорэлё. С непривычки они поминутно борочались, и неимоверный скрип поминутно наполнял ярангу. В конце концов отец встал, молча тащил с кровати младшего сына и уже хотел взяться за старшего, но тот соскочил сам и помог отцу выдворить злополучное ложе из полога в сенки. После этого сыновья постелили себе, как обычно, завернулись в меховые одеяла и сразу же уснули.

Однако на следующий вечер кровать снова была в пологе. Чуть не полдня Унпэнэр и Йорэлё провозились с ней — чистили, смазывали. С тех пор она вела себя вполне прилично, тихо.

Потом Унпэнэр смастерил из жести колпак с вытяжной трубой, чтобы дым от костра сразу уходил наружу, а не плавал в сенках, под сводом яранги. Ещё через некоторое время он притащил столик — не приземистый, на котором можно обедать, даже сидя на полу, а высокий, чуть не по пояс Йорэлё.

Водворение столика прошло не совсем гладко: на неровном, покрытом моржовой шкурой земляном полу он ни за что не хотел стоять спокойно. Однако Йорэлё заявил, что ему для приготовления уроков необходимо отдельное место, что, занимаясь на полу, трудно выработать хороший почерк. Это подтвердил и Всеволод Ильич — школьный учитель математики, ровесник и приятель Гэмалькота. Унпэнэр и Йорэлё долго ползали вокруг столика на коленях — подбивали снизу кусочки кожи,

выравнивали землю, пока он не стал наконец крепко на все свои четыре ножки.

Гэмалькоту было очень смешно видеть, как его младший сын занимается за этим столиком, сидя на высоком табурете. «Будто воробей на жердине», — смеялся старик. Но Йорэлё уверял, что ему удобно.

Да, не хотят молодые по-старому жить. Что ж, Гэмалькот за старое цепляться не будет. Уж он-то лучше молодых знает, какой тяжёлой, какой горькой была для чукчей прежняя жизнь. И всё-таки человеку, прожившему больше полувека по обычаям, завещанным предками, нелегко привыкать к другим обычаям, пусть даже лучшим. Об иной вещи всякий поймёт, что она хороша... Понять-то нетрудно, да вот пойдя привыкни к ней, к этой вещи!

Сначала кровать в яранге поставили, потом колпак с трубой над очагом приспособили, столик внесли. Теперь окно хотят делать. Будет в яранге дыра. Небось, в своей кухлянке Унпэнэр не стал бы дыру прорезать!

Впрочем, это, конечно, не одно и то же. Тем более, что дыры, собственно, не будет, будет стекло. Интересно, как они смогут его вставить? Вообще-то говоря, надо бы им помочь, сами они с этим не справятся, пожалуй. Однако пусть попробуют сами. По крайней мере никто не сможет сказать, что Гэмалькот участвовал в этой мальчишеской затее.

Ещё не известно, как отнесутся к этому соседи. Скорее всего будут смеяться. Особенно старики — Атык, Мэмыль, Амтын. Да что там старики! Даже Вамче — коммунист, председатель колхоза — живёт в обыкновенной яранге, никаких окон не выдумывает. Наверно, соседи даже посочувствуют Гэмалькоту. «Ничего, — скажут, — не огорчайся. Можно, в конце концов, жить и с окном. Не сердиться же из-за этого на сына! У нас тоже есть дети — разве они слушают нас? Что хотят, то и делают. Твой Унпэнэр, по крайней мере, хороший охотник. Его бригада — первая в колхозе. Таким сыном можно гордиться».

Приятное течение мыслей успокаивает Гэмалькота. «Что ж, пожалуй, они говорят правду», — думает старик, как будто соседи и в самом деле обратились к нему с этими утешительными словами.

Кстати, уже и вторая чурка обработана. Гэмалькот откладывает её, достаёт берестяную коробочку и набивает табаком свою трубку.

Нетерпеливому Йорэлё пришлось всё-таки подождать до следующего дня.

— Не торопись, — сказал ему старший брат, — всё равно без рамок стекло не укрепить. Завтра Кабицкий обещал мне две рамки сделать.

— И стекло на две части разрежем?

— Конечно. Одно окошко в полог вставим, другое — в наружный шатёр. В домах тоже две рамы делают.

— У нас в школе в каждом окне две рамы. А знаешь, чем Кабицкий стекло режет? Ногтем! Я сам видел.

Унпэнэр громко расхохотался.

— Чем?! Ногтем? Плохо ты смотрел, — сказал он сквозь смех. — Видел, да не всё. У Кабицкого в руке специальный инструмент был зажат. Маленький такой инструмент с острым камешком. Алмаз называется. Вот завтра посмотришь.

На следующий день Йорэлё пришёл из школы вместе со школьным сторожем Кабицким. Они принесли две маленькие рамы без внутренних переплётов, деревянный метр и круглый ком замазки, которая распространяла такой вкусный запах и так послушно, так соблазнительно под-

давалась малейшему нажиму пальцев! Йорэлэ обязательно попросил бы кусочек замазки, чтобы вылепить из неё медведя, если бы только она не предназначалась для другой, гораздо более важной цели.

Унпэнэр уже дома. Они начинают выбирать место для окна. Раз двадцать прикладывают одну из рам к стенке внутреннего шатра — то в одном месте, то в другом, то в третьем. Получается довольно нескладно: ведь стенки у полога выгнутые, неровные.

— Да, — говорит Кабицкий, почёсывая свою рыжеватую густую бороду. — Этого мы с тобой, мил друг, не учли.

Он садится на шкуру посреди полога и задумывается.

Йорэлэ смотрит на него и вспоминает русских крестьян из рассказов Тургенева. Книжку этих рассказов ему подарил учитель Эйнэс ещё год назад — в награду за успешное окончание третьего класса. Учитель объяснил, что нынешние русские колхозники не похожи на крестьян, описанных Тургеневым. Зато в чертах школьного сторожа Кабицкого Йорэлэ смутно ощущает сходство с каким-то из тургеневских героев.

Мальчику очень хотелось бы повидать этих удивительных людей, которые умеют выращивать хлеб. Не ружьём, не охотой добывать себе пищу, а выращивать её на земле, — это казалось Йорэлэ почти чудом. Если когда-нибудь ему доведётся поехать на юг, он обязательно побывает в деревне, на полях. Он читал о том, как тургеневский Гарасим, шагая среди полей, «чувствовал знакомый запах поспевающей ржи», и ему казалось, что он тоже чувствует этот запах, что ему тоже известно, как пахнет рожь. Никакие чудеса техники не представлялись ему такими поразительными, не занимали его воображение так сильно, как чудесное умение человека подчинить себе землю.

Йорэлэ уже много раз приставал к Кабицкому с расспросами, но тот ничего не мог ему рассказать на этот счёт. Стефана Кабицкого, обрусевшего поляка, ещё в молодости занесло каким-то суровым ветром на северо-восток Сибири. Одно время он искал счастья на золотых приисках, потом жил пушным промыслом, бродил с ружьём по тайге. Потом пришёл как-то на Анюйскую ярмарку, приглянулась ему одна чукотская девушка, посватался к ней, женился, поселился на Чукотке. Здесь и состарился. Он умеет немного сапожничать, знает плотницкое дело и ещё два-три ремесла, но о сельском хозяйстве, пожалуй, имеет такое же понятие, как Йорэлэ.

Насмотревшись на Кабицкого, Йорэлэ прерывает его молчаливые размышления:

— Дядя Степан! А, дядя Степан! Вы алмаз с собой взяли?

— Взял, взял. Обожди, пострелёнок, не мельтеши. Я, ребяташки, вот что придумал: надо в потолке окно делать.

Братья сразу понимают, что это — самое разумное решение. Потолок у полога ровный, прямой — не то, что стены. Кабицкий встаёт во весь свой немалый рост, голова его чуть не достаёт до шкуры, натянутой в качестве потолка. Он прикладывает к шкуре раму и школьным мелком намечает очертание отверстия, которое надо вырезать для окна.

Работа закипела. Унпэнэр, вставши на табурет, вырезает отверстие. Кабицкий в сенках разрезает стекло, вмазывает его в рамки. Йорэлэ бегаёт от одного к другому, подаёт инструменты; в сенках он рассказывает Кабицкому и матери, что успел уже сделать в пологе Унпэнэр; возвращаясь к брату, он сообщает ему, как продвигается работа у Кабицкого. Словом, он полон энергии и тратит её не жалея. И когда он будет рассказывать товарищам по классу об этом знаменательном событии, то с полным правом сможет употреблять местоимение «мы»; «Мы с

дядей Степаном размяли замазку... Мы с Унпэнэром дыру вырезали — он резал, а я ему табуретку поддерживал...».

Гэмалькот вернулся с работы часа через полтора после того, как всё уже было готово. Его дожидался приятель — старый учитель Всеволод Ильич. Нутэнэут угощала учителя чаем с лепёшками, жаренными на перпичьем жиру. Всеволод Ильич очень любит эти лепёшки, а у Нутэнэут они всегда получаются особенно вкусными.

Унпэнэр беседует с Всеволодом Ильичём о делах международных. Учитель увлечённо жестикулирует, держа в одной руке лепёшку, а другой то снимая, то снова водружая на нос пенсне. Йорэлё почтительно молчит, он становится неузнаваемым в присутствии учителя. Только с осени Йорэлё будет у него учиться. Всеволод Ильич преподаёт лишь в старших классах. Старшеклассники рассказывают, что преподаватель математики очень строг, и хотя тут, в яранге Гэмалькоты, он держится совсем просто, но Йорэлё всё-таки робеет перед ним. Иногда мальчику хочется вставить своё словечко в беседу взрослых, но он только открывает рот и тут же, не произнеся ни звука, закрывает его, заливаясь краской до ушей. К счастью, никто этого не замечает.

С Гэмалькотом Всеволод Ильич дружит уже давно. Трудно сказать, что именно так сблизило их, но, если несколько дней они не видят друг друга, оба начинают чувствовать, будто им чего-то недостаёт. Беседуют они на самые разные темы, но чаще всего молчат. Просто сидят вместе, покуривают, изредка роняют одно-другое слово. И тем не менее расстаются отдохнувшими от дневных забот, вполне довольные друг другом. Растаются с таким чувством, будто провели время в интереснейшей и поучительной беседе или общими усилиями решили какой-нибудь важный вопрос.

Войдя в ярангу, Гэмалькот здоровается с гостем и присаживается к столу.

— Когда едешь? — спрашивает он.

— В субботу. В понедельник в Анадыре буду. Оттуда самолётом.

Всеволод Ильич получил путёвку в один из крымских санаториев. Путь ему предстоит немалый: с Чукотского полуострова до Крымского!

Наполовину всерьёз, наполовину в шутку Гэмалькот говорит:

— Смотри, Севалот, обратную дорогу не забудь. А то пригреешься под южным солнышком, не захочешь к нам возвращаться.

— Нет, — смеётся Всеволод Ильич, — я Чукотку ни на какие курорты не променяю. Здесь климат крепкий, здоровый. Здесь, по крайней мере, ещё не было случая, чтобы человека солнечный удар хватил.

Йорэлё очень хотел бы вытащить из сумки школьный атлас, разыскать Крымский полуостров, поделиться своими знаниями о виноградарстве и строительстве Северо-Крымского канала... Он снова открывает рот, как вытщенная из воды рыба, и снова, как та же рыба, беззвучно закрывает его.

— Ну, как твоё сооружение, Унпэнэр? — спрашивает Всеволод Ильич, похлопывая рукой по жестяному колпаку, укрепленному над костром. — Тяга хорошая? Не дымит?

— Ничего, — снисходительно говорит Гэмалькот, — Нутэнэут довольна. Что сыновья ни сделают — она всегда довольна. С них станется, что они и для моей трубки колпак сделают. А? Чтобы, скажут, не дымил в яранге.

Он мельком взглядывает в угол, где ещё утром стояло стекло, и добавляет:

— Ты знаешь, Севалот, что они ещё придумали? Окно! Хотят в пологе окно делать.

— Вот как? Интересная мысль!

— Это уже не мысль, уже сделали! — вырывается у Йорэлё. Сказал, зарделся и сразу, как тюлень в лунку, юрк в полог. Только босые пятки мелькнули.

— Что же вы, скромники такие, молчите? Это ведь не шуточное дело. Столько лет живу на Чукотке, а про яранги с окнами никогда не слыхивал.

Он развязывает торбаза, снимает их и вслед за Йорэлё влезает в полог.

В сенках молчат, прислушиваются. Некоторое время из полога не доносится ни звука, и Унпэнэр уже начинает тревожиться. Но тут раздаётся голос Всеволода Ильича:

— Где же оно, это проклятое пенсне?! Погляди-ка, Йорэлё, вот здесь. Обронил, понимаешь ли, пролезая. Есть? Спасибо, дорогой.

И через секунду тот же голос, но уже другим тоном восклицает:

— Замечательно! Превосходно! Кабицкий, говоришь, помог? Молодец Степан Андреевич... Ай-да молодец!

Тревога Унпэнэра улеглась. Он торжествующе поглядывает на отца, но тот так внимательно рассматривает старую царапину на чубуке своей трубки, что глаза их не встречаются.

Учитель вылезает обратно в сенки, натягивает торбаза и восхищённо повторяет:

— Молодцы, ребята, ничего не скажешь! Ну, Гэмалькот, окно у тебя есть — теперь за немногим дело стало: печь сложить, стены поставить, да крышей накрыть. И будет настоящий дом.

— До этого ещё далеко, — неопределённо отвечает Гэмалькот.

— Так ли уж далеко? Вамче говорил Эйнэсу, будто нам пяток домов выделили. Будто уже официальное сообщение пришло. Один дом школе, для учителей, а четыре — для колхозников. Верно?

— Верно, Севалот, верно.

Вся семья — и Нутэнэут, и Унпэнэр, и тихонько вылезший из полога Йорэлё — с интересом прислушивается к разговору. Гэмалькот ничего не рассказывал об этом раньше. Правда, в колхозе уже давно поговаривают насчёт домов, но о том, что дело уже продвинулось так далеко, они узнают впервые.

— Пять домов для нас выделили, это верно, — продолжает Гэмалькот. — Заявку-то мы давно послали, а недавно ответ пришёл. Вамче об этом письмо получил, читал нам на заседании. Только это ещё дело долгое.

— Почему же?

— А потому, Севалот, что письмо — это не дом, в письме жить нельзя. Вон колхозу имени Сергея Лазо ещё в прошлом году три дома выделили. А где эти дома? До Анадыря пароход дошёл и — стоп: навигацию закрыли. И пришлось эти дома в Анадыре ставить. Теперь лазовцам обещают другие отгрузить.

— Мало ли что случается, — вмешивается Унпэнэр. — В прошлом году ранняя зима была, сам знаешь. Рано навигация кончилась. А правительство нам во всём навстречу идёт. И лесоматериалы выделяет и доставку обеспечивает. Соцетская власть хочет, чтобы чукчи хорошо жили, по-культурному, как полагается советским людям жить. Летом получают лазовцы свои дома.

— Они-то, может, получают, а нам ещё подождать придётся. Ещё, может, и деревья те не выросли, из которых дома для нас будут делать.

Гэмалькот чувствует, что ему не удалось ещё охладить пыл сыновей, и специально для них добавляет:

— Лично нам вообще об этом нечего думать. Мы эти домики не для членов правления получаем, а для лучших колхозников.

Но тут в разговор вступает Нутэнэут.

— А кто ж у нас в колхозе лучше Унпэнэра работает? — резниво спрашивает она. — Нет, уж если Унпэнэру не дадите, тогда лучше последним лодырям давайте. Пусть тогда лежебока Кэнири в деревянном доме живёт!

Гэмалькот понимает, что промахнулся. Молодёжная бригада Унпэнэра давно уже держит Красное знамя, о ней даже в «Комсомольской правде» заметка была. Но почему Нутэнэут говорит с таким жаром о деревянном доме? Неужели она хочет расстаться с ярангой?

— Не знаю, — говорит Гэмалькот. — Не знаю, кому дадут, а кому не дадут. Собрание будет распределять. Как народ скажет, так и будет... А Унпэнэр всё-таки молод ещё. И семьи у него нет.

Всеволод Ильич улыбается, видя, что приятель запутался в собственных доводах.

— А ты ему кто? Не отец разве? Нутэнэут — мать, Йорэлэ — братишка. Вот тебе и семья. Или обязательно женатым нужно быть? Так за этим, по-моему, дело не станет. Я уже давно замечаю: где Тынэнэ — там и Унпэнэр, где Унпэнэр — там и Тынэнэ. Разве не так? Я всё вижу, недаром пенсне ношу. Да ты, Унпэнэр, не смущайся. Тынэнэ — девушка хорошая. Чего ж тут смущаться?

Гэмалькот очень рад, что разговор перешёл на другую тему. Сам-то он убеждён, что не попадёт в число колхозников, которые получат дома. По правде сказать, у него имеются некоторые причины для того, чтобы так думать. Но говорить об этих причинах своим родным ему не хочется.

Дело в том, что на заседании он был единственным членом правления, голосовавшим против того, чтобы посылать заявку на дома. Но об этом теперь лучше, конечно, не рассказывать!

Когда дело дойдёт до распределения домов, было бы хорошо, если бы его кандидатуру вообще не называли. Правда, на это рассчитывать трудно: не его, так Унпэнэра обязательно назовут. А тогда уж кто-нибудь из членов правления наверняка вспомнит, как Гэмалькот возражал против того, чтобы посылать заявку. И будет совершенно прав, что вспомнит! Зачем, в самом деле, переселять старика, который прирос к яранге, когда многие колхозники уже давно мечтают перебраться в дома?

«Ох, глупый старик! — мысленно ругает себя Гэмалькот. — Что теперь будешь делать? Тебе-то всё равно, где доживать, а сыновьям не всё равно. А теперь они из-за тебя тоже должны будут в яранге оставаться. Пускай хоть окошком своим забавляются. Пускай что хотят, то и делают. Не буду им поперёк дороги стоять».

С этими невысказанными мыслями Гэмалькот слушает Всеволода Ильича, подшучивает над Унпэнэром, спрашивает, знает ли Тынэнэ, какой тяжёлый характер у её будущего свёкра. С этими мыслями он и засыпает вскоре после ухода гостя.

Унпэнэр с утра ушёл в свою бригаду, Йорэлэ — в школу.

Гэмалькот влез в полог, где Нутэнэут занималась приборкой, подошёл к окошку, погрозил раму, легонько стукнул пальцем по стеклу, поёжился.

— Хлоцно как-то.

Нутэнэут подставила ладонь под окошко — в одном месте, в другом. Нет, нигде не дует, прибито на совесть.

— Я не про то говорю. Не от ветра, а от света. У жирника свет жёлтый, тёплый, какой в пологе должен быть. А этот — белый. Будто на улице.

«Ну, это ничего, — думает Нутэнэут. — Привыкнет».

— А что в потолке его сделали, — продолжает Гэмалькот, — так это даже лучше. Нам-то всё равно, а снаружи не так заметно. Может, старики и не увидят. Мы, старики, больше вниз смотрим, а не наверх.

Вопреки своему утверждению, он почти не отрывает глаз от вставленного в потолок окошка.

— Всё равно узнают, — говорит Нутэнэут.

— Шучу я. Конечно, узнают. Ничего, Нутэнэут, в этом позора нет.

— Какой же тут может быть позор? Конечно, нет.

Нутэнэут вылезает в сенки, захватив с собой несколько шкур, чтоб проветрить их. Сегодня она убирает в полске с особой тщательностью.

Гэмалькот осматривается. Освещённое утренним светом, всё выглядит совсем не так, как обычно. Портрет Сталина, ещё до войны подаренный Гэмалькоту знакомым капитаном, тоже ярко освещён, яснее виден.

Подойдя к жирнику, Гэмалькот гасит его. Странное дело — глаза совсем не замечают разницы в освещении. Каким, значит, слабым был свет жирника в сравнении со светом утра!

Если бы Гэмалькота спросили сейчас, доволен он или нет, ему трудно было бы ответить. Он сам этого ещё не знает. С одной стороны стало как будто лучше в пологе, а с другой стороны очень уж непривычно.

Он снова поднимает голову и смотрит в окно. Промелькнула белая чайка. Медленно проплыло белое облачко.

Осенний ветер гонит по улице стружки. Ребятишки ловят их, итрают ими. Йорэлё, хоть он уже пятиклассник, тоже поглощён этой игрой. Стружки длинные, некоторые из них — словно желтоватые ленты, пахнущие смолой. Йорэлё опоясал этими лентами своего товарища, сделал из них подобие упряжи, и оба мальчика понеслись вдоль улицы: Йорэлё — седок, его товарищ — олень.

Пять новых домиков резко выделяются среди тёмных яранг селения. Два домика уже заселены, остальные достраиваются. Отсюда и разносит ветер по всей улице витые ленты стружек.

Уже смеркается, но работа идёт полным ходом. На крыше одного из домиков, уже наполовину покрытой, молодые колхозники из бригады Унпэнэра разматывают рулон толя. Кабицкий с двумя девушками навешивает оконные рамы.

Йорэлё и его «олень» останавливаются отдохнуть. Они подобрали на дороге несколько обрезков толя. Подойдя к окну, Йорэлё спрашивает:

— Дядя Степан, скажи, это какого зверя шкура?

— Это, мил друг, не шкура, — отвечает изнутри Кабицкий. — Это называется толь. А из чего её делают, эту толь, честное слово, не знаю. Не хочу врать. Лучше у учителя спроси.

— Вот видишь! — торжествует мальчик, только что изображавший оленя. — Я ж говорил, что это не со зверя. Это вроде картона. Вот спросим завтра у Всеволода Ильича.

Немного смущённый, Йорэлё пробует, крепок ли толь, и говорит:

— Не очень-то он крепкий. Рвётся всё-таки. Лучше бы моржовыми шкурами крыши покрыть.

— А нет, — отзывается Кабицкий. — Моржовая шкура от сырости гниёт, её каждый год менять надо. А эта штука ни дождя, ни снега не боится. Она не один год продержится. Не порвётся, будь спокоен, — кто её на крыше врать будет? Надо только прибивать аккуратно.

В сотне шагов отсюда, в одном из домиков живёт теперь Гэмалькот с семьёй. Он сидит у окна на китовом позвонке (позвонок перенесён сюда из яранги и вместе с четырьмя новенькими табуретками положил основание мебелировке дома). Рядом сидит Всеволод Ильич, только сегодня возвратившийся из отпуска.

Старики разговаривают неторопливо, больше молчат, покуривают свои трубки, прислушиваются к голосам, доносящимся сквозь полуоткрытую дверь из кухни. Там, возле плиты, хлопочут Нутэнэут, Тынэнэ и её подруга Раиса — повариха с полярной станции. Хозяйничает Раиса. Нутэнэут и её будущая невестка пока ещё только присматриваются, помогают: всё-таки плита это совсем не то, что простой костёр. Тут и поддувало, и духовка, и две конфорки разной величины, и труба, которую надо во-время открыть, во-время закрыть. Зато уж и готовить на плите можно много такого, чего на костре не сготовишь. Раиса собирается сегодня же доказать это на практике.

— Тынэнэ уже с вами живёт? — спрашивает Всеволод Ильич.
 — Нет ещё. Они с Унпэнэром сначала хотят свадьбу отпраздновать. Комнату мы Унпэнэру отдельную выделили. Хорошая комната, вроде этой. Только меньше немножко.

— Нравится тебе тут?

— Ничего, нравится. Просторно, как в тундре, воздуху много. Только не привык я ещё, Севалот. Слишком просторно, стены далеко слишком. Проснусь иногда ночью и удивляюсь: почему это я на улице сплю? А вот сыновья сразу привыкли. Мы со старухой, когда в комнату входим, пригибаемся, будто в полог влетаем. А они даже головы не нагнут. Словно и родились не в яранге, а в доме!

Старики снова замолкают. О том, как были доставлены дома, как происходило распределение их, Всеволод Ильич узнал ещё в дороге. Ему рассказал об этом в Хабаровске один из его бывших учеников, приехавший туда поступать в институт.

Да, вопреки пророчествам Гэмалькота, колхоз «Утро» получил дома даже раньше, чем их ожидали. Сначала пароход остановился неподалёку от колхоза имени Лазо, выгрузил три домика (вместо тех, которые в прошлом году пришлось оставить в Анадыре), а затем колхозу «Утро» доставили его груз. Пять домиков — один к одному: и брёвна, и кирпич, и тель, и всё остальное, вплоть до оконных шпингалетов.

На общем собрании кандидатура Гэмалькота была названа одной из первых. И никто, конечно, не стал вспоминать, что говорил когда-то Гэмалькот о деревянных домах на заседании правления. Наоборот, председатель Вамче сказал об успехах бригады Унпэнэра и о том, сколько пользы колхозу приносит хозяйственный глаз Гэмалькота, его забота об общественном добре. Вышло так, будто если колхоз «Утро» получил пять домов, то отчасти именно Гэмалькот способствовал этому своей работой. Колхозники единогласно постановили предоставить один из домов Гэмалькоту.

Всеволод Ильич встаёт и медленно прохаживается по комнате. Позже, когда вернётся с работы Унпэнэр, когда с улицы прибежит Йорэлэ и все усядутся за стол, он расскажет про Черноморье, покажет фотографии, раздаст подарки, привезённые с юга (сейчас они лежат в углу комнаты, в его дорожном мешке).

— Слушай, Гэмалькот, — говорит Всеволод Ильич, — а ведь я уж давно знал, что придёт время и будешь ты в настоящем доме жить. То есть знать-то, конечно, не знал, а... Как бы точнее выразиться...

Он останавливается, потому что слово «чувствовал» кажется ему как математику недостаточно точным. Но, не найдя более подходящего, он продолжает:

— Ну чувствовал, что ли. Помнишь, когда я первый раз к тебе в гости пришёл? Давно это было. Смотрю — самая обыкновенная яранга. В пологе Йорэлэ на четвереньках ползает, совсем ещё малыш. Ни кровати, конечно, ни колпака над костром — никаких таких нововведений у вас ещё не было и в мыслях. Посидел, глаза малость попривыкли, увидел портрет на стене. Вот этот самый портрет. «Нет, — думаю, — не вечно Гэмалькот в тёмной яранге жить будет. Не вечно ему ползком к себе забираться». Где Сталин, там жизнь обязательно на светлую дорогу выходит. Где раньше, где позже, а выходит. Это уж непременно.

Подойдя к приятелю, он внимательно смотрит в окно.

— Вот какое теперь окно у тебя! Всё море видать! Можно отсюда зверя высматривать, не надо и на сопку подниматься. Навёл бинокль, увидел зверя — сразу в соседнюю комнату стучи: «Выходи, Унпэнэр, на охоту».

Старики смеются, весело подмигивая друг другу. Всеволод Ильич садится за столик Йорэлэ, перебирает новенькие учебники для пятого класса, рассматривает висящую над столиком цветную фотографию — журнальную вкладку, на которой изображено одно из высотных зданий Москвы.

— А ты знаешь, — говорит Гэмалькот, — я к этому окошку, что в яранге было, привык. Маленькое совсем, по сравнению с этим — дырка от шила. Да ещё в потолке. Что в него увидишь? Только если птица пролетит. А всё-таки привык, даже жалко было отдавать.

— Кому ж ты его отдал?

— Атыку подарил. Он пришёл, просит ему окошко продать. «Хочу, — говорит, — в своей яранге поставить. Вам оно, — говорит, — всё равно не нужно, вы скоро в дом перейдёте». Ну, я ему так дал, подарил. Сосед всё-таки, товарищ. Теперь то окошко у него в яранге вставлено. Мои ребята ему и вставлять помогали. Как думаешь, Севалот, скоро все чукчи в домах будут жить?

— Скоро, — уверенно отвечает учитель.

— В настоящих домах? С настоящими окнами? Знаешь, Севалот, окно — это для человека очень важная вещь. Ты думаешь, что знаешь, а на самом деле всё-таки не совсем знаешь, потому что сам никогда без окна не жил. По-чукотски свет называется «кэргыкэр». А окно по-чукотски — «кэргычын». Как это по-русски сказать? Светлота? Нет? Ну, словом, ты понимаешь... Вот что такое для чукчи — окно!

Выйдя в тот вечер от Гэмалькота, Всеволод Ильич медленно зашагал по направлению к школе. Улица селения была уже совсем пуста и тиха. Всеволод Ильич спустился с дороги и подошёл к самому морю, вслушиваясь в негромкий, неумолчный плеск волн. Тёмное и холодное расстилалось перед ним Чукотское море.

Прежде чем пойти домой, он оглянулся назад. Там ярко светилось окно нового домика Гэмалькота. Свет этот отразился улыбкой на лице учителя.

— Кэргычын! — произнёс он тихонько. — Светлота!

Тэгрынэ летит в Хабаровск

Чья это огромная невидимая ладонь гладит траву на аэродроме? Отпустит на секунду и снова прижмёт к земле; пригладит, отпустит и снова пригладит... Это ветер. Но Тэгрынэ не чувствует его. Она сидит в пассажирской кабине самолёта, дверца уже запёрта, порывы ветра не проникают в кабину. Даже звуки марша, несущиеся из белого репердуктора, установленного на крыше аэровокзала, едва слышны.

Начальник аэродрома попросил провожающих отойти. Их не видно теперь. Сквозь толстые стёкла окон видна только зелёная трава, прижатая к земле огромной ладонью ветра. Вот трава поплыла назад, поплыла быстрее, ещё быстрее.

— Оторвались, — говорит толстый пассажир, сидящий перед Тэгрынэ.

Теперь и сама она видит, что самолёт уже оторвался от земли. Трава уже проносится внизу, метрах, наверно, в двух... Даже в трёх, пожалуй. Во всяком случае, прыгнуть было бы уже боязно.

Выше, выше. Ещё выше! У Тэгрынэ захватывает дух. Но голова не кружится. «Совсем не кружится, нисколько, — думает девушка. — Напрасно они меня пугали. Надо будет написать Инрыну, что голова ни капельки не кружилась».

И не укачивает вовсе. На байдаре, даже при самом незначительном волнении, качка гораздо чувствительнее. Нет, на байдару это непохоже. На качели? Тоже нет! Ни с чем не сравнить это ощущение лёгкости и свободы, скорости и высоты!

Самолёт разворачивается. Вон какой-то домик. Неужели это здание аэровокзала? Перед зданием стоят провожающие, машут руками. Среди них — отец Тэгрынэ, но она уже не может разглядеть его меж других. Ей становится немного стыдно, что она думала сейчас не о нём: он-то, небось, только о ней и думает. И, когда прощались, не смогла даже как следует поцеловать старика. Пока целовалась с подругами, пришло время садиться в самолёт. Конечно, можно было бы не торопиться, но этот толстяк пропустил её вперёд, а лесенка узкая, Тэгрынэ не хотела задерживать толстяка. Неудобно ведь — она ещё совсем девочка, а он такой солидный, седой. Поэтому Тэгрынэ только наскоро чмокнула своего старого Мэмыля и побежала вверх по лесенке.

Ещё круг сделал самолёт над аэродромом, ещё раз показалось здание аэровокзала, промелькнула группа людей, ставших совсем маленькими. И вот внизу не ровное поле аэродрома, а какие-то холмы — то светлозелёные, то зеленовато-рыжие.

— Легли на курс, — говорит полный пассажир.

Тэгрынэ впервые слышит это выражение. Ей смешно: почему «легли»? Ведь никто из пассажиров не лёг, пилот и его помощник тоже, конечно, бодрствуют.

Полный пассажир смотрит на часы. Нет, он смотрит не только на часы — рядом с часами на руке у него компас. Ткнув пальцем в компас и махнув рукой вперёд, он произносит:

— На юг идём. Строго на юг.

— Да, — улыбается Тэгрынэ, — скоро осень. А осенью птиц на юг тянёт, в тёплые края.

Как приятно чувствовать себя птицей! Теперь слова соседа уже понятны Тэгрынэ: прямо на юг, до самого Хабаровска проложена невидимая дорога по воздушному океану; пилот набрал высоту, покружив над аэродромом, а потом взял южное направление — словно бы положил свою машину на этот курс. Положил, и пусть теперь она летит по этому курсу всё вперёд и вперёд! «Легли на курс», — произносит про себя Тэгрынэ. Выражение это уже не кажется ей смешным. Наоборот, в нём есть какая-то прелесть, что-то профессионально-пилотское. Тэгрынэ мысленно повторяет его и при этом чувствует себя не пассажиром, а почти что лётчицей. А если и не лётчицей, то, во всяком случае, опытным пассажиром, а не новичком, впервые совершающим воздушное путешествие.

Вдруг в самолёте становится темнее, за окнами ничего не видно, какая-то серовато-белёсая пелена закрыла их.

— Ой, что это? — спрашивает Тэгрынэ.

Но полный пассажир, сидящий перед ней, уже задремал. Ей отвечает другой, сидящий у левого окна:

— Это облака. Мы вошли в облака.

Не проходит минуты — в кабине быстро светлеет, и вот машина уже вырвалась, за окнами снова сверкает ясное утро.

— Так бывает, когда поезд выходит из тоннеля, — говорит тот же пассажир. — Всё светлее, светлее становится, и, глядишь, поезд вырвался из горы, на простор вышел.

— Я никогда не ездила в поезде, — отвечает Тэгрынэ.

Внизу — сопки, сопки, какая-то река вьётся серебристой лентой меж сопок. Только кое-где землю закрывают серовато-белёдые пятна. Это облака, теперь Тэгрынэ уже понимает, что это такое. Правее каждого из них она различает на земле их тени.

Самолёт идёт над облаками. Тэгрынэ летит в Хабаровск!

Худенькая, стройная девятиклассница ходила по тундре и собирала цветы. Нет, в руке у неё не было букета, а была толстая русская книга «Флора Севера», и между страницами этой книги лежали цветы, которые удалось собрать. Там не было двух одинаковых, только разные, только по одному представителю каждого вида.

Девочка наклонялась, и кончики её чёрных кос касались травы. Девочка выбирала самый лучший цветок, срывала его обязательно вместе с листиком, подсчитывала тычинки и, аккуратно расправив, чтобы ни один лепесток не примялся, прятала находку в книгу.

Это была Тэгрынэ, дочь охотника Мэмыля. Она училась в Анадыре, в десятилетке, а на каникулы приезжала к отцу в колхоз «Утро». Матери у неё не было. Мать умерла, когда Тэгрынэ была ещё совсем маленькой. Зато с отцом была у неё такая дружба, какой ни у кого из подруг не было с их родителями.

Когда Тэгрынэ кончала четвёртый класс, в её родном посёлке была только начальная школа, четырёхлетка. Но девочке и всем её одноклассникам повезло: в тот же год школа была преобразована в семилетнюю. Через три года состоялся первый выпуск семилетки. Тэгрынэ была в числе лучших выпускников.

Она хотела продолжать учение, и Мэмыль отвёз её в Анадырь. Начиная с восьмого класса она пристрастилась к ботанике. Ничто не интересовало её так, как жизнь растений. Её выбрали старостой кружка юных натуралистов. Даже заполярная зима не помешала ей заняться составлением гербариев. Во время воскресных лыжных вылазок она забиралась вместе с подругами на зимние олени пастбища и под разрытым оленями снегом собирала коллекцию лишайников.

Руководительница кружка, учительница Мария Феокистовна, часто рассказывала школьникам о своих родных местах. Родом она была из Брянской области, из богатых лесом краёв. Село, в котором она росла, даже называлось Верхние Лесники. С трёх сторон к нему подступал дремучий бор, а в самом селе вокруг каждой избы зеленели фруктовые сады. Когда Мария Феокистовна говорила о том, как шумят леса, глаза её становились задумчивыми. Она смотрела в окно, разрисованное морозом, и вслед за ней начинала смотреть на эти морозные узоры Тэгрынэ. Девочке, видевшей деревья только в кино и на журнальных иллюстрациях, казалось, будто перед нею, сверкая своим серебристо-белым убором, стоит зимний лес. А завывания вьюги, бушевавшей за окном, представлялись шумом деревьев — шумом, которого ей не приходилось слышать ни разу в жизни.

Летом, когда Тэгрынэ вернулась домой на каникулы, в её фанерном чемодане вместе с бельём и книжками лежал десяток проросших лукович. С помощью отца она сколотила два ящика, наполнила их землёй и, посадив луковичи, выставила ящики на солнце перед ярангой. На ночь и в холодные, пасмурные дни старый Мэмыль убирал этот «огород» внутрь яранги. Он так увлёкся затеей дочери, что вскоре взял на себя весь уход за луком — щедро поливал его водой из ручья, осторожно, как велела Тэгрынэ, разрыхлял землю. Зелёные стрелочки с каждым днём поднимались всё выше, радуя старика и удивляя соседей. Так в охотничьем колхозе «Утро» впервые была выращена огородная культура.

В то лето девятиклассница Тэгрынэ целые дни проводила в тундре, пополняя свои коллекции. План летней работы юных натуралистов был составлен ещё в Анадыре под руководством Марии Феоктистовны. Тэгрынэ выполняла этот план, не жалея сил. Она искала нужные растения по склонам сопки и по берегам ручьёв, поднималась в горы, на много километров уходила в тундру. Она собирала коллекции мхов и ягодников и отдала их — лекарственных растений и заполярных медоносцев. Любой из тех, кому заполярная природа кажется бедной, скудной, однообразной, изменил бы, наверно, своё мнение, если бы походил тогда по тундре вместе с Тэгрынэ.

В то же лето произошла печальная история с отцовским биноклем. У старого Мэмыля был отличный бинокль, предмет его гордости. Когда работа над коллекцией медоносцев была закончена, Тэгрынэ пришлось в голову заняться собиранием водорослей Чукотского моря. Эту идею горячо поддержал её старый приятель Инрын, сын резчика Гэмауге. Они отправились на байдаре вдоль берега, причём Тэгрынэ захватила с собой бинокль отца: ей казалось, что невооружённым глазом распознавать водоросли сквозь толщу воды будет слишком трудно. Но в самом начале этой научной экспедиции, когда юная натуралистка рассказывала своему приятелю, какие полезные вещества содержатся в некоторых водорослях, байдару качнуло. Резким движением Тэгрынэ схватилась за борт, а бинокль, который держала в руке, выронила в воду.

И Инрын и Тэгрынэ ныряли до тех пор, пока совсем не задохнулись. Даже в самые жаркие дни августа купание в Чукотском море может доставить удовольствие только белым медведям. Кроме того, ныряя, Инрын и Тэгрынэ чуть было не упустили байдару: её уже начало относить волнами, пришлось догонять её вилась. Словом, вернулись они в посёлок лишь вечером — продрогшие, мокрые, без водорослей и без бинокля. Последнее, конечно, было самым трагичным.

К счастью, отца не было дома: он заседал в правлении колхоза. Тэгрынэ успела как следует растереть тело, согреться, надеть сухое платье. Но как сообщить отцу о потере?

Теперь, через два года, сидя в самолёте, летящем в Хабаровск, Тэгрынэ улыбается, вспоминая эту историю. Но в тот вечер ей было не до смеха.

Не дождавись отца, Тэгрынэ пошла к соседям — к резчику Гэмауге. Там всё было спокойно: погружённый в свою работу, резчик даже не заметил, в каком виде явился Инрын, даже не спросил, почему Инрын вздумал переодеться.

Какие только планы не приходили тогда в голову растерявшимся ребятам! По большей части, прямо надо сказать, это были планы очень смелые: сводились они к тому, чтобы как-нибудь избежать объяснений со старым Мэмылем. Вначале Тэгрынэ хотела немедленно, не

дожидаясь конца каникул, бежать в Анадырь. Инрын предлагал другое — отправиться в глубь полуострова, к дальним родственникам, живущим в одном из оленеводческих колхозов: в Анадыре родители сразу нашли бы, в тундре легче затеряться... Каждое из этих намерений прожило не более пяти минут и было признано безрассудным: ведь исчезновение дочери отец сразу же свяжет с исчезновением бинокля, и бегство, таким образом, только ускорит раскрытие вины.

Оставаться дома и делать вид, будто ни в чём не повинна? Пропажа может быть обнаружена не сразу, так как футляр висит на своём обычном месте — откуда известно, что он пустой? Нет, это тоже плохой путь. Это могло бы только отдалить объяснение на два-три дня, не больше. Потом всё равно пришлось бы сознаться, иначе отец подумал бы на кого-нибудь другого, а это было бы совсем уж нехорошо.

В конце концов Тэгрынэ решила всё рассказать отцу. Инрын предлагал попросить Гэмауге о посредничестве, но Тэгрынэ отвергла и этот план: сама провинилась, сама должна и ответ держать!

Вначале отец даже не поверил. Подошёл к футляру, открыл, тщательно осмотрел, как будто бинокль мог запрятаться куда-нибудь в уголок. Потом подошёл к Тэгрынэ и спросил:

— О чём ты плачешь, дочка? Ничего, у меня глаза ещё достаточно зоркие. Я и без бинокля могу увидеть зверя там, где другой ничего не разглядит.

— Но ты всегда брал его с собой на охоту.

— Верно, дочка, брал. Но больше для виду, для похвальбы. Правда! Сказать по совести, я редко глядел в бинокль. А на охоте он даже немного мешал. Когда идёшь на охоту, надо брать только самое необходимое...

Тэгрынэ понимала, что он говорит это ей в утешение, и слезы ещё обильнее лились у неё из глаз.

— Не надо плакать, дочка, — строго сказал старый Мэмыль. — Ты ведь уже не маленькая. Только скупые и злые люди могут плакать из-за вещей.

— Но я взяла эту вещь не спросясь!

— Да, лучше, конечно, было бы спросить. Но мы с тобой принадлежим друг другу: я — твой отец, ты — моя дочь. И всё, что мы имеем, — это наше общее. Значит, ты потеряла свой собственный бинокль, Тэгрынэ. Стыдно плакать из-за такой потери... Скажи мне лучше, какие водоросли вы собирались искать?

И он стал с интересом слушать её рассказ о водорослях, из которых добывают иод и бром, о водорослях, заменяющих самые лучшие калийные удобрения... Теперь Тэгрынэ догадывается, что отец старался отвлечь её от мыслей о потере бинокля. Впрочем, кто знает, он мог и вправду заинтересоваться, мог и вправду не очень горевать о потере. Он ведь не жадный. Он жадный только до знаний. Как и она...

Тэгрынэ вспоминает, как попал бинокль к её отцу. Она была тогда совсем ещё девочкой. Ей было лет десять, наверно, или одиннадцать.

В посёлок приехал тогда какой-то учёный, собиратель народных песен и сказок. Его направили к Мэмылю — во всём посёлке Мэмыль считался самым лучшим рассказчиком. Прослушав целый вечер и написав целую тетрадь, учёный сказал:

— Я давно не встречал такого чудесного рассказчика. Вы действительно заслуживаете свою славу. Но всё это трудно назвать фольклором в собственном смысле этого слова. Это именно рассказы, а не сказки. Это интересные случаи из вашей жизни. Это иногда переска-

зы — тоже очень интересные и своеобразные — некоторых произведений русской литературы. Тут есть кое-что из Гоголя, кое-что из Горького. А мне хотелось бы услышать то, что вы сочинили сами. Или то, что вы слышали от других, всё равно. Но чтоб это было именно фольклором, народным творчеством.

— Нет, сочинять я совсем не умею, — рассмеялся Мэмыль. — Я действительно больше рассказываю о том, что мне читала дочка. Эти рассказы из русских книжек соседи слушают особенно охотно, потому что это правдивые рассказы, а на чукотском языке книжек ещё мало-мало. А что до сказок... Сказки и песни вы услышите в другой яранге. Завтра я поведу вас к старому Атыку. Он сам складывает песни, лучшего певца вы не найдёте на всём побережье.

Учёный остался ночевать. Не желая стеснять хозяев, он собирался лечь в сенках, но Мэмыль сказал:

— Есть такой чукотский обычай: если к тебе пришёл гость, а у тебя нет дров для очага, — сломай на дрова свои нарты, чтобы гость мог обогреться; если у тебя нет и нарты, сломай на дрова одну из жердей своей яранги. Я не могу позволить вам спать в сенках.

Тэгрынэ постелила гостю в пологе. Она постелила ему шкуру медведя, убитого Мэмылем года за два до того. Гость лёг и при свете жирника стал читать какую-то книгу. Мэмыль спросил, что это за книга, и вместо ответа гость начал читать её вслух. Это были стихи Некрасова. Стихи очень понравились Мэмылю и Тэгрынэ. Они слушали с таким вниманием, столько раз просили почитать ещё и ещё, что через день, уезжая из посёлка, учёный подарил им эту книгу.

Мэмыль не стал отказываться. Он сказал: «Если берёшь с собой книжку в такой далёкий путь, значит, очень любишь её». И в ответ подарил учёному медвежью шкуру. «Спасибо, — сказал учёный. — Но тогда пусть книжка будет моим подарком Тэгрынэ, а вы возьмите себе мой бинокль».

Так Мэмыль стал обладателем бинокля. И он владел этой чудесной штукой до тех пор, пока Тэгрынэ не вздумала коллекционировать водоросли... Неудачная экспедиция, закончившаяся купанием в студёных волнах Чукотского моря, не охладила любви Тэгрынэ к растениям. Прошло два года, Тэгрынэ успешно окончила школу, и предмет её страсти именовался уже не ботаникой, а агробиологией. Но по-прежнему целыми часами могла она просиживать над своими гербариями, рассказывать о садах, которых никогда не видела, мечтать о смородине и клубнике, которые будут расти в местах, доступных пока что только морошке, клюкве да заполярной ягоде шикше.

Надо было поступать в институт. Так советовали учителя, так хотела Тэгрынэ, так хотел и старый Мэмыль, как ни грустно было ему расставаться с дочерью. Хабаровск — это уже не Анадырь! Из Анадыря Тэгрынэ приезжала два раза в год — на летние каникулы и на зимние. Да ещё два раза за зиму Мэмыль навещал дочку. Теперь только один раз — летом — сможет приезжать домой Тэгрынэ. Зимние каникулы слишком коротки, от Хабаровска не доедешь. И письма втрое дольше будут идти... Правда, у старого Атыка сын учится ещё дальше — в Ленинграде. Но у Атыка и старуха жива и другие дети с ними живут. А у Мэмыля, кроме дочери, — никого.

Однако задерживать дочь Мэмыль не хотел. Наоборот! Пусть учится, пусть узнает всё то, чего не мог узнать Мэмыль, пусть откроются перед ней все пути, которые прежде были закрыты для чужей.

Тётя Нутэнэут приготовила в дорогу лепёшек, жаренных на нерпичьем жиру. Когда Тэгрынэ пришла прощаться, лепёшки были уже гото-

вы, дядя Гэмалькот аккуратно обернул их чистой тряпицей, а поверх — кожей, чтобы не замаслили чего-нибудь в чемодане.

— Ой, зачем же мне столько! — воскликнула Тэгринэ.

— Еда в дороге не тягость, — наставительно сказал Гэмалькот. — Едешь на день — бери запас на неделю.

— А едешь морем — запасайся вдвое, — добавила Нутэнэут. — Бери, Тэгринэ, ты ведь любишь эти лепёшки. И Мэмыль их любит. А дорога у вас дальняя, пригодятся.

— Морем мы — только до Анадыря. Отец только до Анадыря меня проводит. А оттуда он меня самолётом отправит. Это — за медаль. Он мне давно обещал.

— Самолётом?! — Нутэнэут опустила на китовый позвонок и посмотрела на племянницу так, будто та сразу изменилась. — Самолётом! Знала бы покойная Туар, что её Тэгринэ поедет учиться в Хабаровск! Да ещё по воздуху полетит, самолётом!

И Гэмалькоту, и Тэгринэ, и самой Нутэнэут стало от этих слов яснее всё значение предстоявшего полёта. Да, они уже привыкли к таким вещам, даже старики постепенно привыкли. А пятнадцать лет назад, когда жива была Туар, это казалось бы чудом. Как тревожилась бы Туар за свою дочь! И в то же время какой гордостью наполнилось бы её материнское сердце!

И вот стальная птица несёт Тэгринэ в Хабаровск на своих мощных крыльях. Несёт над заливами Охотского моря, над восточными отрогами хребта Джуг-Джур.

«В Хабаровске обязательно куплю для старика бинокль, — думает Тэгринэ, и при мысли об отце улыбка озаряет её лицо. — Куплю самый дорогой, чтобы ещё лучше был, чем тот».

Тэгринэ ловит себя на том, что мысли, только что казавшиеся ясными, последовательными, чёткими, вдруг спутываются, становятся расплывчатыми, растворяются в каком-то тумане. И глаза, оказывается, были закрыты. Видимо, она задремала, убаюканная полётом.

«Это его пример меня в сон вогнал, — думает Тэгринэ, разглядывая полного пассажира, сидящего перед нею. — Ему-то можно спать, он, может быть, уже двадцать раз летал. А мне нужно каждую секунду использовать. А то ещё самое интересное просплю».

Полный пассажир, по всей видимости, географ. Или геолог. Наверно, участник какой-нибудь экспедиции. Может быть, даже начальник экспедиции. Во-первых, на руке у него, рядом с часами, — компас. Во-вторых, когда все сдавали в багаж свои чемоданы, он сдал только большой рюкзак с четырьмя туго набитыми накладными карманами. Седина, умное, спокойное лицо... «Это профессор геологии, — решает Тэгринэ. — Его экспедиция открыла новое месторождение. Какое-нибудь очень ценное месторождение. Золото, или нефть, или апатиты. Его срочно вызвали в Москву для доклада правительству. И, скорее всего, он вовсе не дремлет, а обдумывает свой предстоящий доклад».

Конечно, этот пассажир может, в конце концов, оказаться не геологом, а инженером-строителем или бухгалтером-ревизором, ездившим в Анадырь проверять финансовый отчёт какого-нибудь учреждения. Но Тэгринэ мысленно уже помогает ему сочинять доклад для Совета Министров. «Дорогой товарищ Сталин! — сказала бы она на его месте. — Уважаемые товарищи министры! Я счастлив, что могу доложить вам об открытии, которое поможет дальнейшему расцвету одной из окраин нашей великой Родины. Месторождение, открытое нами, заставляет предполагать о наличии многих других полезных ископаемых

в том же районе. Они должны быть открыты, и они будут открыты! Местные кадры для этих работ уже растут. Вместе со мной летела в самолёте одна чукотская девушка. Она летела учиться...»

Тэгрынэ так увлекается, что забывает на минуту о своём намерении заниматься агробиологией, а не геологоразведкой.

Остальных своих спутников она немного знает. Они успели познакомиться ещё на аэровокзале в ожидании самолёта. Только этот приехал в последний момент. А во время промежуточной заправки он походил минут десять, чтобы размяться, сел на камень, вынул блокнот и записывал в него что-то до тех пор, пока лётчик не пригласил пассажира подняться в кабину. Так Тэгрынэ и не знает, правильно она определила его специальность или нет.

Два сотрудника Главсевморпути возвращаются из командировки. Один из них — известный лётчик, Герой Советского Союза, участник рекордных перелётов, поражавших весь мир в те годы, когда Тэгрынэ была ещё маленькой девочкой. Сейчас он уже немолод.

Стахановец рыбоконсервного завода чукча Рынтыргин летит на краевое совещание передовиков рыбной промышленности.

Уполномоченный Союзпушцины — маленький, хитроглазый, сам чем-то напоминающий пушного зверька — ведёт себя так, будто находится не над облаками, а в собственном рабочем кабинете. Он достаёт какие-то папки из своего огромного портфеля оранжевой кожи, перелистывает бумаги, испещрённые цифрами, подчёркивает что-то толстым красным карандашом.

Член президиума крайисполкома и корреспондент краевой газеты — тоже, видимо, бывалые воздушные путешественники. Они играют в шахматы. Тэгрынэ впервые видит такие шахматы: вместо доски нечто вроде кожного бумажника с чередующимися квадратиками тёмной и светлой кожи; фигурки плоские, из пластмассы, плашмя вставляющиеся в прорези квадратиков. Игроки так поглощены своим занятием, что даже головы не поднимают, в окошко не поглядят.

Что ж, Тэгрынэ тоже может заняться делом, она тоже уже не первый час в полёте.

Она вынимает из портфельчика книгу и пытается читать. Но из этого ничего не получается: глаза всё время тянутся к окошку, за которым с каждой минутой открываются всё новые картины, полные редкостной, неповторимой красоты.

Когда самолёт чуть кренится влево, Тэгрынэ через склонённые головы шахматистов видит сияющий простор моря. Только один раз виден был маленький парходик, а всё остальное время — необъятная поверхность моря, каждой волной своей отражающая солнце.

А справа, за окошком, возле которого сидит Тэгрынэ, — горы, горы, горы. Могучие горные хребты, величественные снежные вершины, высокогорные плато. Может быть, это Оймяконское плоскогорье? Нет, Оймяконское плоскогорье уже должны были пролететь.

Полный пассажир открыл наконец глаза. Тэгрынэ решает воспользоваться этим.

— Когда смотришь вниз, — говорит она, — кажется, будто под нами не настоящая земля, а географическая карта. Посмотрите, совсем как на карте. Правда?

— Да. Когда летишь на большой высоте, сходство с картой становится ещё сильнее.

— А сейчас мы разве не на большой высоте летим?

— Сейчас? — полный пассажир посмотрел вниз. — Сейчас около тысячи метров будет.

— Тысяча метров?! Целый километр от земли?!

— Да. Вы, видимо, впервые совершаете воздушное путешествие?

— Впервые. А это очень заметно?

— Нет, отчего же... Почти совсем незаметно. А что касается сходства земной поверхности с её условным изображением на карте, то это факт не такой простой, как кажется. Учтите, что условные обозначения картографии были приняты задолго до того, как появилась авиация. И вот, представьте, они почти совпали с той картиной, которая действительно открывается перед нами с птичьего полёта. Замечательное, по-моему, совпадение!

«Определённо географ!» — думает Тэгринэ, с интересом слушая полного пассажира. Ей всё это и в голову не приходило, когда она сказала, что сверху земля похожа на карту.

Она снова смотрит в окно. Горы здесь уже не такие, как были прежде. Они темнозелёные, но эта окраска не ровная, не спокойная, это не может быть цветом самих гор. Это похоже скорее на сплошное многотысячное стадо каких-то удивительных животных, пасущихся на склонах. Да, да, всё дело именно в этом: темнозелёная, кудреватая масса почему-то кажется Тэгринэ живой. «Лес!» — догадывается Тэгринэ.

— Скажите, пожалуйста, — спрашивает она, — это не леса? Вон там, на склонах.

— Леса. Самые настоящие горные леса. Безлесная тундра давно уже позади.

«Леса! Настоящие леса!» — повторяет про себя Тэгринэ. Как давно уже мечтала она увидеть их!

В её родном посёлке, рядом с ярангами, стоит уже несколько бревчатых домов. Пароходы привезли их на Чукотку в разобранном виде — сотни брёвен на одном пароходе. Вдоль улицы стоят столбы, на них, раскачиваемые ветром, висят электрические лампочки. Столбы — это тоже брёвна, а каждое бревно было когда-то стволом живого дерева — растущего, зелёного, помахивающего ветвями на ветру, перешёпывающегося о чём-то со своими соседями. Тэгринэ не раз читала об этом, не раз любовалась снимками с картин, изображавших лес. «Если бы все брёвна, какие есть в нашем посёлке, — думала она, когда была ещё девятиклассницей, — вдруг воскресли бы, встали, пустили корни, оделись листвой... Целый лес, наверно, получился бы!»

Осенние штормы не раз выбрасывали на берег стволы больших деревьев. Листвы на них не было, ветки были обломаны, но всё-таки жизнь ещё чувствовалась в них. Тэгринэ могла часами рассматривать такой подарок моря, пока Мэмыль или кто-нибудь другой из охотников не начинал разделявать его на брусья, собираясь мастерить новые нарты или остов байдары.

А теперь Тэгринэ уже летит над такими местами, где на сотни километров тянутся дремучие леса. «Шум деревьев, — думает Тэгринэ, — на что он похож? На завывания вьюги или на шум прибоя? Или, может быть, на гул авиадвигателя?»

Она решает, что в Хабаровске, как только оформит свои дела в институте, непременно пойдёт в ближайший лес. Или поедет, если это не очень близко. Потрогает руками стволы живых деревьев, посмотрит, как машут они ветвями навстречу ветру, послушает, как они шумят.

Она хочет спросить своего соседа, есть ли леса под Хабаровском, но видит, что глаза у него опять закрыты. Дремлет он или думает, прикрыв глаза, чтобы не рассеивалось внимание? И в том и в другом случае нечего, конечно, надоедать ему своими расспросами.

Сколько ни старалась Тэгринэ запечатлеть в памяти каждый момент путешествия, не пропустить ничего интересного, но случилось так,

что соседям пришлось разбудить её, когда самолёт приземлился на хабаровском аэродроме. Сказалась, видимо, усталость. Всю ночь накануне отлёта Тэгрынэ прошептала со своей анадырской подругой, у которой они с отцом останавливались. Отец спал в соседней комнате, и подружки не смыкали глаз до рассвета. Бессонная ночь, расставание, обилие новых впечатлений во время полёта, — всё это утомило Тэгрынэ.

— Дальше не полетим, — говорит полный пассажир, притрагиваясь к её плечу. — Доброе утро! — с улыбкой добавляет он, хотя на дворе уже поздний вечер.

Тэгрынэ выходит из самолёта. Совсем темно, как зимой. На Чукотке в августе даже глубокой ночью не бывает такой темноты.

Вместе со своими спутниками она идёт по полю к освещённому зданию аэровокзала.

— С прилётом, товарищи! — говорит дежурный по аэровокзалу. — Присаживайтесь, отдыхайте. Автобус будет ровно через пять минут. А ваша машина здесь, Юрий Николаевич, — обращается он к члену президиума крайисполкома. — Уже с полчаса дожидается.

— Отлично, — говорит Юрий Николаевич. — Ну, товарищи попутчики, кто из вас со мной? Могу предложить три места.

— Спасибо, — отвечает знаменитый лётчик. — Мы автобуса подождём.

— Вас-то я, так и быть, оставлю. Вы у нас в Хабаровске свой человек. А вот товарищей, которые здесь впервые, доставлю до места назначения... Здравствуй, Игорь! — приветствует он своего шофёра, зашедшего в это время в зал. — Возьми-ка, будь другом, чемодан товарища Рынтыргина. А я, Тэгрынэ, возьму, если разрешите, ваш чемодан. Ого! Увесистый! Признавайтесь — книги?

— Книги. Главным образом книги.

— Так я и думал. И вас, товарищ Холмогоров, как гостя я тоже попрошу в машину.

Холмогоров — это фамилия полного пассажира. Он говорит:

— Я у вас в Хабаровске частый гость. И, кроме того, я один всю вашу машину заполню.

Но Юрий Николаевич увлék за собой и его.

Город освещён, но Тэгрынэ почти ничего не может разглядеть: её посадили посередине, правое окошко заслонил Холмогоров, левое — Рынтыргин. Оба они вышли возле гостиницы «Амур», и машина помчалась к общежитию пединститута.

Свернули в переулок, в котором нет ни одного фонаря. Видна только узкая полоса мостовой, освещённая автомобильными фарами.

— Безобразие! — ворчит Юрий Николаевич. — Безобразие. Две недели осталось до начала учебного года, а ещё света сюда не дали. Район это, понимаете ли, новый, только начинаем застраивать. Но строители клялись на президиуме, что к первому сентября в студенческом общежитии и свет будет, и вода, и всё прочее.

Машина останавливается, шофёр выносит чемодан Тэгрынэ, ставит его у дверей и возвращается на своё место. Но они не уезжают до тех пор, пока на стук Тэгрынэ не отзывается изнутри комендантша.

— Сейчас, сейчас! — слышен её сонный голос. — Кто там?

После непродолжительных переговоров она отправляется за ключами.

— До свидания, Тэгрынэ! — кричит Юрий Николаевич. — Ни пуха, ни пера!

— До свидания!

Машина осторожно разворачивается и уходит. Тэгрынэ остаётся одна. Налетает ветер, над головой раздаётся какой-то шум, будто ветер го-

нит тысячи сухих снежинок и они шелестят о верхние шкуры яранги. Но какой же в августе снег?! Нет, это похоже скорее на шелест множества крыльев — так бывает, когда низко, над самой головой, проносится огромная гагачья стая.

Комендантша возвращается с ключами и открывает двери.

Тэгрынэ поместили в комнату, где спят ещё две девушки. Спит, собственно, одна из них, другая проснулась и через минуту после того, как Тэгрынэ легла, спрашивает её:

— Девушка, ты ещё не спишь?

— Нет ещё.

— Тебя как звать?

— Тэгрынэ.

— Тэгрынэ? Никогда такого имени не слыхала. Красивое имя. Ты с Чукотки, да?

— Да. А тебя как звать?

— Меня — Светланой. Сокращённо — Светой. А ты почему так поздно приехала? Ведь экзамены уже скоро кончатся.

— Меня уже зачислили. Я документы по почте послала, мне ответили, что зачислена.

— Медалистка?

— Да. Только у меня — серебряная.

— Всё равно без экзаменов. Молодец! Ну, спокойной ночи, ты, наверно, устала с дороги. Долго ехала?

— Нет. Я — самолётом.

— Да ну?! И не страшно?

— Ни капельки.

— Ой, как интересно! Завтра ты нам всё-всё подробно расскажешь. Я ни разу в жизни не летала. А сегодня давай спать, нам завтра с утра на консультацию.

— Спокойной ночи.

Но минуты через две Светлана снова шепчет:

— Тэгрынэ, ты не заснула ещё?

— Нет.

— Ты на какой факультет поступаешь?

— На естественный. А ты?

— Я на литературный. Факультет русского языка и литературы. И Варя — на литфак. Вон та девушка, соседка наша. Её Варей зовут.

— Я на литературный тоже хотела. Только мне ответили, что на два нельзя.

— Нет, на два сразу не разрешается. Только на один можно.

— Да. Мне ответили, что зачислили меня на естественный, а литературой я смогу заниматься в кружке.

— Правильно, в литературном кружке. И кроме того... Слушай, знаешь, что я придумала?

— Что?

— Вот что. Меня естественные науки тоже очень интересуют. Давай условимся так: я тебе буду рассказывать про всё, что проходят на нашем факультете, а ты мне — про всё, что на вашем. Согласна?

— Согласна.

— Вот и договорились. А теперь будем спать. А то, если я после завтра провалюсь, весь наш уговор лопнет.

Девушки умолкают, но опять только на одну минуту. На этот раз молчание прерывает Тэгрынэ.

— Светлана! — шепчет она еле слышно, чтобы не потревожить свою новую подругу, если та уже начала засыпать.

- Да?
- Светлана, один только вопрос. Ты не знаешь, здесь можно купить бинокль?
- Что купить?
- Бинокль.
- Бинокль? Конечно, можно. Здесь всё можно купить. Я тут уже побегала немного по магазинам. Я ведь в Хабаровске тоже первый раз.
- А ты откуда?
- Из Комсомольска. А зачем тебе понадобился бинокль?
- Это долго рассказывать.
- Жених просил прислать?
- Нет, это не для жениха. Я тебе завтра расскажу. Спокойной ночи. Девушки наконец засыпают.

Утром Тэгрынэ просыпается оттого, что солнце, прорываясь сквозь занавески, светит ей прямо в лицо. Рядом с кроватью, на стуле, висит её платье, а к платью приколото записка. Тэгрынэ откалывает её и читает: «Девушка, мы побежали на консультацию (извини, я за ночь забыла твоё имя; помню, что красивое, а какое именно — забыла). Не хотели тебя будить, уж очень ты сладко спала. Припасами, которые в наших тумбочках, можешь распорядиться, как своими. Советуем заглянуть в тумбочки, там есть кое-что вкусное. Если тебе понадобится утюжок, можешь попросить у комендантши. Зовут её тётя Дуня. Ток уже включили, можно пользоваться электрическим утюгом. Если пойдёшь в институт и захочешь найти нас, — мы в 62-й аудитории. Света и Варя».

Да, утюжок, пожалуй, понадобится. Сегодня, видать, солнечно, можно надеть белую блузку, а она, наверно, порядком измялась в чемодане. Что касается припасов, которые лежат в тумбочках Светы и Вари... Интересно, какие там вкусные вещи? Нехорошо отказываться, когда тебя угощают от всего сердца. Затё потом, когда девушки вернутся в общежитие, Тэгрынэ угостит их лепёшками, приготовленными тётей Нутэнэут. Только понравятся ли им эти лепёшки, жаренные на нерпичьем жиру?

Не выпуская из руки записку, Тэгрынэ снова откидывается на подушки и сладко потягивается.

Какие странные занавески! Пятнистые какие-то... И эти пятнышки шевелятся! Они дрожат, перемещаются, становятся то темнее, то светлее!.. Тэгрынэ зажмуривается, по-детски протирает кулачками глаза. Ой нет, это вовсе не пятнышки, это какие-то тени с улицы. Это...

И вдруг Тэгрынэ понимает, что это. Когда-то, в каком-то кинофильме, она уже видела эти солнечные блики, играющие в колеблемой ветром листве.

Босиком, в одной рубашке Тэгрынэ бросается к окну, широко распахивает его. Две высокие стройные берёзы протягивают к ней свои ветви. Вот эти зелёные, прохладные листья, их можно потрогать руками, прижать к щеке, к губам...

Тэгрынэ смотрит вниз. Так и есть, это второй этаж. Значит, вчера вечером, когда она стояла внизу, а тётя Дуня пошла за ключами... Ну, конечно, откуда здесь возьмётся гагачья стая! Просто она не привыкла к тому, что растения могут шелестеть не у самой земли, а высоко над головой. Это берёзы шумели над ней вчера вечером, это берёзы поздравляли её с приездом!

Авторизованный перевод А. Смоляна.



КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

★

ПАМЯТИ КИРОВА

Мы слишком малы ещё были,
Не знали почти ничего,
Но мы уже очень любили
Лицо и улыбку его...

И в школе бревенчатой местной,
Куда мы ходили чуть свет,
Висел его самый известный,
Любимый народом портрет...

Позёмка свистела в кюветах
Той снежной, морозной зимой,
Когда появились в газетах
Портреты с печальной каймой.

Везде: в поездах и квартирах,
В далёких и близких местах —
Внезапно тревожное: Киров...
Звучало у всех на устах,

В тот день увидали с утра мы,
Войдя в изменившийся класс,
Что смотрит из траурной рамы
Он с прежней улыбкой на нас.

И с этого дня, — я считаю
И этим гордиться могу; —
Я понял, что значит святая,
Всесильная злоба к врагу.

Совсем незаметная ранка,
А он не подымется. Нет.
Качается чёрная рамка,
Плывёт пред глазами портрет...

Вовек не забудется это.
Но время проходит, и мы
Встречаем всё те же портреты
Опять без печальной каймы.

Пережиты многие годы
Трудов, испытаний, разлук,
Но жив он, любимец народа,
Великого Сталина друг.

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

★

ТОВАРИЩИ ПО ОРУЖИЮ

Роман *

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

Ранным утром Артемьева вызвал к себе полковник Постников и официально сообщил ему, что с сего числа, 28 августа, он приказом начальника штаба отчислен из оперативного отдела и переведён в разведывательный. Это не было для Артемьева неожиданностью: уже с третьего дня наступления он фактически работал в разведотделе, занимаясь разборкой и переводом захваченных документов.

Документов было так много, что разведывательный отдел задыхался, и за переводы постепенно засадили не только Артемьева и двух человек из политотдела, но даже одного военврача, владевшего японским.

Вопрос о переводе Артемьева был предрешён, но, отпуская его, Постников не преминул выразить своё неудовольствие.

— За два месяца я пришёл к убеждению, что из вас может выйти толк, — недовольно сказал он своим ворчливым, поскрипывавшим, как новые сапоги, голосом.

Это была похвала, в которой, однако, звучало сомнение: выйдет ли из Артемьева толк под руководством другого, менее требовательного начальника, чем Постников.

— К сожалению, я был принуждён отпустить вас, потому что, к сожалению (второе «к сожалению» Постников произнёс с язвительным нажимом), у нас в армии со знанием иностранных языков дело обстоит ещё так плохо, что, оказывается, держать в оперативном отделе человека, знающего японский язык, — непозволительная роскошь. Оказывается, таких людей у нас нехватает даже для разведотделов. Когда придёт время подвести итоги операции, я буду докладывать об этом. Мы уже сейчас испытываем неудобство, и если не возьмёмся в этом вопросе за ум, то ещё хватим горя в большой войне.

По необычному многословию Постникова Артемьев понял, что тот раздражён; должно быть, имел неприятное объяснение с начальником штаба и, подчинившись, остался на своей точке зрения, которую и высказывал теперь невольному виновнику своих неприятностей.

— Желаю всего наилучшего. Служите! — сказал в заключение Постников и протянул Артемьеву руку. — У Шмелёва характер помягче моего, но вы не обращайтесь на это внимания, продолжайте служить так, словно у вас попрежнему стоит над душой такой старый унтер, как я.

Артемьев покраснел. Молодые командиры оперативного отдела, в том числе и он, частенько именно так и величали между собой Постникова. Но Постников тиснул ему руку крепко, по-дружески, и лицо

* Окончание. См. «Новый мир» №№ 10 и 11 с. г.

его осветилось насмешливой улыбкой умного и уже немолодого человека, равнодушного к тому, что о нём говорит между собой молодёжь, — лишь бы служила так, как того требует служба.

Простившись с Постниковым, Артемьев пошёл в разведотдел. Длинная палатка разведотдела снаружи походила на госпитальную. Внутри стояло пять больших столов и маленький столик машинистки, которая обычно дежурила круглый день, лихорадочно печатала под диктовку, то и дело с оглушительным треском переводя каретку, а в перерывах дремала, склоняясь на машинку и подложив под щёку припасённую для этого маленькую подушечку.

Вчера все, в том числе и Артемьев, кончили работать в пять утра, и, однако, Постников, не привыкший считаться с такими вещами, велел поднять Артемьева в семь. Поэтому, когда Артемьев вошёл в палатку, там ещё никого не было, даже машинистки, которая обычно являлась первой и, каждый раз мечтая, чтобы все пришли хоть немножко попозже, досыпала, сидя за машинкой.

В палатке стояла тишина. Только изредка долетали далёкие звуки боя с Ремизовской сопки да слышались негромкие шаги ходившего взад и вперёд возле палатки часового-пограничника.

Артемьев сел за стол и придвинул к себе одну из двух оставшихся с ночи неразобранными, туго набитых японских офицерских сумок. Но то ли на него подействовали тишина и одиночество, то ли он просто вдруг взглянул другими глазами на успевшую стать привычной обстановку, — вид палатки, когда он обвёл её взглядом, поразил его.

Разбирая сундуки и портфели со штабными документами, полковые и батальонные денежные ящики, офицерские сумки, унтер-офицерские и солдатские ранцы, разведчики отделяли главное от второстепенного. Главным были карты, штабные бумаги, личные документы, дневники и неотправленные письма с места боёв в Японию; второстепенным считались журналы и газеты, письма, пришедшие из Японии, и фотографии. Главное раскладывалось на столах и поспешно разбиралось, а второстепенное день за днём сбрасывалось на пол. Среди этого второстепенного было особенно много фотографий. Почти все окружённые у Халхингола части уже давно стояли в оккупированной Маньчжурии, и люди, много лет подряд топтавшие чужую землю, с каждым годом носили при себе всё больше и больше присланных из Японии фотографий. Особенно много их было в офицерских сумках. За восемь дней боёв фотографии покрыли в палатке весь земляной пол, оставались только узкие дорожки от входа к столам.

Охваченный неожиданно тоскливым чувством при виде этого, казалось бы, уже привычного зрелища, Артемьев встал из-за стола, нагнулся и, спёршись руками о колени, стал рассматривать то, что лежало у его ног.

Из-под приоткрытого полога палатки слегка задувал ветер, и фотографии уныло и жёстко шуршали, как жестяные цветы на кладбище.

Здесь были фотографии мужские и женские, фотографии стариков и старух, чьих-то детей и чьих-то родителей, снятых на фоне вековых сосен и карликовых деревьев, на фоне улиц с бегущими рикшами и бумажными фонарями, на фоне деревянных храмов с большими пузатыми буддами, на фоне маленьких домашних алтарей, украшенных узкими свитками с изображением цапель и черепах — символов счастья и долголетия.

Здесь были открытки с видами горы Фудзи-яма, с ветками цветущей вишни, с чайными домиками. Здесь была сфотографирована далёкая чужая жизнь, принадлежавшая мёртвым и лежавшая под ногами живых

людей, которые тоже могли завтра погибнуть, но сегодня псбеждали, были живы и выполняли свой служебный долг, роясь в этом безбрежном архиве смерти.

Артемов был далёк в эту минуту от чувства жалости. От этих тысяч лежавших на полу фотографий пахло разгромом врага — то есть как раз тем, чего он желал и во имя чего действовал.

Не жалость к перешагнувшим границу и теперь убитым захватчикам, а что-то другое, тоскливое и сильное, относящееся к нему самому, томило его сейчас, когда он глядел на эти фотографии. Что-то беспощадно равнодушное к чужим судьбам было в этом зрелище, что-то рождавшее ощущение большого и безжалостного хода событий, когда вдруг чувствуешь, как обрывается сердце, как на минутку становится жалко самого себя — своего тела, глаз, рук, которые могут быть вот так же просто и беспощадно уничтожены, когда вдруг стансвится нестерпимо жаль своих родных и близких, для которых ты — что-то очень большое, занимающее огромное место в мире... А ведь случись иначе, и от тебя мог остаться вот так же, как здесь, просто растоптанный чужими ногами бумажник с фотографиями...

Артемов ошупал карман гимнастёрки, где вместе с партийным билетом и командирским удостоверением лежали фотографии сестры и матери, и подумал, что в безнадёжном бою, в кольце врагов, на пороге смерти, он непременно зарыл бы или сжёл эти фотографии вместе с документами!

Вернувшись к столу, Артемов снова принялся за просмотр офицерской сумки. Она принадлежала командиру роты 26-го полка 7-й пехотной дивизии поручику Окамото. В чёрной клеёнчатой записной книжке поручика были заполнены всего две страницы. Первая не представляла интереса. Это был нацарапанный нервной скорописью дневник за 20 августа. На второй странице, помеченной позавчерашним днём, 26 августа, была на скорую руку набросана схема высоты с показанными на ней окопами и блиндажами. Судя по всему, это был один из отрогов Песчаной сопки. Между обозначениями двух блиндажей Артёмов увидел маленькие, перечёркнутые крестиками кружочки с надписями: «Майор Сато», «Капитан Отани», «Поручик Хаяси», и понял, что несколько неразгаданных им сначала пометок на вынутой из сумки карте тоже обозначали места, где были зарыты трупы убитых офицеров. Очевидно, педантичному поручику Окамото выпало на долю умереть последним.

В личных документах поручика значилось, что он окончил офицерскую школу в Саппоро и получил медаль за участие в боях у Лугоуцяо.

Артемов кратко занёс в свою тетрадь и то и другое. Сведения о том, что в Саппоро есть офицерская школа, попались Артёмову впервые. О медали, полученной за Лугоуцяо, он записал не для себя, а для корреспондентов из армейской редакции, каждый день заезжавших в разведотдел в поисках чего-нибудь интересного. Инцидент у станции Лугоуцяо два года назад послужил японцам предлогом к вторжению из Маньчжурии в Северный Китай, и корреспондентов могла заинтересовать поучительная судьба поручика, начавшего с медали за Лугоуцяо и получившего пулю в лоб на Халхин-голе.

Теперь в сумке осталась лишь толстая пачка фотографий. Чтобы не терять времени, Артемов раскрыл их сразу веером, как игральные карты, и, бросив на пол остальные, задержался на двух. На одной, судя по схожей карточке в документах, был сфотографирован сам поручик. Он позировал, опершись на офицерский меч и гордо подняв лицо с реденькими щёточками усов, одна нога его стояла на деревянной приступке,

старый, лысый чистильщик, должно быть китаец, двумя щётками полировал ему сапог. На заднем плане была видна часть двухэтажного домика, похожего на деревянные купеческие дома в старых губернских русских городах. На доме висела вывеска, уходящая за пределы фотографии: «Русская кухня. Завьялов и С-ья. Фирма суц...». Вероятно, дело происходило в Харбине, а поза и фон были выбраны склонным к символике поручиком, надевшимся, увидев у своих ног покорённый Китай, затем шагнуть в соблазнительную Россию.

На второй фотографии была снята большая грязная, вся в лужах площадь; в конце площади виднелись развалины китайских фанз; а посредине стояли четыре высоких и тонких бамбуковых шеста с посаженными на них головами; рядом с шестами, в грязи, лежали обезглавленные тела; а на прикрепленных к шестам длинных и узких полосках бумаги было сверху вниз написано иероглифами, что такая же участь ждёт каждого пойманного «красного дьявола».

Артемьев перевернул фотографию. На обороте ничего не было написано. Где происходило это? В каком из бесчисленных китайских городов или городков, занятых сейчас японскими гарнизонами, сложили после пыток свои головы эти четыре партизана? О чём они думали перед смертью? Что вспоминали? Своих обречённых на сиротство сыновей? Или своих оставшихся в живых товарищей? Или штаб 8-й Красной армии, где у Чжу Дэ на большой карте Китая маленькой точкой отмечено место их последнего боя?

Артемьев, задумавшись, попробовал провести мысленную линию отсюда, от Халхин-гола, к юго-западу — через монгольскую границу, через степи Гун Шандак, через хребет Хуанхуашань, через Великую Китайскую стену до спрятанной в скалах Северного Шаньси Красной Яньани — города, откуда Мао Цзе-дун и Чжу Дэ руководят всем непокорённым Китаем. Если взять прямо по линейке, то отсюда до легендарной Яньани всего 1400 километров, почти как до Иркутска.

«Интересно, знают ли сейчас там, в Яньани, о последних событиях здесь, в Монголии, о том, что целая японская армия окружена и уже почти вся погибла тут, на Халхин-голе? Наверное, знают. Есть ведь радио, да и не только радио. Ведь как-то попала же в Москву та статья Мао Цзе-дуна — о едином антияпонском фронте, — что недавно была напечатана в «Красной звезде»?

Через час, когда, разобрав вторую офицерскую сумку, Артемьев углубился в чтение вынутых из неё документов, палатка постепенно начала наполняться людьми. За соседним с Артемьевым столом уже работали два командира разведотдела, и скоро в палатку вошёл третий — майор Беленков, старший по званию и должности среди всех работавших в палатке.

— Во-первых, к общему сведению, — весело сказал он, — ночные данные подтвердились: весь район Песчаной сопки полностью очищен, так что на повестке дня осталась только одна Ремизовская. Во-вторых, тебя, — кивнул он Артемьеву, — вызывает начальство.

Артемьев отложил в сторону документы и пошёл к выходу, но Беленков, задержав его, спросил с некоторой тревогой в голосе:

— Слушай, я не напугал? Мы с тобой как-то говорили, — ты ведь, кажется, неплохо ездилшь верхом?

— Нет, не напугал, как будто неплохо, — сказал Артемьев. — А что?

— У Шмелёва задание такого рода, — сказал Беленков, — что я отбоярился, благо — заядлый пехотинец и сижу на лошади, как собака на заборе. А тебя, наверное, запрягут.

Через минуту Артемьев вошёл в юрту начальника разведотдела пол-

ковника Шмелёва. Рядом с полковником, на краешке аккуратно заправленной шмелёвской койки, сидел капитан-пограничник; Артемьев мельком видел его до этого два или три раза и знал, что он командует ротой пограничников, охранявшей штаб.

Шмелёв сидел на табуретке в обычной своей небрежной позе, положив ногу на ногу, обхватив колено длинными, заросшими золотистым волосом руками и легонько раскачиваясь.

— Значит, окончательно отдали вас мне. Уже знаете об этом? — встретил он вопросом вошедшего Артемьева.

— Так точно, знаю! — сказал Артемьев.

— Беленков не приврал в целях самосохранения, что вы на лошади, как бог?

— Бог не бог, но по конному спорту занимал в академии неплохое место.

— Значит, факт, хотя и трудно поверить, — сказал Шмелёв, оглядев массивную фигуру Артемьева. — Как, Данилов? — повернулся он к капитану-пограничнику. — Выдержат его монгольские лошадки?

— Ничего, они выносливые, — без улыбки сказал Данилов, — да и сменные будут.

— Вкратце задание такое, — сказал Шмелёв, сняв ногу с ноги и перестав покачиваться. — Сейчас возьмёте мою «эмку» и поедете с Даниловым на левый фланг к монголам, в шестую кавдивизию. Там я договорился — выделяют вам каввзвод под командой капитана Шагдара, начальника их дивизионной разведки. Боевой командир и неплохо знает русский, год стажировался у нас в Союзе. Машину вернёте и верхами поедете в поиск на юго-запад от озера Буир-нур — вдоль границы. Мы ожидаем там перехода японской диверсионной группы. Возможно, они перейдут границу под видом аратов — тогда с ними будет табун, может быть, даже арба, в общем, всё, что полагается. Группа будет человек в пять—семь. Задание — взять живьём. Обратите внимание на слово «живьём». И ты обрати внимание, Данилов.

— Я уже обратил, — сказал Данилов.

— Одну такую группу, — продолжал Шмелёв, — которая успела отравить восемь колодцев и убить одного нашего лётчика, мы на днях окружили. троих застрелили, а четвёртого схватили, но он по дороге чего-то проглотил и подох. Наверное, слышали об этом от товарищей по отделу?

— Краем уха, товарищ полковник, — сказал Артемьев.

— Правда, кое-что на них взяли, но командующий так ругался, — Шмелёв хотел было пояснить, как ругался командующий, но раздумал, — в общем, так ругался, что я вам эту ошибку повторять не советую. Данилов по его личному приказанию едет, — кивнул Шмелёв на пограничника, — как командир группы. А ваша задача — не только помочь взять, но и, когда возьмёте, — снять первый допрос. Целые, раненые, полумёртвые — какие будут — допросить сразу же, пока не опомнились! — Впервые за весь разговор в устах Шмелёва прозвучала профессиональная жёсткая требовательность. — Карта и все дополнительные данные — у Данилова, он познакомит вас с ними в дороге.

— Есть! — сказал Данилов и встал.

— Между прочим, знаете, как они с лётчиком справились? — спросил Шмелёв, когда Артемьев встал вслед за Даниловым. — Хороший лётчик-истребитель из козыревской группы. Сто раз видел смерть в глаза, а тут опоздал на грузовик, в темноте пешком пошёл один к месту ночёвки. Нашли его только утром в километре от лётного поля. Голый, весь обмотан телефонной проволокой, кляп во рту, и белый, как бумага.

Они его даже не убили, а просто рассчитали, что за ночь из него комары всю кровь выпьют.

— А как фамилия? — порывисто спросил Артемьев, сразу вспомнив дорогу от лётного поля к юртам, вспомнив Полынина, братьев Соколовых и всех других лётчиков, с которыми он успел познакомиться.

Шмелёв назвал незнакомую Артемьеву фамилию. — Вот что они делают с нашим братом! — добавил он помолчав. — А ваша задача — доставить их живыми. Живыми! Слышишь, Данилов?

— Ясно, товарищ полковник, — отчеканил Данилов, вытянувшись, но, как показалось Артемьеву, с некоторой досадой.

— А вам ясно?

— Так точно, всё ясно! — охотно и весело отозвался Артемьев, который хотя и раскопал за дни сиденья в разведотделе несколько важных японских документов и был горд этим, но сейчас очень обрадовался возможности оторваться от бумаг и поехать в степь. — Только бы встретить, а живьём возьмём!

На умном лице Шмелёва изобразилась недоверчивая гримаса — он сам был увлекающийся человек и боялся этого в других. Ничего не ответив, он отпустил обоих командиров и сразу же уткнулся в покрывавшую весь его стол гору бумаг.

Около полудня «эмочка» с сидевшими в ней Артемьевым, молчаливым Даниловым и двумя ещё более молчаливыми, чем их начальник, бойцами-пограничниками обогнула Баин-Цаганское плоскогорье.

Судя по карте, которую, раскрыв планшет, рассматривал сидевший впереди Данилов, — чтобы добраться до штаба 6-й монгольской дивизии, следовало через два километра свернуть на восток, к северной переправе. Помеченная на карте пунктиром, хорошо накатанная степная дорога, по которой они ехали, шла ещё дальше на север и километров через пятнадцать обрывалась у озера Буир-нур, того самого, чьё название фигурировало в первых сообщениях ТАСС о разразившемся конфликте. Там, где пунктир упирался в берег озера, на карте стоял маленький значок и надпись: «Монголрыба».

— Что за «Монголрыба»? — спросил Артемьев.

— Посёлок. До начала конфликта тут были наши, на паритетных началах с монголами, небольшие рыбные промысла, а теперь — монгольская погранзаезда, — ответил Данилов. — Нам как раз туда, но надо раньше заехать в штаб дивизии. Смотри, — повернулся он к шофёру, — чтобы поворота не пропустить.

Но пропустить поворот оказалось невозможным. Ещё через километр, прямо поперёк дороги, стоял связной броневичок; двое людей, вылезших из раскалённой стальной коробки, лежали в траве возле броневичка, видимо, ожидая кого-то. Заслышав шум подъезжавшей машины, они вскочили и замахали руками. Потом один из них, судя по кожаному шлему, водитель, пошёл к броневичку, а другой, в кавалерийской монгольской фуражке, подошёл к «эмке» с той стороны, где сидел Данилов.

— От полковника Шмелёва? — спросил монгол, с трудом выговаривая русские слова. — Штаб дивизии?

— Да.

— Штаб не надо, — отрывисто сказал монгол. — Нахор Шагдар. Цирики. Твои лошади. «Монголрыба»!

Он показал пальцем на север.

— Там ждёт! Ваш штаб — наш штаб телефон был.

Монгол для ясности сделал лёгкое вращательное движение рукой и, взглянув на часы, привычно по-военному сказал:

— Двенадцать ноль-ноль. Одиннадцать ноль-ноль Шагдар уже там. «Монголрыба». Ждёт.

Он повернулся, быстро пошёл к своему броневичку, влез в него, и броневичок запыхал по дороге на север, как бы приглашая «эмку» следовать за собой.

— Люблю с ними работать, — захлопнув дверцу машины и давая шофёру знак ехать, сказал молчавший до этого почти всю дорогу Данилов. — Чёткий народ. Нам «маяка» выслали, а люди и кони уже на «Монголрыбе».

Он замолчал и вернулся к этой теме только через десять километров, которые они сделали по пятам за немилосердно пылившим броневичком.

— И там долго не задержимся, вот увидите. Лошади уже покормлены, и баран в казане. Только нас ждут, чтобы поесть перед дорогой, а потом до ночи без привалов.

Ещё через несколько километров сквозь клубы пыли, вылетающие из-под колёс броневичка, впереди показалось что-то яркозелёное, свинцово-голубое и белое. Броневичок так резко затормозил, что «эмка» чуть не налетела на него, и стал разворачиваться. Развернувшись, он остановился около «эмки».

Монгол открыл железную дверцу, приложил руку к козырьку фуражки, снова захлопнул дверцу, и броневичок, пыля, покотился в обратном направлении. «Эмка» проехала ещё двести метров и остановилась.

Свинцово-голубое оказалось озером Буир-нур, яркозелёное — зарослями по его берегам, а большое — длинным, низким, белёным, как украинские хаты, бараком «Монголрыбы», где теперь размещалась монгольская погранзастава.

Поодаль было вкопано в землю несколько длинных столов, наверное, служивших раньше для разделки рыбы, а около самого барака стоял турник, на котором крутил «солнце» какой-то человек, быстро соскочивший на землю при виде машины. Неподалёку в зарослях паслись лошади. На берегу озера был разложен костёр; над ним на двух сошках висел казан. Возле костра стояли двое военных; они обернулись и пошли навстречу машине.

— Вот вам и казан, — Данилов выскочил из машины и с удовольствием прищёлкнул языком, обнаруживая, что и его суровой натуре не чужды слабости.

— Здравствуйте, товарищ Данилов! Рад вас снова увидеть, — идя навстречу Данилову и Артемьеву, говорил по-русски молодой монгол с капитанскими значками на петлицах. Он был, что называется, неладно скроен, да крепко сшит — невысокий, с широченными — не по росту — сутуловатыми плечами и чугунными шарами мускулов под гимнастёркой. Его широкоскулое простое лицо тоже дышало силой.

— Шагдар, — протянул он руку Артемьеву, после того как обменялся рукопожатием с Даниловым. — Мы с вами не знакомы, но, может быть, вы встретите здесь знакомого.

Не сразу поняв, кого имел в виду Шагдар, Артемьев с недоумением пожал руку второму монголу — начальнику погранзаставы — и только в эту секунду узнал человека, который крутил «солнце» на турнике, а сейчас быстрыми шагами приближался к ним. Это был Санаев, отпустивший короткую, чёрную, как смоль, бородку.

— Узнал, что к нам едет Артемьев, — кричал он ещё на ходу, мягко ступая по песку своими кривоватыми ногами в низких шевровых сапожках со шпорами, — и думаю, неужели тот самый? Сел на коня...

Не догворив, он привстал на носки, обнялся с Артемьевым и сразу

же, отдаваясь на расстояние вытянутой руки, критически, сверху донизу, осмотрел его своими быстрыми чёрными глазами.

— Здравствуй, бородач, — сказал Артемьев, — очень рад тебя видеть. Ты это что же, для солидности? — кивнул он на бороду.

— Сначала с тоски, — сказал Санаев. Он оглянулся, но монголы вместе с Даниловым уже отошли к костру, оставив их с Артемьевым вдвоём. — Затосковал в первые недели у монголов, пока не подружился и бои не начались. Всё-таки — всего один русский человек на всю дивизию, да и тот осетин, — улыбнулся Санаев. — Ну, а потом тоска прошла, а борода осталась. Кстати, тут на востоке бороды не ахти, а у меня — смотри, какая редкостная борода!

Он рассмеялся и округлым жестом погладил свою действительно красивую, тщательно подстриженную бородку.

— Я, между прочим, знал, что ты здесь, — сказал Артемьев.

— Что ж ты, штабная крыса, — свирепо улыбаясь, сказал Санаев, — знал и не приехал к товарищу? Зазнался там, наверное, на вашей Хамардабе?

Они присели рядом на подножку машины, и Артемьев, не удержавшись, да и не имея особенного желания удерживаться, коротко рассказал Санаеву о своём боевом крещении, госпитале, сражении при Байн-Цагане и службе под началом у скрипучего Постникова.

— Перед началом боёв уже совсем было выбрался к тебе, — закончил он, — но опять не пустил этот чёртов педант.

— А вообще-то у нас внизу, в войсках, сложилось мнение, что он — сильный начальник оперативного отдела, — сказал Санаев, который стал молчалив и серьёзен с первой же минуты, как только Артемьев заговорил о своём ранении, и лишь один раз, когда шла речь о Байн-Цагане, прервал рассказ досадливым возгласом: — Ах, совсем рядом был!

— Ну, а ты-то, ты-то как? — спросил Артемьев, закончив рассказы-вать. — Прежде всего, как монголы воюют? По нашим сводкам, хорошо. А как по твоим наблюдениям?

— Мои наблюдения со сводками не расходятся. Иногда немножко больше, чем нужно, отчаянности, иногда немножко меньше, чем нужно, выдержки...

— Национальный характер?

— Нет. Молодость. Молодая ещё армия.

— Было донесение, что у вас тут двадцать второго один эскадрон ходил в атаку в конном строю. Как, исполнилась твоя мечта, ты ходил? — спросил Артемьев.

— Ходил, — поморщившись, сказал Санаев. — Сначала порубили шашками японскую полуроту на марше, а потом один, — он сердито подчеркнул это слово, подняв палец, — один успевший засесть в овражек японский пулемётчик срубил у нас двадцать всадников. К огорчению кавалеристов, — Санаев хлопнул себя по шашке, — увя, отживающая форма боя. В особенности на плотном фронте и против серьёзной пехоты. Когда отслужу здесь, попрошусь в мехкорпус. Пересяду с коня на броню.

— Серьёзно? — спросил Артемьев, знавший Санаева как завязтого кавалериста.

— Как нельзя более серьёзно. С японцами ещё повоюю на коне, а с немцами уже буду на броне.

— Это что? Высказывание в связи с договором о ненападении?

— Да, — сказал Санаев. — Но прошу учесть, что я тут по долгу службы — мыслитель-одинок, среди меня разъяснительной работы ещё не проводили, так что могу и ошибиться. Не верю я в этот договор.

— Так-таки не веришь?

— Наполовину. Там две подписи стоят. А я только в одну верю, в нашу. Пойдём, кажется, нас ждут, — добавил Санаев, вставая с подножки машины.

Они подошли к костру. Казан был уже снят, и вокруг него, прямо на траве, сидели Шагдар, начальник погранзаставы, Данилов и двое пограничников.

— Садитесь, — сказал Шагдар, отодвигаясь и освобождая около себя место для Артемьева, — будем баранину кушать.

Артемьев и Санаев сели. Начальник погранзаставы стал черпаком вытаскивать из казана большие куски баранины и раскладывать их по алюминиевым мискам.

— Супу налей, — сказал Шагдар, — хороший бараний суп.

Начальник погранзаставы добавил в каждую миску полчерпака супу.

Рядом с казаном на траве стояла миска с крупной солью, другая — с целой горой толчёного красного перца и большая, вспотевшая на солнце бутылка холодной воды, окружённая жестяными кружками.

Артемьев положил в суп пол-ложки перца, нарезал баранину, посыпал всё это щепотью соли и с жадностью сильно проголодавшегося человека принял хлебать проперченный, дравший горло суп.

— Замечательная буирнурская вода, — берясь за бутылку, сказал Шагдар, — как нарзан. Кому налить?

Все потянулись с кружками. Вода оказалась Артемьеву действительно вкусной, а главное, ледяной.

— Неужели озеро всегда такое холодное? — спросил он.

— Всегда, — сказал Шагдар. — Я здесь родился, в этом аймаке. Всегда холодное. Красивое озеро — как чаша! Да?

И он сделал широкий жест хозяина.

Озеро было в самом деле прекрасно. Вдали вода теряла свинцовый оттенок и казалась голубой, а ивовые заросли по берегам были такого яркозелёного цвета, словно они только что насвежо вымыты росой.

У самого берега на воде лениво покачивался большой выводок уток.

— Наверное, тут охота хорошая, — сказал Артемьев.

— Как почти везде в Монголии, — отозвался Шагдар. — У нас раньше дичи почти не стреляли, ламы запрещали.

— А, что это за охота! — махнул рукой Данилов. — Тут в степи можно гуся колёсами переехать. Дичи больше, чем надо. Вы ваших цириков покормили? — спросил он, вставая и с этой минуты вступая в права командира отряда.

— Уже раньше покормили, — ответил Шагдар.

— Тогда собирайтесь! Где наши кони?

— Сейчас. — Шагдар поднял руку и отрывисто крикнул что-то по-монгольски двум поднявшимся из-за кустов цирикам. — Сейчас будут кони!

— А я своего коня с коноводом там, в развалинах, оставил, — сказал Санаев, обращаясь к Артемьеву. — Пойдём, проводи, мне тоже ехать надо. Пока коней приведут — успеешь.

Козырнув на прощанье Данилову и Шагдару, Санаев пошёл своей небрежной кавалерийской походочкой к белому барaku «Монголрыбы». Артемьев последовал за ним.

— Что, японцев будете ловить? — спросил Санаев, чуть придерживая шаг.

— Да. А ты откуда знаешь?

— Командир дивизии при мне по телефону говорил и Шагдара вызывал. Не завидую! В этих степях человека найти — всё равно, что игол-

ку в сене. Вон какие просторы! Одних границ больше семи тысяч километров!

Разговаривая, они подошли к турнику. Санаев подтянулся на руках. Не коснувшись перекладины, перенёс ноги и легко спрыгнул на землю.

— Чёрт его знает, — сказал он, — всё степь да степь. Телеграфный столб и тот кажется развлечением. За три месяца впервые турник увидел. А то ведь, кроме коня, не к чему и прислониться. По деревьям соскучился, ей-богу!

— А больше ни по чему не соскучился? — спросил Артемьев.

— Ах, как по жене скучаю, Павел, если бы ты знал! — Санаев даже остановился. — Честное слово, никогда не думал. Лучше бы не жениться.

И хотя он сказал это с искренним порывом, но глаза его при воспоминании о жене счастливо и горячо блеснули.

— А ты как?

— Мне скучать не по ком, — коротко и неохотно ответил Артемьев, недовольный тем, что к нему некстати возвратился им же самим заданный вопрос.

Они обошли «Монголрыбу» и оказались около того, что Санаев называл развалинами. Это был большой, огороженный низкой, но толстой каменной стеной квадратный двор. В глубине заросшего травой двора виднелись остатки пологой каменной лестницы. По сторонам её возвышались два изъеденных временем постаментов с сидевшими на них, обломанными по пояс, грузными каменными фигурами. Места изломов были так гладко зализаны ветрами, что казалось — фигуры никогда не были целыми.

Возле ограды лениво жевали колючки две лошади и стоя, прислонясь к стене, дремал коновод-монгол.

— Нахор! — окликнул его Санаев.

Коновод встрепенулся, взлетел на лошадь и подъехал к Санаеву, ведя его лошадь под уздцы.

— Какой-то старый храм, — объяснил Санаев, — может быть, времён Чингиз-хана, если не раньше. Обрати внимание! — он кивнул на ограду. — Это ведь только верхняя часть, а всё остальное ушло под землю.

Артемьев посмотрел туда, где возле ворот была кем-то вырыта яма, и увидел, что каменная кладка действительно уходила глубоко под землю.

— Ну что ж, Павел, — сказал Санаев, нехотя ставя ногу в стремя, — тебя ждут, до свидания, что ли?

Крепко пожав руку Артемьеву, он вскочил на коня и крупной рысью поехал впереди коновода.

Артемьев вернулся к Данилову и Шагдару. Лошади были уже осёдланы. Цирики — их было меньше, чем думал Артемьев, всего человек пятнадцать, — не садясь, держали под уздцы лошадей — своих и несколько сменных.

— Выбирайте! — сказал Шагдар, приняв от цириков и взяв за поводья двух коней. Его собственный конь, никем не удерживаемый, как вкопанный стоял рядом.

Артемьев окинул взглядом обеих лошадей и, решив, что пегий широкогрудый конёк будет посильней, лёгонько потянул его к себе за повод. Шагдар отпустил повод, и Артемьев, положив руку на холку коня, при общем внимании легко бросил в седло своё тяжёлое тело.

— Однако у вас губа не дура, с конём не ошиблись, — сказал Данилов, неторопливо садясь на другого коня.

— У вас тоже неплохой, — заметил Шагдар и дал по-монгольски общую команду садиться на коней.

Растянувшись цепочкой, отряд выехал из посёлка «Монголрыба» и двинулся на юго-запад в объезд озера Буир-нур.

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА

Данилов, Шагдар и Артемьев с их маленьким отрядом уже пятый день кочевали взад и вперёд по степи вдоль маньчжурской границы. Район, в котором ожидался переход японской диверсионной группы, лежал почти на сто километров западней Халхин-гола. Ни горных хребтов, ни рек, ничего, что могло бы служить зримой границей, здесь не было. Была только мысленно перенесённая с карт невидимая линия вдоль которой в необозримой степи передвигались редкие пограничные патрули.

Ещё в первый вечер на привале Данилов, расстелив на земле карту-пятисотку и аккуратно, без нажима водя по ней пальцем, чтобы колкие, как жнивье, стебли сухой травы не прокололи её снизу, поделился с Артемьевым и Шагдаром всеми подробностями, полученными от Шмелёва.

Первая японская диверсионная группа, которая неделю назад пересекла противоположную — южную — границу тамцак-булакского выступа, очевидно, предполагала после нескольких диверсий на юге перебраться сюда, поближе к северной границе, в район солончаковых озёр. На одном из убитых была взята карта с обозначением этого маршрута; в районе солончаковых озёр стоял кружок с иероглифом «бу», который входит составной частью и в слово «укрытие» и в слово «база».

Остальные сведения о первой группе исчерпывались вещественными доказательствами — четырьмя трупами, оружием и санитарной сумкой с двумя обёрнутыми ватой неиспользованными пробирками холерного бёльона.

Агентурные сведения о новой, второй группе, полученные из Хайлара, говорили, что она пересечёт северную границу выступа в ближайшие дни и, кажется, намерена переправиться надолго.

За солончаковыми озёрами начинался район полевых аэродромов, где в последнее время группировалось несколько авиационных полков. Шмелёв считал, что выход диверсионной группы в район солончаковых озёр связан именно с этим. То, что группа переправлялась на длительный срок, наводило на мысль, что она будет иметь радиопередатчик, а пункт, указанный на карте, выбран как место встречи обеих групп.

На второй день рано утром Шагдар привёл отряд к этому обозначенному на карте пункту — перешейку между двумя солончаковыми озёрами. Здесь, как и ожидал Данилов, сейчас никого не было, но само это место с кочками, заросшими низким густым кустарником, вполне подходило для укрытия небольшой группы, даже с лошадьми, если для них вырыть окопы хотя бы в три четверти метра глубиной. То, что здесь днём и ночью стоял удушливый запах солончакового болота, вода была страшна на вкус, а комары висели в воздухе такой сплошной массой, что, казалось, её можно потрогать руками, — всё это были неудобства, но, разумеется, ни одно из них не могло служить препятствием для диверсантов, которые решили бы здесь прятаться.

Однако целиком довериться отметке на карте и дожидаться японцев в этой точке было рискованно. Посоветовавшись с Шагдаром и Артемьевым, Данилов принял решение взять под наблюдение широкий район в тридцать — сорок километров и ловить японцев на полпути между границей и солончаковыми озёрами.

Несколько раз за эти дни Артемьеву казалось, что они поставили перед собой невыполнимую задачу. Степь так бесконечно и одинаково тянулась на восток, запад, север и юг и в ней такой песчинкой казался их маленький отряд, что надежда на встречу этой песчинки с другой песчинкой — японской диверсионной группой — представлялась очень слабой.

Плохо переносивший жару, хотя и не жаловавшийся на неё, похулевший, осунувшийся, словно усохший, маленький Данилов, с обгоревшими до волдырей лицом и руками, ехал и ехал, вцепясь в поводья, и казалось, никакая сила не может отклонить его от той дуги, которую они, как маятник, описывали каждые сутки между границей и районом солончаковых озёр.

По ночам над их головами на небольшой высоте проходили по направлению к Халхин-голу тяжёлые ночные бомбардировщики. Иногда над районом солончаковых озёр можно было заметить в небе далёкие крохотные точки. Это дневные бомбардировщики, поднявшись с полевых аэродромов, шли к фронту и возвращались назад.

— Интересно, как сейчас на фронте? Взяли уже Ремизовскую? Как вы думаете? — говорил Артемьев, обращаясь к Данилову, но тот вместо ответа только неопределённо мычал, не разжимая своих запёкшихся от жары, сухих губ.

Зато Шагдар в таких случаях обычно вступал в разговор и охотно строил предположения. По его мнению, японцы, потеряв несколько десятков тысяч человек, не могли так просто успокоиться. Он говорил об этом скорей с надеждой, чем с тревогой, в душе явно желая, чтобы бои продолжались, — японцы казались ему всё ещё недостаточно наказанными.

Однажды совсем низко над степью, должно быть, сбившись с курса, прошёл в сторону аэродромов истребитель. Он шёл так низко, что мгновенно даже была видна голова лётчика. Артемьев заметил на хвосте цифру «7» — номер польнинской машины, закричал: «Стой!» — и только секундой позже, когда самолёт, как стриж, чертил над самой землёй уже далеко в степи, рассмеялся нелепости своего порыва.

Все дни были так похожи день на день, словно отряд не скитался по степи, а по заведённому раз навсегда распорядку нёс гарнизонную службу.

Ночной привал неизменно делали уже после наступления темноты, наскоро ужинали и, выставив часовых, укладывались, не разбивая палаток, а только накрывшись от комаров полотнищами. Вставали тоже ещё в темноте, за час до рассвета, который Данилов считал самым вероятным временем появления японцев.

В чуть забрезжившем рассвете, оседлав лошадей, делились на две группы и разъезжались в разные стороны.

Дневной привал делали в полдень. Разжигали костёр, языки которого на солнце казались прозрачными. Вскипятив воду, бросали в неё сушёное мясо и ели его, приправив собранным в степи диким чесноком. Потом выпивали по котелку заваренного по-монгольски зелёного чая с солью, хорошо утолявшего жажду, и ехали дальше.

К вечеру съезжались посредине описанной за день дуги. Если утром, когда делились на группы, Артемьев оказывался с Шагдаром, а Данилов один, то вечером у костра сидели молча, потому что Артемьев и Шагдар успевали за день наговориться, а Данилов, казалось, чем больше молчал, тем ему это больше нравилось. Если же, наоборот, вместе ехали Шагдар и Данилов, то вечером намолчавшийся за день монгол заводил разговор с Артемьевым, и они, несмотря на усталость, подолгу просиживали у погасавшего костра.

Так они сидели и в ночь на пятые сутки. В двух шагах от них лежал накрытый палаткой Данилов и время от времени напоминал о себе доносившимися из-под палатки короткими, глухими шлепками. Забравшиеся под палатку комары не давали ему уснуть.

В степи было тихо и темно. Только в костре, погасая, едва-едва светило несколько угольков.

Шагдар пошевелил их ногой и сказал:

— Пора спать.

— Слушайте, — начал Артемьев.

Шагдар насторожился, повернул голову и быстро сказал:

— Ничего не слышу.

Артемьев улыбнулся в темноте этому недоразумению и подумал, что Шагдар хотя и хорошо знает русский язык, но иногда слишком буквально понимает и употребляет слова.

— Когда вы начинали у нас в Союзе стажировку, вы совершенно не знали русского?

— Немножко знал, — сказал Шагдар. — Я до армии был шофёром в Монцекоопе в Улан-Баторе. Там у нас был русский начальник автобазы и главный механик. Но, конечно, я тогда совсем плохо знал русский язык, хотя и теперь знаю его недостаточно.

— Теперь вы его знаете отлично, — не слишком кривя душой, сказал Артемьев.

— Может быть, не совсем плохо, — ответил Шагдар, который ждал, что Артемьев примерно так и скажет. — Но я имею мало практики, редко говорю с русскими товарищами, больше читаю книги. Наша дивизия уже пятый год в этом районе. Я уже три года не был в Улан-Баторе.

— Да, район у вас беспокойный.

— С тридцать первого года, — сказал Шагдар, — с тех пор, как японцы пришли в Маньчжурию, они двести тринадцать раз переходили или перелетали нашу границу.

— Примерно раз в каждые две недели, — подсчитал Артемьев.

— В тридцать пятом году, — продолжал Шагдар, — как раз в этом районе, недалеко отсюда, они перешли границу целым кавалерийским полком, вырезали всех аратов, которых встретили в степи, и угнали весь скот. Но скот шёл медленно, и наша авиация на обратном пути поймала и расстреляла их в открытой степи. Они даже не думали, что это может случиться. Они считали, что у монголов не может быть самолётов. Они вырезали тогда двадцать шесть семей. У меня тоже погибли несколько родственников.

— Кто? — спросил Артемьев.

— Отец, мать и сестра, — ответил Шагдар с выражением неутолимой ненависти. — Я ещё в долгу перед японцами!

— Японцы бывают разные, — сказал Артемьев, чувствуя, как при всей справедливости этих слов ему нелегко произнести их после того, что сказал Шагдар об отце, матери и сестре.

— Вероятно, — холодно отозвался Шагдар, — но я видел только одних японцев — приходивших к нам с оружием в руках, — и этих японцев я ненавижу. Я ненавижу их, а они ненавидят нас за то, что мы — братья русских, а не рабы японцев.

Он снова потрогал угли носком сапога.

— Они ненавидят всех, кто не хочет быть их рабами. В тридцать седьмом году, когда они переходили здесь границу и делали полевую съёмку, думая, что их никто не видит, я получил приказ и с двумя цириками пошёл по их следам в Маньчжурию. Мы были переодеты,

как бедные баргуты из Хинганского округа. Я месяц жил в Маньчжоу-го и видел столько сожжённых фанз и отрубленных голов, что мне трудно поверить в то, что есть хорошие японцы. Хотя они, конечно, есть. Я — член народно-революционной партии и понимаю это. Будем спать?

— Да, давайте спать, — сказал Артемьев.

Он встал и затоптал последние, ещё тлевшие угольки. Стянув сапоги, расстегнув одну пуговицу на вороте гимнастёрки и распустив на две дырки ремень, он забрался под полотно палатки рядом с накопец уснувшим и устало, прерывисто дышавшим во сне Даниловым.

На рассвете следующего дня, едва отряд, разделившись, успел разъехаться в разные стороны — Данилов влево, а Артемьев с Шагдаром вправо, — как почти сразу же случилось то, что за четверо суток начало казаться несбыточным.

Артемьев, приложив к глазам бинокль, точно так же, как сотни раз до этого, посмотрел вдаль, в сторону границы. В стёклах бинокля очень далеко, на самом горизонте, чернело несколько точек.

Ещё только-только рассвело, солнце едва начинало пробиваться сквозь затянутую пеленой даль. Артемьев привстал на стременах и снова взгляделся в маленькие точки на горизонте, боясь, что это обман зрения. Но точки на горизонте не исчезали и даже, кажется, двигались.

— Нахор Шагдар, — тихо, словно их могут услышать, окликнул Артемьев Шагдара, — посмотрите!

Шагдар подъехал к нему, тоже привстал на стременах и приложил к глазам бинокль. Лицо его напряглось и приняло такое выражение, как будто он прицелился и готовится выстрелить.

— Шесть человек и маленький табун, — наконец сказал он.

— Что вы думаете? — спросил Артемьев.

— Я думаю, что японцы, — ответил Шагдар. — Пять утра. До границы двадцать километров. Переходили как раз в самое тёмное время. Едут целью. Так монгольская семья не едет. Табун посредине. Плохая маскировка. Надо сообщить Данилову, чтобы он объезжал их слева.

Артемьев молча кивнул.

Шагдар подозвал к себе одного из цириков, сказал ему несколько слов, и цирик поскакал в том направлении, куда уехал Данилов.

Артемьев впервые видел, как Шагдар волнуется. У него, когда он говорил, даже немножко подпрыгивали губы.

— Что будем делать? — спросил Артемьев. — Они нас, наверно, тоже заметили.

— Нет, там солнце, — показал Шагдар в сторону горизонта, — светло, мы их видим. А здесь ещё темно, мгла. Минут десять ещё нас видеть не будут.

Цирики по команде Шагдара один за другим подъехали к ним. Теперь, после того как один из цириков поскакал к Данилову, в отряде, считая Артемьева и Шагдара, осталось восемь человек.

Артемьев собирался предложить — немедленно взять по степи правей видневшихся на горизонте точек, чтобы, описав полукруг, оказаться между ними и границей, но Шагдар предупредил его мысль.

— Я возьму одного цирика, товарищ капитан, и поеду прямо — говорить. А вы берите всех остальных и объезжайте справа, степью.

— А вы что, прямо к ним подъедете? — спросил Артемьев.

— Да, — сказал Шагдар. — Два человека — обыкновенный патруль. Я подъеду, спрошу, послушаю, как они говорят по-монгольски. Буду с ними разговаривать. Они, пока не увидят вас сзади себя, не испугаются. А когда вы подъедете, я первый буду стрелять — по лошадям.

— Может быть, возьмёте с собой больше людей?

— А, испугаются, к границе повернут. Если хорошие лошади — уйдут.

— Тогда будьте осторожней, — сказал Артемьев.

— Ничего. — Шагдар напряжённо улыбнулся. — Начну стрелять — скорей приди, помогай! — От волнения он перешёл на «ты» и перестал говорить по-русски с той грамматической правильностью, которая до сих пор отличала его речь. — Скорей поезжай! — И, хлестнув коня плёткой, Шагдар вместе с одним из цириков галопом полетел прямо к видневшимся в степи точкам.

Артемьев скомандовал оставшимся цирикам: «За мной!» и крупной рысью поехал по степи, забирая далеко вправо.

Всё дальнейшее развернулось ещё стремительней, чем предполагал Артемьев. Он и цирики проехали всего три километра и ещё не успели оказаться в тылу японцев, как оттуда, куда поскакал Шагдар, раздались сначала винтовочные выстрелы, а потом — пулемётная очередь.

Артемьев повернул лошадь и, стараясь не волноваться, посмотрел в бинокль. Лошадь под ним нервно переминалась, бинокль прыгал в руках. В ещё не рассеявшейся пелене тумана что-то неясно двигалось. Одиночные выстрелы перемежались короткими пулемётными очередями.

Со всей остротой, даже не подумав, а физически ощутив в эту секунду, что японцев шестеро, а Шагдар — вдвоём, Артемьев махнул рукой цирикам, которые только этого и ждали, и галопом поскакал на выстрелы.

Только проскакав больше километра, он впервые оглянулся. Цирики скакали за ним, рассыпавшись веером по степи.

Впереди уже были отчётливо видны метавшиеся по степи лошади. Попрежнему слышались выстрелы и пулемётные очереди. Что-то тёмное, наверное, павшие кони, сливалось с неровной, кочковатой степью.

Вдруг Артемьев ясно увидел четырёх всадников, оторвавшихся от всей этой неразберихи и скакавших на северо-восток, к границе. Японцы разъединились: одни отстреливались, другие тем временем решили уходить.

Показав троим скакавшим слева от него цирикам, чтобы они держались прежнего направления, Артемьев с двумя остальными повернул к границе.

Расстояние между ним и японцами быстро уменьшалось, но они скакали к границе напрямик, а он — по диагонали. Он уже не успевал перерезать им дорогу и оказывался хотя и близко, но позади них.

Через несколько минут скачки японцы разделились. Двое, чуть-чуть замедлив галоп, продолжали скакать прямо, а двое взяли резко влево. Подумав о Данилове, который должен был появиться с той стороны, и чувствуя, как тяжело дышит запалённая лошадь, Артемьев продолжал скакать прямо. Оба цирика, утомившие лошадей меньше, чем он, догнали его.

Расстояние между ними и японцами сократилось метров до трёхсот. Артемьев уже ясно видел обоих всадников: одного в развевающемся халате и малахае с высокими меховыми отворотами и другого, должно быть, скинувшего с себя халат и обнажённого до пояса, с плясавшим за голый спиной карабином.

Едва Артемьев успел подумать, что надо будет потом поискать этот халат, как японцы, оба одновременно обернулись и, убедясь, что Артемьев и цирики преследуют их, а не тех других, кто взяли влево, — прибавили галоп. Расстояние между ними и Артемьевым снова перестало сокращаться. Вскоре японцы опять разделились и теперь скака-

ли в сотне метров друг от друга, как бы приглашая и преследователей тоже разделиться.

Оба цирика обогнали Артемьева и скакали впереди него: он был слишком тяжёл для такой долгой скачки.

Японцы тем временем всё продолжали отдаляться друг от друга. Разделились и цирики. Один скакал за японцем в малахае, другой всё ближе нагонял полуголого с карабином.

Не сразу дав себе отчёт, почему он делает так, а не иначе, и лишь потом вспомнив о брошенном халате, в котором могло быть что-то важное, а значит, представлял интерес и человек, бросивший его, — Артемьев на тяжело дышавшем коне скакал позади того цирика, который преследовал полуголого.

Казалось, эта скачка будет длиться вечно. Вдруг полуголый круто завернул коня, сорвал с плеча карабин и, почти лёжа на спине остановившейся лошади, выстрелил несколько раз подряд, раз за разом. Цирик на полном скаку выпустил поводья, выбросил вверх руки, словно пытаясь схватиться за что-то невидимое в воздухе, и упал набок с взвившейся на дыбы лошади. Лошадь сделала прыжок в сторону и тоже упала. Японец несколько секунд помедлил, прицелился и дважды выстрелил по Артемьеву. Вторая пуля свистнула у Артемьева над самой головой. Видя, что он продолжает скакать, японец повернулся и снова пришпорил коня.

Если бы не эти последние два выстрела, японец ещё имел бы шанс уйти, но Артемьев, за это время подскакавший к нему на расстояние двухсот метров, соскочил с коня, впечатал в землю правое колено и, коротко, по-уставному, движением сверху вниз поймав на мушку плясавшую голую спину, спустил курок.

Лишь когда японец упал с лошади и она медленно пошла, волоча за собой тело, застрявшее одной ногой в стремени, Артемьев подумал, что он сделал именно то, чего нельзя было делать. Он убил всадника, вместо того чтобы стрелять в лошадь. И мало того, что убил, но и стрелял именно с намерением убить, совершенно забыв в эту секунду и приказание Шмелёва и понятную ему самому необходимость взять диверсанта живым.

«Молодец, что не вернулся на выстрелы и продолжает гнаться за тем, в малахае», — подумал Артемьев, поглядев вслед безнадежно удалявшимся фигурам обоих всадников, и, потянув за повод своего загнанного коня, пошёл туда, где в невысокой траве лежал цирик.

Цирик был мёртв, и ему не мог помочь ни индивидуальный пакет, который на всякий случай вытащил Артемьев из полевой сумки, ни самый лучший хирург, даже Алухтин, окажись он здесь рядом. Пуля попала в голову, оставив маленькое входное отверстие над глазом. Лошадь лежала рядом, словно верная собака у ног мёртвого хозяина.

«Почему он больше не стрелял по мне?» — подумал о японце Артемьев, искоса глянув туда, где всё на одном и том же месте крутилась лошадь японца, таща за собой труп, — и, сосчитав выстрелы, поднял: японец в запальчивости выпустил последние два патрона из пяти и не успел перезарядить карабин.

Положив цирика лицом вверх, Артемьев распустил подпругу, стащил с убитой лошади заправленное между седлом и потником одеяло и закутал им мёртвую голову цирика, чтобы её не расклевали птицы за те часы, что тело будет лежать здесь, в степи; достав из гимнастёрки цирика солдатскую книжку и билет Ревсомола, он поднял отлетевшую на десять шагов винтовку, примкнул штык и штыком в землю воткнул её рядом с убитым, чтобы издали можно было найти это место.

После этого он пошёл к лошади японца, которая то останавливалась, словно надеясь вдруг освободиться от трупа, то снова делала несколько шагов, продолжая волочить его.

Когда Артемьев подошёл совсем близко, шагов на тридцать, лошадь насторожилась, рванулась, тело японца зацепилось за мелкие кустики, лошадь заплесала на месте, рванулась ещё раз; подруга лопнула, седло полетело на землю, а испуганная лошадь, почувствовав свободу, рысью понеслась по степи.

Японец лежал на спине, с неестественно подогнутой не в колене, а ниже его, сломанной при падении ногой. На трупе были ватные грязные штаны, подпоясанные узким чёрным засаленным ремешком, и широкие монгольские сапоги с загнутыми носами — гутулы.

Голое до пояса тело, после того как лошадь тащила его по кочкам, было всё в кровь исцарапано. Артемьев вытащил из кармана японца носовой платок и вытер им лицо убитого — на переносице сохранился слабый след от дужки очков, которые тот, наверное, снял, переходя границу под видом монгола. В карманах японца, кроме платка, были только несколько обойм к карабину и плоская жестяная коробка с раскрошившимися зелёными противомоскитными спиральками.

Но Артемьев всё-таки решил не оставлять трупа здесь, в степи, недалеко от границы — предстояло ещё как следует обыскать его, вспороть и подметки гутул и каждый шов на одежде.

Да и самый труп мог послужить вещественным доказательством.

Артемьев подвёл своего похрапывавшего и мотавшего головой коня, поднял с земли мёртвое тело, перевалил его вниз лицом через седло и прикрутил чумбуром ноги. Осмотрев сорвавшееся с японской лошади седло и, ничего не найдя, он, однако, решил, что будет надёжней взять с собой и седло.

Оставался карабин. Артемьев прикинул на глаз, где примерно он свалил своим выстрелом японца, и через несколько минут нашёл в траве японский карабин с маркой оружейного завода в Осака.

Прикрепляя карабин к луке седла, Артемьев удивился той тишине, что стояла кругом. Ни с севера, где растворились в степи японцы в ма-лахае и цирик, ни с северо-запада, куда ускакали два других японца и где должен был их встретить Данилов, ни с юга, где остался Шагдар, не было слышно ни одного выстрела. Всё кончилось. Как — он не знал, но так или иначе кончилось.

Сверившись с компасом, он определил направление, по которому ему предстояло пройти шесть или семь километров, чтобы добраться туда, где, по его расчётам, находится Шагдар, и, бросив взгляд в ту сторону, где рядом с телом погибшего цирика торчала из земли винтовка, быстро пошёл по степи. Сзади него, то и дело натягивая повод, нехотя ступала лошадь и, раскачиваясь, постукивала мёртвая голова японца.

Пройдя три километра, Артемьев увидел ехавших навстречу всадников — двух цириков и пограничника.

— Капитан Данилов приказал вас искать! — подъезжая к Артемьеву, доложил пограничник.

— Ну, что там? — спросил Артемьев.

— Трёх японцев убили, одного поймали, — сказал пограничник. — Потом помолчал и добавил: — Двое цириков убиты.

И снова помолчал, словно ему было трудно высказать всё разом, опять добавил:

— Капитан Шагдар получил касательное ранение в щёку. А капитан Данилов тяжело раненный. Сюда.

Он показал рукой на левую ключицу. Кисть руки у него была обмотана пропитавшимся кровью бинтом.

— Вы, кажется, сами ранены? — спросил Артемьев.

— Нет, японец прокусил, когда его вязал, — нехотя объяснил пограничник. — А у вас убитый? — кивнул он на лежавший поперёк седла труп японца.

— Да, — ответил Артемьев.

Указав пограничнику и монголам оба направления — то, в котором ускакал японец в малахае, и то, по которому они выедут к воткнутой в землю винтовке, — он приказал им разыскать цирика, ускакавшего за японцем, и на обратном пути захватить тело погибшего.

Через час Артемьев добрался до того места, где Шагдар первым принял бой с японцами. В степи виднелось несколько убитых лошадей, а на маленьком пригорке, сложенные рядом, лежали три трупа в порванной и запятнанной кровью одежде монгольских аратов.

Артемьев остановился возле них, развязал чумбур и стащил с лошади на землю привезённый им труп японца. Сделав это, он, попрежнему ведя в поводу лошадь, подошёл к Данилову. Данилов полулежал, прислонясь к двум положенным одно на другое сёдлам. Позади него сидел пограничник и даниловским планшетом отгонял комаров.

В стороне, в двух шагах, сидел пленный. Он сидел на согнутых в коленях ногах, опираясь на пятки. Лоб его был забинтован, на лице не шевелился ни один мускул. Он сидел надменно и непринуждённо, несмотря на связанные за спиной руки. То, что он связан, Артемьев понял, лишь когда Данилов слабым голосом сказал пограничнику:

— Его.

И пограничник с ленивым недоброжелательством, нехотя подчиняясь воле начальника, махнул несколько раз планшетом перед самым носом японца, сгоняя с его лица комаров.

— Вот, ранил меня, паразит, — сказал Данилов Артемьеву вместо приветствия, чуть поворачивая голову в сторону японца. — Не хотел живым сдаваться — пришлось брать руками. И то всё-таки, как ни старались, видите, башку немножко поцарапали.

— А у вас что за рана? — спросил Артемьев, продолжая стоять и держать за повод коня.

— Ничего, не смертельная, — усмехнулся Данилов. — Только, боюсь, ключицу перебил, рука не действует.

— А перевязали? — спросил Артемьев.

— Перевязали. Но пришлось опять гимнастёрку сверху надеть, а то комары. Что у вас? Убили?

— Одного убил, — виновато сказал Артемьев, — а второго потерял из виду.

— Плохо, — сказал Данилов. — Этот, мой, судя по всему, говорить не захочет. Потери есть?

— Один цирик погиб. А как с другим, ещё не знаю. Он за вторым японцем погнался. Я всех, кого вы за мной послали, отправил его искать.

— Ну и правильно, — сказал Данилов.

Лёгкая гримаса боли исказила его лицо.

— Болит? — спросил Артемьев.

— Болит, — просто ответил Данилов. — Сейчас Шагдар подъедет — решим, как дальше действовать. Да и перекусим. — Он виновато улыбнулся. — Чёрт его знает, и раненый вроде, а есть хочется.

— А где Шагдар?

— Мы с ним на японцах на всех ничего не взяли, кроме оружия.

Он теперь ездит, смотрит — может, они что, в степи побросали. Видите, цириков-то нет никого, все в степи — ищут.

Артемьев сказал о своей догадке насчёт сброшенного в степи халата.

— Вот именно, — ответил Данилов. — Если сегодня ничего не найдём — завтра с утра ещё раз будем прочёсывать. Сейчас они пока по двум направлениям смотрят — куда вы погнались и где я своих двоих встретил. Да бросьте вы повод, никуда ваша лошадь не уйдёт, у монголов они в этом смысле — золото. Труп-то осмотрели?

— Осмотрел. На первый взгляд как будто ничего нет, — сказал Артемьев и кивнул на японца. — Начнём допрос?

— Скворцов! — вместо ответа обратился Данилов к сидевшему за ним пограничнику. — Отведите его метров на пятьдесят.

Пограничник подошёл к японцу и, тронув его за плечо, показал, что надо подняться. Не меняя надменного выражения лица, японец встал и пошёл впереди пограничника.

— Вы думаете, он может знать по-русски? — сказал Артемьев.

— Не похоже, но на всякий случай, — сказал Данилов. — Не похоже, — повторил он, помолчав. — Толмачом у них другой был, но его, к сожалению, Скворцов первым же выстрелом снял. По-моему, из бывших русских, хотя скуловатый такой, что издали можно за монгола принять, а всё же русский. Да вы посмотрите сами.

Артемьев снова подошёл к лежавшим на пригорке трупам и на этот раз внимательно осмотрел их. У крайнего, одетого в гутулы и большой не по росту халат с подвёрнутыми рукавами, лицо было действительно сильно скуластое и желтоватое, но при всём том настолько отличное от мёртвых лиц двух лежавших рядом японцев, что Артемьев уверенно подумал: да, это русский, бывший русский, как выразился Данилов.

«Кто он? — подумал Артемьев, глядя на заросшее густой седой щетиной и залитое чёрной кровью мёртвое лицо. — Штабс-капитан колчаковской контрразведки или казачий урядник забайкальского войска? С кем он уходил двадцать лет назад из России? С Унгерном на Ургу или с Анненковым на Харбин? Где он служил потом? В охране у Чжан Цзо-лина, в полиции у Пу И, или с самого начала в японской разведке? А может быть, всего лишь год или два назад, перебравшись через границу, он посещал знакомые места, бродил с фальшивым документом где-нибудь по Чите или Хабаровску, сидел в пивных и на станциях, знакомился с людьми, рекомендовался счетоводом или фельдшером? И какой-нибудь хабаровский или читинский житель, оказавшись он здесь, узнал бы сейчас в лежащем перед ним мертвецом разговорчивого фельдшера, сутки просидевшего за компанию с ним на вокзале».

— Русский? — спросил Данилов, когда Артемьев возвратился.

— По-моему, да, — сказал Артемьев. — Так как же с допросом японца?

— Не знаю, — сказал Данилов, — всё равно уже первый страх у него прошёл, пока вас искали. Да и первого страха у него не было, одна злость. Дунину руку до кости прокусил. Видали?

— Видал.

— Так что, думаю, будет верней, не теряя ни минуты, сразу же везти его к Шмелёву. А вот и Шагдар что-то везёт! — прерзал сам себя Данилов.

Артемьев обернулся и увидел подъезжавшего к ним Шагдара.

— Нашёл! — возбуждённо кричал он ещё издали, вытягивая вперёд руки, в которых виднелось что-то длинное и чёрное.

Это был кусок плотной материи вроде пояса с оборванными завязками по концам. Посредине в материю были вшиты узенькие карман-

чики и в каждый из них вставлены маленькие, в полпальца, стеклянные ампулы с чем-то желтовато-серым внутри.

— Прямо тебе пулемётная лента! — сказал Данилов, вынув одну ампулу и осторожно, на отлёте, держа её в пальцах. — Опять, наверное, холера! Я видел у Шмелёва те, что взяли прошлый раз. Такого же цвета.

— Под халатом вокруг пояса носили, а в последнюю минуту сорвали и бросили. Видите — тесёмки порваны? — попрежнему возбуждённо, довольный своей находкой, говорил Шагдар. — Думали, степь большая, — не найдём. А я чуть не наступил, даже испугался.

— Да, уж наступать на это не рекомендуется, — без улыбки заметил Данилов. — Садитесь. Давайте посоветуемся о дальнейшем.

План, который он предложил Артемьеву и Шагдару, сводился к тому, чтобы Артемьев, не дожидаясь новых результатов поисков, немедленно взял с собой ампулы, пленного, одного пограничника, двух цири-ков и ехал через перешеек между солончаковыми озёрами к ближайшему полевому аэродрому. До аэродрома сорок километров, и если отобрать пять лошадей посвежее и поторопиться, то можно добраться туда к ночи, взять у лётчиков полторку и ещё до рассвета прибыть в штаб группы.

— Так и было предусмотрено со Шмелёвым в случае успеха, — сказал Данилов. — И аэродром у меня на карте отмечен. — Он с трудом дотянулся до положенного пограничником на траву планшета и передал Артемьеву карту.

Сам Данилов решил оставаться вместе с Шагдаром здесь до завтра и продолжать, как он выразился, «производить обыск степи», пока за ним не пришлют санитарную машину с врачом.

У Шагдара не было никаких возражений против такого плана. Он коротко ответил, что сейчас сам отберёт лучших лошадей, и, взглянув в сторону пленного, с усмешкой сказал, что стоило бы в наказание дать ему принять ампулу его собственной холеры, жаль, что этого нельзя сделать!

Высказав это сожаление, Шагдар сел на коня и поехал в ту сторону, где дымился костёр и паслись рассёдланные лошади. До костра не было и ста шагов, но, как заметил Артемьев, монгол никогда не делал и десяти шагов пешком, если под рукой оказывалась лошадь.

Оставшись вдвоём с Даниловым, Артемьев предложил ему поменяться местами: он будет с Шагдаром обыскивать степь, а Данилов пусть едет с пленным к аэродрому. Если трудно будет ехать верхом, то можно из полотнищ палаток сделать люльку между двумя лошадьми...

— И приехать на аэродром завтра к утру, коли не заблудимся среди ночи, — недовольно сказал Данилов.

— Ну и что ж, что к утру? Всё-таки раньше, чем врач доберётся к вам сюда.

— Во-первых, вопрос сейчас не во мне, а в пленном, в его быстрой доставке, — всё тем же недовольным тоном сказал Данилов, — а, во-вторых, по-моему, я могу не доехать.

Эти последние слова у него прозвучали не как жалоба, а только как аргумент. Он не сетовал на то, что тяжело ранен и может не доехать, а лишь доказывал, что это так.

— Вы правы. Я еду, — сказал Артемьев.

— Супу похлебайте перед дорогой. Монголы суп варят.

— Ничего, в пути пожуём чего-нибудь.

Данилов не стал возражать.

— Скворцов! — позвал он слабым голосом.

— Слушаю, товарищ капитан! — подбегая, сказал пограничник, державший всё время в двадцати пяти шагах — посредние между начальником и пленным японцем.

— Поедете с товарищем капитаном, — сказал Данилов, — повезёте пленного. Ступайте за лошадьми.

— А как же вы, товарищ капитан?

— Ничего. Дунин скоро вернётся. Вам всё ясно?

— Всё ясно, товарищ капитан.

— Подождите, оставьте мне свою фляжку, — сказал Данилов, когда пограничник уже отошёл на несколько шагов.

Тот вернулся и, отстегнув фляжку, положил её рядом с Даниловым. Данилов открыл пробку, поднёс фляжку к губам, выпил несколько маленьких глотков, облизал губы и задрожавшими от усилия пальцами закрыл фляжку.

— Вода тёплая, — сказал он. — А мою фляжку он прострелил. Шесть раз в меня стрелял, пока его взял...

Артемьев ожидал, что Данилов расскажет ещё что-нибудь о том, как он взял этого японца, но Данилов или устал, или считал сказанное достаточным. Он ещё раз облизал губы и сказал:

— Возьмите его револьвер — у меня в планшете.

Артемьев ещё раньше, когда брал из планшета карту, заметил маленький браунинг, засунутый за целлулоид вместе с полевой книжкой. Прежде чем положить его в карман, Артемьев вынул обойму. Обойма была пуста. Он взвёл пистолет, и досланный в ствол патрон выпрыгнул на землю.

Артемьев подумал, что седьмую пулю японец, вероятно, собирался пустить себе в лоб, но Данилов помешал ему. Данилов, рискуя собственной жизнью, насильно заставил остаться в живых этого японца; сделал то, чего не сделал он, Артемьев. И, стоя сейчас, здоровый и невредимый, над лежавшим перед ним тяжело раненным Даниловым, Артемьев испытывал чувство стыда.

— Знаете что, товарищ капитан, — начал он, но, поглядев на лицо Данилова, остановился.

На лбу у Данилова выступили крупные капли пота, глаза были плотно закрыты, нижняя губа добела закушена. Его мучила боль. Он слышал обращение Артемьева, но не хотел отвечать, потому что как раз в эту минуту, преодолевая приступ боли, собрал все силы, чтобы не застонать.

— Поезжайте, — наконец открыв глаза, сказал он заметно ослабевшим после приступа боли голосом.

Артемьев наклонился, пожал его влажную и очень холодную руку, впервые от холода этой руки испугался за жизнь Данилова и, уже не оборачиваясь, пошёл к лошадям.

Лошади были засёдланы. На одной из них сидел японец.

— На этих лошадях за пять часов доберётесь, — сказал подъехавший Шагдар.

— Почему они сразу же начали в вас стрелять? — спросил Артемьев, сев на лошадь и лишь тут вспомнив, что даже не успел спросить Шагдара о его участии в бою.

— Горячие люди — пальцы на курках держали, — пренебрежительно сказал Шагдар, довольный, что Артемьев всё-таки спросил его об этом. — Подумали: нас два всадника — патруль, а их — шесть человек, ручной пулемёт. Начали стрелять. Убили лошадь. Я залёт за лошадь, стал стрелять, одного убил. Потом они цирика убили. Потом я пулемётчика ранил. Потом они увидели вас, бросили пулемётчика и ускакали.

Цирики пулемётчика убили — сзади подошли. Он в меня стрелял, а они сзади подошли. Совсем убили...

Он досадливо поморщился, и от этого движения мускулов там, где у него на щеке пулей был сорван лоскут кожи, поверх засохшего, чёрного от иода пятна, выступило несколько красных капель.

— Еду, — сказал Артемьев, протягивая Шагдару руку. — Поберегите Данилова. Самое главное, чтобы не двигался.

— Плох он, — вытерев кровь со щеки, огорчённо сказал Шагдар, — надо скорей врача. Пусть ночью едет. Я буду ночью костёр жечь. Пусть на костёр едет. А утром костёр далеко не видно — будем каждые пять минут давать выстрелы. Хорошо?

Артемьев сориентировал карту по компасу и крупной рысью поехал впереди своего маленького отряда. Сзади него ехал пленный японец, за японцем — Скворцов, за Скворцовым — двое монголов.

Через полчаса отряд догнал прискакавший на взмыленной лошади всадник. Это был второй пограничник — Дунин.

— Товарищ капитан, — сказал он, подъезжая к Артемьеву, — мне товарищ капитан вас догнать приказал.

Дважды повторённое в одной и той же фразе слово «капитан» имело разные оттенки. Слово «капитан», обращённое к Артемьеву, означало просто капитан, а слово «капитан», под которым подразумевался Данилов, означало — мой капитан, самый главный, настоящий, пограничный, единственно заслуживающий этого названия.

Через седло у пограничника был перекинут халат, а рукой он придерживал плоский зелёный жестяной ящик.

— Товарищ капитан приказал вам рацию передать, — продолжал пограничник, хлопнув рукой по ящику. — Я её вместе с халатом нашёл, она лямками прямо с халатом скреплённая, чтобы под ним незаметно было, если халат по крупу раскинуть. Товарищ капитан приказал прямо с халатом, не отцеплять. Вдруг чего-нибудь в халате зашито.

— Ясно, — сказал Артемьев, поворачивая лошадь и глядя на японца.

Японец сидел на лошади, низко опустив голову и, как показалось Артемьеву, намеренно пряча лицо.

— Давай сюда, — сказал Скворцов, подъезжая к Дунину и беря у него ящик и халат.

— А быстро вы едете, — сказал Дунин, который, выполнив приказание своего капитана, как бы почувствовал себя в положении «вольно».

— Спешим, — сказал Артемьев, — надо поскорей врача прислать.

— Это верно, — сказал Дунин голосом, который сразу из весёлого стал растерянным. — Плохо капитану. Всё воду каждый момент требует, а он, когда здоровый, воду ни в какую жару не пьёт. Печёт его внутри. А руки холодные... Пришлите вы, товарищ капитан, за ради бога, скорей врача! — всё тем же растерянным голосом попросил Дунин.

— Пришлю, — с передавшимся ему волнением ответил Артемьев.

Дунин подъехал к японцу и, замахнувшись перевязанной рукой, поднёс кулак к самому его носу.

— Эх, так бы и дал этому диверсанту по сопатке той же самой своей рукою! И знаете, товарищ капитан, — Дунин опустил руку, — до чего рука болит! Зубы у него, что ли, ядовитые? Не может этого быть, а?

— Думаю, что не может быть, — невольно улыбаясь, ответил Артемьев.

— Я тоже думаю, — в свою очередь улыбнулся Дунин, — а рука вроде другое показывает.

— Как с тем цири́ком, которого я вас посы́лал искать? И как с японцем?

— Цирик живой, а японец утёк. Цирик мне на пальцах показал, что у японца лошадь хорошая и что утёк он.

— Значит, один всё-таки ушёл, — сказал Артемьев.

— Я уже поздно приступил его искать, — словно оправдываясь, сказал Дунин. — Я когда по вашему приказанию приступил его искать, цирик уже обратно ехал. Я его вернул, с ним ещё проехал вперёд километра три, думал — вдруг у японца лошадь пала. Но никого не видать было. Разрешите ехать, товарищ капитан?

— Поезжайте. Привет передайте Данилову. Скажите, что постараюсь ещё ночью врача прислать. Костёр жгите.

— Есть, товарищ капитан, будем жечь. Всю ночь будем жечь.

Артемьев протянул пограничнику руку, крепостью рукопожатья ещё раз напоминая о Данилове, — и Дунин ускакал.

«Да, — подумал Артемьев, поглядывая на японца, ехавшего теперь не позади, а впереди него, рядом с молчаливым Скворцовым, — вот Данилов без долгих слов действительно выполнил свой долг до конца, в результате чего едет и покачивается на лошади этот японец. А будь на месте Данилова второй Артемьев, — лежал бы этот японец в степи таким же мертвецом, как тот радист и, наверное, заодно шифровальщик, чей халат и рацию везёт теперь Скворцов. Конечно, письменного кода у радиста с собой не было — в таких случаях его не дают; дают что-нибудь попроще, что можно без бумаги затвердить на память. Но будь он жив, его можно было бы допросить...»

Артемьев даже зажмурился от досады.

В сущности, на его долю теперь осталась самая простая задача — привезти японца сначала на аэродром, а потом — в штаб группы в целости и сохранности, не дав ему разодрать себе рану или найти какой-либо другой способ покончить жизнь самоубийством.

Данилов сказал, что японец не струсил, когда его брали, а, как Артемьев успел заметить за последние пять дней, Данилов открывал рот только для того, чтобы гворить венки, совершенно точно соответствующие действительности.

Артемьев думал о том, что у него мало надежды на успех, если он вздумает по дороге самостоятельно допрашивать этого японца. Если не считать нескольких минут, когда он на Баин-Шагане оказался переводчиком при разговоре командующего с японским полковником, то до сих пор он допрашивал только японские полевые сумки.

Правда, в этих полевых сумках, в дневниках, в неотправленных письмах содержалось много такого, что говорило скорей о чувстве обречённости, чем о мужестве, такого, что он, Артемьев, оставшись в окружении, никогда не записал бы в последние минуты, чтобы не доставить удовольствия врагу, который сможет это прочесть. Эти предсмертные неотправленные письма не были письмами трусов, но это были письма людей, с непривычки растерявшихся от того, что не они убивают, а их убивают. У японца, которого он везёт, всё время одинаково неподвижное и надменное лицо человека, которого трудно чем-нибудь смутить или поразить. Данилов сказал о нём, что он не трус. Но ведь не японец взял в плен Данилова, а Данилов взял в плен японца, Данилов, у которого не надменное и неподвижное лицо, а очень простое, человеческое, и который закрывает глаза и закусывает губы, когда ему больно.

Может быть, всё-таки попробовать допросить этого японца сейчас, ещё по дороге, пока он не попал на ночлег, не заснул, не проснулся живым, не прожил сутки и не почувствовал, что проживёт ещё и ещё сутки и его не будут ни бить, ни убивать.

Всё ещё продолжая раздумывать — допрашивать или не допрашивать японца, — Артемьев тем временем вплотную подъехал к нему и неожиданно спросил его по-японски громким, раздражённым голосом:

— Как ваше имя?

— Сике Курода, — вздрогнув от неожиданности и вздёрнув опущенную до этого голову, сказал японец.

— Военное звание? — крикнул Артемьев, наезжая на японца.

— Капитан.

Выражение растерянности и испуга заметалось в глазах японца и погасло. Дёрнув головой, он словно поймал маску, на секунду соскочившую с его лица, и она снова оказалась на своём месте — неподвижная и надменная.

— Из какой воинской части? — попробовал ещё раз крикнуть Артемьев, чувствуя, что японец уже не ответит ему.

И японец не ответил. Несколько минут Артемьев продолжал ехать рядом с ним, внимательно всматриваясь в его лицо.

«Лицо как лицо, — наконец подумал он, — и надменность ему придают только нарочито оттянутые вниз углы губ и прищуренные глаза. Однако терпеливый: хоть и на ветерке, но всё-таки комары его покусывают, а он даже щекой не двинет. Что верно, то верно».

— Я больше не скажу вам ни слова, — не поворачивая головы, резким, злым голосом сказал японец.

Артемьев проехал ещё несколько шагов рядом с ним и снова отстал на корпус лошади, продолжая напряжённо думать: как поступить дальше?

Была уже середина дня, солнце нещадно жгло. Сняв фуражку, Артемьев вытер рукой взмокший лоб, вспомнил, что в галифе у него есть платок, полез в карман и вытащил вместе с платком браунинг японца. Разглядывая ещё раз оружие, из которого человек, ехавший сейчас перед ним, шесть раз подряд стрелял в Данилова, Артемьев задержал браунинг в руке и вдруг поймал взгляд японца. Японец быстро отвернулся, но Артемьев успел заметить выражение его лица.

«Бойтся того, что я еду у него за спиной, — спокойно и уверенно подумал он, — бойтся, что не доведу и застрелю. В первые минуты, должно быть, и правда не струсил, а сейчас бойтся, и бойтся именно потому, что мы уже долго едем и у него появилась надежда куда-то доехать и остаться живым».

— Так будете или не будете отвечать? — спросил Артемьев, нарочно выбрав ту форму японского обращения, которая звучит, как «ты», и которую в Японии употребляют, желая подчеркнуть своё превосходство над собеседником или его низкое общественное положение.

Для этого ехавшего впереди японского капитана, исходя из его собственных воззрений, такое обращение означало проявление силы.

— Я буду говорить на допросе, когда вы меня привезёте в штаб, — сказал японец, не поворачиваясь, но, несмотря на уверенный тон ответа, сказал это поспешно, смягчая свои слова употребляющимися в японском языке почтительными приставками.

«Больше в дороге отвечать действительно не будет, — подумал Артемьев. — Бойтся, что я удовлетворюсь его ответами и, выслушав их, убью его. И в то же время побоялся ответить мне слишком грубо, чтобы я не убил его за слишком грубый ответ».

Артемьеву стало весело от уверенности, что он вполне понимает психологию японского капитана и что завтра в штабе, на допросе у Шмелёва, дело как будто должно пойти на лад.

От всех этих мыслей вдруг подобрев к японцу, Артемьев почти добродушно спросил его, хочет ли он воды.

— Да, — жадно и быстро сказал японец.

— Товарищ Скворцов! — крикнул Артемьев. — Подъезжайте ко мне, возьмите мою фляжку и дайте японцу воды. Он просит пить.

— Я сам не хочу ему давать, — тихо добавил Артемьев, когда Скворцов подъехал к нему вплотную. — А то много думать о себе будет. Да и вы особенно не старайтесь, влейте ему в рот три-четыре глотка, и ладно.

— Ясно, — понимающе сказал Скворцов и, взяв фляжку, подъехал к японцу.

Артемьев остановил коня и увидел, как пленный, задрал голову, сделал несколько жадных глотательных движений.

— Клычищи — прямо, как у тигры! — сказал Артемьеву Скворцов, отдавая фляжку.

На его лице мелькнуло подобие улыбки.

— Как бы наш Дунин на инвалидность по укусу не перешёл, — сказал он, насмешливо шмыгая носом. — Я, когда воду японцу давал, немножечко флягой по зубам стукнул. Крепкие!

— Это уж лишнее, — сказал Артемьев.

— Да я не нарочно. Что я, не понимаю? — серьёзным шёпотом, оправдываясь, сказал Скворцов. — Разве я связанного человека ударю? Я ему сперва руки развяжу, да пускай он меня первый стукнет, а потом уж я ему нос на затылок заверну.

— А хочется? — усмехнулся Артемьев.

— Я бы его за нашего капитана без лопаты живым в землю зарыл, — сказал Скворцов негромко, но с такой внутренней силой, что было видно: слова несколько не преувеличивают его чувств. Отъехав от Артемьева, он снова занял своё место рядом с пленным.

Продолжая ехать сзади, Артемьев заметил, что японец стал время от времени поматывать головой. Очевидно, теперь, когда ему дали воды, он окончательно поверил, что его пока не убьют, и, уже не боясь нарушить надменное предсмертное выражение лица, сразу вспомнил о комарах.

«Будет отвечать, — подумал Артемьев, — обязательно будет отвечать».

ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ ГЛАВА

Первое сентября оказалось для Польшина днём, полным событий. Рано утром встревоженного Козырева вызвали на Хамардабу в штаб. Один раз, в августе, его уже вызывали туда, и командующий, несколько не посчитавшись с его личными боевыми заслугами, разнёс его, как мальчишку, за одну ставшую известной выпивку и за слабое руководство группой.

— Если бы не хороший заместитель, который штопает твои прорехи, ты бы у меня сегодня вообще живым не ушёл, — угрожающе сказал ему тогда на прощание командующий.

Козырев, зная за собой новые грехи боялся повторения того же разговора на ещё более высоких тонах и, уезжая на Хамардабу, сорвал зло на Польшине — наговорил ему беспричинных и бессмысленных грубостей.

Польшин молча выслушал их и, приложив руку к козырьку, хладнокровно спросил: «Разрешите выполнять?» — хотя выполнять было нечего: всё, что наговорил ему Козырев, не имело никакого отношения к делу.

Не найдясь, чем ответить на явную иронию Полынина, Козырев махнул рукой, сел в машину и уехал в самом скверном настроении.

Полынин проводил глазами машину, подумал про себя, что Козырев, кажется, трусит разговора с командующим, и пошёл в штабную палатку заниматься делами.

Через час позвонили, что три девятки японских бомбардировщиков в сопровождении сорока истребителей перелетели Халхин-гол и легли курсом на полевые аэродромы нашей дневной бомбардировочной авиации.

Козыревская группа базировалась рядом с этими аэродромами и прикрывала их. Полынин приказал дать ракету и поднял в воздух все три девятки. На земле остался только самолёт Козырева.

Японцев встретили на подходе к аэродромам, но постепенно бой переместился к западу, и Полынин, дерясь с японскими истребителями, несколько раз видел внизу своё лётное поле с квадратом штабной палатки и маленьким, одиноко стоящим козыревским самолётом.

Японцы, как потом выражался о них Полынин, в этот день словно с цепи сорвались — им уже сожгли три бомбардировщика, сбили сразу же два и вскоре ещё два истребителя, а они всё лезли и лезли. Японские бомбардировщики, против обыкновения, сделали по целям не один заход, а два и пытались сделать третий. Истребители дрались оголтело — даже на встречных курсах отворачивали только в последнюю секунду.

Окончательно растрепали японцев, только когда на помощь Полынину прилетела ещё девятка из авиационного полка, базировавшегося за Тамцак-Булаком. Японские бомбардировщики стали набирать высоту и уходить в облака.

Гонясь за бомбардировщиками, Полынин, против всех своих правил, погорячился, промазал и, выходя из виража в хвост японцу, попал в сектор обстрела хвостового пулемёта. Японец очередь, вклепленной с самого близкого расстояния, превратил левую плоскость истребителя в такие лохмотья, что Полынин едва-едва довёл и посадил самолёт и вылез из него, с головы до ног обливаясь потом от пережитого напряжения.

Пока Полынин был в бою, на аэродром упало с десятков бомб. Козыревский самолёт взрывной волной приподняло и ткнуло плоскостью в землю. Плоскость теперь надо было менять.

Полынин представил себе, как, вернувшись, будет ругаться Козырев. Мало того, что воздушный бой начался, когда он был на полпути к Хамардабе и ему оставалось только, вылезши из «эмки», стоять на дороге и кусать кулаки, — теперь ещё день уйдёт на то, чтобы сменить плоскость.

Несмотря на утреннюю стычку с Козыревым, Полынин улыбнулся и посочувствовал ему. При всех тяжёлых сторонах козыревского характера, в бою оставалось только любоваться им — бой был его стихия. И уже по одному тому, что его сегодня лишили боя, он, вернувшись, наверняка начнёт придирается к Полынину и ругаться, что без него сбили слишком мало японцев.

Отшвырнув носком сапога осколок бомбы, валявшийся перед самым входом в штабную палатку, Полынин стал звонить бомбардировщикам. Во время боя он видел, как его лётчик Качура выбросился на парашюте из зажжённого японцами истребителя и начал снижаться над аэродромом бомбардировщиков. Дальнейшего Полынин из-за боя проследить не мог и сейчас хотел спросить бомбардировщиков, как дела с Качурой. Кроме того, он собирался узнать, какие у них потери от японского налёта. Хотя его ребята сделали как будто всё, что могли, и

японцев пощипали основательно, но он видел с воздуха два горевших на аэродроме самолёта и в душе чувствовал за это ответственность: всё-таки допустили, часть японцев прорвалась.

Качура был у бомбардировщиков, его даже позвали к телефону.

— Живой? — спросил Польшин.

— Я-то живой, — пристыженно сказал Качура и громко вздохнул в трубку.

— Он у тебя сразу вспыхнул, я видел, ты пламя не мог сбить. Так что не расстраивайся, что выбросился, зато живой, — сказал Польшин.

В их группе до сих пор гордились тем, что, как бы тяжело ни был повреждён самолёт, за всё время боёв никто из них ещё ни разу не бросил машины. Обходя общие авиационные инструкции на этот счёт, в группе держались собственного неписанного правила — садиться во что бы то ни стало, используя до отказа запасы прочности своих машин и характеров.

Качура был первым, кто выбросился на парашюте, и Польшин хотел приободрить его. Но Качура несколько не приободрился, а только мрачно сказал:

— Матчасть жалко. — И снова громко вздохнул.

— Ладно, давай мне Иконникова, — сказал Польшин.

Иконников был командир бомбардировочного полка. Польшин попросил его доставить Качуру на полуторке и стал расспрашивать, какие потери.

Иконников ответил, что потери сравнительно небольшие: сожжены на земле один «СБ» и один «У-2» из эскадрильи связи да два бомбардировщика повреждены осколками.

Поговорив с Иконниковым, Польшин вышел из палатки. Из боя уже вернулись все, кроме командира третьей девятки майора Фисенко, но о нём особенно не тревожились: Соколов-старший видел, как он шёл на бреющем полёте над степью уже после боя.

— Где-нибудь присел, — сказал Соколов. — Если через полчаса не явится, я слетаю, поищу.

Польшин молча кивнул, давая этим разрешение.

Самолёты спешно заправляли бензином, потому что от японцев, судя по их ожесточению, можно было ожидать повторения налёта.

Польшин обошёл все машины и, кроме своей и козыревской, отставил от полётов ещё два истребителя. Они, правда, не вышли из строя, но были так изрешечены, что их следовало подлатать.

Пилоты злились, пробовали доказывать Польшину, что пробоины на их машинах — чепуха, но Польшин не обратил на эти разговоры никакого внимания, надвинул на лоб фуражку и пошёл прочь.

Собравшись по трое, по четверо между самолётами, стоявшими поблизости друг от друга, лётчики обсуждали подробности боя.

Грицко, сидя под плоскостью и жестикулируя своими длинными руками, полушутя, полусерьёзно объяснял нескольким собеседникам психологические причины ярости японцев.

— Убери свои плоскости, — сказал Польшин, подсаживаясь к нему и придерживая его руку. — Психолог!

— А что? Психология самая простая, — сказал Грицко. — Тридцатого числа мы их на земле, на Ремизовской сопке, окончательно подытожили? — Он сложил пальцы щепотками и быстро завязал в воздухе невидимый узелок. — Тридцать первого они коллективные поминки по своей бывшей шестой армии устраивали — не летали. А сегодня проспались и пробуют в воздухе отыграться.

— Ну а на земле как, по-твоему, будут отыгрываться? — спросил Польшин.

Грицко поскрёб пальцами в затылке.

— Я утром, когда над передовой барражировал, полетал немножко над границей. Граница как граница: флаги стоят, проволока, всё в порядке, нормально, никаких японцев.

— А за границей? — спросил кто-то.

Грицко снова поскрёб в затылке и кивнул на Польшину.

— А как за границей — начальство спроси. Нам, грешным, туда летать не велено.

Грицко имел в виду приказ штаба группы, с содержанием которого Козырев вчера вечером познакомил весь личный состав. После ликвидации остатков японских войск на монгольской территории перелетать монгольско-маньчжурскую границу с сегодняшнего дня запрещалось даже на один-два километра в глубину.

Польшин промолчал.

— Ну а вот, скажем, так, — продолжал Грицко. — Предположим, внизу граница. — И он провёл своей длинной рукой по земле. — Он сюда к нам летал, а я за ним теперь обратно гонюсь. И он уже там. — Грицко показал пальцами по ту сторону черты. — А я ещё здесь, но вполне могу его через границу очередью достать. Так как, сразу в него стрелять или предварительно согласовать вопрос с командованием? А?

Польшин рассмеялся и пожал плечами. Пример Грицко был шуточный, но, действительно, как быть с этим приказом? Не на границе же прекращать преследование японцев, если они и дальше будут летать сюда?

Из палатки выбежал дежурный и стал семафорить Польшину, что его зовут к телефону.

— Кто это? — спросил незнакомый и чем-то всё же знакомый голос, когда Польшин вбежал в палатку и взял трубку. — Командир группы?

— Нет, Польшин.

— А, товарищ Польшин, — дружелюбно сказал голос. — Здравствуйте! Это говорит Апухтин. Помните меня?

— Ещё бы! — сказал Польшин. — Как в зеркало посмотрюсь, так сразу вас вспоминаю.

И он, продолжая говорить по телефону, инстинктивным движением потрогал пальцами оперированное Апухтиным ухо.

— Только что я снял со стола вашего Фисенко, — уже другим, суровым голосом сказал Апухтин. — Он перед наркозом просил меня непременно позвонить к вам в группу о результатах операции. Выполняю обещание и звоню. Докладываю: операция закончилась благополучно. Думаю — будет жив.

— А что такое? — спросил взволнованный Польшин. — Почему операция?

— Японская пуля в животе, потому и операция, — спокойно сказал Апухтин. — А благополучная потому, что ваш Фисенко сам себя спас: своевременно сел у госпиталя и даже подрулил почти что к операционной... А мы его, не теряя времени, — на стол. Будет жить, — тверже, чем в первый раз, уже без «думаю», сказал Апухтин.

— А когда можно его навестить? — помимо воли робея перед уверенным тоном хирурга, спросил Польшин. — Я, как стемнеет, приеду. Можно?

— Можно, но нет смысла, — сказал Апухтин. — Говорить с ним можно будет минимум через сутки. А вот самолёт ваш, пожалуйста, заберите сегодня же, а то ещё примут меня за аэродром и разбомбят. — Было слышно, как он усмехнулся, прежде чем положить трубку.

«Ах, Фисенко, Фисенко!» — подумал Польшин. После вторично твёрдо сказанных Апухтиным слов «будет жить» он уже не тревожился

за жизнь Фисенко, а лишь восхищался товарищем и строил догадки, как удалось Фисенко с пулей в животе благополучно посадить самолёт, и случайно ли при этом он оказался рядом с госпиталем или его железной воли хватило на то, чтобы, сознавая своё тяжёлое положение, сэкономить время и сесть у госпиталя специально.

«Пожалуй, что и так», — подумал Польшин и поднялся с деревянного ящика из-под сгущённого молока, на котором сидел, разговаривая по телефону. Но в эту минуту позвонил Иконников и спросил, получена ли армейская газета.

— Нет, — ответил Польшин, — нам позже привозят.

— А у нас уже есть. Большое награждение. Только Героев — тридцать один, — сказал Иконников. — Один у меня, один у вас. Прочитать по телефону?

— Прочти, — сказал Польшин.

Иконников не спеша прочёл список. Среди тех, кому было присвоено звание Героя Советского Союза, оказался Соколов-старший, у которого после Козырева было в группе самое большое количество сбитых самолётов.

— Чувствуешь? — сказал Иконников.

— Да, с Соколова причитается, — ответил Польшин.

— И, кроме того, ещё двое дважды Героев Советского Союза, — выдержав паузу, сказал Иконников, — командир особой группы Гринцевец и майор Кравченко. Вот будет твой Козырев рвать и метать, что им дали по второму разу, а ему нет!

Иконников сказал это с некоторым даже злорадством; он в августе приезжал объясняться с Козыревым на принципиальной почве, но вместо этого поругался и написал на Козырева рапорт, что тот неаккуратно сопровождает бомбардировщиков, — когда они ложатся на обратный курс, оставляет при них всего одно звено, а сам уводит остальных истребителей на свободный поиск японцев, в результате чего Иконников имел потерю: подбитый на обратном пути японцами бомбардировщик.

В душе опасаясь, что Козырев действительно посчитает себя обойдённым, Польшин, однако, из чувства товарищества не согласился с не любившим Козырева Иконниковым и сказал, что ничего подобного, — Козырев примет всё, как должно!

— Поживём — увидим, — сказал Иконников, выслушав это. — Дальше докладывать или нет? — В его голосе был какой-то поддразнивающий оттенок.

— Продолжай, раз начал, — ответил Польшин, сразу охрипнув от волнения.

— Напечатано, что всего по армейской группе — девятьсот три награждённых. Мои ребята звонили в редакцию — у них там машинистка знакомая, — по орденам Ленина уже список есть. Там и мне, и тебе, и Козыреву по ордену Ленина причитается.

— Насчёт меня не шутишь? — тихо спросил Польшин.

— Разве этим шутят? — серьёзно ответил Иконников. — Поздравляю! И Козырева бы поздравил, да ведь он о себе такого мнения, что ему, наверное, одного ордена мало.

Закончив разговор, взволнованный Польшин вышел из палатки. Он хотел поделиться с товарищами всем сразу — и тем, что Фисенко чуть не погиб, а сейчас уже в безопасности и не надо лететь на его розыски, и тем, что в группе теперь новый Герой — Соколов, и, наконец, своей собственной радостью, но едва он отошёл от палатки на пять шагов, как снова зазвонил телефон.

— Четырнадцатый звонит! — крикнул дежурный.

Полынин рысью побежал к телефону и получил приказание поднять девятку истребителей — барражировать над Хамардабой.

Через три минуты дежурная девятка была уже в воздухе. Её вёл Соколов, так и не успевший узнать перед вылетом, что ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Выпустив в воздух девятку, Полынин велел снарядить полторку с бочкой авиационного бензина и приказал одному из тех лётчиков, чьи истребители были отставлены от полётов, поехать и, если машина Фисенко в порядке, заправить и пригнать её.

А ещё через пять минут вернулся Козырев, такой мрачный и тихий, каким его Полынин ещё никогда не видел.

Возвращаясь с Хамардабы, Козырев два раза по дороге вылезал из машины и, сцепив руки за спиной, ходил по степи, чтобы успокоиться. Обычно он немало не заботился о том, какие чувства выражает его лицо, но сейчас был уязвлён настолько, что не желал этого никому показывать.

Козыреву пришлось явиться не к самому командующему, как он предполагал, а к своему непосредственному начальнику — заместителю командующего по военно-воздушным силам. Из его юрты Козырев вышел ровно через три минуты после того, как вошёл в неё, — выслушав поздравление с орденом Ленина и приказ сегодня же сдать командование группой Полынину, засветло перелететь на аэродром тяжёлых бомбардировщиков и завтра утром почтовым самолётом отбыть в Москву, куда его отзывали.

И то и другое — и награждение орденом Ленина, в то время как Грицевец и Кравченко стали дважды Героями, и отозвание в Москву, когда здесь ещё не кончились бои, — Козырев с горечью ставил в прямую связь со своим недавним вызовом к командующему.

Все, конечно, знали, что Козырев сбил здесь четырнадцать самолётов, — тут уж не прибавишь и не убавишь, — не меньше, чем у Грицевца и Кравченко. Но командующий считал его слабым командиром группы, и вот результат — сначала представил его к ордену Ленина вместо дважды Героя, и в Москве посчитались с этим, а теперь согласился в разгар боёв вовсе отпустить его в Москву, считая, что здесь можно обойтись и без Козырева.

Не легче переживал Козырев и то, что сдавать группу приходилось Полынину, с которым у него за последнее время испортились отношения.

В глубине души Козырев уже давно начал понимать, что Полынин день ото дня всё больше делается фактическим командиром группы. Началось это ещё в июне, когда Козырев заболел малярией. Потом, выздоровев, он махнул на это рукой — чем он меньше командовал, тем у него оставалось больше времени летать, а Полынин успевал и то и другое.

Если бы кто-нибудь откровенно сказал Козыреву, что было бы гораздо лучше назначить Полынина командовать группой, а ему, Козыреву, вместо этого дать командовать девяткой или звеном, или просто летать на своём истребителе, не командуя никем, кроме себя; если бы Козыреву сказали, что так будет лучше и для них обоих и для всей группы, — он бы встал на дыбы. По его убеждению, Полынин мог делать всё, что он делал, но группа должна была оставаться козыревской, потому что Козырев, а не Полынин, был знаменитым лётчиком, потому что Козырев сбил вдвое больше самолётов, чем Полынин, потому что Козырева знала страна, а Полынина мало кто знал.

После того как Козырев необычайно быстро стал за два года из лей-

тенанта полковником, из рядовых лётчиков — командиром полка, ему искренне казалось, что группой должен командовать именно он. А если командование ему плохо даётся (он это сознавал), то ему должны помогать в этом другие, в интересах всей группы оберегая его авторитет.

Если бы он вдруг сам себе задал вопрос: а, собственно, почему нужно оберегать его авторитет и почему это в интересах группы, и почему хорошо, когда формально командует группой один, а по существу — другой, — едва ли бы он смог честно ответить себе на этот вопрос. Но он и не задавал себе этого опасного вопроса, и лишь всё чаще и чаще вспыхивавшее в нём раздражение против всё успевавшего, неутомимого и властного Польшина говорило о том, что где-то в глубине самовлюблённой души Козырева жило сознание своей неправоты.

Вызов к командующему в августе впервые открыл Козыреву глаза на то, что не только он сам в глубине души понимает, кто фактически командир группы, но и другие начинают понимать это. Его самолюбие было уязвлено, и он открыто начал задевать Польшина. Сегодня в штабе наконец были поставлены все точки над «i».

Козырев понимал, что Польшин ни в чём не виноват перед ним, напротив, он виноват перед Польшиним, но, понимая это, всё равно не мог смирить в себе самолюбивого бешенства.

Приехав на аэродром, Козырев походил около воронок, потом вокруг своего истребителя, посмотрел на его изрешечённый во многих боях и залатанный фюзеляж, на изуродованную плоскость и мрачно подумал: «Одно к одному!»

Не сказав ни слова никому из лётчиков, он поманил за собой Польшина и вошёл в палатку. Там он сначала выслушал доклад Польшина о Фисенко, дважды переспросил, правда ли, что жизнь Фисенко уже вне опасности, а потом сквозь зубы, сдерживаясь и обращаясь к Польшину строго официально, на «вы», предложил ему принять командование группой, которую он, Козырев, сдаёт ему в связи со своим убитием в Москву.

Сдавать, собственно, было нечего. Всё, что касалось и людей и материальной части, было известно Польшину не хуже, а лучше, чем Козыреву, и это знали они оба.

— Прикажете перегнать сюда «У-2» и подготовить его мне на пятнадцать ноль-ноль, — сказал в заключение Козырев, сел в машину и поехал к себе в юрту за вещами.

Польшин тут же позвонил командиру звена «У-2», которое базировалось рядом, на аэродроме бомбардировщиков, и после этого, огорчённо подняв брови, крепко сцепив перед собой на столе руки, несколько минут молча просидел один.

Он несколько не боялся вступить в командование группой, зная, что без Козырева будет командовать ею лучше, чем при Козыреве, — со всей полнотой власти, без помех. То, что Козырев улетал, хотя и заботило Польшина, но по другой причине: Фисенко был в госпитале, а теперь ещё улетит Козырев — лучший лётчик группы. Именно так: не как командира, а как лучшего лётчика группы уже давно привык он расценивать для себя Козырева.

И всё-таки Польшин был не столько озабочен, сколько огорчён. Тот официальный тон, который Козырев взял с ним по приезде из штаба, по мнению Польшина, можно было бы оправдать лишь в одном случае — если бы он, Польшин, «подсидел» Козырева. Но сам бесконечно далёкий даже от мысли о чём-либо похожем, Польшин не допускал, что Козырев мог заподозрить его в этом, недоумевал и сердил.

Даже когда Соколов привёл свою девятку после барражирования

над Хамардабой, Полынин стал поздравлять его, не успев стереть с лица сердитое, недоумевающее выражение, вызванное поведением Козырева.

Только увидев, как Соколов улыбнулся широкой улыбкой безудержного счастья, Полынин, забыв о Козыреве, стал обнимать Соколова и хлопать его по плечам и по спине, сам сияя навстречу счастливой улыбкой.

Козырев вернулся через час с чемоданом в руке и с кожанкой подмышкой.

«У-2» ещё не прилетел. Поставив чемодан возле палатки и положив на него кожанку, Козырев вошёл и сел за стол напротив Полынина.

Несколько минут они сидели молча, оба не зная, что сказать. Наконец Козырев заговорил первым:

— Спрашивал я в штабе насчёт волновавшего нас с вами вопроса, как быть с японцами в смысле границы. Мне сказали, что командующий дал разъяснение: раз сами перелетели — гнаться через границу и бить до смерти! — И вдруг, словно только сейчас спохватившись, протянул через стол руку. — Поздравляю с орденом Ленина. Этого кляузника Иконникова тоже наградили.

Козырев сказал это без всякой паузы. Полынин чуть не вспылил, но, пересилив себя, улыбнулся и, крепко пожав руку Козыреву, сознательно ответил на «ты»:

— И я тебя поздравляю.

Козыреву стало стыдно. Он не хотел нарочно обидеть Полынина, но не удержался, когда на язык навернулись эти слова насчёт кляузника.

— Вообще-то он мужик неплохой, — поправляясь, сказал он об Иконникове, — только душу истребителя не понимает.

— По-моему, тебе личный состав надо собрать, — после молчания сказал Полынин. — Проститься и меня представить.

— Ну что ж, собирайте, — ответил Козырев, продолжая говорить на «вы».

Через четверть часа Полынин собрал весь личный состав, за исключением лётчиков третьей — дежурной — девятки.

Козырев готов был расплакаться, увидев сразу почти всех лётчиков и механиков, в том числе своего механика — Бакулина. И именно от того, что ему хотелось заплакать, он, к общему удивлению, сказал на прощание только несколько сухих, казённых слов, каких отродясь не говорил, деревянным голосом представил Полынина как нового командира группы и, боясь вопросов или проявлений чувств, сразу торопливо скомандовал:

— Можете быть свободными.

— Насчёт Бакулина, — сказал Козырев Полынину, наблюдая за тем, как лётчики и механики, переговариваясь, расходятся к самолётам, — Бакулина мне обещали в ближайшие дни тоже откомандировать в Москву. Так ты, если тебя спросят, пожалуйста, не задерживай.

Впервые за всё время Козырев перешёл на «ты». Говоря о Бакулине, он несколько пригнул из самолюбия. Бакулина ему не обещали откомандировать, а лишь сказали, что решат вопрос, и он подозревал, что при решении этого вопроса главное слово будет за Полыниным.

— Конечно, не задержу, — с готовностью ответил Полынин, знавший силу привычки к своему механику и вполне понимавший Козырева.

Козырев благодарно взглянул на него.

— Слушай, — сказал Полынин, решившись пойти на полную откровенность, — ну, на меня ты сердит — так чёрт с тобой! Наверное, по-твоему, я виноват, что за тебя остаюсь. Но ребята при чём? Они-то в чём

виноваты? Пойди простись с каждым по-людски. Слышишь? Обойди все самолёты и простись. Слышишь или не слышишь?

— Слышу, — глухо сказал Козырев и, ни слова не прибавив, пошёл к самолётам.

Вскоре и Польшин отправился вслед за ним на лётное поле, решив осмотреть уже пригнанную машину Фисенко. Она оказалась в полном порядке, если не считать нескольких пулевых пробоин в щитке. Придирчиво осмотрев машину, Польшин тут же приказал её заправить, рассчитывая летать на ней, пока заменят плоскость на его собственном истребителе.

Часом позже Козырев, немножко повеселевший и смягчившийся от тех изъявлений дружбы и товарищества, которыми, каждый по-своему, проводили его лётчики, стоял возле «У-2» и ещё раз поочерёдно пожимал руки всем, чьи истребители были неподалёку и кто имел возможность подойти к нему. Чемодан и кожанка уже были сунуты в кабину, он уже держал в руках шлем и собирался садиться в самолёт, как вдруг из палатки, где стоял телефон, выскочил дежурный и, подбежав к Польшину, взял под козырёк.

— Товарищ командир группы! Приказано девятке опять вылететь на Хамардабу.

— Давай! — сказал Польшин стоявшему возле него Грицко.

Лётчики побежали к машинам, а Польшин встретился взглядом с Козыревым. У Козырева было напряжённое, обиженное лицо человека, у которого только что отняли самое для него дорогое и сейчас уже невозвратимое. Вдобавок его резанули по сердцу слова «товарищ командир группы», обращённые не к нему, а к Польшину.

— Может, слетаешь напоследок? — спросил Польшин. — Машина Фисенко запровлена.

Козырев покраснел. Именно этого он хотел сейчас, но ни за что не заговорил бы сам, боясь, что Польшин откажет.

— Слетаю, — коротко, сдавленным от волнения голосом сказал Козырев, натягивая шлем. — Свою девятку! — И побежал к самолёту Фисенко.

Через сорок минут вернувшись, разгорячённый боем Козырев снова стоял около «У-2» и снова вокруг толпились лётчики. Правда, в бою был сбит всего один японец и при этом коллективно — Грицко, Козыревым и ещё двумя истребителями, но у Козырева всё равно было разгорячённое и счастливое лицо. Он был рад, что улетает в Москву прямо из боя.

— Этого японца будем считать за тобой, — возбуждённо говорил Грицко, пожимая ему руку.

— А считайте, за кем хотите. За всей польшинской группой.

Козырев не выговорил, а выдал из себя эти трудно давшиеся ему слова и, довольный собой, подошёл напоследок к Польшину.

— Желаю успеха, Николай, — сказал он, пожимая руку Польшину.

— И тебе тоже, — ответил Польшин и совсем тихо, но твёрдо добавил: — Побольше летай, Петя, поменьше командуй.

Это было сказано с неумолимой польшинской прямоотой.

— Гм... Как начальство, — криво усмехнулся Козырев, — от нас не зависит.

— А ты объясни, — всё так же неумолимо сказал Польшин.

Козырев взглянул в лицо Польшину со смешанным чувством изумления перед дружеской откровенностью этого человека и злости на него. Боясь, чтобы с языка некстати не сорвалось что-нибудь грубое, он тороп-

ливо обнял Полынина и полез в самолёт не на пассажирское место, куда уже был закинут его чемодан, а на место пилота.

— Товарищ полковник! — запротестовал, подбегая, пилот.

— Садись в «тёщин язык», — сказал Козырев. — Видишь, я уже сижу. А ну, от винта!

Едва Козырев улетел, как снова позвонили из штаба и снова потребовали поднять в воздух девятку. На этот раз группа японских самолётов была замечена на большой высоте над Буир-нуром. Очевидно, японцы рассчитывали незаметно зайти глубоко с востока, чтобы потом обрушиться на северную переправу через Халхин-гол. Девятку послали на перехват, и она действительно перехватила японцев над районом солончаковых озёр. Бомбардировщики успели уйти в облака, но один истребитель сопровождения всё-таки был сбит. Об этом, стоя у самолёта, доложил Полынину водивший девятку Соколов-старший. Докладывая, он переминался с ноги на ногу и искоса поглядывал на задержавшуюся у соседнего самолёта бензозаправку.

— Ты чего волнуешься? — спросил Полынин.

— Братишку что-то потерял, — ответил Соколов.

— Подожди, придёт, ещё три машины не вернулись, — спокойно сказал Полынин.

— Да я его что-то с самого начала из виду упустил. Боюсь, не считал бензина — где-нибудь сел.

Соколов боялся не этого, но говорить о другом не хотел.

Сели ещё два самолёта. Соколова-младшего всё не было. Полынин посмотрел на часы. По расчёту горючего, младший Соколов прилететь уже не мог.

— Облачность, — оправдываясь перед Полыниным, говорил старший Соколов. — Я сразу полез на верхний этаж за японцами, вынырнул — а его уже нигде нет. Наверное, присел где-нибудь. Разрешите слетать?

С его лица исчезли последние следы того откровенного счастья, которым оно сияло весь день с минуты, когда он узнал, что ему присвоено звание Героя.

— Звеном слетайте, — приказал Полынин. — Сразу пошире район осмотра возьмите.

Соколов слетал звеном, но ничего не нашёл. Потом слетал ещё раз — один — и тоже ничего не нашёл. Он крепился, держался спокойно, но Полынин видел, как он удручён, и не пустил его в третий полёт, а сел в истребитель Фисенко и полетел сам.

Вылетев в район солончаковых озёр, он снизился и несколько раз сблетел квадрат карты, над которым два часа назад перехватила японцев девятка Соколова.

Начинало вечереть. Степь лежала внизу однообразная, угрюмая и в этих удалённых от района боёв местах особенно безлюдная. За всё время полёта Полынин заметил только одну небольшую, расположившуюся бивуаком группу кавалеристов, должно быть, монголов.

Никаких следов Соколова-младшего нигде не было.

Уже возвращаясь, Полынин увидел под собой разбросанные по степи остатки самолёта.

«Не это ли?» — подумал он и, развернувшись, прошёл над обломками так низко, что успел схватить глазом все подробности: обломки были свежие, наверное, сегодняшние, а лежавший подле них труп был трупом японского лётчика.

Вернувшись на аэродром, Полынин сказал Соколову, что поиски будут продолжаться завтра с утра одним звеном, и приказал шабашить,

потому что «шарик» уже скрылся за горизонтом и через двадцать минут наступит полная темнота.

Наскоро и без аппетита перекусив у себя в юрте вместе с Грицко (перебраться в юрту Козырева сразу же, сегодня, душа не лежала), Польшин почувствовал тяжёлую усталость и, подложив под сапоги газету, прилёг на койку. Несмотря на предупреждение Апухтина о том, что с Фисенко можно будет говорить только через сутки, он всё-таки решил, полежав полчаса, съездить в госпиталь и узнать, как дела. Поглядывая на неподвижно лежавшего на соседней койке лицом вниз старшего Соколова, он сначала думал над тем, как лучше завтра организовать поиски, потом, вспомнив о Козыреве, пожалел, что из-за суеты перед отлётом даже не догадался послать с ним письмо матери — порадовать её тем, что получил орден Ленина. Укорив себя за это, он решил, что всё-таки непременно напишет ей и пошлёт письмо с козыревским механиком Бакулиным. Потом мысли его стали путаться, и он незаметно заснул.

— Товарищ командир! А товарищ командир! — расталкивал Польшина оперативный дежурный.

Польшин спустил с койки ноги и протёр глаза. На столе стояла «летучая мышь» с прикрученным фитилём. На одной койке храпел Грицко, на другой, попрежнему уткнувшись лицом в подушку, лежал Соколов-старший. Третья была пустая.

У входа в юрту рядом с оперативным дежурным кто-то стоял.

— Вот тут приехал товарищ капитан из разведотдела, — продолжал дежурный. — Говорит, срочное задание командования. Я поэтому вас разбудил.

— Ну и хорошо, что разбудили, — сказал Польшин, имея в виду не приезд капитана из разведотдела, а собственную предстоящую поездку к Апухтину. — Садитесь. — Он прибавил фитиль в фонаре, показал на пустую койку младшего Соколова и лишь после этого поднял глаза на присевшего напротив него капитана.

— Здравствуйте, — удивлённо сказал Артемьев.

Он знал, что выехал к аэродрому козыревской группы, и, когда просил дежурного разбудить командира группы, ожидал, что увидит Козырева.

— А, здравствуй, Павед, — сразу узнав Артемьева и протягивая ему руку, без всякого удивления сказал Польшин. — Как живёшь? Вид у тебя что-то неважный.

— Живу ничего, — сказал Артемьев, отирая ладонью своё запялённое, распухшее от комариных укусов лицо. — Пять дней у чёрта на куличках был. Как идут дела?

— Смотря где, — сказал Польшин. — В Европе, похоже, война со дня на день начнётся между поляками и немцами, и те и другие всеобщую мобилизацию уже объявили. Ночью наши радисты пробовали настроиться, послушать, но ничего не вышло — далеко!

— А как здесь? — спросил Артемьев.

— На земле закруглились, на границу вышли, пока всё тихо.

— А в воздухе?

— А в воздухе ещё воюем. Сегодня девять самолётов сбили и своих два потеряли.

При этих словах Польшина Артемьев оглянулся на пустую койку, на краешке которой он сидел.

— Чего прибыл-то? — спросил Польшин.

Артемьев вкратце рассказал о поимке диверсанта и ранении Данилова, попросил дать полуторку и помочь позвонить в штаб и в госпиталь.

— Готовьте полуторку, — сказал Полынин оперативному дежурному, — чтобы через десять минут была. А к телефону придётся в козыревскую юрту пойти.

Он взял со стола «летучую мышь» и первым вышел из палатки.

Вслед за ним вышел Артемьев. В колеблющемся пятне света мелькнули неясные очертания стоявших около палатки людей и лошадей.

— Тебе кого вызвать? Разведотдел? — спросил Полынин, когда Артемьев вслед за ним вошёл в знакомую козыревскую юрту.

— Разведотдел.

— Это надо будет через четырнадцатый звонить, потом двойку просить, и чтобы уже двойка дала тебе разведотдел. У нас прямой связи нет. Сейчас попробуем.

Полынин pokrutil ручку телефона, вызвал четырнадцатый и попросил дать двойку.

— Ну, а живёшь-то, живёшь-то как? — держа трубку около уха, спросил он у Артемьева.

— Да ничего, — сказал Артемьев, — был в оперативном, теперь в разведывательном. Один раз видел над степью твой истребитель, узнал по семёрке на хвосте. Хотел тебе крикнуть, чтобы присел на минутку, да пока собрался, тебя и след простыл.

— А мы тебя с ребятами вспоминали. Я тогда прилетел, а ты уже с командующим уехал. Говорят, он тебе тогда жизни давал за то, что на аэродроме оказался? Крепёнько давал?

— Немножко досталось. Особенно по началу, — улыбнулся Артемьев воспоминанию, казавшемуся теперь удивительно далёким. — А где Козырев?

— Ну, что тебе? — спросил Полынин в трубку. — Хорошо, позвоню. Через пять минут, говорят, позвонить, — положив трубку, сказал он Артемьеву и, отвечая на вопрос, добавил: — Козырев улетел сегодня. В Москву. Его отозвали. Ты ведь москвич? — Глядя на Артемьева, он вспомнил о своём намерении послать с Бакулиным письмо матери и подумал, что Бакулин может захватить и письмо Артемьева. — У нас тут механик козыревский полетит на днях, если хочешь, напиши записку к родным — он доставит. Я тоже домой писать буду.

— Может, неудобно? — спросил Артемьев.

— Почему неудобно? А то, у кого ни спросишь, — все на полевую почту жалуются. Идёт больше месяца.

— Да, примерно так, — сказал Артемьев, вспомнив о письмах Маши и Синцова.

Полынин, вырвав верхнюю, исчерченную Козыревым страницу, протянул Артемьеву блокнот.

— На, пиши!

Артемьев поблагодарил и торопливо нацарапал на листке несколько строчек одеревеневшими, плохо слушающимися пальцами.

— Кому пишешь-то? — спросил Полынин, увидев, что Артемьев уже складывает листок. — Больно коротко.

— Матери, — ответил Артемьев.

— И я тоже матери буду писать. Вот так мы всегда: как матери, так коротко. А то и вовсе забудешь. Козырев улетел сегодня в Москву, а я даже про мать и не вспомнил. Ну, что они там?

Засунув в карман гимнастёрки записку Артемьева, он снова взялся за телефонную трубку.

— Четырнадцатый! Даёшь двойку или не даёшь? Ну, жду!

Откинув кошму, в юрту вошёл оперативный дежурный.

- Полуторка готова, товарищ майор.
- Давай езжай, не трать времени, — обратился Польшин к Артемьеву и кивнул на дежурного. — Я ему сейчас поручу, чтобы он дозвонился и сообщил, что ты уже выехал.
- Надо ещё в госпиталь дозвониться, — сказал Артемьев.
- Не надо. У меня там лётчик раненый лежит, я сейчас туда сам всё равно еду.
- На ночь глядя?
- Ну конечно, на ночь глядя. А глядя на утро, мне летать надо! Самому Апухтину всё скажу.
- Действительно скажешь? Не забудешь? — Артемьев хотя и доверял словам Польшина, но слишком сильно волновался за судьбу Данилова.
- Что значит «забудешь»? — возмутился Польшин. — Что я, не понимаю, что ли, когда раненый человек в степи лежит? Я, между прочим, два часа назад, наверное, как раз их и видел. Людей с десятков и лошадей десятка два. В районе солончаков. Могут быть они?
- Вполне могут, — подтвердил Артемьев.
- Ну вот, — сказал Польшин так, будто он с этой минуты лично знаком с Даниловым и Артемьев может окончательно не тревожиться за судьбу пограничника. — Всё сделаю, будь спокоен. Иди, грузи на машину своё добро!

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ГЛАВА

Время от времени ставя стакан на крахмальную салфетку, которой был застлан угол письменного стола, командующий с удовольствиемпил крепкий чай.

Блиндаж был новый, законченный только позавчера, когда на Ремизовской сопке отгремели последние выстрелы. Он был срублен сапёрами из новых брёвен на удивление чисто, даже нарядно. Часть блиндажа была отделена занавеской, сшитой из двух новеньких плащ-палаток. За ней стояла койка. Пол был хорошо выструган и только что выметен. На стенах, на нескольких новеньких никелированных крючках висели шинель, плащ и гимнастёрка командующего, его ремень, бинокль, планшетка, полевая сумка и две фуражки — старая и новая.

Командующий был в прекрасном настроении с позавчерашнего дня, когда они с членом Военного Совета доложили Москве итоги операции.

Японцы понесли крупное военное поражение. Именно такими словами оценил происшедшее Ворошилов, разговаривая по телефону с командующим.

— Буду докладывать товарищу Сталину, что задача, поставленная им перед вашей армейской группой, полностью выполнена, — в заключение сказал Ворошилов.

А через несколько часов ночью был получен Указ правительства о награждении героев Халхин-гола. Список в тридцать человек, которых в ходе боёв командующий представил к званию Героя Советского Союза, был пополнен в Москве ещё одним человеком — им самим.

Несмотря на это радостное известие, командующий, вопреки ожиданиям окружающих, не дал себе никакой поправки после одиннадцатидневного напряжения боёв, а, наоборот, провёл весь вчерашний день в самой кипучей деятельности. Он полдня работал с начальником штаба, потом занимался вопросами тыла, настаивал, чтобы интендантство немедленно прислало из Читы несколько тысяч комплектов обмундирования первого срока, потому что люди на передовой обносились в боях; потом вызывал авиаторов и артиллеристов, а весь вечер подписывал с членом

Военного Совета наградные листы. Это тоже заняло немало времени — он и член Военного Совета несколько раз принимались спорить, когда речь заходила о том или ином командире, который хотя и отличился в бою, но имел в недавнем прошлом серьёзные взыскания.

Член Военного Совета обычно в таких случаях требовал снизить награду в воспитательных целях — дать почувствовать человеку, что хоть он и герой, а закон и для него писан.

Командующий два или три раза соглашался, но чаще, взяв в руки наградной лист и перечтя вслух мотивировку представления, упрямо переспрашивал:

— Сопка-то им взята или не взята?

— Взята.

— Три пулемёта уничтожены?

— Уничтожены.

— Так ты ему сначала его орден отдай, а потом воспитывай в нём то, что раньше не успел.

— Однако, например, с Қозыревым, наоборот, ты сам настаивал на снижении, — во время одной из таких вспышек спора сказал член Военного Совета. — Где же логика?

— Я не потому настаивал, что он выпивает. Хотя тут хорошего мало, но за четырнадцать сбитых самолётов я ему это уж как-нибудь простил бы! Я потому настаивал, что он как командир группы — иждивенцем стал! Покажи мне здесь иждивенцев! — Командующий взял в руки всю охапку наградных листов. — Каждому, кого покажешь, снижу!

К часу ночи осталась лишь тонкая стопка наградных листов на артиллеристов.

— Давай оставим до завтра — пусть ещё на несколько человек дадут, — сказал командующий и, имея в виду начальника артиллерии, добавил: — Каков поп, таков приход. Скромные люди у нас артиллеристы. Землю подняли дыбом, а наградных листов — раз, два и обчёлся. Что они, стесняются, что ли?

Весь вчерашний день с утра до вечера прошёл без единой свободной минуты.

Зато ночью командующий впервые за долгое время, не торопясь, попарился в бане и, хотя после этого проспал всего четыре часа, чувствовал себя сегодня помолодевшим и бодрым. Он сидел в заправленной в бриджи натальной рыжей байковой рубашке, расстёгнутой на широкую, сильной шее, пил чай и наслаждался окружающей чистотой, запахом свежееобтёсаных брёвен, отсутствием пыли, песка, комаров, ветра и даже солнца.

Сегодняшний день был спланирован так, чтобы соединить необходимое с приятным; командующий решил с утра не спеша объехать части, расположенные вдоль границы, и об этой поездке думал с удовольствием — войска были в праздничном настроении, синоптики сулили хорошую погоду, да и небо — хотя только недавно рассвело — обещало то же самое. Оставалось лишь допить чай и ровно в семь накоротке принять перед отъездом начальника разведотдела.

— Разрешите войти, — сказал Шмелёв, приотворяя дверь.

— Входите. Садитесь, — сказал командующий и, взглянув на часы, увидел, что на них ещё только без пяти семь. — Что-то у вас в разведке часы вперёд забегают.

— Такая уж наша служба, — сказал Шмелёв.

Командующий насмешливо кашлянул, извинился перед Шмелёвым, снял с никелированного крючка гимнастёрку и ремень и пошёл за занавеску — одеться.

— Чаю хотите? — спросил он вернувшись.

— Спасибо, товарищ командующий. Пил.

Освобождая письменный стол, командующий сложил вчетверо салфетку, взял стакан и отнёс всё на маленький столик в углу. Лишь после этого он сел за стол напротив Шмелёва.

— Докладывайте.

Шмелёв, который ночью по телефону только в двух словах сообщил, что взят пленный и что приступлено к его допросу, теперь подробно рассказал обстоятельства захвата пленного и уничтожения диверсионной группы.

Командующий нажал кнопку звонка. Вошёл адъютант.

— Соедини меня с Апухтиным, — сказал командующий адъютанту и, жестом задержав его, обратился к Шмелёву: — Данилов-то в какой госпиталь попал? Наверно, к Апухтину?

— Очевидно, — запнувшись, ответил Шмелёв. — Я не выяснял.

— Напрасно, — сказал командующий. — А куда ранен, знаете?

— Ранение тяжёлое, — неуверенно отозвался Шмелёв, в спешке перед началом допроса пропустивший мимо ушей лишние, как ему казалось, подробности, рассказанные Артемьевым.

— Что тяжёлое — это я уже от вас слышал, а вот куда он ранен, вы этого тоже, оказывается, не выяснили. — Командующий повернулся к адъютанту и повторил, чтобы тот соединил его с Апухтиным, вызвав одновременно из разведотдела капитана Артемьева. — Может, хоть от него толком узнаю о Данилове, — с упрёком сказал командующий Шмелёву, когда адъютант вышел.

Шмелёв виновато промолчал.

— А теперь главное, — что показывает пленный? — спросил командующий.

Шмелёв изложил ход допроса.

— Пленный просил гарантировать ему жизнь и неоглашение в печати его имени в связи с теми показаниями, которые он даст, ибо такое оглашение будет грозить ему военным судом после репатриации.

— Надеется на репатриацию? — спросил командующий.

— Очень, — сказал Шмелёв.

— Ну и правильно надеется, — сказал командующий. — В конце концов, наверно, обменяемся. Хоть обмен будет и неравный: на каждого нашего несколько десятков ихних, если не больше. Как, дали ему гарантию?

— Дал.

— Как он после этого?

Оказалось, что после этого пленный так разговорился, что протокол допроса, захваченный с собой Шмелёвым, представлял собой пачку в двадцать мелкоисписанных листов.

Командующий выслушал запись ответов на все основные вопросы, заданные пленному Шмелёвым. В числе прочих сведений пленный сообщал, что штабом Квантунской армии отдано приказание в ближайшие две недели подтянуть к району Халхин-гола восемь дивизий.

— Врёт, — уверенно сказал командующий. — Перепугался и врёт. Набивает себе цену. Чем это вы его так запугали? Вид у вас вроде не такой уж зверский...

— Сам перепугался, — сказал Шмелёв. — Иногда какого-нибудь командира пехотной роты днями допрашиваешь — ни слова не добьёшься, а этот, казалось бы, три года служил в их контрразведке, а разговорился, как баба на базаре.

— Вот именно, что служил в их контрразведке, — кивнул командую-

щий. — Какой-нибудь садист, наверное. Несколько лет подряд загонял другим булавки под ногти, вырезывал ремни на спине, а теперь воображение играет: как бы на нём самом его методы не попробовали. Что, не так разве?

— Так точно, — поспешил согласиться Шмелёв.

— Может быть, и не так уж точно, — подтрунивая над поспешностью Шмелёва, сказал командующий, — но, в общем, примерно так... А как ваше-то собственное мнение насчёт этих восьми дивизий?

— Капитан Артемьев явился, — войдя, доложил адъютант.

— Сейчас вызову, — ответил командующий и, когда дверь за адъютантом закрылась, обратился к Шмелёву: — Наконец-то! А я уж хотел спросить, откуда у вас в разведке такой народ неповоротливый — полчаса на сборы!

— Я его всего час назад отпустил с допроса, — думая, что он оправдывает этим Артемьева, сказал Шмелёв. — Несколько суток почти не спал. Наверное, так заснул, что не сразу растолкали.

— Эх вы! — сказал командующий. — Сами же человека только что спать отпустили и сами же его будите. Куда это годится!

— Выполняя ваше приказание, товарищ командующий... — удивлённо развёл руками Шмелёв.

— Да уж выполня! — недовольно сказал командующий. — Выполнять приказания, конечно, надо, но и язык иногда надо иметь. У нас ведь с вами не бой, не горячка. Набрались бы смелости и сказали: товарищ командующий, человек несколько суток почти не спал, час назад лёг. Прикажете будить? Ну, а я, зная все обстоятельства, уже сам бы как-нибудь решил: будить или нет.

— У меня была такая мысль... — не понимая горячности командующего, сказал Шмелёв.

— Вот именно! Мысль была, а высказать её побоялись. Эх, Шмелёв, Шмелёв! Так вот и всё у вас, и в большом и в маленьком. Ордена на груди, грудь два раза прострелена, военный человек, а гражданского мужества — ни на грош! — И с досадой махнув рукой, командующий через дверь крикнул: — Зовите Артемьева!

— Товарищ командующий, капитан Артемьев по вашему приказанию явился, — доложил Артемьев, останавливаясь на пороге.

— Здравствуйте. Заходите, — сказал командующий, глядя на его заспанное лицо. — Выспались?

— Выспался, товарищ командующий!

Командующий ухмыльнулся, скосив глаза на Шмелёва, и несколько секунд с удовольствием смотрел на капитана, крупная фигура которого, несмотря на её тяжеловатость, дышала здоровьем и воинственностью. Капитан стоял, как вкопанный в землю, на сильных ногах, обутом в кавалерийские сапоги со шпорами. Гимнастёрка, казалось лопавшаяся на его широкой груди, выгорела почти добела, а лицо, наоборот, загорело почти до кирпичного цвета. На лице капитана горели по-кошачьи жёлтые, весёлые глаза.

Командующий видел, что капитан взволнован, но не испуган неожиданным вызовом. Это понравилось командующему, в характере которого была благородная черта: он любил людей, которые не боялись его, и не уважал трепетавших перед его суровыми повадками и требовательной резкой речью.

— Что же, — обратился он к Артемьеву, хмуря брови, — значит, как доложил мне полковник Шмелёв, задание выполнили не полностью?

— Так точно, товарищ командующий, — отчеканил Артемьев. — Если бы не капитан Данилов, одни бы трупы привезли.

— Да,— сказал командующий,— поимка диверсантов — это вам не стрельбище. Японского радиста, говорят, с двухсот метров сняли и отравили на тот свет вместе с устным кодом?

— Так точно, товарищ командующий, виноват,— сказал Артемьев и, взглянув на Шмелёва, ещё раз с раскаянием вспомнил свой уверенный ответ: «Всё ясно!», когда Шмелёв давал им с Даниловым задание взять японцев живыми.

— Доложите мне о Данилове. Подробно: куда ранен, как его самочувствие, когда и куда его вывезли?

Артемьев начал подробно рассказывать, но посредине рассказа его прервал вошедший адъютант.

— Товарищ командующий, бригавоенврач Апухтин у телефона.

Командующий взял трубку.

— Здравствуйте, товарищ Апухтин. Во-первых, поздравляю с присвоением звания бригавоенврача. Во-вторых, говорят, мой Данилов у вас. Когда вы мне его на ноги поставите?

Он долго и внимательно слушал Апухтина, несколько раз, видимо, желая прервать, но в последнюю секунду каждый раз воздерживаясь.

— Если больше чем два месяца, — отправляйте в Читу, ничего не поделаешь,— наконец сказал он.— А то у вас его комары заедят. Привет от меня передайте. Скажите, что желаю поскорей выздоравливать.

— Вот капитан Данилов — тоже хороший стрелок, — сказал командующий, положив трубку и обращаясь к Артемьеву, — имеет по винтовке и нагану третье всесоюзное место в пограничных войсках, но, однако, этим не воспользовался: сам пулю получил, а пленного всё-таки взял. Как так, а?

— Виноват, товарищ командующий.

Артемьев, действительно, чувствовал себя глубоко виноватым. Его участие в схватке с японцами, доставка пленного, первый удачный допрос, — всё, из чего он пытался составить для себя хотя бы частичное оправдание, сразу исчезло под сердитым, как ему казалось, взглядом командующего, и остался только один непростительный промах — убитый радист.

— Конечно, — командующий растопырил пальцы, как бы взвешивая на руке меру вины Артемьева, — Данилов — старый пограничник. Но и вы ведь тоже, — он снова вскинул на Артемьева глаза. — не новичок, ещё в майских боях участвовали. Во всяком случае, я что-то в этом духе читал тут на днях в наградном листе.

Если бы это не было абсолютно исключено, Артемьев мог бы поклясться, что при словах о наградном листе командующий подмигнул ему. То есть не то, чтобы подмигнул, но в глубине глаз командующего мелькнуло что-то такое озорное и неуловимо весёлое, самой возможности существования чего Артемьев никогда бы не заподозрил под этими строго насупленными бровями.

— Учту свою ошибку на будущее, — сказал Артемьев, с упавшим сердцем думая о наградном листе, который мог теперь остаться неподписанным.

— Когда выспитесь, возьмите «У-2» и с разрешения полковника Шмелёва слетайте в госпиталь навестить Данилова, — одинаково неожиданно для Артемьева и для Шмелёва сказал командующий. — Вечером явитесь и доложите мне о его состоянии. Можете идти.

Взгляд командующего снова был суров, и это помешало Артемьеву сразу понять, что данное именно ему приказание навестить раненого Данилова значило, что командующий, сделав ему выговор, всё-таки не до конца отделяет его от Данилова и от удачи, которой завершились их поиски.

— В таких делах до Данилова ему ещё далеко, — сказал командующий, проводив Артемьева не суровым, как тому показалось, а оценивающим взглядом, — но командир как будто боевой и растущий...

Он хотел спросить мнение Шмелёва, но вспомнил, что спрашивать уже поздно: он успел высказать собственное предположение и Шмелёв теперь только присоединится к нему.

— Так как вы сами считаете, реальны эти восемь японских дивизий? — возвратился командующий к разговору, прерванному приходом Артемьева.

— Восемь, может быть, и нет, — сказал Шмелёв, — а пять-шесть дивизий подтверждаются целым рядом повторных данных.

И Шмелёв стал излагать все полученные за последнее время данные, подтверждавшие правильность показаний японца о сосредоточении крупных сил в Западной Маньчжурии. Данных было множество, в большинстве они казались достоверными и всё же, все вместе взятые, не складывались в ту убедительную картину, которую желал нарисовать Шмелёв и которой не видел командующий.

По мнению командующего, тут была натяжка. Во всех случаях, когда трактовка того или иного факта могла быть двойственной, Шмелёв неизменно трактовал его в сторону, подтверждавшую сосредоточение крупных японских сил. Сведения о наличии войск, полученные из разных пунктов, без обозначения номеров частей, могли, в условиях передвижения японцев, относиться к одной и той же передвигавшейся части. Такую возможность, по мнению командующего, следовало учитывать хотя бы на пятьдесят процентов, но Шмелёв её не учитывал вовсе, ибо она вредила его концепции. Концепцию же Шмелёва, что японцы придвигают к границе большие силы, командующий объяснял тем, что, обжёгшись в начале операции на недооценке сил японцев у высоты Палец, Шмелёв теперь бросился в другую крайность и всё видел в преувеличенном свете.

Однобоко анализируя данные, Шмелёв ошибочно предполагал, что у японцев на подходе пять-шесть дивизий, и отсюда делал неверный вывод, что они готовят новое наступление.

Командующий, анализируя те же данные, видел на подходе две-три дивизии и делал вывод, что японцы тянут сюда эти две-три дивизии для того, чтобы прикрыть маньчжурскую границу, оставшуюся открытой после разгрома их шестой армии.

Терпеливо и внимательно выслушав Шмелёва, командующий изложил ему свою точку зрения для сведения и руководства, не ругая его при этом, а лишь последовательно и беспощадно вскрывая одну за другой все его ошибки, связанные с предвзятым анализом фактов.

— В более далёком будущем и я не исключаю возможности крупных событий, — сказал командующий, — но не думаю, чтобы они повторились именно здесь.

— Почему, товарищ командующий? — спросил Шмелёв, который, прекрасно сознавая всю жестокость критики со стороны командующего, тем не менее осмелел, потому что командующий не ругал его прямо, а он больше всего боялся как раз этого.

В блиндаж вошёл член Военного Совета.

— Присаживайся, Пётр Васильевич, — сказал командующий. — Сейчас мы тут заканчиваем со Шмелёвым. Он, видишь ли, считает, что японцы вновь нападут на нас непременно здесь, на Халхин-голе.

— Я не считаю, товарищ командующий, я спрашиваю, — сказал Шмелёв.

— А коли спрашиваете, так ответчу! Боюсь, что они не доставят нам

с вами этого удовольствия. Они ведь со своей колокольни тоже оценивают всё, что тут произошло, и спрашивают себя: Заранее готовились? — Готовились. Место для инцидента выбирали сами? — Сами. Хорошее место выбрали? — Хорошее, ни один самый придирчивый генерал не дерётся. Получили по морде? — Получили. И когда? — В условиях, когда у них по началу было троекратное превосходство в силах. А сейчас у нас здесь — кулак, что они отлично знают. Это во-первых. Во-вторых, — конфликт, в который втянуты десятки тысяч людей, не может без конца иметь локальный характер. Он должен либо исчерпать себя, либо превратиться в войну на всём дальневосточном театре. Поэтому рекомендую вам при дальнейшем подборе и анализе данных не надевать на глаза шор! Смотрите и налево и направо от нас, и на юг и на север, составляйте себе общую картину! А в новое их наступление именно сейчас и именно здесь я, повторяю, не верю.

— А я, если хочешь знать, — сказал член Военного Совета, когда расстроенный Шмелёв вышел, — не верю не только в их наступление сейчас и здесь, но и вообще в большую войну на Дальнем Востоке. Во всяком случае, в ближайшее время.

— Почему? — спросил командующий.

— А потому, что они сначала сосредоточили войска не только здесь, а и под Владивостоком и под Благовещенском. Хотели, если выгорит здесь, начать везде. Так?

— Ну, так.

— А теперь провели здесь разведку боем в масштабе целой армии, и сорвался — не вышло. Колога их тут, мы одновременно к японскому здравому смыслу взывали!

— Думаешь, воззвали? — иронически прервал командующий.

— Думаю, что в какой-то мере воззвали. Даже уверен.

— А я не до конца, — сказал командующий. — По логике у тебя как будто всё верно. Спорить не стану, но скажу по-солдатски: война — пожар, а лето нынче сухое... Может, раз уж ты зашёл, dokonчим наградные листы? Артиллеристы девять человек добавили.

— Давай, — охотно согласился член Военного Совета, и они молча занялись этой работой, изредка обмениваясь короткими замечаниями и как бы взаимно подчёркивая, что хоть вчера споры были принципиальные, но излишняя вчерашняя горячность была делом преходящим, и они, в общем, живут дружно.

Через пятнадцать минут они подписали последний наградной лист.

— Кстати, о награждениях! Совсем забыл тебе сообщить, — член Военного Совета заранее улыбнулся тому, что он собирался рассказать, — у японцев тоже кое-кого наградили!

— Посмертно, что ли?

— Зачем посмертно, при жизни.

— Кого же?

— Самого Камацубару.

— Не может быть!

— Совершенно точно. Награждён орденом «Золотого коршуна». Мне только что из седьмого отдела сообщили. Перехватили японское радио.

— А за что награждён, если не держат в секрете? — спросил командующий.

— За то, что, когда мы вышли на границу, не допустил нашего дальнейшего продвижения в Маньчжурию.

— Вот прохвост! — расхохотался командующий. — Не допустил, значит?

— Не допустил, — кивнул член Военного Совета. — Сыграл на психологию своего начальства. Оно же не может себе представить, чтобы мы, выйдя на пустую границу, не пошли дальше. Значит, кто-то задержал нас. Спрашивается: кто? Камацубара доложил, что он!

— Прохвост! — повторил командующий. — А я-то думал, что они, после всего случившегося, по крайней мере заставят его харакири сделать! Это хорошо, что он орден получил. Если за подобные дела у них будут генералам ордена цеплять, — я дорого за такую армию не дам. Во всяком случае, с сегодняшнего дня меньше даю, чем давал.

Командующий встал из-за стола.

— Как, быть может, вместе проедемся вдоль границы?

Член Военного Совета ответил, что ночью из Улан-Батора сообщили о возможном приезде Чойбалсана.

— Через два часа должны подтвердить. Если подтвердят, я вместе с Лхамсуруном поеду встречать в Тамцак-Булак.

— Если прилетит, позвони мне туда, где я к этому времени буду, — сказал командующий. — Он, наверное, сразу захочет поехать в войска. Там и встретимся.

— Лхамсурун разговаривал с ним вчера по телефону, — сказал член Военного Совета. — Говорит, голос весёлый!

— Ещё бы не весёлый! — сказал командующий, вспомнив свою последнюю встречу с Чойбалсаном в дни боёв, его крепкую солдатскую фигуру в гимнастёрке, с орденом Красного Знамени на груди, его уже немолодое, властное лицо с двумя глубоко пропаханными жизнью жёсткими складками у рта. — Конечно, весёлый. Радует старое солдатское сердце, что его цырики вместе с нами наконец прищемили хвост японцам!

Надев плащ и новую фуражку, командующий вышел из блиндажа, попрощался с членом Военного Совета и по крутому склону Хамардабы спустился к машине.

Шофёр распахнул дверцу. Командующий сел, и машина, поднимая вихри пыли, понеслась по степи. Командующий любил быструю езду, в особенности, когда он сидел в машине один, рядом с шофёром, молчал и думал. Иногда при этом привычным взглядом хватаясь за какой-нибудь непорядок в пролетающем мимо военном пейзаже, но не теряя от этого нити мыслей, а лишь откладывая замеченное в один из дальних уголков своей цепкой памяти.

Сейчас его мысли были далеко и от этой степи и от всего, что ещё так недавно происходило здесь. Он думал о первых выстрелах, раздавшихся вчера в Европе, о начале военных действий между Германией и Польшей и о той речи, которую только что произнёс Ворошилов на сессии Верховного Совета, докладывая проект нового закона о всеобщей воинской обязанности.

Прочитав сегодня рано утром этот доклад в записи принимавших его всю ночь радистов, командующий почувствовал, что вопрос о росте армии, об увеличении обученных кадров не случайно с такой прямотой ставился рядом с вопросом о ратификации советско-германского пакта о ненападении на внеочередной сессии, в дни, когда в Европе начинали говорить пушки. Через весь доклад была твёрдо проведена мысль о необходимости быть готовыми к войне и о том, что, если эта война будет, — она неизбежно окажется жестокой. «Мы знаем, что война будет жестокой», — так прямо и сказал Ворошилов.

И командующий всей своей военной душой сочувствовал этим словам, — именно так! Знать, что в конце концов победная, и в то же время напоминать, учить, готовить к тому, что жестокая! Он незаметно для себя перебрался мыслями сюда, в степь, по которой ехал. Уже

здесь, с самого же начала бои были жестокими и дали не только положительный опыт, но показали и кое-что отрицательное. «И-16», при всей их отличной маневренности в бою, во время преследования на прямой отставали от японских истребителей. На будущее это, разумеется, не годилось. Не годилось и то, что у нас почти не было на вооружении такой простой вещи, как миномёты, которые в руках японцев показали себя грозным оружием. Наконец, танки. И «БТ-5» и «БТ-7», конечно, быстроходные, маневренные, неплохие машины, и, однако, при всём том бои показали, что у них слабовата бортовая броня. Кстати, она на несколько миллиметров тоньше, чем бортовая броня основного, находящегося на вооружении у немцев среднего танка.

Не обошлось без просчётов и в ходе самих операций. Спланировали окружение смело, а когда на практике упёрлись в высоту Палец, нехватило гибкости — не попробовали сразу же прорваться рядом, оставив её у себя в тылу. Вместо этого провозились на левом фланге три дня, и, будь у японцев поумнее генералы, часть японской армии успела бы спастись, — сделав усилие над собой, мысленно признался командующий.

Машина уже подъезжала к границе; впереди, в километре, была видна линия проволочных заграждений и развевавшиеся на самой границе монгольские государственные флаги.

— Что, Васильев, как по-твоему, придётся нам воевать? — спросил командующий шофёра, не оборачиваясь к нему и продолжая смотреть в переднее стекло.

— Да уж вроде пришлось, — пожал плечами шофёр в ответ на показавшиеся ему странными слова командующего.

— Это ещё не война, — сказал командующий, искренне подумав в эту минуту, что вся только что закончившаяся здесь операция, которой он гордился, наверное когда-нибудь покажется не такой уж крупной по сравнению с громадными операциями будущей большой войны.

— Это ещё не война, — задумчиво и тихо, одними губами, повторил он.

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ ГЛАВА

Под вечер, после трудового дня, Синцов возвращался пешком из Покровского сельсовета. На рассвете он пошёл туда по делам редакции, думая заночевать, но управился раньше, чем рассчитывал, и теперь с удовольствием представлял себе, как обрадуется Маша, когда он неожиданно придёт домой ещё сегодня.

Дорога была крепкая, с прибитой недавним дождиком пылью, вечер выдался прохладный и безветренный, как раз подходящий для того, чтобы мерить вёрсты, и Синцов возвращался в редакцию в самом хорошем настроении, которое не могла испортить даже мысль о близкой встрече с редактором, хотя Синцов только вчера имел с ним крупный разговор.

Редактору газеты Андрею Митрофановичу Мезенцеву было уже сорок с хвостиком. Он работал в Вязьме двенадцать лет, знал в районе каждого сколько-нибудь заметного человека, очень дорожил добрым отношением к себе, и сам, отчасти по доброте, а больше по расчёту, стремился по возможности не портить сложившихся за двенадцать лет добрых отношений каким-нибудь одним, помещённым в газете занозистым абзацем или десятистрочной заметкой.

Вместо этого он любил, получив сигнал о беспорядках, взять трубку и долго совестить по телефону какого-нибудь знакомого начальника строй- или заготконторы, выговаривая ему за допущенные грехи и гро-

зять пропечатать, если тот не поправит дело. Дело после такого разговора обычно или поправлялось или заминалось, и редактор оставался доволен и в том и в другом случае.

Крупный разговор с Синцовым произошёл у него как раз на этой почве. Из всех установившихся хороших отношений редактор больше всего ценил хорошие отношения с горсоветом. Редактор не имел тут прямой личной корысти — сам он был давно и хорошо устроен, но от горсовета зависело получение комнат для сотрудников редакции, в том числе и второй комнаты для того же самого Синцова, зависел ремонт типографии, о котором редактор давно мечтал, зависело получение дополнительного бензина для редакционного «газика» и полуторки, словом, зависело множество важных в редакционном хозяйстве вещей.

Во время отпуска редактора Синцов напечатал в газете целую страницу: «Депутаты горсовета о работе горсовета». Депутаты писали, что руководители горсовета не опираются на их помощь, что деньги, отпущенные на благоустройство, не сумели израсходовать, ремонт домов делают на живую нитку, топливо не завезли и город не готов к зиме.

Всё это было написано резко и во-время. Бюро горкома признало выступление газеты правильным и поставило на вид председателю горсовета.

Приехавший вчера из отпуска редактор, стриженный под «бокс», толстый, весёлый, плававший крымским загаром, смаху перелистал подшивку газеты и, не зная, что заседание бюро горкома уже состоялось, устроил скандал. Все попытки Синцова возражать ему по существу дела были бесполезны.

— Бюро горкома, — сказал наконец Синцов, искренне жалея, что не начал с этого сразу же, теперь редактор обидится и будет думать, что он сначала промолчал нарочно...

При словах «бюро горкома» редактор умолк, выслушал всё до конца, громко вздохнул, захлопнул подшивку, молча прошёл мимо Синцова и уехал обедать. После обеда он уже не вспоминал об этом разговоре, старался держаться так, как будто ничего не произошло, и даже с победоносным хохотком позвонил по телефону председателю горсовета.

— Ну как, Сергей Фёдорович, здорово мы по тебе пръехались?

Подходя к редакции, Синцов с улыбкой вспомнил об этом, — за сутки, что они не виделись, редактор, наверное, успел окончательно принять свой обычный лениво-добродушный вид, хотя в душе продолжает кипеть.

В редакции Синцов застал неожиданную гостью: в комнате, где он работал вдвоём с секретарём редакции Толей Казаченко, сидела Маша.

— Ты чего тут? — спросил он, радуясь, что в комнате нет Казаченко, и шутливо загребая подмышку голову Маши.

— Как хорошо, что ты вернулся. — У Маши был растерянный голос. — Я пришла домой с работы, и вот, смотри — повестка. Я хотела показать её Казаченко.

Она протянула мужу повестку военкомата, в которой было написано, что он завтра, 8/IX, должен явиться на сборный пункт с вещами.

Синцов прочёл повестку и сказал Маше, чтобы она теперь же шла домой, — он придёт вслед за ней.

Маша заглянула ему в глаза, наклонив к себе его голову, доверчиво, как маленькая, потёрлась щекой о его щеку и послушно ушла, не сказав ни слова, даже не обернувшись.

Когда Маша вышла, Синцов, прежде чем пойти к редактору, несколько раз прошёлся по комнате, привычно сел за свой рабочий стол,

бесцельно выдвинул и задвинул все ящики и надолго задумался, подперев кулаком подбородок.

Что по их округу частично призывают из запаса несколько возрастов, он знал ещё вчера вечером. Но его самого, по вчерашним словам редактора, призыв не касался — у него была броня.

Теперь всё менялось — завтра он будет уже в армии.

«Надолго ли?» — спрашивал он себя и не мог найти ответа на этот вопрос.

В Монголии, судя по газетам, японцев уже разбили, да и призыв проводится по одним только западным округам.

Может быть, этот призыв — лишь на то время, пока идёт европейская война? Но сколько она продолжится? Англия и Франция уже объявили войну Германии, и, значит, даже если немцы займут всю Польшу, война всё равно будет продолжаться?

Синцов вдруг на секунду, чисто по-житейски, эгоистически подумал, насколько всё проще было бы для него лично, если бы его призвали не сейчас, а, допустим, через год.

Они по своей беззаботности так ещё и не успели до конца устроиться с Машей, даже не отремонтировали комнаты. В горкомхозе сказали, что дадут штукатурка только после первого ноября, а потом по осеннему времени ещё до зимы будет сохнуть штукатурка. Маша всего месяц, как поступила работать — заведовать электрохозяйством на Ремзаводе. И хотя у неё уже есть товарищи по работе, но ещё нет друзей — они так быстро, за один месяц, не появляются. Наконец, самое глазное, — уже три недели, как Синцов знал, что Маша беременна.

Первое время их совместная жизнь была так безоблачно счастлива, что иногда Синцов даже пугался этой безоблачности. Ему временами казалось, что он несёт в руках что-то большое, стеклянное, чего нельзя ни уронить, ни повредить.

Когда он говорил об этом Маше, она смеялась и отвечала, что у неё тоже бывает похожее чувство, только она ничего не носит в руках, а просто ей иногда хочется взвизгнуть от счастливого страха, как в детстве на санках.

Беременность Маши сначала только усилила это их обобщённое безоблачно счастливое чувство. Маша хотела ребёнка и говорила о будущем почти без волнения — уверенно, весело и просто. Но вскоре она впервые почувствовала себя плохо, на другой день ещё хуже, потом ей стало делаться дурно по несколько раз в сутки и на работе и дома, и её охватило предчувствие, что теперь всё будет трудным, как оба раза у матери — и с Павлом и с ней, — и беременность, и роды, и кормление. Разубедить Машу в этом было уже нельзя никакими силами. Теперь она жила с не свойственным ей раньше чувством печальной озабоченности. Среди этой душевной озабоченности она иногда вдруг начинала, как прежде, дурить, озорничать, смешно изображать в лицах сначала себя с главным инженером их Ремзавода — старичком с гоголевской фамилией Коробочка, а потом Синцова с его редактором и, наконец уморившись, тяжело дыша, прижималась к груди Синцова и чуть слышно шептала: «Ах, Ваня, Ваня, если бы ты знал, как я хочу хорошо себя чувствовать». В эти минуты Синцов любил её с такой нежностью, жалостью и силой, с какой не любил ещё никогда.

Их полная новых забот жизнь, машино усталое, трудное дыхание по ночам, её побледневшее, осунувшееся, но улыбавшееся лицо, когда она возвращалась с работы, её маленькие пальцы, гордо и беспомощно сжимавшиеся в кулаки, когда ей становилось дурно, — всё вместе заставляло Синцова чувствовать себя в её присутствии таким несчастно-

счастливым, что, пожалуй, подобное состояние души и не определишь никакими другими словами.

И вот завтра ему предстояло расставаться с Машей и не с прежней — весёлой и здоровой, а именно с этой — беременной, осунувшейся, озабоченной, расставаться на ещё не известный им обоим срок, быть может, надолго.

Синцов посмотрел на часы — был уже девятый час вечера, встал из-за стола и пошёл к редактору.

Редактор был не один; у него сидел Казаченко.

— Ну как? — со смешком спросил редактор. Он, должно быть, заранее заготовил шпильку. — Был в Покровском? Дорогу-то не забыл туда? А то всё горсоветом занимаешься, а в район — ни ногой.

— Дорогу не забыл, — сказал Синцов, — но об этом после, а пока вот — внеочередное заявление.

Он протянул редактору повестку. Редактор нахмурился, заёрзал на стуле, посмотрел на Синцова, на повестку и сказал:

— Вот путаники! — ожидая, что ответит Синцов, но Синцов ничего не ответил. — Путаники! — повторил редактор. — Я же тебя забронировал ещё в прошлом году. Это точно, можешь быть уверен!

Синцову стало неприятно, что редактор убеждает его в этом, как будто их неважные отношения могли иметь какое-нибудь касательство к бронированию.

— Военкоматское хозяйство большое, Андрей Митрофанович, — сказал Синцов. — Может, и путаница, а могут быть и перемены, без того чтобы извещать нас с вами.

— Нет, нет, — горячо сказал редактор. — Именно путаница. Так что ты не беспокойся.

— А я и не беспокоюсь, — сказал Синцов, — пойду служить.

— Служить успеешь, — возразил редактор. — Я сейчас позвоню в Смоленск, облвоенкому. А ты пойди пока в горком, посоветуйся.

— Да нет, Андрей Митрофанович, — сказал Синцов, — я в горком, пожалуй, не пойду.

— Так надо же выяснить, — прервал его редактор.

— Это уж ваше дело, — сказал Синцов, — а я выяснять не буду. Мне всё ясно.

Он слегка хлопнул рукой по лежавшей на столе повестке и потянул к себе, заставив редактора, придерживавшего повестку пальцами, отпустить её.

Редактор попросил междугородную и заказал Смоленск.

— Хорошо, жду, — сказал он в трубку и положил её. — Обещали в течение часа дать.

— Так я с вашего разрешения пока всё же передам Казаченко дела и схожу домой, — сказал Синцов.

— Да подожди ты, присядь на минуту, — растерянно возразил редактор. — Что ты какой-то человек нечеловеческий! Всё ему обострять надо!

Не зная, что говорить дальше, редактор молча смотрел на послушно присевшего к столу Синцова и думал о том, что этот неуживчивый человек, с которым он проругался два года, одновременно уважая, побаиваясь и недолголюбивая его, сегодня уйдёт из газеты, и не просто уйдёт, а в армию, может быть, и не просто в армию... С того часа, как редактор узнал о призыве запасных семи военных округов, у него не выходила из головы война. А в памяти время от времени вставала всё одна и та же картина: жаркий июль четырнадцатого года; мобилизация; пыльная, мощённая булыжником дорога; засыпанные подсолнечной шелухой

запасные пути на станции Гродно; эшелоны теплушек с перекладинами из горбыля поперёк дверей, а потом ещё неделя — и первый бой на реке Нареве, первая немецкая шрапнель...

Вчера вечером и сегодня он успокаивал себя рассуждениями о договоре с немцами, о том, что призыв только частичный и, должно быть, временный. А где-то в глубине души упорно по старинке думал: «Раз мобилизация, стало быть, война».

— Ты сегодня днём радио не слышал? — наконец спросил он у Синцова.

— Нет. Я на полях был. А что?

— Польскую сводку передавали. Уверяют, что у них вроде ничего, всё в порядке. А немцы, наоборот, говорят, за Нарев вышли и Остроленку взяли.

Редактор пересек кабинет и достал из шкафа том Малой советской энциклопедии, лежавший отдельно от других и заложённый газетой.

— Вот, гляди, — сказал он, кладя на стол книгу и раскрывая её на карте Европы, — Остроленки на карте нету, а Нарев — вот. Река неширокая, я на этом Нареве в четырнадцатом году был. — Он взял спичку и, обломав головку, приложил к карте. — А от Остроленки до Гродно двухсот вёрст нет, видишь?

И, зажав пальцами немного больше половины спички, показал её Синцову.

— Если немцы будут наступать по десять вёрст в день, даже по девять, — через три недели будут в Гродно.

Он сказал это с таким огорчением, что робко молчавший в течение всего разговора молоденький, застенчивый, только два месяца после окончания педвуза работавший в редакции Казаченко невольно спросил:

— А чего вам в этом Гродно, Андрей Митрофанович? Немцы и не такие города берут. Я сегодня слышал — они уже Краков обстреливают.

— А то мне Гродно, что я сам гродненский, — сказал редактор. — Не из самого Гродно, а из Поречья, Гродненской губернии. От Гродно двадцать восемь вёрст.

— Выходит, — вы за границей родились? — наивно спросил Казаченко.

— Это у тебя выходит, по молодости лет! — отозвался редактор. — А у меня выходит, что, если бы мы в двадцатом году панам дали покрепче, полностью своё кровное, всю свою Белорусь вернули, — так я бы сейчас, наверное, не здесь, а дома, в Поречье, газету редактировал. А здесь вместо меня Синцов сидел бы редактором, а не страдал в моих заместителях. Ему уже давно пора редактором быть!

Синцов посмотрел на повестку военкомата и улыбнулся этой запоздалой похвале.

— Может быть, и смешно, — обидчиво сказал редактор, по-своему (и как почти всегда — неверно) угадывая мысли Синцова. — Конечно, я — политик районного масштаба, но ты вот скажи мне...

Собственная мысль так взволновала редактора, что он решил её высказать, несмотря на обиду.

— Пакт пактом, а факт фактом. В двадцатом году моё Поречье за белополяками осталось, а сейчас, в тридцать девятом, того и гляди к фашистам перейдёт. А теперь спрашивается: когда же я-то дома бываю? Я ведь уже не молоденький, ещё в четырнадцатом году в солдатах служил. Обидно мне, да и всё тут! Ну что ты на это скажешь?

Но Синцов не знал, что сказать на это. Идёт мировая война, отступают поляки, наступают немцы... А те места, где родился вот этот сидящий перед ним Андрей Митрофанович Мезенцев, и правда, навер-

ное, скоро будут гореть, обстреливаться, переходить из чужих рук в чужие руки. И чем всё это окончится — неизвестно.

— Ладно, Иван Петрович, сдавай дела и ступай домой. В случае, если не отобью тебя, мы тут с Казаченкой сами тебе часам к двенадцати всё приготовим — и документы и деньги, — сказал Мезенцев необычно ласково, с чуть-чуть заискивающей интонацией, потому что мысль о войне всё сильнее овладевала им, а первоначальная надежда, что ему удастся отбить Синцова, с каждой минутой казалась всё несбыточнее.

— Всё же ты сегодня был неправ, — сказал Казаченко, когда они вернулись в свою комнату и Синцов начал с самыми краткими замечаниями передавать ему вынутые из ящиков стопы гранок и рукописи.

— В чём же я неправ? — спросил Синцов, передавая последнее, что осталось, — набитую письмами читателей толстую канцелярскую папку с размашистой надписью красным карандашом: «Отвечено».

У Казаченко было расстроенное лицо. По юношеской доброте и восторженности ему хотелось, чтобы все в редакции любили друг друга, и его огорчило, что Синцов даже в такой день, перед разлукой, в разговоре с редактором не изменил своей обычной резкости.

— Никак всё-таки не пойму я, — сказал Казаченко, — какие у вас с ним отношения, хорошие или плохие?

— Отношения как отношения, — ответил Синцов. — Бойся, Толя, делать выводы из улыбок. Отношения — это ведь не только когда друг другу улыбаются. Отношения — это и когда друг с другом дерутся. Так что у нас с Андреем Митрофановичем вполне нормальные отношения, каких и тебе желаю. Стой на том, чтобы газета была боевая, с зубами, а прожить, в крайнем случае, можно и без взаимных улыбок.

Синцов широко улыбнулся, схватил обеими своими большими руками руку Казаченко и взволнованно потряс её, впервые за сегодняшний вечер показывая, как ему жаль расставаться с газетой и как ему хочется, чтобы Казаченко, несмотря на его молодость, продолжал делать в ней то, что в вечных спорах с редактором так упорно делал он сам.

На улицах было темно. Накрапывал мелкий дождик. Посредине площади чернела старинная пятиглавая церковь. За ней смутно виднелось здание педагогического училища, дальше начинался спуск к вокзалу. По ту сторону станционных путей, совсем на краю города, был Ремзавод, где теперь работала Маша.

Сейчас, в эту дождливую ночь, знакомый город показался Синцову большим и неприятным.

Он с невесёлой уверенностью подумал, что завтра уедет, а Маша утром и вечером будет мерить свои шесть километров до Ремзавода и обратно по этим тёмным сейчас улицам, на которых нет ни одного дома, где бы у неё жили знакомые.

— Завёз! — осуждающе, словно он был виноват в чём-нибудь, вслух сказал Синцов, представив себе, как Маша будет одинока, в особенности первое время после его ухода в армию, в этом городе, куда она приехала ради него и где пока что, кроме него, почти никого не знала.

Когда Синцов пришёл домой, на одной половине стола был накрыт ужин, а на другой Маша доглаживала ему рубашки, то и дело тыльной стороной руки откидывая назад волосы с потного лба.

— Ну что? — спросила она, держа на весу утюг.

— Ничего, — сказал Синцов, — завтра пойду в военкомат.

— И что потом? Неужели вас сразу же отправят? — в сильном

волнении спросила Маша, продолжая держать утюг на весу и забыв о нём.

Синцов подошёл к ней, отобрал у неё утюг, поцеловал её освобождённую руку, ласково провёл рукой по её мокрому лбу и волосам и только после этого сказал, что в городе нет казарм и что если вызывают с вещами, то, наверное, на станции уже будет стоять воинский поезд и их повезут в Смоленск или в какое-нибудь другое место.

— А на станцию можно будет вас провожать? — спросила Маша.

— Конечно, — сказал Синцов.

Маша облегчённо вздохнула.

— Ну что ты тут гладишь? — спросил Синцов, отводя в сторону руку с утюгом и не отдавая его Маше.

— Ещё две рубашки остались, — сказала Маша, — всё остальное я уже погладила, — кивнула она на кровать, где лежало выглаженное и сложенное нательное белье.

На столе оставались ещё две недоглаженные синцовские парадные рубашки: салатная — из шёлкового полотна и голубая, в полоску, купленная Машей в Москве вместе с новым серым костюмом.

— А зачем ты их гладишь? — улыбнулся Синцов. — Я ведь в армии в галстуках ходить не буду.

Маша грустно посмотрела на рубашки. Она понимала, что Синцов прав, но ей всё-таки было жаль, что он не возьмёт с собой двух самых её любимых рубашек.

— Может быть, всё-таки... — нерешительно сказала она.

Но он, не отвечая, положил на пол решётку для утюга, ногой подвинул её к стене, поставил на неё утюг и сгрёб со стола рубашки вместе с подстеленным для глаженья одеялом.

— Куда положить? — спросил он.

— Всё равно, клади на стул, — равнодушно сказала Маша.

Он положил рубашки и одеяло на стул и стал передвигать тарелки и приборы так, чтобы они с Машей могли сесть друг против друга. Только сейчас он заметил, что на столе стоял графин с водкой. Водки обыкновенно в доме не держали, значит, Маша специально заходила в магазин, после того как была в редакции.

— Что ж, — сказал Синцов, — поужинаем, — и сел за стол, чувствуя приятную ломоту в ногах после тридцати километров, сделанных за день по дорогам и полям.

Маша села напротив него и придвинула к себе тарелку с творогом и стакан сметаны — почти единственное, что она в последнее время могла есть.

— Быть может, и ты хоть немножко выпьешь? — спросил Синцов.

— Нет, — покачала головой Маша и даже зажмурилась. — Я теперь совсем ни капли не могу.

— Так зачем же ты купила? Я один не буду.

— Если бы мама была, она составила бы тебе компанию, — сказала Маша.

И Синцов подумал, что Маша решила купить водки потому, что так всегда делала Татьяна Степановна, когда собирала в дорогу кого-нибудь из мужчин.

— Ты на выходной съезди к маме, — сказал Синцов.

— Хорошо, там посмотрим, — уклончиво сказала Маша, как будто всё, что будет после отъезда Синцова, уже не относится к нему. — Так выпей, а то что же я напрасно ходила...

Он налил две трети толстого гранёного стакана, выпил и стал заку-

сывать котлетами с картошкой. Несмотря ни на что, он сильно проголодался.

Маша нехотя съела несколько ложек творогу и, положив локти на стол и подперев руками щёки, теперь молча сидела и смотрела на Синцова.

«Неужели он уезжает? — думала она. — И насколько он уезжает? На месяц? На три? На два года? И когда она его увидит? И что всё это значит — этот неожиданный призыв из запаса? Если на месяц, — то для других это немного. Но для них месяц — это очень много: это половина всего того, что они пока прожили вместе. Если на три месяца, — то, когда они встретятся, у неё уже, наверное, как рассказывала мать, ребёнок начнёт шевелиться. А если на год или на два...»

Маша попробовала себе представить, что такое разлука с Синцовым на год или на два, и не смогла.

«А если это война?» — вдруг подумала она и, не в силах оставить в себе этот вопрос, так и спросила вслух, как подумала:

— А если это война?

Синцов посмотрел на неё, сначала хотел ответить, что нет, этого не может быть, но передумал, пожал плечами и сказал:

— Не знаю.

И Маше было легче услышать это «не знаю», чем если бы он сказал то первое, что хотел сказать: «не может быть», а она бы видела по его глазам, что он думает другое.

— Ты соедини два выходных и всё-таки съезди к маме, — сказал Синцов. — Хорошо?

— Не знаю, удастся ли.

— Почему?

— Кончается квартал и много работы, мы пока выполнили план только на шестьдесят процентов, а осталось всего двадцать три дня.

— Ну, а как вообще у тебя на работе?

— Ты же меня позавчера спрашивал.

— Это позавчера. А вчера и сегодня — как?

— Всё так же, — улыбнулась Маша. — Наш Коробочка сердится, что я беспокойная, что затеяла перемотку якоря у большого динамо. Два дня водил меня за нос, думал, что я отстану, а я не отстала. Слишком уж он привык, что завод маленький и старенький, даже сам называет его «заводишко», а это уж просто безобразие! Я, когда услышала, ему так и сказала: если вы, главный инженер, сами будете называть свой завод «заводишко», — он у нас никогда хорошим не станет!

— А как, — только скажи честно, — тебе после твоего предшественника не трудно на его месте? — спросил Синцов. — Он, мне говорили, был неплохой практик, и всё-таки мужчина...

— Ничуть не трудно, — сказала Маша. — То есть трудно, только совсем наоборот: трудно потому, что он всё запустил. В последний год только и знал, что готовился в вуз, а на заводе делал всё спустя рукава. Просто страшно, до чего у него всё было запущено!

Она, разгорячившись, начала сердито перечислять, что именно было запущено, но на полуслове спохватилась, что это их последний вечер с Синцовым, и сразу притихла.

— А твоё состояние никто не замечает? — спросил Синцов, подумав, что, как ни трудно приходится Маше, — она теперь, начав работать там, на заводе, всё-таки легче перенесёт неожиданно свалившееся на неё одиночество.

— По-моему, пока незаметно, — озорно, по-старому улыбнулась Маша.

— Я спрашиваю о тех случаях, когда тебе бывает дурно, — серьёзно сказал Синцов.

— А я не хочу, чтобы замечали, вот и не замечают, — снова улыбнулась Маша.

— Если ты не сможешь поехать сама, вызови маму сюда. Она ещё не была в отпуску.

— Не знаю. По-моему, она вообще не думала идти в отпук.

— А ты позови её, попроси, — настаивал Синцов.

— Хорошо, я попрошу, — послушно сказала Маша.

Она была не уверена — станет ли вызывать мать, но не хотела спорить с Синцовым, зная, что ему так спокойней думать.

Синцов посмотрел на часы и увидел, что уже без четверти двенадцать.

— Мне ещё надо сходить в редакцию, ненадолго, на десять минут, — сказал он вставая.

— Зачем? — спросила Маша.

— Проститься и получить документы. Они мне обещали к двенадцати часам приготовить.

Он заколебался, говорить ли ей, что всё ещё может перемениться, — он сам почти не верил в это и не хотел волновать её, но, привыкнув говорить ей всё, сказал всё и на этот раз.

— Мезенцев хотел звонить в Смоленск и договариваться, чтобы меня оставили. Уверяет, что это ошибка, что всё-таки редакция имеет на меня броню.

— Значит, может, ты ещё не уедешь? — Маша постаралась выговорить эти слова как можно спокойнее.

Синцов пожал плечами, поцеловал её и вышел.

Оставшись одна, Маша долго молча смотрела в одну точку на стене напрутив себя, пробуя думать о том, как они будут жить дальше, если Синцов всё-таки не уедет. Но до этого она так приготовила себя к тому, что он непременно уедет, что, как ни старалась, уже не могла теперь представить себе ничего другого. Почувствовав это, она тихо и горько заплакала и так сидела и плакала, тихонько подрагивая плечами и не вытирая катившихся по щекам слёз, до тех пор, пока не вспомнила, что Синцов вот-вот должен вернуться и может застать её плачущей. Она заторошилась к умывальнику и стала мыть лицо.

— Ты что, спать собралась? — войдя, ласково спросил Синцов, но, увидев выражение машинных глаз, сразу понял, что она плакала. Обняв Машу, он прижал её мокрое лицо к своей груди.

— Как? — отодвинувшись от него, чуть слышно спросила Маша.

— Уезжаю, — сказал Синцов. — Мезенцев хочет хлопотать, чтобы меня впоследствии отозвали, но я предпочитаю об этом не думать и с этим не считаться.

— А может быть, я могу узнать и проверить, есть ли на тебя броня? — спросила Маша.

— Прошу тебя дать мне слово, что ты не сделаешь ничего похожего на это, — строго сказал Синцов.

— Хорошо, — сказала Маша, поняв, что он не только говорит так, но и в самом деле так хочет. Подняв на него глаза, она с нежностью и тоской подумала, что он стоит перед ней в той же самой, так шедшей к нему, холщёвой косоворотке, в какой он был в июле, когда она приехала из Москвы и ждала его здесь.

Синцов снова крепко прижал Машу к себе, глядя сверху вниз на её

тёмные, блестящие от воды волосы и на похудевшее плечо, через которое было перекинута полотенце.

Они ещё долго стояли так между умывальником и дверью, не в силах отойти друг от друга, как будто им предстояло расстаться в следующую же секунду.

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

На позициях вдоль монгольско-маньчжурской границы установилась тишина. За всю первую половину сентября японцы предприняли только одну вылазку. Батальон недавно прибывшей из Мукдена гвардейской дивизии в ночь на 8 сентября занял одну из больших сопок на южном фланге, а утром, не успев укрепиться, был истреблён на её голых каменистых скатах весь, до последнего человека. Главное дело сделала артиллерия, и при этом так быстро и чисто, что пехота, добивавшая остатки японцев, потеряла всего несколько человек убитыми. Этим коротким боем и ограничились все наземные действия.

Зато в воздухе, словно возмещая себя за бездействие на земле, японцы действовали с большим ожесточением.

Наши истребители, как выражался Польшин, «батрачили» с утра до ночи, делали по четыре, пять, шесть боевых вылетов в сутки, как в самую горячую пору наступления.

15 сентября японцы с утра вели себя сравнительно тихо, но зато после полудня организовали звёздный налёт на полевые аэродромы нашей авиации. Наши поднялись навстречу японцам, и вскоре в воздухе над степью оказалось несколько сот дравшихся самолётов.

Японские и наши истребители, исчерпав запас горючего, по несколько раз возвращались на свои базы, но, пока заправлялись одни, на смену им прилетали другие, и воздушная карусель кружилась над степью до пяти часов вечера. Только в пятом часу японцы, потерявшие больше двадцати машин, были окончательно прогнаны на маньчжурскую территорию. Небо стало тихим; лишь там и сям над степью курились далёкие тонкие столбы — догорали сбитые самолёты.

Польшин, совершенно обессиленный после шести вылетов, лежал ничком под плоскостью; от долгого пребывания на большой высоте у него в ушах звонило сразу два телефона, а голова гудела, как колокол.

Он лежал и думал о том, что если ребята в горячке не приврали и земля подтвердит их доклады, — значит, группа сбила за день шесть самолётов. Это неплохой результат, хотя, будь здесь Козырев, он бы непременно в такой карусели сбил ещё один, а то и два самолёта, и их было бы не шесть, а семь или даже восемь.

Польшин впервые после их расставания с интересом попробовал представить себе, что теперь делает Козырев. Интерес этот был вызван статьёй, которую Польшин прочёл сегодня в армейской газете. Статья была перепечатана из вчерашней «Правды» и называлась: «О внутренних причинах военного поражения Польши».

В статье было написано, что польское государство распадается от того, что в Польше угнетались все непольские нации, и поэтому в таком многонациональном государстве не могло быть стойкой армии. В статье резко говорилось об угнетении украинцев и белорусов, и Польшин был убеждён, что она написана не для того, чтобы просто посетовать на такое положение.

Быть может, Козырев не так уж прогадал, улетев в Москву. Если теперь там, на Западе, что-нибудь произойдёт, можно быть уверенным, что он окажется в бою в первый же день.

— Товарищ командир группы!

По голосу это был Соколов. Польшин перевернулся с живота на спину и с трудом сел.

— Садись, — сказал он.

— Разрешите слетать. — Соколов, не садясь, приложил руку к шлему.

— Давай.

Посмотрев на начинавшее затягиваться тучами небо, Польшин подумал, что японцы, потеряв за один день столько машин, едва ли ещё раз появятся сегодня в воздухе.

— Давай. — повторил он и снова лёг на живот.

Соколов уже две недели каждый день после боевой работы, заправив полный бак, вылетал на поиски брата, о котором ни воздух, ни земля так до сих пор и не дали никаких сведений. Польшин для себя уже давно нашёл единственное правдоподобное объяснение случившемуся: самолёт упал в солончаковое озеро, развалился на куски, и их бесследно затащило под воду. Но говорить об этом Соколову Польшин не решался — тот до такой степени жил своими поисками, что даже матери не хотел писать о случившемся, пока не разыщет останков брата. Подумав об этом, Польшин вспомнил о собственной матери и о том, как давно он ей не писал.

Бортмеханик Бакулин так и не полетел в Москву к Козыреву. Потом проектировалась ещё одна оказия, но снова отпала, и Польшин уже две недели носил в кармане гимнастёрки потерявшиеся на сгибах своё и артемьевское письма. Только сегодня, час назад, ему позвонили знакомые бомбардировщики-ночники и сказали, что с их аэродрома завтра, наконец, полетит машина в Москву.

Надо было немножко подновить своё письмо матери, приписать несколько строк и сегодня, заранее, послать его к ночникам с полуторкой. Можно было бы, конечно, послать матери ещё коробки две-три китайского леченья, которое продаётся в ларьке «Монценкоопа», оно неплохое на вкус, но уж больно ядовито раскрашено красным и зелёным. Пожалуй, лучше не надо, а то мать ещё, чего доброго, испугается, что он вместо её пирогов ест здесь такие вещи.

Польшин улыбнулся этой мысли, пересилив усталость, встал и пошёл к палатке. Едва он вошёл, как зазвонил телефон.

— Слушаю, — сказал дежурный и сейчас же передал трубку Польшину.

Звонило непосредственное авиационное начальство. На 18 часов Польшина вызывал к себе командующий.

— У меня дежурного «У-2» нет сегодня, костыль меняет, — сказал Польшин, — а на полуторке не успею к восемнадцати. Разрешите подлететь на боевой машине?

Начальство помолчало, подумало, сказало: «Ладно, летите», — и положило трубку.

До Хамардабы на истребителе считалось всего четверть часа лёту. Взяв с собой, кроме шлема, фуражку, чтобы в ней явиться к командующему, Польшин через пять минут был уже в воздухе.

Взлетев, он сразу стал набирать высоту. Хотя день клонился к закату и небо совсем затянуло, но какой-нибудь случайный японец мог вдруг вывалиться сверху, и тогда было бы тяжело принимать бой, оказавшись у самой земли.

Через одиннадцать минут Польшин, покачав крыльями, прошёл над полевым аэродромом, где стоял монгольский ночной бомбардировочный полк Р-5, а ещё через три минуты впереди показались изрытые ходами

сообщения отроги Хамардабы. На её вершине, на длинном, ровном, как стол, плато, было хорошо видно длинное белое, похожее на стрелу полотнище. Этой стрелой иногда указывали заданное направление проходившим над Хамардабой к фронту истребителям. Польшин решил сесть около стрелы. Отсюда до штаба не было и десяти минут ходьбы.

«Интересно, зачем он меня вызывает?» — подумал Польшин и, прежде чем сбавить газ и начать снижаться, по вошедшей в кровь и плоть привычке обернулся налево и направо, ещё раз осматривая вокруг себя небо. Это было очень кстати, потому что справа, выше него, на поперечном курсе, шёл японский истребитель.

Теперь о посадке не могло быть и речи. Польшин знал, что ему остаётся только одно: принять бой.

После такого на редкость трудного дня, как сегодня, он летел сюда без всякого желанья ещё раз встретиться с японцами, и то, что этот японец всё-таки, как нарочно, вызвалился на него перед самой посадкой, обозлило Польшину. Сделав вираж, он пошёл на японца. Первая короткая безрезультатная атака произошла на встречных курсах. Сразу же вслед за этим японец попытался зайти в хвост и один за другим принял ряд таких манёвров, что Польшин почувствовал — он имеет дело с сильным лётчиком и драться придётся серьёзно, выжав из себя всё, на что способен.

Только на девятнадцатой минуте боя, чувствуя, как холодный пот заливает ему лицо и шею, Польшин с близкого расстояния дал наконец, как ему показалось, удачную очередь. Японский самолёт начал падать. Пикируя, Польшин пошёл вслед за японцем. Он знал случаи, когда вот так же, изображая падение, японские лётчики преспокойно выравнивали машины у самой земли и уходили восвояси.

Японский самолёт падал метров пятьсот, потом из него выбросился лётчик. Парашют раскрылся. Погода была штилевая, и, как лётчик ни тянул стропы, стараясь, чтобы его отнесло на восток, к Халхин-голу, он всё равно опускался прямо на командный пункт.

Убедившись в этом, Польшин сделал круг и, чувствуя нечеловеческую усталость, посадил самолёт там, где и собирался с самого начала, — у выложенной на плато стрелы и маленькой, почти незаметной сверху, палатки поста воздушного наблюдения. Сдав самолёт под охрану, Польшин снял шлем, засунул его в свой большой авиационный планшет и надел фуражку. В километре от него японец медленно опускался прямо на руки людей, сбегавшихся отовсюду из штабных палаток и юрт.

Через десять минут Польшин, остановленный часовым у входа в блиндаж командующего, вызвал адъютанта и попросил доложить о себе. Адъютант окинул его долгим любопытствующим взглядом, как бы желая показать, что не только у командующего, но и у него есть своя доля интереса к Польшину, и пошёл докладывать.

Когда Польшин вошёл к командующему, тот рассказывал по блиндажу, заложив руки за спину.

— Что же это вы хулиганите над командным пунктом? — грозно проговорил командующий, поворачиваясь к Польшину, и улыбнулся. — Японцы к нам в гости прилетают, а вы их шёлкаете?

— Виноват, товарищ командующий, — ответил Польшин, в свою очередь устало улыбаясь.

— Садитесь, — сказал командующий и сам сел за стол. — Хорошо, что он вас на полтора тысячах встретил. А если бы при посадке свалился?

— При посадке — пришлось бы туго, — честно сознался Польшин.

— То-то и оно-то!

Командующий провёл рукой по столу, как будто смахнул с него одну тему разговора, и прихлопнул ладонью, словно положил другую, новую. Вслед за этим он коротко объяснил Полынину цель вызова.

Полынин и все лётчики его группы (командующий взял двумя пальцами отпечатанный на папиросной бумаге список) отзываются в Москву в распоряжение штаба ВВС. Боргомеханики остаются в Монголии, материальная часть — тоже. Она пойдёт на укомплектование других истребительных полков.

— Ваше непосредственное начальство уже в курсе всего и даже для ускорения дела выехало к вам на аэродром, — сказал в заключение командующий, — вам со всей группой приказано послезавтра прибыть в Москву.

Полынин подумал, что теперь он, наверное, полетит в Москву тем самым самолётом, с которым час назад собирался отправить письмо матери.

— Стало быть, придётся вылетать завтра же на рассвете, — сказал командующий и замолчал.

Недоумевающе молчал и Полынин. Всё, что ему пока сказал командующий, не требовало вызова.

— А вызвал я вас, — сказал командующий, прямо отвечая на молчаливый вопрос Полынина, — во-первых, потому, что отправить вашу группу в Москву приказал лично товарищ Ворошилов, а, во-вторых, потому, что ваша группа тут хорошо поработала, и я хочу от лица командования поблагодарить вас за службу. В вашем лице — всех!

Командующий встал и крепко пожал руку Полынину.

— Обрато на свой аэродром дойдёте? По расчёту времени выходит?

— По расчёту времени выходит, товарищ командующий, но с бензином могу не дотянуть, израсходовал в бою. Придётся заправку сюда подослать.

Командующий нажал кнопку звонка.

— Доставьте майора на машине, — сказал он вошедшему адъютанту и вновь повернулся к Полынину. — Доброго пути.

— Товарищ командующий, — поколебавшись, сказал Полынин, — разрешите обратиться по одному вопросу.

— Ну?

— Как считаете, товарищ командующий, на отдых или в бой летим?

Командующий выдержал долгую паузу, словно он тоже колебался, прежде чем ответить.

— Не знаю, — наконец сказал он с откровенной прямоотой человека, не боящегося показать подчинённому, что он сам не знает того, что даже и ему знать пока не положено.

— Далеко у вас тут разведчики живут? — выйдя от командующего, спросил Полынин у адъютанта.

— Сэрок метров.

— Давай проводи, будь другом!

— Своего японца хотите поглядеть? — заинтересованно спросил адъютант, идя впереди Полынина.

— А на чёрта он мне сдался! К дружку хочу на пять минут зайти, пока ты машину вызовешь.

Ещё издали было слышно, как внутри большой палатки разведотдела колотится в лихорадке пишущая машинка. Откинув полог и зайдя внутрь, Полынин увидел машинистку, которая, согнувшись в три погибели и спеша, как на пожар, стучала на своей машинке, и нескольких

человек, работавших под этот стук за столами, заваленными кипами бумаг. Вошедшего Польшина никто не заметил.

«Канцеляристы», — с пренебрежением и вместе с тем с сочувствием к людям, как видно погибавшим под этими горами бумаги, подумал Польшин и в ту же секунду увидел широкую спину Артемьева, согнутую над стоявшим в углу столом.

— Слушай, Павел, давай брось на минуту свою бумажную волокиту, — сказал Польшин.

Артемьев повернулся, радостно протянул Польшину руку, потом снял со спинки стула висевшую на ремне планшетку и, раскрыв, положил её поверх горы разложенных на столе бумаг.

— А то иногда из-под полога — как ветер рванёт! — объяснил он.

— Совсем канцеляристом заделался?

— Ходят слухи, что скоро переговоры начнутся, — вот и сидим, готовим на всякий случай выборки из допросов. Ничего не поделаешь, на войне и такие, как мы, бюрократы нужны, — отшутился Артемьев и, сопоставив приход Польшина с воздушным боем, полчаса назад происходившим над Хамардабой, спросил в свою очередь: — Уж не ты ли нам сейчас тут высший пилотаж показывал?

— Вот именно, — проявив явное нежелание распространяться на эту тему, ответил Польшин и заговорил о том, ради чего пришёл. — Давай пиши письмо. Я завтра в Москву лечу. То старое твоё письмо у меня заляжалось. Теперь и искуплю грех — свежу оба сразу.

— Очень тебе благодарен. — Артемьев пододвинул Польшину стоящую под столом табуретку. — Я быстро. Дай ту записку, если у тебя с собой, я просто припишу несколько слов, новостей особых нет.

Он сказал неправду. Новости были и очень важные для него: он получил за майские бои орден Красного Знамени. Это он и приписал внизу на старой записке и, опять сложив её пополам, поклонив химический карандаш, обвёл им полустёршийся в кармане у Польшина адрес.

— Вот за это уважаю, — вставая, сказал Польшин, хотя и не торопивший Артемьева, но довольный, что тот так быстро управился с письмом. — А то мне на рассвете лететь, а до этого ещё дел полна коробочка.

— Если захватить времени не будет, — сказал Артемьев, — запечатай в конверт и брось в ящик. Ты в Москву или дальше?

Польшин вместо ответа пожал плечами, сунул письмо в карман гимнастёрки и вышел из палатки. Артемьев тоже вышел. Тронутый товарищеским вниманием, он хотел сказать об этом Польшину.

— Будь здоров! — быстро сказал Польшин, заторопившись, как всегда, когда он угадывал, что кто-нибудь хочет его поблагодарить или выразить ему свои чувства.

Фигура Польшина сразу исчезла за поворотом хода сообщения, но Артемьев не торопился заходить обратно в палатку. С наслаждением вдыхая холодный вечерний воздух и глядя на сливавшееся с землёй тёмносерое, без единой звезды небо, он особенно ясно чувствовал в эту минуту всю непреодолимость для себя того расстояния до Москвы, которое так легко, всего за двое суток, пролетит взятый с собой Польшиним маленький листок блокнота.

«Неужели, — спрашивал он себя, — если здесь всё окончится, а там, на западной границе, наоборот, начнётся. Я всё равно останусь тут, на Хамардабе, на зимних квартирах, буду ездить то на правый фланг, в район Эрис-Улыин Обо, то на левый, к Буир-нуру, и каждый день докладывать в двадцать три ноль-ноль разведсводку, согласно которой не произошло ничего особенного? Логика подсказывает, что так и будет;

больше того — так и должно быть! Там, на Западе, при всех обстоятельствах совершенно спокойно обойдутся без присутствия и помощи капитана Артемьева; а здесь, напротив, без капитана Артемьева не захотят обойтись как без одного из маленьких, но уже привычных винтиков налаженного штабного механизма, который, если есть нужда, подчас перемещают на тысячи километров весь целиком, но без крайней необходимости не любят разбирать по частям».

— Эй, Артемьев! — донёсся из палатки голос майора Беленкова.

— Да, — нехотя отозвался Артемьев.

— Брось прохладиться. Посмотри, нет ли у тебя кого-нибудь из четвёртого гаубичного, что стоял раньше в Чаньчуне? А то у меня без этого работа стоит.

— Сейчас, — сказал Артемьев, поднял полог и зашёл в палатку.

Через двое суток, поздним воскресным вечером, Полынин сидел в Москве на Усачёвке, на квартире у Артемьева.

За чаем, кроме него и Татьяны Степановны, сидела ещё и Маша, утром приехавшая из Вязьмы, чтобы посоветоваться с матерью, хотя советоваться было уже не о чем. Синцов ещё девять дней назад, сразу же, как его призвали, уехал эшелоном на Смоленск, и сегодня, узнав, что наши войска утром перешли польскую границу, Маша была твёрдо уверена, что Синцов уже где-то там, может быть, даже в бою, под пулями и снарядами.

Она вспоминала, как весной всё точно так же неожиданно произошло с братом, с его отъездом в Монголию, откуда теперь прилетел с письмом от него этот лётчик. Очевидно, наступало такое время, когда пора было начинать привыкать к неожиданностям. Маша не признавалась в этом матери, но сама уже поняла, что приехала вовсе не советоваться, а просто не вытерпела первого приступа одиночества, возникшего прежде, чем она успела как следует привязаться к работе, прежде, чем у неё появились друзья, прежде, чем Вязьма перестала быть для неё только местом, куда она переехала потому, что там жил её муж.

Она могла, конечно, съездить на это воскресенье в деревню к отцу Синцова, но старик, провожая на призыв сына, так подчеркнуто браво держался, что поехать к нему всего через неделю и сразу начать жаловаться на своё одиночество — значило показать перед ним своё малодушие, а она не хотела быть малодушной в глазах отца своего мужа.

Татьяна Степановна, понимая состояние её души, не пошла вечером в заводской клуб, как раньше собиралась, и осталась дома заниматься теми домашними делами, за которыми можно было разговаривать.

Переглядыв на обеденном столе кое-какую мелочь, она смотала два мотка шерсти, перештопала несколько пар старых, завалязшихся у неё машинных чулок и заставила Машу прострочить на ножной машине две наволочки, которые предназначались в Вязьму, но были ещё только смётаны.

За этим занятием, прервав гревший души обеих женщин спор о том, кто родится — мальчик или девочка, — застал их Полынин в двенадцатом часу вечера.

При том количестве дел, какое было у Полынина, прилетевшего в Москву в шесть вечера и уже завтра утром улетающего дальше в Минск, всякий другой на его месте бросил бы записку Артемьева в первый попавшийся почтовый ящик. Но Полынин в делах товарищества был исполнителен до щепетильности.

Поэтому в двенадцатом часу вечера он уже стоял и звонил у дверей артемьевской квартиры. Внизу у подъезда его ждало такси, на котором

ему ещё предстояло ехать в Подлипки, чтобы повидаться с матерью, помыться под душем, переменить бельё и взять чистое обмундирование и новую, хорошую «опасную» бритву вместо старой, тоже хорошей, которую он оставил в Монголии своему механику Гизатуллину. На этом же такси он должен был вернуться в Москву, чтобы к рассвету попасть на центральный аэродром.

Он стоял запаренный, усталый и долго, терпеливо жал на неработавший звонок, смутно соображая, что, кажется, уже когда-то был в этом доме.

Наконец, прежде чем сунуть записку в почтовый ящик, он для очистки совести постучал. Для квартиры Аргемьевых стук в такой поздний час был непривычен. Маша, услышав стук и безо всякой логики решив, что это вернулся Синцов, вскочила и стремглав побежала открывать дверь.

Перед ней стоял майор-лётчик с удивлённым лицом человека, уже не рассчитывавшего, что ему откроют.

— Можно Татьяну Степановну? — неуверенно спросил Польшин, глядя на Машу и начиная подозревать, что попал не в ту квартиру.

— Пожалуйста, — сказала Маша, пропуская Польшина и, как ему показалось, окидывая его с ног до головы неприязненным взглядом. На самом же деле, открывая дверь, она просто ждала увидеть Синцова, а это был не Синцов — вот и всё.

Через пять минут Польшин уже сидел за столом и пил чай. Напротив него сидела расчувствовавшаяся от записки сына Татьяна Степановна, а рядом — очень строгая Маша. Сегодня, после того, как Синцов, по её мнению, оказался на фронте, она решила, что теперь должна держаться с посторонними людьми как-то по-новому — ещё не известно как, но, наверное, ещё строже, чем всегда.

Узнав, что Маша — сестра Артемьева, и увидев на её милостивом, задорно-строгом лице выражение застенчивой неприступности, которую он, по его словам, «уважал» в женщинах, Польшин глядел на Машу с мимолётным и чистосердечным восхищением. Он несколько не заботился сейчас ни о том, чтобы заставить её запомнить себя, ни о том, чтобы приобрести право на следующую встречу с ней. Он летел с войны и на войну и не думал сейчас ни о каком будущем, кроме военного. Но как раз это-то и позволяло ему, без всяких мыслей о будущем, откровенно любоваться Машей, прикидывая в уме по часам, что если, выехав за Окружную, самому сесть за руль такси и как следует «газануть» до Подлипок, то, пожалуй, можно пробыть здесь и полюбоваться Машей ещё по крайней мере минут тридцать.

— А ведь вы к нам один раз уже заходили, — вспомнила Татьяна Степановна. Ещё раз перечитав записку сына и вытерев глаза, она неторопливо разглядывала Польшина и два ордена Красного Знамени у него на груди, точно такие же, какой будет носить теперь Паша.

Польшин, увидев Татьяну Степановну, и сам уже вспомнил, что подъезд и дверь показались ему знакомыми, потому что он был здесь однажды зимой после Испании с письмом, где на конверте не стояло ни имени, ни фамилии, а только в уголке два номера: дома и квартиры.

— Помните, — продолжала Татьяна Степановна, — Паши не было, а вы мне прямо в дверях так строго: «На-те, пожалуйста, письмо» — и, как Паша говорит, через левое плечо, кругом! Помните?

Польшин помнил. Дело было на второй день после его возвращения в Москву, когда он уже поздно вечером, оглохший от расспросов, взволнованный и порядочно пьяный, вдруг заявил, что у него есть письмо, которое он должен доставить по адресу. Взяв с собой в две машины

всех, сколько с ним было в ту минуту, товарищей, Полынин поехал по адресу. Оставив шумную компанию внизу, он упрямо полез наверх, хватаясь одной рукой за перила, а в другой крепко, чтобы не потерять, зажав письмо.

Улыбнувшись своим воспоминаниям, Полынин застенчиво сказал, что он тогда немножко выпил с товарищами и поэтому стремился объясниться покороче.

— Так вот и Паша, — без всякого осуждения сказала Татьяна Степановна, — если иногда лишнее выпьет, а показать не хочет, сразу становится такой официальный, важный, как гусь.

Маша не выдержала своего строгого вида и расхохоталась.

— Когда же вы всё-таки видели Павла, когда он писал записку?

— Позавчера вечером.

— Просто не верится.

— А почему не верится? — спросил Полынин.

— Позавчера он так вот сидел рядом с вами, как я?

— Так вот и сидел, как вы, вот именно, — чуть заметно улыбнувшись, сказал Полынин, вспомнив засыпанную бумагами палатку разведотдела и Артемьева, который наспех доцарапывал эту записку, наваливаясь грудью и локтями на пухлые пачки покрытых иероглифами документов.

— А как он сейчас выглядит? — спросила Маша.

— Нормально, — ответил Полынин с искренней уверенностью, что одно это слово исчерпывает всё, что можно и должно сказать об Артемьеве.

Маша улыбнулась. Она с отличавшей её порывистостью уже начала быстро менять к лучшему своё мнение об этом неразговорчивом, одновременно и уверенном в себе и застенчивом лётчике, который в первые минуты не понравился ей своим слишком аккуратно-красивым и, как ей показалось, нагловатым лицом и слишком аккуратно парикмахерским пробором на лысеющей голове.

— А скажите, как всё-таки его рана? Совсем ли его вылечили? Как ваше-то мнение? — с величайшим доверием к мнению Полынина, снова отерев платком глаза, уже в третий раз спросила Татьяна Степановна, которая только сегодня, от Полынина, упомянувшего, что он познакомился с Артемьевым в госпитале, узнала, что Павел был ещё в мае ранен. Редко сразу нравившийся людям, Полынин полюбился ей с первого взгляда, и она верила каждому его слову.

— Так ведь у нас такой порядок — не вылечив, не выписывают, — вспомнив Апухтина, назидательно сказал Полынин.

— А не может быть, что слишком рано выписали?

Полынин пожал плечами, не зная, что ответить. Маша с удивлением посмотрела на мать, впервые видя её такой расчувствовавшейся, задававшей почти чужому человеку нескладные и ненужные вопросы. Татьяна Степановна сама, задавая эти вопросы, понимала их ненужность; но она оказалась не в силах, вдруг узнав, что сын был ранен, совладать со своей тоской по нём и с тем состоянием радостной растерянности, которое вызвали в ней несколько строчек, написанных его собственной, теперь уже снова здоровой рукой.

«Мама просто постарела», — подумала Маша, в одно мгновение как-то разом заметив и побелевшие на висках волосы матери, и нездоровые тёмные круги под глазами, и новую, чуть надтреснутую, старческую нотку в её всё ещё сильном голосе.

— Мы вчера в газете прочли — там в Монголии как будто всё кончилось, — сказала Маша больше для матери, чем для себя. — И уже соглашение здесь, в Москве, подписано. Как вы думаете, там теперь действительно всё кончилось?

— Позавчера не подумал бы, — сказал Польшин, вспомнив свой последний страдный халхингольский день, — но раз подписали — значит всё! Теперь главное дело — на Западе.

— Вы завтра летите в Польшу? — спросила Маша.

— В том направлении...

— Вот ответьте, пожалуйста, — доверчиво сказала Маша, касаясь рукой руки Польшина, — я живу в Вязьме, моего мужа восьмого числа призвали из запаса и сразу же отправили в Смоленск. Как вы думаете, он уже может быть в тех войсках, которые сегодня перешли границу?

При словах «моего мужа» у Польшина сразу потухло в глазах то счастливое выражение, которое в них было. Маша не заметила этого, но Татьяна Степановна успела заметить и пожалела человека, который так издалека привёз ей письмо от сына и так восхищённо смотрел на её дочь. Через десять минут он всё равно взялся бы за фуражку и ушёл, чтобы лететь на войну. А эти слова про машинного мужа отняли у него Машу ещё на десять минут раньше.

— Что ж, вполне возможно, — поспешно сказал Польшин, торопясь сказать хоть что-нибудь, чтобы Маша не успела заметить его огорчение. Только в следующую секунду он сообразил, что в ответ на такой вопрос, наверное, следовало, наоборот, говорить что-нибудь совсем противоположное, вроде «не думаю» или «едва ли». Но говорить так было уже поздно и противоречило бы его привычке отвечать то, что он думает, не особенно считаясь с обстоятельствами.

— Вполне возможно, — повторил Польшин с естественной простотой человека воевавшего и не способного считать чем-нибудь особенным то, что другой человек тоже попал на войну. — Но ничего, — сказал он, помолчав и сообразуясь с тем, что всё же речь идёт не вообще о человеке, а о машинном муже. — Возьмём, как сказано, под свою защиту Западную Белоруссию и Украину — и всё. Панская армия подразложилась, население — за нас, так что, возможно, за какой-нибудь месяц всё кончится, и вы опять увидите вашего мужа.

— А немцы? — с силой сказала Маша, думая уже не о Синцове и о себе, а о том большом и враждебном, что целых шесть лет подряд у всех связывалось с этим словом.

— Что ж немцы? — спокойно проговорил Польшин. — Встретимся — посмотрим!

— Нет, подождите, — всё с той же силой сказала Маша, — я вас серьёзно спрашиваю. Сегодня в немецкой сводке написано, что они подошли к Бресту. А Брест — это уже Западная Белоруссия? Как же будет?

— Раз правительство сказалось, что возьмём под свою защиту Западную Украину и Белоруссию, значит, возьмём, — убеждённо ответил Польшин.

— А если немцы войдут туда раньше? — настаивала Маша. Ей очень хотелось, чтобы Польшин прямо ответил на её вопрос.

— Ну что ж, попросим выйти обратно. А не выйдут — вышибем. — Голос Польшина зазвенел.

— Значит, тогда будем с ними воевать? — тоже зазвеневшим голосом спросила Маша, которой передалось волнение Польшина.

— Значит, если надо, будем, — сказал Польшин и с удивительной отчётливостью вспомнил тот последний «мессершмитт», которому он за день до отъезда из Испании, над рекой Эбро, вогнал в хвост прощальную пулемётную очередь. Фашист врезался в воду, а Польшин, делая круг, в последний раз увидел свинцовую зимнюю ленту Эбро, красные скалы, белые пятна снега во впадинах и щелях.

— Конечно, мы — антифашисты, — вдруг сказал он, и, хотя эта неожиданная фраза была итогом его мыслей, не высказанных вслух, и Маша и Татьяна Степановна, обе очень хорошо его поняли.

Полынин поднялся и стал прощаться. Он всегда это делал быстро, счигая, что человек встаёт для того, чтобы уйти, а не для того, чтобы перед этим долго объяснять всем, что он собирается уходить.

Ему хотелось на прощание ещё что-то сказать Маше: не то что-то ещё передать ей от брата, хотя всё уже было передано, не то предложить ей что-нибудь передать её мужу, хотя они едва ли могли встретиться. Быстро подавив в себе это желание, Полынин пожал большую, мягкую руку Татьяны Степановны, тряхнул машину руку и так стремительно вышел в коридор, открыл и захлопнул за собой дверь, что обе женщины окончательно сообразили, что он ушёл, только когда он уже был на лестнице.

— Хороший человек, — всё с той же растроганностью, которая владела ею целый вечер, сказала Татьяна Степановна. — Вот, возвращаются же люди домой! — добавила она, думая в эту минуту только об оставшемся в Монголии сыне и эгоистически забывая, что о Полынине никак нельзя сказать, что он возвратился домой.

Маша молча присела к столу и, поглядев на мать, впервые подумала о том, как она одинока в силе своего чувства к Синцову: раньше они с матерью сходились на одном человеке, которого обе любили больше всего на свете, — на Павле; теперь они уже никогда не сойдутся в этом. Никто и никогда не будет любить Синцова с такой силой, как она, и ни от кого, даже от матери, она не вправе ждать этого. Она понимала, что это естественно, что всё так и должно быть, и всё же ей сделалось грустно и от сознания этого и от того, что теперь, уже совсем скоро, ей надо садиться в ночной пустой, гремучий трамвай, ехать на Белорусский вокзал и брать там билет до города, в котором уже девять дней, как нет Синцова.

Выехав за Окружную дорогу, Полынин, как он и собирался, посадил шофёра рядом с собой и, выжав из потрёпанного такси восемьдесят километров, меньше чем через час был в Подлипках.

Поднявшись на второй этаж построенного в прошлом году нового дома для семей комсостава, Полынин нажал на звонок и почти тотчас же услышал за дверью быстрые шаги матери.

Мать открыла ему, не спрашивая, словно предчувствуя, что за дверью стоит он.

— Здравствуйте, мама, — сказал Полынин, несмотря на свой средний рост, всё-таки нагибаясь, чтобы обнять мать.

— Здравствуй, Коля, — поцеловав его в щёку несколькими быстрыми поцелуями подряд и почти не удивляясь его возвращению, ответила мать. — Дай-ка чемодан-то.

— Что вы, мама! — с той же почтительной нежностью, с какой он всегда говорил с матерью, ответил Полынин и пошёл в комнату, держа в одной руке чемодан, а другой крепко прихватив мать за плечи и почти отрывая её от пола.

— Что ты меня в воздух тащишь? Я летать-то не умею! Радуюсь, что такой здоровый вырос? — говорила мать, идя рядом с ним.

Полынин брякнул чемодан на пол у обеденного стола, посадил мать, сел напротив неё и спросил:

— А что, правда, здоровый?

— Да по глазам-то вроде нет, — вглядываясь в его лицо, сказала мать. — Устал, что ли?

— Есть маленько, — сказал Польшин и в свою очередь взгляделся в лицо матери.

Он понимал, конечно, что ей далеко за пятьдесят и что лицо её очень переменялось за те тридцать лет его жизни, что он помнит это лицо. А в то же время ему представлялось, что оно всегда и было вот таким, как сейчас: не старым и не молодым, а просто материнским, одним и тем же, с такими всегда всё понимающими глазами, что казалось, кроме них, ничего и нет на её лице — одни они.

Поглядев матери в глаза, Польшин решил сразу же, пока она не успела приготовиться к другому, сказать ей, что он на рассвете снова улетит.

— Далеко ли? — спросила мать, не меняя выражения лица, хотя слова Польшина были для неё и тяжёлыми и неожиданными.

— Сперва в Минск, — сказал Польшин, — а там видно будет.

— А на какую должность? — спросила мать. Она никогда никому не рассказывала о делах и должностях сына, но сама любила подробно знать, на какой он должности и что делает.

— Покамест в распоряжение штаба Белорусского военного округа, — сказал Польшин.

— Что ж я тебе не говорю-то! — Мать всплеснула руками. — Лидия Григорьевна приходила сегодня ко мне чай пить. (Лидия Григорьевна была жена комиссара той части, из которой Польшина откомандировали в Монголию). Поздравляла меня, рассказывала — тебе вчера полковника присвоили! Или ты уже знаешь?

— Знаю, — сказал Польшин, которого действительно уже поздравили с этим, когда он прямо с самолёта явился в Наркомат Оборон.

— Как же тебя теперь собирать-то? — встревожилась мать. — Обмундирование у тебя всё старое, майорское...

— А какая разница? — сказал Польшин. — Из майорского сделаем полковничье... Запасные «шпалы» у вас, небось, есть для такого случая?

Он знал, что у матери есть старая жестяная коробка из-под монпансье, где специально хранятся запасные целлулоидные и матерчатые подворотнички, петлицы, привёрнутые к картонке «шпалы» и даже «кубики», сохранившиеся ещё с того времени, когда он был старшим лейтенантом.

Мать кивнула, помолчала и сказала:

— Как же так? Полковника присвоили, а назначения не дали?

За этим вопросом был другой, не заданный, главный, интересовавший её: полетит ли сын в Польшу, куда сегодня утром вошли наши войска, или останется при штабе в Минске?

— В Минске скорей всего не задержусь, — поняв вопрос матери, сказал Польшин, — буду в армии. Но, однако, всё это ненадолго, временно.

— А по мне пусть лучше бы ты куда надолго поехал служить, — неожиданно сказала мать, — чтобы там и квартира была, и меня бы взял с собой. А то приезжаешь — уезжаешь, а я тут сиди, как кукушка в чужом гнезде.

— Почему же в чужом?

— Конечно. Только одно слово, что дали квартиру, а ты даже и не жил в ней. Мебель, и ту без тебя расставляла.

— Ну и слава богу. Буфет-то новый?

— Купила, — сказала мать. — С книжки деньги взяла.

— И хорошо сделали. Вы же у меня главный казначей.

— Ничего буфет? Нравится?

— Говорю — хороший. Ножек-то сколько у него? Четыре?

— Четыре, — растерянно ответила мать.

— Ну и замечательно! Пусть стоит. — Польшин рассмеялся.

— А я словно чувствовала, что ты приедешь, — сказала мать. — Такой поздний час, а всё не ложились. Видишь, одетая. И пироги сегодня утром испекла. Со скуки. Скучно мне тут без тебя, Коля. Хожу целыми днями по квартире одна. В том месяце у Лидии Григорьевны Димочка scarлатиной заболел в лёгкой форме. Они его в больницу не положили, оставили дома, — так я их Веру к себе брала, чтобы не заразилась. Хоть из-за чужой беды, а всё-таки была при деле. Когда отдавала — жалела.

— Так для кого же вы пироги-то испекли? — спросил Польшин.

— Не знаю, — сказала мать. — Тебе собрать ужин, или ты с товарищами покушал?

Она сказала это без тени укоризны. Она знала, что сын любит проводить свободное время с товарищами, помнила их всех за все годы службы сына в разных гарнизонах и по некоторым, особенно полюбившимся ей, даже скучала, спрашивая иногда об их судьбе и огорчаясь, если Польшин ничего не мог ей ответить.

— А что же, соберите, — сказал Польшин, — поужинаем с вами, я только чай пил.

— Пироги подогреть или так?

— Можно и подогреть.

«В самом деле, скучно ей тут, — подумал Польшин, когда мать вышла на кухню. — Надо жениться».

И он снова огорчённо вспомнил о том, что у сестры Артемьева оказался муж. Когда он думал о женитьбе, то всегда почему-то представлял себе, что женится именно на сестре какого-нибудь своего хорошего товарища.

Поставив подогреть пироги, мать вернулась и стала собирать на стол.

— За твоё здоровье выпили, — сказала она, доставая из нового буфета графинчик с водкой, в котором оставалось меньше трети. — Даже я пригубила.

— С кем же это вы без меня тут гуляли? — спросил Польшин.

— Петя Козырев приходил.

— Когда?

— Как от вас, оттуда, прилетел, так и пришёл. Они к нам в Подлипки с женой к кому-то в гости приезжали, а перед гостями он ко мне вместе с нею заявился. Надежда Алексеевна. Красивая женщина. Видная! А он малость росточком около неё не вышел. Рассказывал про тебя, как ты живёшь.

— Как ругались мы с ним, не рассказывал? — спросил Польшин.

— Нет. Сказал, что ты, наверное, тоже скоро вернёшься. Потом говорит: «Давайте, Елена Андреевна, водки! Хочу выпить за Николая». Сам выпил полную, жене приказал и меня даже немножко заставил. Потом достал у тебя из стола все твои фотографии и ей показывал. А та, где вы с ним в кожанках, около самолётов, ей так понравилась, что она у меня просить стала.

— Дали ей?

— Он сам забрал. Говорит: «Николай был бы — дал. Передайте ему, что я забрал».

— Ну и правильно, — кивнул Польшин. — У меня ещё такая есть.

— Та, другая — маленькая, — сказала мать, которая была всё-таки недовольна тем, что не устояла и отдала Козыреву фотографию. — Красивая женщина, — снова повторила она, вздохнула, сердясь на сына за то, что он всё никак не женится, и вышла на кухню за пирогами.

Оставшись один, Польшин подошёл к стоявшему в углу старому письменному столу, который они с матерью издавна возили с собой с

места на место. Там в нижних ящиках была кое-какая авиационная литература и его старые тетради и конспекты, а в верхнем ящике навалом лежали фото, большей частью снятые им самим, — он любил в свободное время заниматься фотографией.

Фотография, точно такая же, как та, что взял Козырев, но маленькая, лежала с самого верху. Они с Козыревым и с покойным Борисом Овечкиным стояли у своих истребителей «чата» — «курносых», как их называли испанцы. Рядом с ними стояли трое испанцев-механиков, в том числе и его механик — Хосе, который через неделю после того, как они снялись, погиб при бомбёжке аэродрома, спасая загоревшуюся машину.

Позади самолётов виднелся белый домик штаба, за ним — летняя жаркая даль, а за ней — Мадрид. Мадрида на фотографии не было видно, но он был за этой далью, — над ним они в тот день сбили каждый по немецкому «юнкерсу», в честь чего и снялись все трое вместе со своими механиками.

Глядя на фотографию и мысленно продолжая начатый на квартире у Артемьевых разговор о немцах, Полюнин вспомнил всё сразу: и тот последний «мессершмитт», сбитый над Эбро, и первый «мессершмитт», сбитый над Мадридом, и падение Сантандера, где пришлось своими руками сжечь вот этот снятый на фотографии «курносый» истребитель, потому что фашисты подошли к аэродрому, а бензина оставалось только на то, чтобы облить самолёты.

Вспомнив Сантандер, он разом вспомнил всё то нестерпимо горькое, что было связано в Испании с вечной нехваткой горючего, патронов, снарядов, самолётов, всего, что было в избытке у фашистов. Последний самолёт, на котором он летал, был так изрешечен, что не оставалось живого места, а звено приходилось водить против десяти, пятнадцати, двадцати «фиатов» и «мессершмиттов».

Наконец, он вспомнил свой отъезд с барселонского вокзала, пустое привокзальное кафе, разбитые мраморные столики и маленького, жёлтого от горечи, молчаливого интербригадовца, у которого он тогда взял письмо в Москву, в ту самую квартиру, где был сегодня.

Как всё это было далеко и как в то же время всё это было не забыто и не прощено! Да если уж будет нужно снова драться, он бы из всех врагов выбрал себе именно этих фашистов, летавших там на новеньких самолётах, обжиравшихся бензином и патронами и привыкших, что их всегда трое или пятеро на одного!

Он подумал о них с такой ненавистью, что невольно сжал кулаки.

— С кем это ты воюешь? — входя с пирогами на подносе, спросила мать, заметив его позу.

Он разжал кулаки, ничего не ответил и, сев к столу, взглянул на часы — до вылета оставалось меньше четырёх часов.

ТРИДЦАТАЯ ГЛАВА

В ночь на 18 сентября Петрашек был вызван из лагеря к следователю — долговязому французскому капитану из «Сюрте женераль».

Допрос происходил в стоящем невдалеке от главных ворот и хорошо знакомом всем жителям Аржелесского лагеря одноэтажном белом доме, бывшем почтовом помещении, приспособленном под лагерную канцелярию.

Капитан был не здешний, из Парижа, так же как и двое других офицеров, которые допрашивали в двух соседних комнатах. Допросы шли уже третьи сутки и обычно с одинаковым результатом: допрашиваемых перебрасывали в крытых полицейских машинах за восемьдесят километров отсюда, в новый лагерь для «враждебных иностранцев».

Петрашек знал, что туда свозили людей не только из Аржелеса, но почти из всех лагерей, в которых уже полгода жили за проволокой интернированные солдаты республиканской армии и испанские беженцы.

Смысл этой истории заключался в том, чтобы изъять из разных лагерей и собрать в один всех лиц, подозреваемых в коммунистической активности. Петрашеку было известно об этом как члену лагерного подпольного комитета; французские товарищи, как всегда, регулярно передавали в лагерь все новости, и заранее знавший, что его рано или поздно вызовут на допрос, Петрашек, очутившись среди ночи в помещении лагерной канцелярии, держал себя гораздо спокойнее капитана, который его допрашивал.

У них у обоих были красные глаза, потому что капитан уже третью ночь допрашивал, а Петрашек тоже почти не спал уже третью ночь. Ночи были лучшим временем для того, чтобы информировать актив лагеря о новостях, полученных из-за колючей проволоки от французов, и, в свою очередь, собирать лагерную информацию для передачи за проволоку. Петрашек, покончив с делами и вернувшись в свою палатку, мгновенно заснул, всего за полчаса до того, как пришли жандармы и приказали ему вставать.

Он жил в одной из палаток, купленных на деньги, собранные французскими рабочими. Палатки были посланы в лагерь ещё в июне, но по дороге словно сквозь землю провалились. Лишь в начале августа, когда коммунисты пригрозили скандалом в палате депутатов, вдруг удалось обнаружить эти исчезнувшие палатки в окрестностях лагеря и заставить пропустить их за колючую проволоку. Сидя перед следователем, Петрашек вспомнил эту историю и усмехнулся.

— Что вас так радует? — поднял глаза следователь, только что записавший первые три ответа: имя — Ян Петрашек, возраст — двадцать семь, национальность — чех.

— Напротив, огорчает, — сказал Петрашек.

— Что же вас огорчает?

— У нас в лагере Аржелес недавно появились такие прекрасные палатки, что мне жаль расстаться с той, где я живу.

Он проговорил эту фразу на очень скверном по произношению, но довольно точном по выбору слов французском языке, который он за полгода выучил в лагере с той быстротой, с какой учат языки в тюрьмах.

— А почему вы думаете, что вам придётся с ней расстаться? — быстро спросил следователь.

— Тогда разрешите возвратиться в неё, — сказал Петрашек, не скрывая насмешки и делая вид, что он хочет подняться с табуретки.

— Я спрашиваю, откуда у вас эти сведения?

— Предчувствие, — попрежнему не скрывая насмешки, с вызовом сказал Петрашек.

Следователь промолчал. Он был достаточно умён, чтобы понять — в лагере слишком многое знают. Среди людей, допрошенных им за три ночи, оказалось всего несколько перепуганных, но это, по его мнению, были как раз не те люди, которых следовало изымать из Аржелеса.

Что же касалось расчёта на внезапность и испуг при неожиданном вызове на допрос таких, как этот интербригадовец, — то надежды, которые следователь питал вначале, сейчас всё больше казались ему самому просто глупыми.

Какая уж тут внезапность, когда этот усевшийся против него на табуретке маленький жёлчный человек, со сжатым ртом и сжатыми кулаками, с тощим лицом и облупившейся на солнце шкурой, так смотрит на него своими сверлящими глазами, словно он, в свою очередь, давно

знает, как зовут следователя, сколько ему лет и из какого департамента он родом.

Табуретка, на которой сидел Петрашек, была такая высокая, что он мог глядеть сверху вниз на сидевшего в мягком кресле следователя, на его худощавое, скорей красивое, чем некрасивое лицо, короткие фатоватые усики и белокурые волосы с аккуратным пробором.

Петрашек не знал, сколько лет следователю и из какого он департамента родом, но действительно ещё вчера получил от французских товарищей сведения о том, как зовут его и ещё двух других и какого сорта каждая из этих трёх собак.

Этого звали Огюст д'Орвиллье. По сведениям, полученным Петрашком, капитан был не дурак, но истерик, часто кричал и ввязывался в споры, несколько раз грозил избиениями, но ни разу не решился на них, очевидно, боясь скандала. Было известно, что он состоял в фашистской партии полковника де Ля Рока и во времена Народного фронта ему даже пришлось уехать из Парижа и год прослужить где-то в Африке, но теперь всё это, разумеется, лишь помогало ему делать карьеру.

«В общем, порядочная дрянь», — думал Петрашек, вспоминая содержание полученной вчера через проволоку записки с краткой характеристикой капитана и с равнодушной злобой глядя ему в глаза.

— Подданство? — спросил следователь, некоторое время поборовшись взглядом с Петрашком и опустив глаза к протоколу.

— Чехословацкое.

Следователь покосился на лежавшую слева от него в полузадвинутом ящике стола подшивку с присланными из Парижа краткими сведениями о всех намеченных к переброске «враждебных иностранцах». Там, в графе «подданство», стояло — испанское.

— Врёте! — сказал следователь. — Почему вы сейчас показываете чехословацкое подданство, а при поступлении в лагерь показывали испанское?

— Потому что я весной опасался, как бы господин Даладьё не выдал меня Гитлеру заодно со всей Чехословакией. А теперь, когда вы уже две недели делаете вид, что воюете с Гитлером, вам неудобно это сделать.

Капитан треснул кулаком по столу. Ему хотелось ударить Петрашка, но, к сожалению, интербригадовец не был ни скован, ни связан, и для того, чтобы ударить его, ничем не рискуя, пришлось бы вызвать из соседней комнаты жандармов. Делать это в самом начале допроса было преждевременно, да и не за каждого жандарма можно было поручиться. В конце концов, охрана лагеря состоит из тех же самых жандармов, а в лагере к вечеру каким-то образом узнают обо всём, что произошло за проволокой утром.

В нерешительности подержав некоторое время на столе довольно сильно ушибленный кулак, следователь разжал его, поиграл по столу пальцами и, опустив руку под стол, морщась, потёр её о колено.

Ему хотелось поскорей покончить с предварительными вопросами, и он стал задавать их один за другим, ни на одном особенно не задерживаясь и почти каждый раз делая вид, что удовлетворён ответом.

Вопросы касались главным образом Испании.

— Откуда Петрашек прибыл в Испанию?

— Из Чехословакии.

— Когда?

— В тридцать шестом году.

— Каким путём?

— Через Францию.

— Этого не может быть! Граница была закрыта.

- Очевидно, не для всех.
- Но кто же его доставил через границу?
- Это было давно, и он не помнит подробностей.
- Может быть, он вспомнит?
- Нет, это было слишком давно.
- Он коммунист?
- Он антифашист.

Петрашек ожидал, что следователь застрянет на этом вопросе, но следователь сделал вид, что удовлетворился ответом, и стал задавать вопросы о лагере Аржелес: каково мнение Петрашека о лагере Аржелес, всем ли он там доволен, не выражал ли он протестов администрации, не организовывал ли для этих протестов обитателей лагеря, наконец, не состоит ли он членом подпольного коммунистического комитета, который существует в лагере.

— Нет, — ответил Петрашек, говоря при этом чистую правду, потому что, согласно установленному в комитете порядку дублирования, с той минуты, как жандармы увели его сюда, в канцелярию, его место в комитете было занято другим.

— Но вы коммунист?

— Как я вам уже сказал, я антифашист.

— Почему вы не имеете мужества прямо признаться в том, что вы коммунист?

Петрашек ответил, что он не собирается состязаться в мужестве с господином следователем. Он просто не хочет перегружать память господина следователя излишними подробностями своей биографии. Он намерен отвечать только на вопросы, касающиеся существа дела, а существо дела — в том, что он полгода назад перешёл границу Французской республики и был интернирован как солдат испанской республиканской армии, и является он коммунистом или нет — не имеет никакого отношения к делу. Его интернировали в лагере и теперь, очевидно, собираются наконец выпустить. Иначе он не может догадаться ни о причинах, ни о целях допроса.

Он сказал всё это с откровенной насмешкой.

Следователь молчал целую минуту. Ему стоило большого труда справиться для пользы дела со своими чувствами.

— Слушайте, — сказал он наконец почти спокойнo, — вы утверждаете, что вы не коммунист, но я вам не верю, потому что вы мне этого не в состоянии доказать. Поэтому я принуждён, несмотря на ваше отрицание, считать вас коммунистом. Логично это, по крайней мере?

— Я ничего не отрицаю и ничего не утверждаю, — сказал Петрашек, — я просто считаю, что ваш вопрос в данном случае не относится к делу, и поэтому не собираюсь отвечать на него.

— Так вы считаете, что он не относится к делу? — спросил следователь. — Не относится к делу? — повысил он голос. — В то время как выбор между свободой и заключением зависит от вашего ответа на этот вопрос, который, по вашему мнению, не относится к делу!

— Почему же свобода или заключение зависят от моего ответа на этот вопрос? — спросил Петрашек, изображая на лице заинтересованность и даже подаваясь вперёд.

С удовольствием отметив это движение, следователь откинулся назад, некоторое время молча барабанил пальцами по столу и, сделав долгую паузу, во время которой Петрашек готов был поклясться, что следователь считает про себя до двадцати, сказал:

— В то время как верная союзным обязательствам Франция проливает кровь на полях сражений, ваша коммунистическая Мекка — Москва

заключила с немцами договор о ненападении. В этих условиях мы не можем доверять коммунистическим иностранцам вроде вас, которые считают, что Россия всегда права. Права даже тогда, когда она заключает договор о ненападении с Германией. С Германией! — театрально выкрикнул следователь и возмущённо потряс руками. — Но если бы, — следователь опустил руки и все последующие фразы произносил с небрежностью не особенно ловкого человека, стремящегося вскользь сказать самое главное, — если бы вы и такие, как вы, имели мужество, наконец, признать, что Россия хотя бы в этом случае неправа, что она изменила своим коммунистическим идеалам; если бы вы сказали это публично...

— То... — сказал Петрашек.

— То Франция, проливающая кровь в борьбе с немцами, могла бы счесть вас лояльными и рассмотреть вопрос о предоставлении вам свободы.

При вторичном упоминании о проливающей кровь Франции Петрашек сделал над собой усилие, чтобы не переменить выражения лица. Как раз сегодня в лагерь попала газета с подсчётом потерь за первые две недели войны, которую во Франции уже начали называть «дроль» — странной: несколько десятков убитых и раненых на всём германском фронте.

Патетика следователя по этому поводу была, конечно, смешна, но сущность сказанного вызвала у Петрашка такой приступ ненависти, что голова его, до этого пылавшая от волнения и усталости, сразу стала ясной и холодной: перед ним сидел провокатор, которому поручено во время переброски из лагеря в лагерь запутать хотя бы нескольких людей и вынудить их подписать письмо против договора о ненападении. Петрашек представил себе такое письмо, напечатанное где-нибудь в «Попюлер» с заголовком: «Солдаты интернациональных бригад протестуют против германо-советского договора», — и хладнокровно решил заставить следователя выложить все карты на стол. Их будет полезно заранее узнать всем, кого станут допрашивать потом.

— А почему, — медленно и как бы в раздумье сказал Петрашек, продолжая сохранять заинтересованный вид, — а почему Россия, если она хочет мира, непременно должна воевать сейчас, в союзе с Англией и Францией? Ведь она год назад была готова защитить Чехословакию, но тогда вы не захотели этого, и она теперь не верит вам.

— Да! — воскликнул следователь, вновь испытывая приступ красноречия. — Да! Я знаю — вы чех и знаю, что ваше сердце чеха ранено этим. Но этим ранено и моё сердце — французского офицера. Да! Если хотите знать, это была наша трагическая ошибка. Но сейчас, защищая Польшу, Франция смывает эту ошибку своей кровью.

В третий раз воскликнув о крови, он закатил глаза так, что стали видны только белки.

— А в это время Россия, ваша Россия, которая, как вы говорите, хочет мира, начинает войну с обливающейся кровью Польшей!

Он дернул левый ящик стола, вырвал его, так что тот упал на пол, чем эффект был отчасти испорчен, и, выхватив оттуда газету, сунул её в лицо Петрашке.

— Читайте сами!

После этого он снова откинулся на спинку кресла, трагически сложил руки на груди и стал следить за выражением лица Петрашка.

Газета, которая оказалась в руках Петрашка, была сегодняшним номером местного вечернего социалистического листка. Через всю первую страницу были напечатаны заголовки: «Русские объявили войну

Польше и перешли польскую границу». «Большевики продекларировали вооружённый захват украинских и белорусских областей с 13-миллионным населением». Ниже заголовков была напечатана нота правительства СССР на имя польского посла в Москве. Петрашек раз за разом трижды пробежал её с неподвижным лицом, о выражении которого он всё время помнил, чувствуя на себе взгляд следователя.

Наконец, наслаждаясь очевидным нетерпением следователя, он в четвёртый раз, уже неторопливо, прочёл ноту, запоминая её, аккуратно сложил пополам газету и протянул через стол.

— Спасибо, — сказал он. — Обычно в лагере мы достаём газеты только на второй день.

— Не правда ли, неожиданная метаморфоза со страной социализма? Что вы об этом думаете? — победоносно спросил следователь, не обратив внимания на иронию Петрашека. Ему казалось, что Петрашек ошеломлён. Он сделал этот преждевременный вывод, глядя на окаменевшее, не дрогнувшее ни одним мускулом во время чтения газеты лицо заключённого.

Петрашек молчал. Он прислушивался к тому, что делалось за дверью. Там глухо переговаривались между собой жандармы и то и дело раздавался резкий деревянный стук: должно быть, жандармы играли в кости, и это был звук кубиков, выбрасываемых на стол из стакана.

Прислушиваясь, Петрашек колебался между благоразумным намерением продолжать молчать и заставить следователя скорей закончить допрос и между подмывавшим его желанием сказать несколько тёплых слов этому долговязому фашисту.

Правда, обманув ожидания следователя, он после этого рисковал быть избитым, но, кажется, ненависть говорила в нём сильнее и расчётливости и страха.

— Так что же вы всё-таки об этом думаете? — вновь настойчиво и победоносно повторил следователь.

— Что я об этом думаю?

Петрашек слез со своей высокой табуретки, сделал шаг к столу и, опершись на него обеими руками, перегнулся через стол к следователю так близко, что тот невольно подался назад вместе с креслом.

— Во-первых, я очень рад, что Советский Союз не загребает для вас каштаны из огня и не собирается воевать с немцами только потому, что этого хочется вам. Во-вторых, если русские перешли польскую границу и ещё тринадцать миллионов людей станут жить под властью социализма, то я не Леон Блюм, чтобы этим огорчаться. В-третьих, если русские всё-таки когда-нибудь будут воевать с Гитлером, то ради себя и ради меня и ради таких, как я, а не ради вас и таких, как вы.

Говоря это, Петрашек едва не ткнул пальцем в грудь следователя, и тот, вскочив, с грохотом отодвинул кресло.

— Наконец, в-четвёртых, — сказал Петрашек, с холодной грубостью переходя на «ты», — ты не только фашистская свинья (он употребил самое оскорбительное французское ругательство: «кошон»), ты не только грязный провокатор, ты ещё и дурак!

Жандармы нехотя бросили игру и, подталкивая друг друга, ввалились в дверь на крик следователя. Скрутив Петрашеку руки, они долго били его, понукаемые капитаном, который тем временем снова уселся за стол и, стараясь делать равнодушный вид, всё время, пока били Петрашека, писал протокол допроса. Иногда он вскидывал голову, для того чтобы коротко приказать: «Ещё!», и снова утыкался носом в протокол. Но его длинные тонкие пальцы неврастеника плохо слушались и заметно дрожали. Петрашек успел заметить это левым, ещё не залитым

кровью глазом. Обычно французские жандармы бьют заключённых скрученными в жгуты мокрыми полотенцами, чтобы не оставлять следов на теле, но на этот раз, постепенно входя во вкус, они под возгласы следователя били Петрашека, как придётся, без всяких предосторожностей.

— Прекратите! Подведите его к столу, и пусть он подпишет протокол, — сказал наконец следователь. Перевернув последнюю страницу протокола, он вышел из-за стола и, сложив руки на груди, встал у стены поодаль. Он боялся быть близко к Петрашеку и ничего не мог с собой поделаться. Кроме того, его мутило от вида крови.

Жандармы втроём подвели Петрашека к столу; двое выкручивали ему руки, а третий держал сзади за шиворот. Когда они подошли к столу вплотную, жандарм, выкручивавший Петрашеку правую руку, отпустил её, обмакнул в чернильницу перо, сунул его в пальцы Петрашеку и остался рядом, готовый сейчас же схватить его за руку.

Одним глазом Петрашек не видел ничего, другим, подбитым и заплавленным, смутно различал на протоколе графы и вписанные строчки, казавшиеся ему сейчас кривыми.

С трудом проглотив большой тёплый сгусток крови, Петрашек для вида перехватил пальцами ручку и, заранее зная, что он сейчас сделает, стал наклоняться вперёд, с радостью чувствуя, как державшая его за шиворот рука жандарма почти отпускает его.

Поднеся руку с пером к протоколу, он внезапно отшвырнул перо, рванулся вниз и, оставив в руках жандарма воротник своей полуистлевшей в лагере испанской куртки, упал на протокол окровавленным лицом, приподнялся и снова, как печать, вдавил лицо в протокол, теряя сознание и в последнее мгновение чувствуя, как ему ломают вывернутую за спину руку.

Петрашек пришёл в сознание, лёжа на полу крытого, без окон, тюремного автобуса, который нёсся куда-то по неровной дороге.

В кузове было совершенно темно. Пошевелив головой, Петрашек почувствовал, что под неё что-то подложено — пиджак или пальто. Над собой, справа и слева, он слышал дыхание и покашливание сидевших на скамейках людей.

Пошарив правой рукой, он коснулся сначала одного, потом другого, потом третьего ботинка.

— Кажется, шевелится, — сказал кто-то по-испански.

— Камарада, — сказал второй голос, показавшийся Петрашеку знакомым, — ты очнулся?

Петрашек не ответил. Он не знал ещё, кто сидит в машине и есть ли в ней жандармы. Кроме того, он был не уверен, сможет ли вообще что-нибудь сказать, — такими чужими на ощупь показались ему разбитые губы и распухшие дёсны.

Вместо ответа он ошупал языком зубы: кажется, нехватало пяти снизу и четырёх сверху — почти всей правой стороны.

Он тихо положил на грудь правую руку и дотронулся до левой. Левая рука распухла и онемела. Наверное, это был не перелом, а вывих в локте.

— Козлиное отродье! — снова по-испански сказал первый голос, — Избили человека так, что он может умереть по дороге.

— Спокойней! — сказал второй голос, который теперь Петрашек окончательно узнал. Это был голос одного из членов подпольного комитета — Мартинеса.

«Значит, и его взяли», — с досадой подумал Петрашек.

— Спокойней, — повторил голос Мартинеса, — жандармы могут знать по-испански.

— А чёрт с ними, — сказал первый голос, — я их не боюсь.

— Я их тоже не боюсь, — сказал Мартинес, — но они могут знать язык, и поэтому не говори лишнего.

— Они отняли у меня даже фляжку с водой, — сказал третий голос, обладателя которого Петрашек узнал сразу же по первым ломаным испанским словам. Это был интербригадовец — варшавский металлист, поляк Ясинский, с которым Петрашек был знаком ещё по Испании. Он состоял в ППС, но жандармы забрали его, должно быть приняв за коммуниста, потому что он был боевой парень и постоянно скандалил в Аржелесе с лагерной администрацией.

Повернув голову и потёршись щекой о жёсткий ворс, Петрашек с благодарностью подумал, что у него под головой, кажется, старая драповая куртка Ясинского.

— Слушай, это твоя куртка? — медленно сказал Петрашек слабым и свистящим голосом, который ему самому показался незнакомым.

— Моя, — ответил Ясинский. — Тебе, наверное, хочется пить, но воды нет.

— Кажется, мы скоро доедем, — сказал Мартинес. — Мы там тебе поможем.

— Спасибо.

Несколько минут Петрашек лежал молча.

— Слушай, — сказал он тихо, поворачивая голову к Ясинскому, который сидел ближе всех, слева от него, над самой его головой, — ты знаешь, что Красная Армия перешла польскую границу?

— Да, — ответил Ясинский, — это было первое, что мне сказал следователь.

— А что ты ему сказал?

— Что это меня не касается.

— А что ты думаешь об этом на самом деле?

— Я думаю, что Красная Армия хорошо сделает, если заодно с украинцами и белорусами спасёт от Гитлера и поляков.

— Ты думаешь, это сейчас возможно?

— Не знаю! — Ясинский замолчал, а Петрашек с удивительной для его состояния спокойной ясностью подумал, что всё правильно, что там, в Советском Союзе, делают именно то, что нужно делать сейчас перед лицом напололам разодранного войной взбесившегося капиталистического мира.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил Ясинский.

— Хорошо.

— О чём ты думаешь?

— О Сталине.

— Что-то долго нас везут, — сказал по-испански первый, незнакомый Петрашке голос.

— Везут к германской границе, чтобы перебросить в лапы к Гитлеру, — сказал Мартинес, и Петрашек в темноте угадал его хорошо знакомую насмешливую улыбку.

— Пока что это мало вероятно, — не особенно уверенно ответил первый голос.

— Тогда будем считать, что я пока что пошутил, — сказал Мартинес и, помолчав, добавил с мрачной иронией: — Во всяком случае уже сегодня Франция Даладье под предлогом войны с Гитлером везёт в нашем лице антифашистскую Европу непроглядной ночью в тюремном автобусе из лагеря с одним рядом колючей проволоки в лагерь с тремя рядами. Не правда ли, в этом есть что-то символическое?..

ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА

Накануне того дня, когда советские войска вступили в Западную Украину и Западную Белоруссию, ТАСС передал коммюнике о закончившихся в Москве переговорах между Молотовым и японским послом Того. После понесённого ими поражения японцы отступили по всем пунктам, по которым японская печать ещё недавно демонстрировала полную непримиримость. Они соглашались на прекращение военных действий с оставлением войск обеих сторон на линии, занимаемой ими в настоящее время, то есть практически на линии монголо-маньчжурской границы, которую японцы до этого яростно оспаривали; четвёртый пункт соглашения предусматривал, что после переговоров на месте обе стороны обменяются пленными и трупами.

На рассвете 17 сентября японцы сообщили по радио, что к девяти часам утра вышли своих парламентёров в нейтральную зону, южной высоты Номун-хан Бурд Обо.

В шесть часов утра Худякову, полк которого занимал позиции у Номун-хан Бурд Обо, позвонили из штаба группы и приказали приготовиться к встрече парламентёров на участке полка: сделать проход в проволоке, быть готовым самому и подготовить двух бойцов для сопровождения.

Худяков позвонил командиру стоявшего в первом эшелоне батальона и приказал снять два метра проволочных заграждений, а в образовавшийся проход поставить двухметровую переносную рогатку. Потом, нарушив своё обыкновение бриться самому и через день, он вызвал парикмахера, надел новую гимнастёрку и поверх неё тоже новую, вынутую из чемодана светложёлтую портупею.

Только после этого он разбудил поздно лёгшего вчера Саенко, рассказал ему новости и стал советоваться, каких именно двух бойцов выбрать для сопровождения.

В конце концов их выбор пал на Кольцова и старшину — командира комендантского взвода. Старшина, находясь всё время при штабе, не успел отличиться в боях, но был такой расторопный и ревностный службист, богатырь и молодец собой, что Худяков сразу же назвал его. Кольцова предложил Саенко. Худяков сначала заколебался, вспомнив не особенно видную внешность Кольцова, но потом махнул рукой и сказал: «Ладно!». Если уж в одном человеке никак не сходилось и то и другое, Худяков в глубине души считал, что лихой солдат дороже правофлангового.

Правда, Шмелёв, звонивший из штаба группы, говорил о двух бойцах, а старшина и Кольцов были младшие командиры, но Саенко и Худяков, посоветовавшись, решили, что кашу маслом не испортишь.

Худяков вызвал Кольцова и старшину, приказал им готовиться и снова остался в блиндаже вдвоём с Саенко. Поджидая Шмелёва, который обещал скоро приехать, Худяков три или четыре раза брался за карманное зеркальце и наконец с досадой заговорил о том, что японцы, как назло, выбрали их участок, — не могли выйти с белым флагом к соседу. Там, по крайней мере, их бы встретил полковник Сиротин — есть на кого посмотреть!

— Ничего, пускай на тебя посмотрят, — с грубоватой лаской в голове ответил Саенко.

— А что хорошего? — сказал Худяков, с искренним пренебрежением оглядывая свою невзрачную фигуру и совершенно забывая в эту минуту собственные рассуждения о Кольцове. — Будут по мне судить, что у нас есть такие.

— Вот именно! — строго ответил Саенко. — Ты командир сто сем-

надцатого полка, твой один пояж их до трёх тысяч здесь положил. Пусть по тебе и судят!

— Да, защитили всё-таки Монголию, — вдруг растроганно сказал Худяков, вспоминая недавнее посещение полка Чойбалсаном и незаметно для себя горделиво расправляя плечи.

Член Военного Совета представил тогда Худякова как командира сдного из лучших полков, бравшего Песчаную сопку. Чойбалсан крепко и благодарно стиснул ему руку и сказал всего три слова: «От имени народа», но вложил такую сердечную силу в свои простые слова и в своё рукопожатие, будто и правда весь монгольский народ пожимал в эту минуту руку командиру сто семнадцатого стрелкового полка майору Худякову.

— Грудью и кровью защитили! — повторил Худяков, подумав о всех смертях, которых стоила полку победа, — кончая смертью Баталова, — и карандашом пометил на лежавшей перед ним карте пункт, куда должны были выйти японские парламентёры. — Предположим, они теперь больше к монголам не полезут, а дальше как?

— Что дальше? — не поняв, переспросил Саенко.

Худяков развернул согнутую гармоникой карту, которая кончалась в двадцати километрах за маньчжурской границей, и, проведя по ней рукой, широко продолжил жест в воздухе, туда, где за обрезом карты оставались Маньчжурия и Китай.

— Скажи мне, долго ещё там будут люди мучиться?

Саенко пожал плечами.

— Нет, ты всё-таки скажи! — Глаза обычно сдержанного Худякова горели сейчас так, словно он готов был сию же минуту поднять по тревоге свой полк и перейти с ним маньчжурскую границу.

Разговор прервал Шмелёв, вошедший в сопровождении Артемьева, чтобы заранее провести инструктаж, касавшийся порядка переговоров.

Когда этот инструктаж был закончен, Шмелёв остался с Худяковым и Саенко в блиндаже пить чай, благо до срока, радированного японцами, оставалось ещё полчаса. Артемьев отказался от чая и вышел подышать холодным утренним воздухом.

Проходясь назад и вперёд по окопу, он каждый раз, проходя мимо входа в блиндаж, слышал очередной обрывок разговоров за чаем. Худяков то и дело обращался к Шмелёву: «Разрешите ещё раз уточнить?» — и, не желая во время переговоров напутать ни в одной мелочи, задавал всё новые и новые вопросы. Шмелёв отвечал на них терпеливо, хотя и с некоторой досадой.

Артемьев присутствовал при том, как Шмелёв сам просился у командующего пойти на встречу с японскими парламентёрами, но тот отказал ему, коротко буркнув: «Много чести», и вслед за этим разъяснил, что если с японской стороны парламентёром окажется майор, а с нашей — полковник, то это будет выглядеть так, словно мы больше заинтересованы в переговорах, чем японцы, тогда как дело обстоит наоборот.

— Пусть командир сто семнадцатого встретит, — сказал командующий. — На его участок японцы с белыми флагами выйдут, пусть сам с ними и разговаривает — его святое право. Позвоните, предупредите! И переводчиком возьмите не его, — он кивнул на Артемьева, — а кого-нибудь поменьше званием.

— Есть двое ниже званием, но они слабей знают язык, — неожиданно возразил Шмелёв.

Артемьев с удивлением и благодарностью посмотрел на него. Шмелёв имел обыкновение возражать начальству лишь в самых редких случаях.

— Если так,— сказал командующий, подумав несколько секунд и снова кивнув на Артемьева,— пусть, по крайней мере, «шпалы» снимет. Так Артемьев оказался временно пониженным в звании до младшего лейтенанта. В первую минуту это позабавило его, но потом доставило много мелких неудобств, потому что он, оказавшись младшим лейтенантом, продолжал чувствовать себя капитаном.

Сначала, когда они подъезжали к командному пункту сто семнадцатого полка и надо было уточнить, где сворачивать с дороги, он вылез из машины и подозвал к себе шедшего по обочине старшего лейтенанта. Тот, правда, ответил, как им проехать, но посмотрел при этом так удивлённо, что Артемьев, лишь усевшись обратно в машину, вспомнил, что у него петлицы младшего лейтенанта и что старший лейтенант, которого он запросто поманил рукой, наверное, счёл его каким-нибудь не в меру нахальным адъютантом большого начальника.

Потом, уже возле штаба полка, несколько бойцов чересчур внимательно посмотрели на него и пошли дальше, весело перешёптываясь. Очевидно, его массивная фигура показалась им грузноватой для младшего лейтенанта.

Наконец, теперь, пока он прогуливался в окопе, мимо него сначала раз, потом другой прошёл затянутый в рюмочку худощавый капитан со строгим лицом, должно быть, заядлый строевик. Первый раз, проходя мимо, он только недоброжелательно посмотрел на Артемьева, недостаточно вытянувшегося при встрече, а во второй раз не удержался и строго сказал, чтобы младший лейтенант подыскал себе другое место для прогулок: здесь, в окопе, перед блиндажом командира полка, для них не место. Сказав это, капитан повернулся и пошёл по окопу с такой подчёркнутой строевой грацией, что сама его спина выражала презрение к Артемьеву, которого он, должно быть, посчитал за только что прибывшего в полк и маявшегося без дела запасника.

Из блиндажа поспешно вышли Саенко, Худяков и Шмелёв.

— Пора! — сказал Артемьеву Шмелёв. — Звонят, что появились, машут!

Они прошли вчетвером двести шагов по ходу сообщения. Он кончался круглой выемкой с земляным пулемётным столом, на котором был установлен «максим».

Впереди, метрах в шестистах, стояло пятеро японцев: трое в центре, двое поодаль, по бокам, — они размахивали двумя большими белыми флагами. Всё это было видно сквозь колючую проволоку, натянутую в три кола перед нашими позициями.

В окопе было тесно. Кроме командира и комиссара полка, Шмелёва и Артемьева, кроме Кольцова и старшины, которые стояли, окаменев от долгого ожидания, тут под разными предлогами столпилось с десятка командиров, жаждавших хоть издали увидеть, как наши встретятся с японцами.

— Ну что ж,— сказал Шмелёв, глядя на японцев, которые продолжали размахивать флагами,— поднимайте белый флаг. Есть он у вас?

— Есть. Готов, — ответил Худяков.

— Втыкайте и идите.

— А с собой не брать? — спросил Худяков. — У нас и маленькие флажки, чтобы с собой взять, приготовлены.

— Здесь воткните один большой флаг — и довольно с них! — строго сказал Шмелёв.

Он твёрдо усвоил сегодняшнюю фразу командующего о том, что японцы больше нуждаются в переговорах, чем мы, и теперь сам высказывался только в этом духе.

— А то вдруг они с собой флагов не возьмут, а вы возьмёте. Куда потом девать? По дороге бросать?

— А если они возьмут? — спросил Худяков.

— Ну и пусть возьмут, — сказал Шмелёв, — им же хуже.

— Ещё раз разрешите уточнить, — сказал Худяков. — Если они нас будут приветствовать, отвечать на приветствие?

— Разумеется.

— А если будут руки протягивать?

— Ну, уж это смотрите по обстановке, — теряя строгость, развёл руками Шмелёв, сам не знавший, что на это ответить.

— Может быть, оружие всё-таки оставить здесь? — снова спросил Худяков.

— Это почему же?

— Всё-таки парламентёры...

— Ну и что ж, что парламентёры? Будете при наганах. Это же не пулемёт, а личное оружие.

— А бойцы? — спросил Худяков. — По-моему, — он показал в сторону японцев, — они там без винтовок.

Шмелёв задумался.

— Нет, пусть с винтовками идут, — сказал он наконец, — а когда сблизитесь, остановите бойцов за двадцать шагов.

Артемьев ещё раз взглянул в японскую сторону. Японцы стояли всё на том же месте и размахивали флагами.

Саенко взял белый флаг, прибитый к толстой палке от японских санитарных носилок, и с силой воткнул древко в бруствер окопа.

Худяков вылез первым, за ним Артемьев, Кольцов и старшина. Около проволочных заграждений, начинавшихся в пятидесяти метрах, Кольцов и старшина забежали вперёд, подняли с двух сторон рогатку и оттащили её в сторону, открыв проход.

Выйдя за колючую проволоку, Артемьев на секунду задержался, только сейчас заметив, что сзади, справа, в мелком кустарнике, на виду стоит несколько ничем не замаскированных танков. Налево, тоже неподалёку, у самой колючей проволоки, виднелись стволы пушек, выдвинутых на открытые позиции для стрельбы прямой наводкой. Всё это могло быть сделано лишь по прямому приказу командующего, как видно, желавшего демонстративно показать своё недоверие к японцам и свою готовность немедленно расплатиться с ними при первой попытке проявить коварство.

Артемьев догнал Худякова и пошёл рядом с ним. Странное дело — он понимал: если что-нибудь случится, то их, идущих по открытому месту к японским окопам, никакие выстрелы пушек всё равно не успеют спасти — пушки только отомстят за их смерть. И, однако, он испытывал чувство весёлого задора. У него самого был только наган, на ходу легонько похлопывавший его по бедру, но сзади него была сила армии, были эти стволы, готовые открыть огонь по всему семидесятикилометровому фронту, если хотя бы волос упадёт с его головы.

Впереди, до самых японских окопов, расстиралось ровное пространство, покрытое мелкими кочками, на которых, как чубы, торчали длинные пучки травы. Степь была не прибрана: по ней были рассыпаны патроны; среди кочек валялись брошенные японские винтовки; справа, поодаль, виднелось несколько тесно лежавших трупов; слева, прямо из земли, торчал обломок самолётного крыла в таком положении, как будто весь самолёт был боком закопан в землю. То здесь, то там, застряв в пучках травы, не в силах оторваться и покинуть это печальное место,

трепетали на ветру исписанные иероглифами пожелтевшие от солнца и полинявшие от дождей клочки рисовой бумаги.

Артемьев обошёл кучку мин, лежавших рядом с разорванным и зажавевшим стволом миномёта, и, перестав смотреть под ноги, поднял глаза. Его с Худяковым и шедших им навстречу японцев теперь разделяло всего сто метров. Вдали были видны маленькие фигурки вылезавших из окопов японских солдат; ещё дальше, за пологими сопками, курились чужие дымы — то ли кухонь, то ли костров, на которых японцы жгли трупы.

И Артемьев, и Худяков, и шедшие позади них Кольцов и старшина испытали в эту минуту одно и то же, ни с чем не сравнимое чувство возбуждения — они шли по открытому месту, по неприбранной после боёв ничьей земле, навстречу размахивавшим белыми флагами людям в чужой форме, людям, которых они до сих пор на таком расстоянии видели чаще всего или убитыми, или в последнюю секунду перед тем, как убить их.

— Вы перчатки надели? — отрывисто, на ходу, спросил Худяков.

— Да, — сказал Артемьев и посмотрел на жёлтые кожаные шмельёвские перчатки, с трудом влезшие ему на руки и даже лопнувшие на одном пальце.

— Особенно близко не подходите, — сказал Худяков, — шага на три.

С точки зрения безопасности эта предосторожность была бы нелепой, и Артемьев понял, что Худяков заранее решил избавить себя от размышлений — подавать или не подавать руку японским офицерам.

Японцы были уже совсем близко. Худяков вскинул голову. Его сухонькое, стареющее лицо стало спокойным. Казалось, каждая жилка на этом лице была вымыта и выбрита отдельно. Белый целлулоидный воротничок впивался в загорелую, с грубыми морщинами шею, а во всей худой и тоже сухонькой, маленькой, напряжённой фигурке майора было что-то отважное, летящее вперёд, суворовское.

Два японских солдата приближались, всё тем же однообразным движением помахивая белыми флагами; трое офицеров — один постарше, другие два помоложе — шли посредине, между солдатами, придерживая длинные офицерские мечи с чёрными деревянными лакированными ножнами и длинными, вдвое длинней сабельных, ручками. Солдаты были в коротких куртках и без винтовок. Офицеры — в зелёных каскетках и в перепоясанных португезами зимних шинелях Квантунской армии, длинных, с лохматыми собачьими воротниками.

— Стой! — скомандовал Худяков, повёртываясь к сопровождающим.

Артемьев тоже на секунду остановился. Кольцов и старшина застыли, оба молодые, взволнованные, в надраенных до блеска сапогах и заправленных под ремень без единой морщинки шинелях.

«Сколько было с утра приготовлений!» — подумал Артемьев.

— Ждать здесь! — сказал Худяков и вдвоём с Артемьевым пошёл навстречу японцам. Расстояние сократилось до пяти шагов. Шедший посредине коротенький золотый японец остановился, каким-то специальным движением выкатил грудь и, придерживая левой рукой лакированные ножны, правой с коротким лязгом выхватил меч. Описав мечом дугу, он отсалютовал им у правого плеча и, не глядя, с щегольской точностью бросил меч обратно в ножны. Двое других офицеров сделали то же самое, но у одного меч не сразу вошёл в ножны, и он, повернув голову и морщась, начал его засовывать. Солдаты, остановившись позади офицеров, одновременно чётко бросили левые руки по швам, продолжая держать в правых белые флаги.

Худяков и Артемьев приложили руки к козырькам фуражек. Поне-

речные полупогончики на плечах японцев свидетельствовали о том, что толстый, первым отсалютовавший, был полковник, а двое других — поручик и подпоручик.

— Представитель высокого японского командования господин полковник Канэмару имеет честь приветствовать представителей высокого советского командования, — одним дыханием, правильно строя фразу, но сильно коверкая слова, выговорил молоденький подпоручик, задирая голову и поблёскивая очками.

— Майор Худяков уполномочен советско-монгольским командованием на предварительное согласование места и часа переговоров, — японски ответил Артемьев.

— Какое место и время для переговоров предлагает назначить советская сторона? — спросил по-японски толстый полковник, непринуждённо отставляя ногу и после быстрой ходьбы с присвистом дыша через нос.

Артемьев передал вопрос Худякову.

— Ответьте, — быстро и тихо, в самое ухо ему, сказал Худяков, — что место мы выбираем это, здесь, а время пусть предлагают сами — мы не торопимся.

Фраза эта, точно переданная Артемьевым и по-японски прозвучавшая ещё менее вежливо, задела самолюбие японского полковника. Он выдержал длинную, почти минутную паузу, колеблясь между чувством раздражения и необходимостью выполнять инструкцию.

— Высокое японское командование готово вести переговоры здесь, — сказал он наконец. — Высокое японское командование готово начать переговоры сегодня в шесть часов вечера по токийскому времени. Нет ли у советского командования других предложений?

— Нет, — с удовольствием перевёл Артемьев ответ Худякова, — у советско-монгольского командования нет других предложений, оно согласно удовлетворить просьбу японского командования. Кто будет возглавлять японскую делегацию? — быстро и неожиданно добавил он уже от себя, выполняя приказ Шмелёва — постараться узнать это заранее.

— Главным представителем высокого японского командования будет генерал-майор Иошида, — ответил японец. — Но высокое японское командование интересуется, в свою очередь, кто будет возглавлять советскую делегацию?

— Советско-монгольское командование, — перевёл Артемьев ответ Худякова, — не уполномочивало нас сообщать об этом.

Толстый полковник, с неудовольствием сознавая, что он попался на удочку, помолчал, пожевал губами, потом повернулся и тихо сказал что-то подпоручику; что — Артемьев не расслышал.

— Высокое японское командование, — быстро и заученно сказал порусски подпоручик, — предлагает установить на месте переговоров три палатки: одну для советских представителей, одну для японских представителей и третью, главную, палатку посередине — для переговоров. Высокое японское командование берёт на себя труд построить эту палатку.

— Хорошо, — сказал Худяков, — но не ближе чем в трёхстах метрах от позиций советско-монгольских войск.

Это соответствовало полученной им инструкции, согласно которой переговоры должны были происходить примерно посередине нейтральной зоны.

— Высокое японское командование, — опять быстро и заученно заговорил подпоручик, — через час пошлёт в нейтральную зону рабочую команду солдат. Высокое японское командование надеется на то, что безопасность его солдат будет обеспечена?

— Нахалы всё-таки, — проворчал Худяков, когда они с Артемьевым, откозыряв японцам, двинулись в обратный путь. — Обеспечь им безопасность! Мы им эту безопасность уже две недели обеспечиваем. Ни одного выстрела не дали. А они ещё только вчера вечером «колбасу» над своими позициями поднимали. А у «колбасы» круговой обзор на двадцать километров. Мои артиллеристы уж смотрели, смотрели на неё, как коты на сало, — и то не дал!

— Так это, значит, вы вчера в штаб звонили, просили разрешения расстрелять «колбасу»? — спросил Артемьев.

— Я, — недовольно сказал Худяков. — И жалею, что не разрешили. Кольцов и старшина из комендантского взвода шли позади Худякова и Артемьева и обменивались впечатлениями.

Стоя во время переговоров в двадцати шагах, они не слышали всего, что говорилось, но прекрасно почувствовали главное — что наши всё время держались гордо, а японцам, чем дальше, тем больше было не по себе.

— А сначала, как подошли, как шашки выхватили, я уж хотел их на мушку брать — как бы наших не порубили! — сказал старшина.

— Один фасон и больше ничего, — пренебрежительно сказал Кольцов.

— И чего у ихних шашек такие ручки длинные? — спросил старшина.

— А головы рубить, — уверенно сказал Кольцов, — чтобы в две руки брать. Как только узнают, что у них какой-нибудь солдат коммунист, или что не хочет против нас воевать, или вообще что-нибудь не так, — на короточки посадят и этими саблями голову долой. Мне один пленный денщик рассказывал про своего полковника.

— Как же это он тебе рассказывал? — недоверчиво спросил старшина.

— А очень просто! — не вдаваясь в объяснения, отрезал задетый недоверием Кольцов. Он и в самом деле целый час проговорил на перемычном пункте с денщиком, взятым в плен в последний день боёв за Песчаную сопку. Они бы, конечно, не обошлись в разговоре теми пятью десятками японских слов, что знал Кольцов, но денщик долго жил в Маньчжурии и сам немножко говорил по-русски. Их разговор начался с того, что Кольцов показал денщику сорванный с мундира убитого полковника погончик и, давая понять, что произошло, приставил палец к виску, на что денщик неожиданно ответил несколькими грубыми, но выразительными ломаными русскими словами, не оставлявшими сомнения в его чувствах к своему покойному начальнику.

— Японский знаешь? — через пятьдесят шагов спросил старшина у обиженно замолчавшего Кольцова.

— Есть немножко! — сразу весело отозвался Кольцов, который не умел надолго обижаться. — Но я-то что, а вот младший лейтенант. — слышал? — так и чешет по-японски, так и бреет! — восхищённо воскликнул он. Ему всё время казалось, что он где-то раньше уже видел этого младшего лейтенанта, но он так и не мог вспомнить где; наверное потому, что тот, с кем они в июле вместе вместе конвоировали японца, был капитаном, а этот был младший лейтенант.

Минуя последние метры ничьей земли и подходя к позициям своего полка, Худяков не выдержал того ворчливого тона, который, стараясь скрыть волнение, он напустил на себя после переговоров, улыбнулся и, приостановясь, спросил Артемьева:

— Ну как, по-вашему, не ударили мы в грязь лицом?

— По-моему, нет, — сказал Артемьев, тоже улыбаясь и с чувством облегчения видя уже совсем близко, в трёх шагах, проход в колючей проволоке и отодвинутую в сторону рогатку.

В тот же день, в восемнадцать часов по токийскому времени, начались переговоры.

За два часа до их начала главой делегации был утверждён Сарычев, а Шмелёв — его заместителем. Монголы назначили своим представителем в делегации начальника штаба кавалерийской дивизии полковника Дагуржава.

Очень недовольный выпавшим на его долю дипломатическим поручением, Сарычев всю дорогу от Хамардабы до места переговоров ехал молча, сердито пуша пальцами усы.

На том самом месте, где Артемьев утром впервые встретился с японцами, уже была разбита большая палатка из двойного, снаружи зелёного, а внутри белого шёлка. Палатка эта была как две капли воды похожа на ту, что Артемьев видел, правда, уже содранной с кольев, в июле, на вершине Баин-Цагана. Он напомнил об этом Сарычеву во время первого пятнадцатиминутного перерыва, когда, возвратясь в свою палатку, соединённую со штабом телефоном, и доложив о ходе переговоров командующему, Сарычев отдыхал и курил.

— Вот именно, вот именно! — обрадованно подтвердил Сарычев, гася папиросу и вставая. — И японский генерал, с которым мы тут сидим, тоже похож на того полковника, — помните, что мы тогда в плен взяли?

Генерал, по мнению Артемьева, был вовсе не похож на того полковника, но он не стал возражать.

Воспоминание об этом сходстве было не просто приятно, но и важно для Сарычева. Перед ним за столом переговоров сидели те же самые японцы, которых он сначала громил на Баин-Цагане, а потом уничтожал на восточном берегу Халхин-гола, — уже одна эта мысль делала его во время переговоров привычно, по-солдатски, уверенным.

Командующий правильно сделал, остановив свой выбор на Сарычеве. Его солдатская резкость действовала на японцев более угнетающе, чем ядовитые реплики находчивого Шмелёва. Даже маленькие золотые танки на чёрных петлицах Сарычева имели своё значение.

Сидевший перед японским генералом и офицерами угрюмый и откровенно, нисколько не скрывая этого, ненавидевший их комбриг-танкист был для них прямым и несговорчивым воплощением той силы, которая ещё недавно раздавила и похоронила здесь, в песках, отборную шестую армию. Об этом не писалось в газетах, но среди участвовавших в переговорах японских офицеров одни знали, а другие догадывались о действительных цифрах потерь.

Пока глава советско-монгольской делегации, ожидая перевода своих слов, неподвижно сидел, тяжело положив на стол кулаки и равнодушно глядя мимо японцев, им начинало казаться: ещё одна очередная проволочка — и он хватит своим большим костистым кулаком по столу так, что разом подскочат все три стоящие на нём чернильницы, повернутся и уйдёт, прервав переговоры. И они отступали, хотя у Сарычева не было инструкции стучать кулаком по столу и разрывать переговоры, а, напротив, была инструкция довести переговоры до конца, проявив тот максимум терпения, на который способны желающие мира победители.

Прислуываясь к переговорам, японцы в душе верили только в один аргумент — в силу оружия. Сарычев понял это с первых же минут переговоров и не упускал ни одного случая для жестокого напоминания о масштабах халхингольского разгрома.

Однажды в перерыве Шмелёв, которому показалось, что Сарычев перебарщивает, заметил, что не стоит излишне частыми напоминаниями о происшедшем раздражать самолюбие японцев — это плохая дипломатия. Полковник Дагуржав поморщился и отрицательно покачал голо-

вой,— хорошо зная японцев, он был совершенно не согласен с замечанием Шмелёва. Сарычев сочувственно посмотрел на монгола и хмуро ответил Шмелёву, что, может быть, это плохая дипломатия, но зато хорошая политика: японцев привело сюда, на переговоры, именно воспоминание о разгроме. Что же касается их самолюбия, то ему дороже— своё, и, однако, раз приказано, — он третий день сидит и разговаривает с японцами за одним столом, хотя дорого дал бы за то, чтобы вместо этого разок стукнуть из танка по всей их делегации.

С нашей стороны в переговорах участвовали только четыре человека — Сарычев, Шмелёв, Дагуржав и в качестве переводчика Артемьев, с японской — вдвое больше. Кроме того, вокруг японской делегации всё время толкались офицеры, солдаты, денщики и корреспонденты токийских и чаньчуньских газет. С нашей стороны весь журналистский корпус был представлен одним Лопатиным, который, переодетый в форму старшины, с четырьмя треугольниками на петлицах, был прикомандирован к делегации в качестве писаря. Он действительно всё время что-то писал в свою тетрадку, хотя настоящий протокол переговоров вёл Артемьев.

Было ещё много охотников присутствовать при переговорах — и из штаба, и из политотдела, и из армейской, и из центральных газет, но командующий категорически запретил.

— Пускай японцы суетятся, — сказал он в ответ на довод начальника политотдела, что в первый день с японской стороны было пятнадцать человек корреспондентов. — А для нас это дело мало интересное — пусть видят!

Переговоры шли по двум пунктам: о взаимном обмене пленными и взаимной передаче трупов. Насчёт пленных договорились сравнительно быстро, решив обменять их в первых числах октября, но вопрос о передаче трупов оказался гораздо более запутанным. Японцы должны были передать, согласно предъявленному нами списку, всего сорок два трупа, к моменту начала переговоров оказавшихся по ту сторону границы. Что касалось японских трупов, то, по нашим подсчётам, их осталось на маньчжурской территории несколько десятков тысяч.

В силу сложившихся в японской армии традиций трупы всех погибших следовало вывезти и сжечь, а пепел их предстояло отправить на родину, семьям убитых. Японцы хотели выкопать как можно больше трупов, но, не желая предавать гласности размеры поражения, уклонялись от предъявления документов с цифрами своих потерь.

Были затруднения и с нашей стороны. Командующему не хотелось заставлять наших бойцов выкапывать из земли трупы японских солдат и офицеров и вывозить их на маньчжурскую территорию, в то же время он колебался: пускать ли японцев в расположение наших войск? Запросив Москву, он на третий день переговоров позвонил Сарычеву и сказал, чтобы тот соглашался на допуск японских похоронных команд к местам погребения трупов.

Сарычев, повеселевший впервые за всё время переговоров, немедленно передал наше согласие японцам.

После этого начались споры о составе команд. Договорились на десяти командах по сто человек, но сразу же возник новый спор о том, сколько дней будут работать эти команды. Японцы предложили свой срок — пятнадцать дней. Сарычев безучастно постукивал кулаком по столу и смотрел мимо японцев, как будто он этого вообще не слышал. А Шмелёв, быстро подсчитав на бумажке, ядовито сказал, что за такой срок можно было бы вырыть из земли всю Квантунскую армию.

В ответ на это японцы целый вечер, косясь на молчавшего Сарычева, говорили о трудности поисков, о тяжёлом грунте, о чувствах солдат,

которые будут выкапывать тела своих товарищей и должны это делать осторожно, чтобы не задеть их лопатами и кирками.

— Не брезгают, дьяволы, и сентиментами, — садясь в машину, сказал Сарычев, после того как к полуночи наконец договорились на пяти днях.

Он ехал, несмотря на холодную ночь, открыв стекло, высунув голову и жадно, с шумом, вдыхая воздух.

— Как трупы выкапывать, так сентименты, а как неизвестно для чего пятьдесят тысяч людей делать трупами, так у них душа молчит! А с трупами с этими всё обман: одного из тысячи опознают, а тысячи свалят в ямы и сожгут — в какую урну что попадёт. Нет, чтобы по-честному: раз не опознали — сказать родителям: «Погиб ваш сын неизвестно за что и похоронен неизвестно где!». А то получают такую солдатскую урну какие-нибудь бедняги-старики в деревне и будут до смерти кланяться праху от чужой подметки. Мне, казалось бы, какое дело? А и то за людей обидно! А тебе, Артемьев? — повернулся Сарычев на переднем сиденье. — Ты что, спишь?

— Нет, не сплю, — сказал Артемьев. — Вообще плохо сплю последнее время.

— Вот именно, и я тоже, — сказал Сарычев. — До того эти трупы в ушах навязли, что по ночам мерещатся. Сегодня даже приснилось, что японцы их с оркестрами потребовали вывезить.

Требование об оркестрах только приснилось Сарычеву, но на следующее утро, когда он считал, что остаётся лишь подписать протокол, японцы начали новые препирательства по поводу того, что можно и чего нельзя выкапывать вместе с трупами. Сарычев, уже видя перед собой протокол и испытывая чувство физической тошноты от одной мысли о продолжении переговоров, смаху сказал:

— Ладно, пусть берут всё, что найдут.

Шмелёву пришлось поправлять его промах и в течение нескольких часов выбирать из этого положения, чтобы в конце концов согласиться на том, что слова «вместе с трупами» означают одежду и то, что находится в карманах одежды, но не означает карт и штабных документов, которые могут оказаться зарытыми возле трупов. Это был пункт, специально занимавший Шмелёва.

Артемьеву надолго запомнилось зрелище, которое представляла собой внутренность палатки в эти последние ночные часы переговоров.

От напряжения и усталости все так много курили, что над головами сидевших висела сплошная пелена табачного дыма.

На столе, вперемежку с папками бумаг, лежали разноцветные пачки японских сигарет, стояли маленькие чайные чашки с крышками и лакированные подносы с сушёной хурмой и разными сладостями.

Глава японской делегации генерал Иошида, отвалившись на спинку потёртого плюшевого кресла, непрерывно ковырял в зубах длинной костяной зубочисткой и время от времени, прикрыв рукой рот, сплёвывал на земляной пол. На бледном, нездорового цвета, отёчном лице генерала было написано выражение злобной скуки.

Сидевший справа от него худощавый пожилой майор японского генерального штаба, который в первые дни только изредка отвечал одним-двумя словами или коротким жестом на обращения своих соседей, сейчас вышел из принятой на себя роли и, положив локти на стол, сердито оскалив длинные жёлтые зубы, откровенно дирижировал всей японской стороной стола. Именно он и придрался к фразе Сарычева и теперь яростно спорил со Шмелёвым, даже не оглядываясь при этом на генерала Иошиду.

У майора был сразу обращающий на себя внимание громкий, властный, лающий голос, и то, что Сарычев так ни разу и не посмотрел в его сторону, кажется, особенно сердило японца.

Шмелёв ещё в первый день высказал догадку, что этот майор — переодетый генерал из штаба Квантунской армии. Теперь, к концу переговоров, в этом был уверен и Артемьев.

Остальные японцы, как казалось Артемьеву, уже поняли, что переговоры, в сущности, окончены, что русские и монголы всё равно не уступят, и генерал из штаба Квантунской армии продолжает с таким ожесточением торговаться только для того, чтобы показать своё превосходство над генералом Йошидой.

Зажигая сигаретку от сигаретки и поглядывая на своих начальников, японские офицеры всё время тихо шептались между собой и, то и дело снимая с чашечек крышки, быстрыми глотками прихлёбывали чай.

Бесшумно ступая в своих мягких тапочках, денщики уносили чашки с остывшим чаем, приносили новые — с горячим и опять в неподвижных позах заставляли за спинами офицеров.

Когда Артемьеву уже начало казаться, что всему этому: и лающему голосу генерала-квантунца, и перешёптыванию японских офицеров, и мельканию чашечек с чаем, и облакам дыма над столом — не будет конца, — квантунец вдруг встал и хриплым шёпотом сказал:

— Йоросип! — Мы согласны!

Истожив терпение и голос, он отступил перед язвительно-вежливым упорством Шмелёва — и протокол был подписан.

Генерал Йошида поднялся со своего плюшевого кресла, картинно откинул полог палатки и, взглянув на полосу лунного света, упавшую на земляной пол, улыбаясь, сказал, что хотя сегодняшняя луна сияет, как это дружественное собрание, но и луна уже идёт на ущерб: поэтому он, приветствуя через посредство господина генерала Сарычева высокое советское командование, с сожалением должен удалиться для того, чтобы сделать доклад своему высокому японскому командованию.

И эта напыщенная фраза и эта улыбка японца — всё так не шло к мрачному и печальному предмету только что закончившихся переговоров, что Сарычев не счёл нужным выдавливать из себя ответной улыбки. Он сердито закашлялся, молча откозырял японцам и вышел из палатки.

Через десять минут, когда он в последний раз по телефону доложил командующему о завершении переговоров и уже собирался садиться в машину, Артемьев, легонько тронув его за рукав, сказал:

— Посмотрите-ка назад, товарищ комбриг!

Сарычев повернулся и посмотрел в том направлении, куда указывал ему Артемьев. За колючей проволокой, на залитой лунным светом ничьей земле, как маленькое озерцо воды, лежало уже снятое японскими солдатами с кольев и брошенное на землю, блестящее под луной шёлковое полотнище палатки.

— Да, вот и кончились переговоры... — сказал Сарычев.

ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА

Вступив на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии, Красная Армия уже вторую неделю шла всё вперёд и вперёд, стремительно отодвигая на запад границу между социализмом и капитализмом.

Двадцать второго сентября была определена демаркационная линия между германской и советской армиями — по рекам Сан, Висла, Буг, Нарев, Писса, а ещё через несколько дней, при неожиданных обстоятельствах, Польшину довелось встретиться с немецкими лётчиками.

Со второго дня похода Польшин состоял представителем штаба Военно-Воздушных Сил при штабе армии, наступавшей через Пинские болота в направлении Бреста. Немножко тяготясь непривычным назначением, Польшин в то же время не особенно завидовал своим товарищам, командовавшим авиационными полками. Активно действовала только наша разведывательная авиация, а истребительная и бомбардировочная лишь перебазировалась вслед за армией, находясь в боевой готовности на случай столкновения с немцами, — судя по всему такая возможность до конца не исключалась.

Несмотря на бездорожье и осенние хляби, армия продвигалась очень быстро: по тридцать — сорок и более километров в сутки. Польшин, ехавший вместе с оперативной группой штаба, обычно попадал в городки, местечки и деревни спустя час или два после того, как через них прошли передовые части.

Призыв к освобождению единокровных братьев, который Польшин впервые услышал в радионаушниках, ещё летя над Уральским хребтом, сейчас на его глазах оборачивался жизнью: из разбросанных в Пинских болотах деревень навстречу войскам на дороги выходили женщины с цветами и молоком; белорусские и польские железнодорожники, построившись в колонну, пели «Интернационал» возле Пинского вокзала, у въезда почти в каждое местечко начинались стихийные митинги, ворота уездных тюрем повсюду были разбиты в щепки, а над городскими и сельскими управами реяли красные флаги и кумачовые лозунги: «Няхай жыве уз'яднаная Беларусь!».

Польшину было теперь странно вспомнить, как он чуть не вскрикнул от неожиданности, услышав, что Красная Армия на рассвете 17 сентября перешла польскую границу. Здесь, в Западной Белоруссии, этого неожиданного дня ждали так долго и так страстно, что казалось — его просто-напросто не могло не быть.

Польша Пилсудского напоминала о своём недавнем владычестве в этих местах нестерпимой нищетой белорусских сёл и похожими на крепости каменными хуторами осадников; распахнутыми настежь дверьми и окнами полицейских участков; полусодранными и ещё не содранными портретами Пилсудского и Рыдз-Смиглы; сразу заметными в толпе угрюмо любопытствующими лицами переодетых в штатское жандармов.

Эта официальная Польша, терпевшая сейчас крах, с юности больше всего памятная Польшину по убийству Войкова, была в его ощущении чем-то таким же или почти таким же фашистским, как гитлеровская Германия, и тут не было места для сочувствия или жалости.

Но немцы, расстояние между которыми и нами всё сокращалось и сокращалось, с каждым днём всё беспощаднее напоминали о себе бесчисленными эшелонами хлынувших с запада польских беженцев. Эшелоны постепенно забили все станционные пути, разъезды и тупики. Беженцы шли и ехали по всем дорогам, и не было конца этому мрачному потоку людей, у которых сейчас там, за демаркационной линией, немцы отнимали родину.

Здесь, по эту сторону демаркационной линии, в Западной Белоруссии, среди ликования народа, только что освобождённого из двадцатилетней неволи, трагедия беженцев была так страшна своей очевидностью, что у Польшина невольное сжималось сердце. Он судил об ужасах, пережитых ими там, в Польше, откуда они бежали, глядя на всё чаще встречающиеся даже здесь следы недавних немецких бомбардировок. Чем дальше, тем больше попадалось разбитых вокзалов и водокачек, сгоревших дотла привокзальных посёлков, сожжённых товарных и пассажирских вагонов.

Полынин достаточно насмотрелся ещё в Испании на беспощадную работу тех же самых немецких «юнкерсов», чтобы не удивляться виду развалин и пепелищ. Зато его спутник, полковник инженерных войск, постоянно останавливал машину, вылезал и, качая головой, подолгу разглядывал развалины жилых домов и остовы пассажирских вагонов, разглядывал с удивлением, как будто он не ожидал увидеть ничего подобного.

— А ведь всё-таки сволочи! — полунегодующе, полуудивлённо сказал он Полынину, возвратившись к машине после осмотра развалин особенно сильно разрушенного местечка.

Полынин, не скрывая раздражения, насмешливо посмотрел на него.

— Седьмой день еду с вами, слушаю вас, товарищ полковник, и думаю: почему вы всё время так ахаете и охаете? Почему вас так удивляет, что фашисты — сволочи? Неужели вы до сих пор этого не выяснили?

Несколько раз над полосой движения армии появлялись одиночные немецкие самолёты. Полынин по долгу службы анализировал и включал в донесения каждый из таких случаев. Полёты были все дневные, преднамеренные; демаркационная линия проходила по ясным ориентирам — рекам, и перелететь её днём случайно было нельзя.

На тринадцатый день, когда наши войска уже стояли на Западном Буге, в штаб сообщили, что на шоссе Кобрин—Брест, в нескольких километрах от Буга, немецкий бомбардировщик обстрелял из пулемётов наш двигавшийся по лесной дороге кавалерийский эскадрон, был, в свою очередь, обстрелян из счетверённой пулемётной установки, повреждён и сел на поле.

Через десять минут Полынин выехал к месту происшествия вместе с заместителем начальника разведотдела, которому было поручено доставить немцев в штаб армии. Что касается Полынина, то он ехал, чтобы определить на месте преднамеренность действий немецких лётчиков.

Все шоссеиные дороги были запружены артиллерией и обозами, а просёлочные по осеннему времени были очень грязны, а кое-где даже топки. Рассчитывая сократить путь и полевыми дорогами выбраться на Кобринское шоссе, Полынин съехал на просёлок, но скоро раскаялся в этом.

Машина то и дело буксовала в грязи и наконец застряла на полуразрушенных мостках через ручей; прогнившие брёвна и доски настила разошлись и вместе с машиной медленно опустились в мелкую воду.

Через несколько минут с разных концов тянувшегося за ручьём картофельного поля к машине сбежались на помощь крестьяне.

Полынин уже полез было в воду, чтобы помочь тащить машину, но крестьяне не дали этого сделать ни ему, ни ехавшему с ним майору из разведотдела и в три минуты дружно, на руках, вытащили машину из ручья.

Пока шофёр, ворча, протирал намокшие свечи, майор из разведотдела разговорился с высоким молодым крестьянином в потёртом городском пиджаке. Этот крестьянин первый воспротивился тому, чтобы Полынин с майором тащили машину, и первый сам взялся за неё.

Полынин прислушивался к разговору. Он не всегда сразу угадывал, что значат те или другие белорусские слова, но легко следил за общим смыслом того, что говорилось.

Начинавшееся за ручьём огромное картофельное поле, не похожее на узкие крестьянские полосы, чаще всего мелькавшие по обеим сторонам дороги, было помещичье. Крестьяне копали для себя помещичью картошку. На это имелось постановление крестьянского комитета, председателем которого и оказался высокий парень в городской одежде, по его

словам, только на днях вернувшийся к себе в деревню из каторжной тюрьмы Берёза-Картуская, что в ста верстах отсюда.

Крестьянский комитет уже начал делить помещичью землю и скот, но ещё не решил, как быть с помещичьим зерном — сразу раздать его по дворам или оставить хранить до весны на семена, — парень, вернувшийся из Берёзы-Картуской, слышал, что так делают в Советском Союзе, и по его решительному виду можно было понять, что он настаивает на этом и здесь.

Майор из разведотдела стал расспрашивать его про Берёзу-Картускую, где тот, как выяснилось, просидел целых пять лет; но в это время шофёр наконец протёр свечи, Польшин, которому не терпелось поскорей посмотреть на немецкий самолёт, заспешил, и они, поблагодарив за помощь, поехали. Через заднее стекло машины ещё долго были видны крестьяне, толпой стоявшие на дороге и махавшие вслед руками и шляпами.

— А пришли бы сюда немцы — такие бы тут крестьянские комитеты показали, что страшно подумать! — вдруг сказал майор из разведотдела, когда они с Польшинным отъехали уже с километр. — Хорошо, что мы в это дело влезли, — теперь хоть до Западного Буга порядок будет! Верно?

Польшин молча кивнул — он был вполне согласен с этим.

К месту назначения они добрались только под вечер.

Немецкий самолёт сидел посередине большого, ровного, но топкого луга, с уклоном спускавшегося к реке. Ещё немножко — и, перелетев через Западный Буг, немцы попали бы к своим.

Майор из разведотдела, узнав, что задержанные немецкие лётчики находятся в белом каменном, видневшемся на краю луга фольварке, пошёл туда, а Польшин направился к самолёту.

Самолёт был не бомбардировщик, как сообщалось в донесении, а двухфюзеляжный разведчик «фокке-вульф». Он сидел на брюхе, за ним тянулась пропаханная во влажной земле длинная чёрная полоса. Шасси были убраны, пилот, должно быть, и не собирался их выпускать, а сразу садился на брюхо.

«И правильно сделал», — отметил про себя Польшин. Для того чтобы приземлиться на таком топком лугу, не поломав самолёта, требовалось большое мастерство; как видно, машину сажал опытный лётчик.

У самолёта была выставлена охрана: двое часовых стояли возле самой машины, а шагах в сорока, в свежестрытом окопчике, сидели ещё несколько бойцов.

— Кто тут старший? — подходя, окликнул их Польшин.

Сидевшие в окопчике поднялись. Один из них подбежал к Польшину. Это был долговязый замполитрук, которому, наверное, только что присвоили это звание, — новенькая звёздочка политработника была пришита к заношенному рукаву гимнастёрки, а новенькие треугольнички блестели на таких же, как и гимнастёрка, заношенных петлицах.

— Товарищ полковник, докладывает замполитрук Синцов, — сказал он, не особенно ловко, но старательно прикладывая руку к пилотке. — Командир взвода лейтенант Тимохин отбыл в фольварк. Прикажете сходить за ним?

— Не надо, я и без него осматрю, — сказал Польшин.

— Разрешите вас сопровождать?

Польшин покосился на замполитрука — очень уж тот старался показать себя исправным строевиком, должно быть, только что из запаса.

— Ну что ж, сопровождайте.

— Пожалуйста, — неожиданно, совершенно по-штатски, сказал Синцов.

Полынин откровенно улыбнулся.

— Давно в армии?

— Три недели, — досадуя на себя за это всё испортившее «пожалуйста», ответил Синцов.

— А раньше не служили?

— Занимался военной подготовкой в вузовские времена, товарищ полковник, но, теперь сам вижу, — недостаточно.

Полынин повернулся и пошёл вокруг самолёта.

Обшивка обоих моторов была изрешечена. «Здорово всадили, — подумал Полынин, — по обоим моторам сразу, поэтому он и недотянул».

Крылья и фюзеляж самолёта были целы; только от удара о землю сорвало кусок дюралюминия на брюхе.

После наружного осмотра Полынин в сопровождении Синцова залез внутрь самолёта. Он осмотрел щиток управления и перетрогал все рукоятки. Управление, очевидно, действовало до последней секунды. Ручку газа, правда, нельзя было сдвинуть, но её, наверное, заело уже при ударе. На щитке Полынин не заметил ничего, что оказалось бы для него новостью. Радиоаппаратура тоже была старая, такая же, как на «юнкерах».

Полынин взглянул на пулемёты, из которых немцы обстреляли наших кавалеристов, и подумал, что, кажется, и здесь нет ничего нового, хотя всё-таки будет лучше, если вооруженцы осмотрят их повнимательней. Стационарный фотоаппарат около штурманского места отсутствовал.

— Вынули? — на всякий случай спросил Полынин у замполитрука, показывая на пустое гнездо в полу.

— Так точно, первым делом вынули.

На штурманском сиденье и возле него виднелись пятна крови.

— Что, штурман ранен?

— Не знаю кто, товарищ полковник, но один ранен, всё лицо в крови, — ответил Синцов.

— Ну что ж, всё в порядке, — сказал Полынин, вылезая на крыло, — продолжай охранять.

— Есть продолжать охранять!

— Только что-то у тебя тут больно много народу, да ещё и «макси-мы», — прыгнув на землю, заметил Полынин и кивнул на установленные в окопчике два станковых пулемёта.

Оторванный от привычной авиационной среды, Полынин первое время чувствовал себя в наземных частях чуть-чуть не в своей тарелке, держался официальной, чем обычно, и говорил всем «вы». Но сейчас, стоя у самолёта, он незаметно для себя сбился на привычное дружелюбное «ты».

— Нападения ожидаешь? Или просто народу любопытнѣе около самолёта покрутиться?

— И это есть, конечно, — улыбувшись, честно признался Синцов. — А пулемёты на случай провокации. У них на том берегу после посадки самолёта всё время движение, даже танки наблюдались.

— Что же они, по-твоему, через реку свой самолёт отбивать полезут или как? — спросил Полынин.

— Не знаю, товарищ полковник.

— А как думаешь? — И Полынин с интересом уставился в лицо замполитрука.

Лицо Синцова сделалось задумчивым.

— Что вам сказать, товарищ полковник? Сейчас как-то не верится, а вообще-то они, наверное, на всё способны.

И он, в свою очередь, вопросительно посмотрел в глаза Польшину, как бы спрашивая: «А вы сами-то что думаете об этом?».

«И в самом деле, — размышлял Польшин, бредя к фольварку по сырой, мягкой, как губка, подававшейся под сапогами земле, — что я, по совести говоря, думаю об этом? Я думаю, что дураки те, кто сомневается, что фашисты как были, так и остались фашистами. Я думаю, что болван тот лейтенант из разведбата, который, встретившись с немцами, тряс им руки и приглашал вместе выпить, как будто увидаться с ними и в самом деле нивесть какая радость. Ну, а дальше? Как насчёт вояны? Будет ли она, несмотря на пакт? И когда?»

Немецкие лётчики находились в нижнем этаже фольварка, в большой, чисто побелённой кухне. Они сидели все трое в ряд на длинной лавке у стены, а у противоположной стены, тоже на лавке, за столом, сидел майор из разведотдела, полковник — командир дивизии и политрук-переводчик, скучавший, потому что майор из разведотдела сам хорошо знал немецкий.

Немцы уже дали предварительные показания. Их собирались везти в штаб и ждали только Польшину.

— Присаживайтесь, товарищ полковник, — приветливо сказал командир дивизии.

— Где всё, что снято с самолёта? — спросил Польшин.

— На машине, — ответил майор из разведотдела и, в свою очередь, спросил у Польшину: — Как, осмотрели самолёт?

— Осмотрел, — сказал Польшин. — Самолёт «фокке-вульф», сел из-за неисправности обоих моторов. Хотел перетянуть на ту сторону Буга, но нехватило высоты. Подняться с места посадки не может — надо вытаскивать трактором. Чем они объясняют, что обстреляли наших кавалеристов?

— Говорят, что спутали реку Буг с рекой Зелавой и приняли наш эскадрон за скрывающуюся в лесах польскую кавалерию, — сказал командир дивизии.

— А с какой высоты обстреляли?

— Метров с двухсот.

— Тогда вдвойне врут, — уверенно сказал Польшин. — Во-первых, насчёт того, что спутали Буг и Зелаву, — ерунда, тем более, что самолёт специальный, разведывательный, во-вторых, если хотели, с двухсот метров могли разобрать, чья кавалерия.

— Может быть, вы хотите задать им какие-нибудь вопросы? — спросил майор.

— А зачем? Мне и так всё ясно. — Польшин исподлобья посмотрел на немцев. — Производили разведку и фотографирование, что и докажем, если кассеты не засвечены. Нигде их не обстреляли. На обратном пути, подходя к демаркационной линии, обнаглели и снизились, увидели нашу кавалерию — цель хорошая, до Буга всего две минуты лёта, расчёт на безнаказанность, остальное ясно. Если бы им четверённой установкой по моторам не врезали, завтра в ответ на наш протест ввали бы, что самолёт был не их, а польский.

Польшин выговорил всё это одним духом, зло и отчётливо.

— Вы переведите им, — обратился он к политруку. — Врать всё равно и дальше будут, но надо им, по крайней мере, хоть настроение испортить, а то они у вас что-то слишком весёлые сидят!

Пока, обрадованный тем, что и на его долю наконец досталась работа, политрук старательно переводил всё сказанное Польшиним, сам Польшин смотрел на трёх сидевших перед ним немцев. Штурман в ком-

бинезоне, с забинтованным лицом, судя по лычкам, был обер-лейтенант. Рядом с ним сидел чернявый унтер-офицер — радист. На краю скамейки сидел пилот в офицерском кителе с бархатным темнозелёным воротником и серебряными майорскими погончиками. У него была статная фигура, вьющиеся белокурые волосы и молодое, красивое, неприятно сытое, начинавшее жиреть лицо.

Сказать, что он и остальные немцы весело выглядят, было со стороны Польшина преувеличением, но у немецкого майора во всяком случае хватало выдержки сохранять в том неприятном положении, в какое он попал, скучающий вид человека, с которым произошло всем очевидное недоразумение. На груди у майора висел уже слегка потёртый Железный крест на потёртой ленточке. Крест был слишком старым для того, чтобы оказаться полученным только что, а сам майор — слишком молодым для того, чтобы получить крест за первую мировую войну. Значит, крест был за Испанию. Подумав об этом, Польшин посмотрел в лицо немцу с новым приливом ненависти. Немец встретился с ним глазами и лениво полузакрыв их, делая вид, что старается лучше слышать переводчика.

Когда переводчик кончил, немец встал и резким голосом сказал по-немецки, что ему как офицеру германской армии нечего добавить к уже сказанному им и что, кроме того, он снова требует в кратчайший срок передать его и его подчинённых представителям германского командования.

— Я повторяю, что ваша просьба будет доложена советскому командованию, — вежливо ответил майор из разведотдела. — У вас нет вопросов? — повернулся он к Польшину. — Тогда двинемся.

— Есть один вопрос, — быстро сказал Польшин. — За что у него крест?

— Господин полковник интересуется, за какие заслуги получен вами Железный крест? — смягчая фразу, перевёл по-немецки майор, в душе считая вопрос Польшина не относящимся к делу.

На красивом, сытом лице немца появилась снисходительная улыбка.

— Он получил этот крест два года назад за заслуги перед Германией из рук рейхсмаршала Геринга.

Воспоминание доставило ему удовольствие, и он продолжал улыбаться, глядя теперь на Польшина, верней, на его украшенную орденами грудь. Хотя разговор с этим русским лётчиком начался не особенно приятно, но возможность перейти из положения допрашиваемого в положение собеседника привлекала немца, и он стоял и смотрел на Польшина, улыбаясь и придумывая, что бы спросить в свою очередь.

— Переведите ему, — сказал Польшин, — крест носит, а стреляет плохо: с двухсот метров одну лошадь ранил.

Майор из разведотдела, не желавший переводить эту фразу так, как она была сказана Польшиним, колеблясь, задержался, но именно в эту секунду политрук-переводчик с удовольствием дословно выпалил её по-немецки.

Немец мгновенно перестал улыбаться. Его розовое лицо побледнело, а глаза, ставшие от гнева оловянными, упёрлись прямо в глаза Польшина.

«Будет война!» — подумал Польшин, молча выдерживая взгляд немца.

— Так можем ехать! Нас ждут, — нетерпеливо сказал майор из разведотдела.

— Конечно, — ответил Польшин и лишь теперь отвёл глаза от немца.

— Проводите их к машине, — сказал майор политруку-переводчику.

Немцы вышли.

— У нас трое раненых, мы протест предъявлять будем, а вы говорите — лошады! — с раздражением сказал майор Полюнину, когда немцы вышли.

— Ничего, — возразил Полюнин, — официальный протест наши им всё равно представят, а сейчас рассказывать ему, кого он у нас ранил, — только радовать его, сукиного сына!

— Правильно, — согласился командир дивизии. — Как вы ему сказали, что он только одну лошадь задел, так его аж всего перекосило.

— Эх! — махнув рукой, огорчённо сказал майор. — Вам только и радости, чтобы их перекашивало, а нашему брату с ними ещё разговаривать и разговаривать! А вы со своей лошадыю мне заранее половину музыки испортили, — досадливо поморщился он, глядя на Полюнина, который в эту минуту почувствовал себя виноватым.

— Чёрт их знает, — задумчиво сказал майор, когда через несколько минут они с Полюниным и командиром дивизии вышли на улицу, — не знаешь, как с ними на сегодняшний день разговаривать. Пленные — не пленные, друзья — не друзья, враги — не враги. И дипломатию надо соблюдать, и в рожу дать хочется.

Полюнин ничего не ответил. Занятый своими мыслями, он наблюдал за тем, как под любопытными взглядами конвоиров немецкие лётчики один за другим поднимались по ступенькам и исчезали в задней дверце автобуса.

Синцов сидел в окопе и думал о Маше.

За шесть часов дежурства около немецкого самолёта в окопе было уже переговорено обо всём, о чём можно поговорить в связи с происшествием, — говорили о том, что зенитчики — молодцы, не растерялись, здорово врезали; и о том, что мундиры на немцах — так себе, ничего особенного; что кобуры у их пистолетов похожи на велосипедные сумки для инструмента; о том, что один немец на вид гордый, сытый, а другие — плюгавенькие, хотя и лётчики. Дольше всего обсуждали, что будет немецким лётчикам за то, что у нас есть раненые от их огня: будут их судить здесь или передадут немцам, чтобы судили там; и как будет с самолётом — вернёт его или не вернёт. В конце концов, где будет суд, так и не решили и бросили спорить, а насчёт самолёта единодушно согласились, что не вернёт.

Теперь, устав от разговоров, все молчали. Кто курил, кто дремал, накрывшись шинелью, кто просто ничего не делал и думал о своём, изредка косясь на ту сторону Западного Буга, где были немцы.

С Буга дул мокрый, пронзительный ветер. Чувствовалось, что ранняя осень кончается, переходя в позднюю — сырую и холодную.

Синцов думал о Маше и о том, что теперь, когда он стал заместителем политрука, его могут и не отпустить из армии, даже если дальше всё будет тихо и призывные из запаса начнут возвращаться по домам. Если так, то Маше будет совсем не к чему жить без него в Вязьме, хотя, с другой стороны, не может же она всё время ломать из-за него жизнь и, едва начав работать в одном месте, опять срываться и ехать в другое, туда, где он будет служить. А где он будет служить, он не знал и сам: может быть, в ста метрах отсюда, вон в том белом фольварке на краю луга, всё может быть. Их дивизию вполне могут оставить там, куда она вышла.

Вчера политрук роты упомянул о возможности откомандирования в военно-политическую школу. Но это значило принять решение раз и навсегда, остаться на всю жизнь в армии.

Как отнесётся к этому Маша? Задав себе этот вопрос, Синцов как всегда подумал о Маше с непроходившей и неослабевавшей удивлённой благодарностью за то, что она из всех людей на свете выбрала именно его.

— Товарищ замполитрука! — тихо обратился к Синцову один из красноармейцев. — Там у немцев шевеление.

Синцов посмотрел туда, куда показывал пальцем красноармеец, — за Буг, в сторону видневшегося вдаль, на том берегу, небольшого кирпичного завода с высокой трубой.

— Смотрите, какое движение машин! — встревоженно повторил красноармеец.

Синцов взял оставленный лейтенантом Тимохиным бинокль и подкрутил его по глазам. Ничего внушающего тревогу около кирпичного завода не происходило. У ворот действительно стояли несколько больших немецких грузовиков и легковая машина. Вторая колонна грузовиков выкатывалась из ворот на шоссе. Немцы просто-напросто вывозили с завода кирпич для каких-то своих нужд. Поверх кирпича в кузовах грузовиков сидели солдаты и сильно размахивали руками, — наврное, горланили какую-нибудь свою, неслышную отсюда солдатскую песню.

Дело было вполне обыденное и нисколько не военное, но как раз сама обыденность того, что немцы запросто везли куда-то кирпич, вызвала у Синцова тревожное замирание сердца. Неужели немцы так и будут теперь стоять здесь и год, и два, и три, в километре от нас, за Бугом, возить с этого завода кирпич, строить из него казармы, ездить по берегу на машинах, горланить песни?..

«Если действительно предложат откомандировать, надо будет соглашаться и идти в военно-политическую школу, в кадры», — решительно подумал Синцов, отвечая самому себе на невесёлые мысли, овладевшие им при виде немецких солдат, так буднично вывозивших кирпич из ворот завода на той стороне Западного Буга, словно они приехали и расположились здесь навсегда.

ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Климович лежал у себя в палатке на койке и курил, выпуская изо рта густые клубы дыма, чтобы отогнать комаров, которых всё ещё была пропасть, хотя уже кончался сентябрь.

Сегодня у Климовича был превосходный, счастливый день: он принял первое после боёв пополнение материальной части — двенадцать новых боевых машин; полного комплекта машин и людей не было ещё и теперь, но всё-таки с сегодняшнего дня батальон вновь становился силою.

Неожиданно зазуммеривший телефон заставил Климовича вскочить с койки и взять трубку.

— Есть явиться к двадцати часам, — сказал он с вошедшей в привычку всегда одинаковой, бодрой чёткостью в голосе, но с помрачневшим от досады лицом...

Сарычев вызывал к себе на двадцать часов всех командиров батальонов, — план Климовича провести вечер по собственному усмотрению шёл прахом.

Артемьев ещё днём прислал с водителем броневичка записку, что японцы сегодня заканчивают свои раскопки и что он, сопроводив их в последний раз до границы, придет к Климовичу попариться в бане, — в батальоне была устроена маленькая земляная банька, которая, однако, в здешнем быту считалась роскошью.

Климович в ответ написал, что всё будет в порядке, и велел затопить баню. После приёмки материальной части он сегодня и сам рад был помыться, а потом распить чайник крепко заваренного чаю.

Последние недели батальон стоял окло Байн-Цагана, а японская похоронная команда, за которой наблюдал Артемьев, работала в двух километрах — на самой горе Байн-Цаган, как раз там, где три месяца назад Климович ходил в свою первую танковую атаку.

За время раскопок Артемьев несколько раз по вечерам заезжал к Климовичу, но всегда накоротке, торопясь в штаб, чтобы доложить об итогах дня. Заехав, он, прежде чем поздороваться, неизменно вытаскивал из кармана галифе пузырёк с денатуратом, наливал немножко спирту на ладонь и протирал им руки, шею и лицо.

— Когда пробудешь там целый день, всё кажется — на тебе что-то осталось, — усмехаясь, объяснял он.

Климовичу нравился в Артемьеве его весёлый, неунывающий нрав, за которым скрывалась сильная натура, не любящая ни перед кем выставлять напоказ свои тяготы или неудачи, а уж тем более обременять кого-нибудь необходимостью сочувствия. Однако по виду Артемьева Климович всё-таки чувствовал, какое тяжёлое и мрачное дело эти раскопки, и сегодня, в день их окончания, был рад без лишних слов, подружески услужить ему и баней, и чаем, и припасённой полуфляжкой коньяку.

Теперь из-за вызова к командиру бригады всё получалось не так, как хотелось.

Сердито надев фуражку, Климович приказал ординарцу последить, чтоб баня была хорошо вытоплена, и, когда приедет капитан Артемьев, отвести его туда и спросить, есть ли у него чистое бельё, и если нет, то достать из чемодана новую байковую пару и дать.

— Чай заварите покрепче, — сказал Климович, уже садясь в машину, чтобы ехать к Сарычеву, — консервы откройте, про фляжку не забудьте и передайте капитану, что если он располагает временем, то прошу меня дожидаться.

С этими словами Климович опустил на сиденье рядом с водителем и покатил по степи.

Он всего на несколько минут разминул с Артемьевым, связной броневичок которого остановился у палатки, прежде чем ординарец собрался пойти посмотреть, как топится баня.

Узнав, что Климовича нет, Артемьев хотел ехать обратно, но, когда ординарец доложил, что баня уже истоплена и что Климович скоро вернётся из штаба, уступил соблазну и остался.

— Вы взойдите в палатку, товарищ капитан, я сейчас обернусь, проверю, как там насчёт пару, — говорил ординарец Климовича, расторопный и приветливый молодой паренёк, только недавно прибывший в батальон с пополнением. — Бельё-то у вас имеется? А то капитан...

— Имеется, — перебил его Артемьев, — третий день в броневике возим, думали, что позавчера ещё вся эта канитель кончится. Два человека у вас в баню влезут? У меня водитель тоже мыться будет.

— Свободно, товарищ капитан. Сию минуту всё будет готово. Только веники не берёзовые, а из ивняка.

— А по мне, хоть из крапивы, — уже вдгонку ординарцу усмехнулся Артемьев, — аж кожу с себя снять хочется, как змее!

Восемь дней каждое утро он выезжал на броневичке навстречу японской похоронной команде номер десять, производившей раскопки на Байн-Цагане. У широкого прохода в колючей проволоке к его броневичку пристраивались десять японских грузовиков с белыми флагами,

по десять солдат и по одному офицеру в каждом, и он ехал к месту раскопок впереди этой процессии.

Раскопки происходили без происшествий. Только раз Артемьеву пришлось отобрать у японцев выкопанный вместе с трупами оптический прицел с новой немецкой зенитной пушки.

В первый и второй день японские солдаты соблюдали заранее выработанный ритуал: офицер подводил их к месту, кружком обозначенному на его плане; они становились в положение «смирно», отдавали честь умершим, приложив руки к козырькам каскеток, и лишь после этого начинали осторожно копать землю. На третий день, когда обнаружилось, что кружки на офицерских планах никому не нужны и что весь район раскопок представляет собой сплошное необъятное кладбище, солдаты, забыв про какой бы то ни было ритуал, с утра и до вечера ожесточённо рылись в земле, ковыряли её кирками и лопатами и, иногда ещё задолго до наступления темноты, наполнив доверху кузова грузовиков, уезжали молчаливые и обессиленные.

После первых пяти дней японцы попросили ещё пять дополнительных и легко получили их, — по сведениям нашей разведки, раскопки разлагающе действовали на японских солдат. Солдаты рассказывали друг другу об огромном количестве вырытых трупов, и эти слухи всё шире ползли по Квантунской армии, пока наконец японское командование не взялось за ум и не поспешило на восьмые сутки прекратить раскопки, не воспользовавшись последними — девятым и десятым льготными днями.

Сидя сейчас в палатке у Климовича, Артемьев представил себе, что раскопки могли продолжаться ещё два дня, и его передёрнуло от одной этой мысли.

— Баня готова, — входя, сказал ординарец, — разрешите проводить?

Банька оказалась тесной, довольно-таки грязной и угарной, маловато было и воды, но Артемьев никогда в жизни не мылся с таким наслаждением и даже яростью. Мывшийся с ним водитель броневика уже не выдержал и выскочил из бани, а он просидел там ещё полчаса и, в конце концов, так перепарился, что едва добрался до палатки Климовича.

Возле палатки никого не было, наверное, ординарец и водитель ушли ужинать. Внутри палатки уютно горела лампочка, на столе стояла открытая банка мясных консервов, тарелка с хлебом, чайник и стоймя прислонённая к нему фляжка.

Выпив полстакана коньяку, Артемьев с аппетитом съел консервы и принялся за чай.

Несмотря на то, что вечер был прохладный, ему было всё ещё жарко после бани, и он, стащив через голову гимнастёрку, остался в одной нательной рубашке. В сущности, он в первый раз за неделю ел и пил с удовольствием, не думая о том, что завтра с утра всё начнётся снова.

Вспомнив об этом, он рассердился на себя, но было уже поздно — однообразная и тягостная картина всего происшедшего в эти дни снова непрошенно стояла перед его глазами: жара, и даже не жара, а острый сухой зной вдруг нестати вернувшегося монгольского лета; лёгкий ветерок с шуршаньем шевелит засохшую траву на вывернутых лопатами комьях земли; японские солдаты задыхаются в своих предохранительных смоляных повязках, закрывающих нос и рот. Задыхается и молодой японский поручик, тоже в смоляной повязке, с правой рукой на перевязи, — должно быть, сражавшийся здесь в июле. И тут же рядом, возле пятнистых, жёлто-зелёных японских грузовиков, сидит партия отдыхающих солдат. Отупев и притерпевшись за эти дни ко всему и ни на что уже не обращая внимания, они, сдвинув вверх смоля-

ные повязки и освободив от них рты, тут же обедают: жуют связки мелкой сушёной рыбы и маленькие круглые японские галеты.

«Да, не так-то легко будет изгнать это из памяти», — подумал Артемьев и, услышав голос вернувшегося ординарца, стал надевать гимнастёрку.

Дело шло к десяти, а Шмелёв, у которого он отпросился помыться в бане, отпустил его только до одиннадцати.

— Передайте капитану Климовичу, — начал было Артемьев, позвав ординарца, но в эту минуту подъехала машина, и в палатку поспешно вошёл сам Климович.

— Как, хорошо помылся?

— Лучше некуда!

— А закусил?

— Спасибо за всё. Как видишь, уже собрался, думал, вообще тебя не увижу.

— А ты оставайся, заночуй!

— Рад бы, но, к сожалению, Шмелёв назначил мне явиться к двадцати трём. — Артемьев подтянул осевшие гармошкой сапоги.

Климович посмотрел на часы, зная по себе, насколько бессмысленно уговаривать в таких случаях.

— А чего тебя тягали в штаб? — спросил Артемьев.

— Че-пэ, — сказал Климович, — у соседа в батальоне оказалась зачехлённой одна не прочищенная после стрельбы пушка. Командование вызвало для острстки всех командиров батальонов и сделало далеко идущие выводы, что народ после боёв подразвинулся.

— Да, трудно привыкнуть, что всё постепенно входит в мирную колею, — задумчиво сказал Артемьев.

— Входит, да не везде, — сказал Климович.

— Что в газетах насчёт Белоруссии и Украины? — спросил Артемьев, выходя из палатки. — Я сегодня ещё не читал.

— Сводка генерального штаба всего пять строк: наши уже почти всё очистили.

— А из-за границы какие телеграммы?

— На фронтах ничего особенно нового. Немцы продолжают штурм Варшавы. Французы обстреляли линию Зигфрида; но там, кажется, больше у себя дома с коммунистами воюют, чем на фронте с немцами, — сегодня есть сообщение, что французское правительство запретило компартию.

— Значит, перейдут на нелегальное, — полувопросительно, полуутвердительно заметил Артемьев.

— Выходит, так, — сказал Климович и, светя под ноги фонарём, пошёл провожать Артемьева к машине.

— А по-моему, вообще мирной колеи уже не будет, — вдруг сказал он на ходу.

— Где не будет?

— Да нигде не будет.

— Вообще-то верно, — сказал Артемьев. — Я ведь только здешние дела имел в виду.

— Да, здесь действительно вроде как к затишью, — согласился Климович.

Они оба в эту минуту, каждый по-своему, подумали об одном и том же.

Артемьев, несмотря на суету переговоров, последние полмесяца всё чаще испытывал здесь, в Монголии, чувство человека, который стоит на берегу после бури, среди выброшенных к его ногам камней, гальки

и водорослей. А море, ещё недавно бушевавшее у ног, с отливом ушло далеко к горизонту.

Подобное чувство он испытал сейчас, услышав о чрезвычайном происшествии с зачехлённой и не прочищенной пушкой от Климовича, который в июле, чёрный, обвязанный грязными бинтами, на его глазах вылез из ещё дышавшего горячими пороховыми газами танка с мёртвым танкистом на лобовой броне.

Что до Климовича, то он в эту минуту с тоской подумал о Любе и о том, что если бригаду оставят здесь на зимних квартирах, а семьи будут жить попрежнему в Ундур-хане, то как ни учи людей и сколько ни трать времени на материальную часть, а всё же переносить разлуку окажется тяжелее, чем в самые тяжёлые дни боёв.

— Жаль, что не заночуешь, поговорили бы! — с огорчением сказал он Артемьеву.

— Ах, Костя, Костя, — вздохнул Артемьев. — Сам знаешь: нет войны, да есть служба. Надо ехать.

И он постучал кулаком по броне связного броневичка, в котором, запершись от комаров, заснул водитель.

Ровно в двадцать три часа, стоя перед Шмелёвым, Артемьев выслушал приказание — вылететь на рассвете из Тамцак-Булака в Читу, забрать семьдесят девять японских пленных, находившихся на излечении в Читинском военном госпитале, и послезавтра доставить их на место взаимной передачи — на полевой аэродром, в нейтральной зоне, за высотой Палец.

В Читу Артемьев летел вместе с Лопатиным, которого он заметил, когда влез в полупустой самолёт. Лопатин, забравшись туда зарафее, сидел и дремал, надвинув на лоб фуражку, обернув ноги плащ-палаткой и подняв воротник шинели так, что был виден только его посиневший от холода длинный нос.

Лопатин не проснулся ни во время последних приготовлений к полёту, ни при взлёте, ни даже когда самолёт набрал высоту и стал ещё холодней. Только через три часа, когда под крылом зазеленели лесистые сопки Забайкалья, он, не открывая глаз, вдруг снял толстые шерстяные перчатки, суетливо порывшись в карманах, достал коробку «Борцов» и, закурив папиросу, снова надел на руки перчатки.

Только тут Артемьев окликнул его.

— Я уж думал, что вы без просыпу до посадки дотянете. Осталось всего ничего!

— А, Павел Трофимович, рад вас видеть, — довольно, впрочем, равнодушно сказал Лопатин, поворачиваясь к Артемьеву.

Артемьев видел Лопатина всего неделю назад на переговорах с японцами, но с тех пор в Лопатине произошла такая большая перемена, что впечатление от неё невольно выразилось на лице Артемьева.

— Что, страшнóн стал? — усмехнулся Лопатин.

Артемьев только покачал головой. Лопатин и в самом деле, как он выражался, был страшнóн. Его и без того худое лицо ещё больше похудело; сквозь загар на нём проступил изжелта-зеленоватый, нездоровый оттенок, под натянувшейся кожей на висках стали видны синие венозные жилки; только глубоко запавшие глаза Лопатина несколько не переменились и глядели из-за очков как всегда насмешливо и твёрдо.

— Что это вы, заболели? — спросил Артемьев.

— Точней говоря, преждевременно вернулся в своё природное состояние сорокатрёхлетнего, довольно-таки хилого человека, у которого, вдобавок, застарелая среднеазиатская малярия и большая печень, — сказал Лопатин, поднося ко рту папиросу задрожавшими паль-

цами в шерстяной перчатке.— Я не болею, пока категорически не могу болеть, и заболелаю, как только открывается малейшая возможность. Пока мы тут воевали и даже вели переговоры, я с лёгкостью глушил малярию хинином, а моя печёнка, казалось, прямо-таки побраталась с бараньим жиром. Но едва всё кончилось, как я сразу же развалился на составные части — глупейшая история!

— Ну, а если на Западе в дальнейшем развернётся что-нибудь такое, что не позволит вам болеть? — спросил Артемьев.

— Выздоровею, — сказал Лопатин, затянувшись папиросой. — В случае событий редактор обещал взять меня к себе, в ту армейскую газету, где окажется.

— А если его самого оставят здесь, в затишье?

— Всё равно, добьётся своего, уедет. Он такой! — У Лопатина был уверенный и даже весёлый тон, но при этом его губы и пальцы так дрожали, что Артемьев понял — Лопатин говорит о своих болезнях полуправду: незаметно для других он болеет и тогда, когда может болеть, и тогда, когда не может; нелегко, наверное, такой неугомонной душе жить в таком плохо приспособленном для неё хилом теле.

Через полчаса самолёт сел в Чите. Обменявшись с Лопатиным московскими адресами, Артемьев отправился в госпиталь принимать раненых японцев.

В два часа дня самолёты с пленными — одна пассажирская машина и три бомбардировщика — взлетели с читинского аэродрома.

Сначала Артемьев предполагал, что они полетят в Тамцак-Булак, но уже в воздухе было получено радио, чтобы самолёты легли западнее по курсу и сели на ночёвку в удалённом от границы Ундур-хане.

Командир пассажирского корабля, передав управление второму пилоту, подсел к Артемьеву и сказал, что маршрут, как видно, изменили, чтобы вся трасса лежала вне досягаемости японских истребителей.

— А то, вполне возможная вещь, ради провокации долбанули бы своих же раненых, а потом свалили на нас, что мы их разбили. А нам требуется их довести в полном порядочке. Завтра, наверное, «ястребки» с утра встретят нас в зоне и прикроют до самой посадки.

— Сколько мы просидим в Ундур-хане? — спросил Артемьев.

— Часов пятнадцать как минимум! Японцев разместим в два счёта: все казармы танковой бригады пустые, дадут любую! Ещё и поужинаем не спеша и кино прокрутим, если механик на месте. Всё успеем!

Лётчик вернулся к себе в кабину. Артемьев вспомнил вчерашнюю встречу с Климовичем и решил, что если с размещением раненых действительно обойдётся без проволочек и у него останется время, то он зайдёт к жене Климовича. Конечно, она получает от мужа письма, но он видел Климовича всего сутки назад, своими глазами, а это для близких всегда играет роль.

Проводить Артемьева на квартиру Климовича взялся техник-интендант из АХО штаба бригады, который сейчас был в Ундур-хане за главного по хозяйственной части. Судя по быстроте, с которой он устроил всё с питанием и ночлегом раненых японцев, Артемьев понял, что в Ундур-хан заранее протелефонировали из штаба группы, но техник-интендант ни словом не обмолвился об этом. Оставшись здесь за начальника, он явно хотел, чтобы и предусмотрительность и распорядительность были целиком отнесены на его счёт.

Маленький, не по годам кругленький, в тропической панаме, с чёрными запятыми усиков на простоудушно улыбавшемся, скуластом, тол-

стом лице, с наганом на боку, казавшимся при его маленьком росте самым большим из всех наганов на свете, — техник-интендант старался быть с лётчиками и Артемьевым воинственным, а с пленными японцами, которых он видел впервые в жизни, покровительственно-суровым. Он то и дело с начальственной бдительностью посматривал на них, как будто они могут сейчас встать и убежать, а он предупреждает своим строгим взглядом, что не советует им этого делать.

По началу техник-интендант показался Артемьеву плутоватым малым, но потом, пока они вдвоём шли через весь городок на квартиру Климовича, первое впечатление переменялось у Артемьева к лучшему. Теперь ему казалось, что техник-интендант просто один из тех попадающих среди хозяйственников людей, которые совершенно бескорыстно стремятся произвести на нового человека впечатление своим всемогуществом. И когда техник-интендант в разговоре, подмигнув, сказал, что «ужин — будьте покойны, не только водка — коньяк будет!», Артемьев подумал, что коньяк — ради того, чтобы пустить пыль в глаза, — вполне возможно, будет приобретён из собственного интендантского жалованья.

— Вы ведь ненадолго? — на полпути спросил техник-интендант, — а то ужин будет готов к двадцати ноль-ноль. У меня приказ — значит, всё! — На его толстеньком лице изобразилась строгость.

— Ненадолго, — подтвердил Артемьев и сказал, что он, собственно говоря, с женой Климовича даже и не знаком и не имеет поручения от Климовича заходить к ней, потому что не предполагал, что окажется в Ундур-хане, но раз уже он попал сюда, то теперь думает зайти — ей, наверно, будет приятно расспросить о муже.

Техник-интендант горячо одобрил решение Артемьева и долго говорил о Климовиче, который — хороший человек, член партбюро и пользуется авторитетом у самого командира бригады, да и у комиссара тоже.

— Комиссар прилетал сюда сразу после боёв, три недели назад, — собирал в клубе семьи комсостава, рассказывал им о бригаде. Трудная была задача — потери в личном составе большие, так что без слёз, конечно, не обошлось... Но комиссар ничего, справился. Он мужик умный, хотя и не кадровый, не до конца военный, как у нас его зовут, «лектор». — Техник-интендант проговорил последнюю фразу чуть-чуть свысока, с воинственной небрежностью придерживая у бедра хлопавший на ходу наган.

— Ну, теперь уже, наверное, и он до конца военный: бригада-то не выходила из боёв! — сказал Артемьев.

Техник-интендант насупился и целый квартал молчал. Ему показалось, что Артемьев нарочно сказал про бои, чтобы поставить на место его, просидевшего всё это время в Ундур-хане. Однако на долгое молчание он по своему добродушию был неспособен и через пять минут начал рассказывать Артемьеву, что знаком с Климовичем уже давно, ещё с Белоруссии, и даже помнит, как Климович женился на своей Любове Васильевне — она тогда работала вольнонаёмной машинисткой в штабе корпуса в Бобруйске.

Люба с Маей гуляла после обеда вдоль маленького, чахлого палисадничка перед их домом. Несмотря на все старания Любы и Русаковой, в этом году здесь почти ничего не росло; жаркое лето всё повыжгло — только кручёный паныч, семена которого привёз зимой из отпуска покойный Русаков, поднимался по верёвкам до самых окон да выжившие кусты золотых шаров желтели на фоне белёной стены.

Недавно научившаяся ходить, Мая передвигалась самостоятельно, держась одной рукой за тонкую планку, прибитую к огораживавшим

палисадник низеньким столбикам. Люба шла рядом, готовая подхватить её.

Дойдя до конца палисадника, Мая остановилась, ухватившись обеими руками за последний столбик, и вопросительно посмотрела на мать — дальше держаться было не за что. Люба прошла ещё пять шагов, присела на корточки, повернулась лицом к дочери и молча поманила её к себе. Мая вздохнула, отпустила столбик и, растерянно улыбаясь, сделала один за другим несколько быстрых шажков навстречу матери. С каждым шагом она всё больше спешила, наклонялась вперёд и, наконец, чувствуя, что окончательно падает, но всё ещё продолжая улыбаться, зажмурила глаза. Люба подхватила её, взяла за руку, и они пошли рядом. Иногда у Май заплетались ноги, и она, повиснув на руке матери, удивлённо задирала лицо, озадаченная тем, что мать только что была где-то сбоку и вдруг оказалась на дороге. Последнюю неделю Мая могла путешествовать таким образом целыми часами, и у Любы, которой приходилось всё время нагибаться, к концу прогулок болела спина.

— Вот папа придет, а ты ещё ходить не умеешь. Как стыдно! — укоризненно говорила она, ведя за руку семенящую Маю. — Всё будешь за ручку с мамой ходить, а сама так и не научишься.

Любе и хотелось, чтобы к возвращению Климовича Мая совсем хорошо ходила, и в то же время было жаль, что он пропустил в жизни дочери какие-то уже невозвратимые минуты.

Гуляя, Люба вдруг увидела быстро шедшего ей навстречу со стороны штаба маленького толстенького интенданта Ялтуховского и рядом с ним — незнакомого, широченного в плечах, рыжеватого капитана с кирпично-загорелым лицом.

При виде этого вдруг появившегося с Ялтуховским человека у Любы упало сердце. Почему незнакомый? Почему с Ялтуховским? И почему к ним? После того, как Русакову с детьми недавно по приказанию Гордиевского всё-таки переселили в новую, обещанную ещё её мужу квартиру, здесь, кроме Климовичей, не жило ни одной командирской семьи.

— А вот и Любовь Васильевна, — бойко сказал Ялтуховский, оставившаяся в трёх шагах от Любы.

Перед Артемьевым, слегка нагнувшись и держа за руку смешную курносую девочку, стояла молодая красивая женщина с темнорусыми, гладко зачёсанными назад волосами. Она показалась Артемьеву невысокой, может быть, ещё и оттого, что была без каблуков, в тапочках на босу ногу и в коротком, до колен, ситцевом, без затей, но очень шедшем к ней платье. На её спокойном лице сияли большие встревоженные глаза.

— Знакомьтесь, Любовь Васильевна, — всё так же бойко продолжал Ялтуховский. — Товарищ капитан не дальше как вчера видел вашего Константина Антоновича.

— Я надеюсь — ничего не случилось? — сказала Люба спокойным голосом, хотя глаза её всё ещё оставались встревоженными.

Говоря это, она протянула Артемьеву левую руку. Правой она держала руку дочери, которая, застыв, выбирала между двумя возможностями: заплакать при виде двух незнакомых мужчин или заинтересоваться ими?

— Ровно ничего не случилось, — сказал Артемьев, пожимая маленькую руку Любы. — Просто мы с Костей старые товарищи. Я — Артемьев. Вы даже у моих стариков, если помните, когда-то гостили. Я вчера его видел, а сегодня случайно оказался здесь и решил зайти — рассказать вам о нём, как говорится, из первых рук. И сразу же для начала: жив и здоров, всё прекрасно.

— Я очень вам рада, — сказала Люба.

Артемьев увидел, что это правда — по её глазам, в которых исчезло выражение тревоги, — и подумал, что он правильно сделал, не отступив от первого побуждения и зайдя к ней, хотя до этого, когда Ялтуховский сказал, что комиссар бригады прилетал сюда и собирал семьи комсостава, ему на минуту показалось, что итти уже никуда не нужно.

— Прошу вас, зайдите к нам, — предложила Люба, продолжая держать Маю за руку и делая возле неё круг, чтобы повернуть её в направлении к дому.

Ялтуховский попытался взять Маю за вторую, свободную руку, но Мая вывернулась и ухватилась обеими руками за ногу матери.

— Вот видите, — сказала Люба, нагибаясь и подхватывая дочь на руки, — вы месяц не заходили, и она уже не считает вас за своего знакомого. Надо чаще заходить.

— Заботы, Любовь Васильевна, заботы, — значительно отозвался Ялтуховский.

Они прошли через сени в комнату и сели за стол, судя по застилавшей его клеёнке, служивший обеденным, а судя по сдвинутой к одной стороне стопке книг и тетрадей, одновременно и письменным.

— Ну, во-первых, — сказала Люба, — я в самом деле рада вас видеть, потому что Костя вас любит и не только рассказывал мне о вас, но и часто давал читать ваши письма, всегда такие умные.

— Положим, иногда бывали и глупые, — улыбнулся Артемьев.

— Может быть, — в свою очередь улыбнулась Люба, — значит, глупых он мне не показывал. Вот. А во-вторых...

Она несколько секунд молчала, и Артемьев ждал: что она скажет во-вторых? Но Люба ничего не сказала, а только, задумчиво облокотясь одной рукой о стол, а другой прижав к себе притихшую девочку, вопросительно и, как ему показалось, строго посмотрела в лицо Артемьеву.

«А во-вторых, рассказывайте мне о нём, — прочёл Артемьев в её глазах, — вы же за этим сюда пришли».

И Артемьев стал рассказывать ей о Климовиче.

Против ожидания Артемьева, Люба не спросила, ни как выглядит Климович, ни как он себя чувствует, ни даже как его настроение и когда он думает вернуться на зимние квартиры. Она просто очень внимательно, не прерывая, слушала, и Артемьеву показалось, что, пока он говорит, она старается, полузакрыв глаза, увидеть перед собой не его, а Климовича, о котором он рассказывает.

Рассказ Артемьева оказался недлинным, потому что, в сущности, они за эти месяцы очень мало виделись с Климовичем, а распространяться перед Любой, какого он мнения о Климовиче, Артемьеву казалось ненужным и даже смешным.

— Вот, кажется, и всё, что знаю, — неожиданно быстро для себя закончил он и подумал, что теперь остаётся только откланяться.

— Вы тоже так редко пишете своим? — вдруг спросила Люба.

Улыбнувшись тактично неопределённому слову «своим» и с некоторым раскаянием вспомнив о трёх — за всё время — письмах матери, Артемьев спросил:

— А что вы называете редко?

— Костя мне пишет раз в месяц, — сказала Люба.

«Мог бы и чаще», — подумал про себя Артемьев, глядя на неё.

— Хотя, наверное, это потому, что мы до сих пор почти всегда были вместе и он ещё просто не привык мне писать, — помолчав, добавила Люба.

— Придётся привыкать, — встрепенулся измученный молчанием Ялту-

ховский. — Надо рассматривать этот вопрос философски. Теперь эпоха войн и революций, а мы — люди военные.

— Ах, Ялтуховский, Ялтуховский, — укоризненно сказала Люба, — как вы легко бросаетесь словом «война»! Нате-ка вот лучше, подержите!

И она протянула дочь Ялтуховскому, растопырившему руки на встречу.

— Подержите, пока я напишу Косте записку.

В её ласковых глазах на секунду мелькнул насмешливый огонёк, и Артемьев понял, что она не случайно после воинственных слов Ялтуховского, именно сейчас и именно ему дала девочку.

— Я короче, — повернулась она к Артемьеву, — вы ведь непременно его увидите?

— Конечно, — подтвердил Артемьев.

Люба села за стол, взяла из пачки тетрадок верхнюю и несколько минут писала на вырванном листке, время от времени поглядывая на Ялтуховского, державшего Маю. Мая сначала вывёртывалась, а потом, заинтересовавшись блестящими пуговицами на его гимнастёрке, начала поочерёдно хватать и тянуть их к себе до тех пор, пока наконец не оторвала одну, наверное пришитую по-холостячки, на скорую руку.

— Вот, кажется, и у меня всё, — сказала Люба, сгибая вчетверо листок, кладя его в конверт и отдавая Артемьеву. — А вы, ничего, ничего, — повернулась она к Ялтуховскому, который уже протягивал ей навстречу Маю, — подержите её ещё минуту, может быть, тогда поймёте, что значит сидеть с ней дома и не получать писем. Философ!

— Разрешите откланяться. — Артемьев поднялся со стула.

— Подождите, — сказала Люба, — сейчас я только Ялтуховскому пуговицу пришью, а то ещё встретит дежурный по гарнизону и из-за моей Майки на губу посадит. — Она наконец взяла дочь у Ялтуховского, поставила её на пол и обратилась к Артемьеву: — Давайте сюда руку. Можете даже палец, только чтобы она держалась. И ходите с ней взад и вперёд по комнате, больше от вас ничего не требуется.

— А захочет ли она? — с опаской спросил Артемьев.

— Ничего, она засиделась и теперь готова бегать с кем угодно.

И действительно, Мая, даже не оглянувшись на Артемьева, а лишь почувствовав его руку, как надёжный предмет, за который можно держаться, засеменила с такой быстротой, что он побежал за ней через всю комнату и едва успел завернуть, чтобы Мая с разлёту не ткнула носом в стену.

Пока Артемьев бегал по комнате, Люба пришивала пуговицу стоявшему по стойке «смирно» и явно робевшему перед ней Ялтуховскому. Пришив пуговицу, она на ходу переняла дочь у Артемьева и посадила себе на плечо. Артемьев невольным жестом потёр руку, сразу же затёкшую от непривычного занятия.

— Вот видите, такой большой и сильный — и уже рука затекла, — сказала Люба. — А хотите посмотреть, каким вы были?

— Хочу, — сказал Артемьев.

Люба подвела его к этажерке. На нижней полке лежали книги, на средней стояла пишущая машинка, а на верхней — две фотографии; на одной был снят только что выпущенный из училища и ослепительно красиво заретушированный Климович с двумя квадратами на петлицах, вторая была знакомая — школьный двор и на нём несколько выстроившихся по росту восьмиклассников: крайним слева, рядом с Петрашком, стоял Климович, а вторым справа, после Синцова, — Артемьев, в фут-

болке и с одной — для шикю, чтобы все знали, что у него велосипед, — зашпиленной внизу штаниной.

— Да, вот видите, какие мы были. — Артемьев несколько секунд в раздумье подержал фотографию в руках. — Велосипедисты! — Взяв лежавшую на столе фуражку, он посмотрел на часы и, по привычке слегка прищёлкнув каблуками, сказал, что им с Ялтуховским пора.

— Жаль, но ничего не поделаешь. — Люба протянула руку сначала Артемьеву, потом Ялтуховскому и вышла вслед за ними за порог.

Когда Артемьев через двадцать шагов повернулся, она ещё стояла в дверях, и Мая, сидя на её плече, махала рукой им вслед.

— Посчастливилось Климовичу, — обернулся Ялтуховский и тоже помахал рукой, — и красивая и заодно симпатичная.

— А разве это редко бывает заодно?

— Редко, — убеждённо ответил Ялтуховский.

О том, что Климовичу, кажется, действительно посчастливилось, Артемьев вспомнил снова на следующий день, когда их самолёты, снижаясь, проходили над хорошо знакомыми местами: вот главная фронтовая дорога с цепочкой телеграфных столбов, по которой он ехал в первый день, ещё в мае, и развилка, где его ждали сапёры. А вот и знакомое плоскогорье Баин-Цагана слева, а справа — холмы Хамардабы и промелькнувшая под крылом пойма Халхин-гола с центральной переправой и мелкими кустиками возле неё, где он лежал, когда его ранили.

Сколько всего было за эти месяцы! И как ему в глубине души всё время нехватало чувства, что где-то далеко есть тот единственный человек, которого он когда-то напрасно думал найти в Наде, — человек, которому — пусть не сейчас, пусть даже не скоро, — но он всё это расскажет от начала до конца: от первой дымящейся воронки за переправой до неприбранного ничейного поля и японцев, идущих с белыми флагами. И этот человек, слушая его рассказ, ужаснётся, что он мог погибнуть, и обрадуется, что он выжил, — сильнее, чем он сам ужасался и радовался, когда всё происходило на самом деле.

«Бывает же людям счастье!» — с невольной завистью подумал Артемьев, вспомнив о Климовиче и Любе.

Ему понравилась Люба, но дело было не только в этом. В доме, куда он вчера приходил, жила безошибочно угаданная им атмосфера нешумного, но уверенного в себе счастья; и уверенного не только в себе, но и в том, что так и должно быть у людей; и не только уверенного в этом, но и вселяющего свою уверенность в других, — кажется, и в него тоже.

Может быть, поэтому, пролетая сейчас над местами событий, о которых ему пока некому было рассказывать, он испытывал не чувство тоски, а требовательную жажду счастья.

На ровном травянистом поле, куда сели самолёты, стояли с одной стороны наш маленький санитарный автобус и «эмочка», с другой — пятнистый закамуфлированный японский штабной «форд» с белым флагом на радиаторе.

— Вот и прибыли. Пятнадцать пятьдесят по читинскому времени, шестнадцать пятьдесят по токийскому, — сказал лётчик. — По условию, японцы должны сесть через десять минут.

Прилетевшие с Артемьевым врач, фельдшеры и санитары сразу же принялись выгружать носилки с пленными из огромных крыльев бомбардировщиков, а сам Артемьев пошёл навстречу вылезавшему из «эмочки» командиру-танкисту.

Танкист оказался комиссаром стоявшего здесь рядом батальона сарычевской бригады.

— Старший политрук Середа, — отрекомендовался он.

Артемьев представился в свою очередь.

— Из штаба группы пришла телефонограмма, что другие представители сюда не придут, все заняты на основной передаче, а здесь уполномочивают вас. Сообщили, что порядок передачи вам известен, — сказал старший политрук.

— Известен-то известен, — с некоторым разочарованием сказал Артемьев, заранее зная, что основную массу пленных будут в эти же часы передавать в центре, у Номун-хан Бурд Обо, но предполагавший, что и сюда всё-таки пришлют ещё кого-нибудь, кроме него. — Ну да ладно, в случае чего, вы поможете!

— Нет, товарищ капитан, — сказал Середа, — в полученные мной от командования бригады инструкции переговоры с японцами не входят. Мне поручено только обеспечить боевую готовность переднего края на случай провокации и удаление японских самолётов из нейтральной зоны до восемнадцати ноль-ноль, а в случае их неудаления, не вступая в переговоры, приказано арестовать самолёты и выставить охрану.

— Больно уж вы, танкисты, строги, — сказал Артемьев, — сразу же и арестовать! Что вам, трофеев, что ли, нехватает?

На неприветливом квадратном лице по-медвежьи коренастого Середы появилась хитрая усмешка.

— Трофеев, если не прибедраться, хватает. Но в случае провокации, согласно инструкции, могу и ещё взять, особенно если самолёты.

— По-моему, провокаций не предвидится, — сказал Артемьев, взглянув на небо, где высоко с тонким однообразным пением барражировала тройка наших истребителей, — японцы для них теперь временно не в строении.

— А бис их знает, — с полным недоверием ко всему, что делали и могут сделать японцы, сказал Середа. — Мы на всякий случай танковую роту вывели на передовую.

Артемьев обернулся и увидел вдаль, за колючей проволокой, четыре танка, стоявших в ста метрах друг от друга на открытых позициях.

— Остальные тоже тут, за бугром, — поймав его взгляд, сказал Середа таким тоном, словно Артемьеву было мало этих четырёх танков и следовало его успокоить, что поблизости вся рота.

— Японская машина давно пришла? — спросил Артемьев.

— Минут пятнадцать. Видите, они там шляются около неё.

Середа показал пальцем. Действительно, рядом с машиной ходили двое японцев с длинными офицерскими мечами.

— Пойдём навстречу?

— Я здесь побуду, — заупрямился Середа, — комиссар бригады приказал, чтобы лишние люди при переговорах не болтались!

— Да уж пойдём вместе, а то они меня одного ещё порубают, чего доброго, — усмехнулся Артемьев. — Видите, какие у них секiry.

Несмотря на то, что Артемьев сказал это шутя, аргумент подействовал на Середу, и они пошли вместе.

Увидев, что русские идут к центру поля, японцы пошли навстречу. Ещё за пятьдесят шагов Артемьев увидел, что один из них — тот самый коротенький толстый полковник, с которым он встречался в первый день переговоров; второй японец был жердеобразный худой поручик в пенсне, наверное, военный врач.

— Здравствуйте! Полковник Канэмару, — сказал японец по-русски, небрежно прикладывая руку к козырьку.

— Никогда бы не предположил, что вы так хорошо говорите по-русски, господин полковник,— сказал Артемьев.

— Никогда бы не предположил, что у вас в армии так быстро повышают в званиях, господин капитан,— в свою очередь съязвил японец, намекая на то, что в первый раз видел Артемьева в звании младшего лейтенанта.

— Чего не бывает, господин полковник,— насмешливо сказал Артемьев, вспомнив в эту минуту свой диалог со Шмелёвым перед вылетом в Читу: «Что мне, младшим лейтенантом ехать передавать этих пленных?» — «Не надо, летите в нормальном виде». — «А если с кем-нибудь из старых знакомых встречусь?» — «А чёрт с ними! Теперь уже всё равно».

Полковник стоял, продолжая улыбаться и держа обе руки на длинной лакированной рукоятке меча. Подражая ему, так же улыбался и так же держал руки на рукоятке меча второй японец — в пенсне.

— Что-то ваши самолёты опаздывают, господин полковник,— сказал Артемьев, посмотрев на часы. — Уже семнадцать пять.

— Шестнадцать пять,— глядя на свои часы и продолжая улыбаться, поправил японец.

— Шестнадцать пять по читинскому,— возразил Артемьев,— а прилёт самолётов, и ваших и наших, насколько я знаю, условлен по токийскому времени.

— Это ошибка господина капитана,— всё ещё продолжая улыбаться, ответил полковник. — Наши самолёты прилетят в семнадцать часов по читинскому времени.

Артемьев прекрасно знал, что никакой ошибки тут нет и что прилёт самолётов обеих сторон назначен к семнадцати часам именно по токийскому времени: наших — на пять минут раньше, японских — на пять минут позже. Ему было ясно, что японцы, верные своему пристрастию к мелким хитростям, решили сделать вид, что они спутали время, и пригнать свои самолёты заведомо на час позже, заранее удостоверившись, что советские самолёты с японскими пленными уже прибыли в нейтральную зону. Теперь предстояло ждать битый час; но Артемьеву — раз уже всё равно ничего нельзя было изменить — меньше всего хотелось показывать японцам, что он раздосадован — это лишь доставило бы им удовольствие.

— Может, вы хотите пока посмотреть на ваших солдат,— как ни в чём не бывало, предложил он,— их уже кончают выгружать из самолётов...

— Благодарю вас,— согласился японец,— я хотел бы это сделать.

Артемьев пошёл впереди, за ним, придерживая мечи, шли оба японца. Середа замыкал шествие.

— Где вы учили русский язык, господин полковник? — спросил Артемьев. — В академии?

— А разве я хорошо говорю по-русски?

— На мой взгляд, превосходно.

— Благодарю вас. Я был помощником военного атташе в Москве.

— Давно?

— Если мне не изменяет память, с тысяча девятьсот тридцать пятого по тысяча девятьсот тридцать восьмой год.

«Несколько раз ходил мимо него на парадах», — подумал Артемьев.

— А где вы учили японский язык? — в свою очередь спросил японец. — Вы так прекрасно пользовались им две недели назад, когда мы впервые встретились и вы были ещё младшим лейтенантом.

Артемьев повернулся к японцу и, улыбаясь, посмотрел ему прямо в лицо.

— Начиная в Москве, а здесь укрепил познания, разбирая взятые на поле боя офицерские сумки, карты и другие документы.

— Наверное, однообразное чтение, — улыбнулся японец.

— А главное — бесконечное, — сказал Артемьев. — Мне даже временами казалось, что в ваших седьмой и двадцать третьей дивизиях двойной комплект офицеров.

Слова Артемьева наполовину были правдой: седьмая и двадцать третья японские дивизии, действительно, к началу боёв имели сверхкомплект офицерского и унтер-офицерского состава.

Пока Артемьев, Середа и японцы дошли до того конца поля, где сели самолёты, два из них успели подняться в воздух, а третий вырливал. На месте оставался только четвёртый — пассажирский, на который предстояло погрузить возвращавшихся из плена наших — Артемьев заранее знал, что их будет всего двое.

Семьдесят девять японцев были уже выгружены и лежали на поле ровно, как по линейке, в два ряда. Все носилки были новенькие, трофейные, японские, специально доставленные для этой цели в Читу. Раненые по большей части хорошо выглядели после госпиталя, были забинтованы белоснежными бинтами и одеты в чистое бельё и новенькое, с иглолочки, японское обмундирование из числа захваченных на Халхин-голе пятнадцати тысяч ненадёванных комплектов. У тех, на кого обмундирование нельзя было надеть из-за лубков, оно, сложенное по складкам, лежало сзади, под подушкой. Каждый раненый был закрыт до пояса новеньким японским яркозелёным одеялом, а в ногах у каждого лежала новенькая шинель.

По концам обеих шеренг стояли четыре больших ящика, битком набитых японскими трофейными продуктами — галетами, консервами, соевым шоколадом и даже бутылками с японским виски.

Во всём этом чувствовалась скрытая ирония, разумеется, адресованная не самим пленным, которым было только хорошо от того, что они, перевязанные и накормленные, лежали во всём новом и чистом на новых, туго набитых подушках; эта ирония была адресована тем, кому предстояло принимать их.

«Забирайте ваших, брошенных вами и подобранных нами, солдат, господа генералы и офицеры! — как бы говорила вся эта картина. — Забирайте вместе с вашими шинелями и вашими одеялами, вашими носилками и вашими продуктами! Забирайте и больше никогда не возвращайтесь сюда, если не хотите ещё раз пережить дни халхингольского позора!»

Мельком оглядев ряды носилок и на секунду задержав взгляд на ящиках с продуктами и вином, японский полковник побледнел от ненависти, высоко поднял голову и, придерживая рукой меч, быстро пошёл вдоль рядов носилок на своих коротеньких, крепких, пружинящих ногах.

— Если ваши лётчики забыли взять с собой продукты, — сказал Артемьев, когда они дошли до стоявших в конце шеренги ящиков, — то вы можете взять всё это, мы специально приготовили.

— Очень большое спасибо. — Полковник ненавидяще улыбнулся и, круто повернувшись, пошёл назад между двумя рядами носилок.

Теперь Артемьев шёл позади него. Проход между носилками был узкий. Справа были накрытые одеялами ноги; слева — запрокинутые на подушки лица; с глазами, закатывавшимися вверх, как только на них падала тень от фигуры полковника, шедшего первым.

Все раненые молчали. Только один, должно быть с ампутированными ногами, потому что одеяло ниже его колен совершенно плоско лежало на носилках, когда мимо него проходил полковник, хрипло и жалобно спросил по-японски:

— Господин полковник, что с нами будет?

Полковник вместо ответа очень быстрым, почти молниеносным движением отпустил меч, который он до этого придерживал на ходу, и меч, отскочив от коленки полковника и подпрыгнув в воздухе, коротко и сильно ударил раненого концом ножен по голове.

Артемьев, шедший на два шага позади, мог поклясться, что всё это было сделано нарочно, но полковник сквозь зубы пробормотал японское извинение и сейчас же вслед за этим на ходу повернулся к Артемьеву, уже снова придерживая меч рукой.

— Очень неудобная вещь, — сказал он. — Всегда что-нибудь случается. Варварская традиция, не правда ли? — И, улынувшись, пошёл дальше.

— Ах ты, сволочь белогвардейская! — громким шёпотом возмутился Середа.

— У вас же инструкция — не вступать с ними в переговоры, — тоже шёпотом, оборачиваясь на ходу, сказал Артемьев.

— Так я же не с ними вступаю, а с вами.

— Со мною вступаете, а они слушают.

— А бис с ними, пусть слушают, — сказал Середа. — Всё равно ихний рабочий класс ещё когда-нибудь их к стенке поставит!

Наконец все гуськом дошли до конца прохода между носилками и остановились; в небе нарастал густой, прерывистый гул, и Артемьев, повернувшись на восток, увидел четыре низко шедших японских транспортных самолёта.

Через несколько минут они сели. Три оказались пустыми, из четвёртого сначала вышло двое японских военных врачей, потом высыпало полтора десятка солдат, и лишь после этого санитары стали выносить на носилках двух наших подлежавших передаче тяжело раненных. По списку Артемьева, один из них был младший лейтенант танкист Дрёмов, другой — старшина сапёров Колесов.

Первым вынесли лейтенанта. Его худая мальчишеская, наголо остриженная голова беспомощно, как у подстреленной птицы, лежала набок, закинута за край носилок.

— Одна нога ампутирована до таза, — сказал подошедший вместе с Артемьевым к самолёту наш военврач, приподнимая оборванную шинель, которой, прямо поверх грязного белья, без простыни, был накрыт раненый. — И, кажется, начался гнойный процесс, — добавил он, хотя Артемьев уже и сам почувствовал запах гниющего тела.

Лейтенант облизал губы, открыл глаза, увидел наклонившиеся над ним лица Артемьева, врача и Середы, попробовал приподнять голову, не смог и бессильно заплакал.

— Ну и гады! — сквозь зубы выдохнул Середа, глядя вверх и как будто ни к кому не обращаясь, но в то же время нарочно тесня плечом стоявшего рядом с ним японского полковника.

— Что? Как вы сказали? — отодвигаясь, спросил японец.

— Ничего он не сказал, — ответил Артемьев, заслоняя собой Середу и за спиной делая ему рукой жест, чтобы он стошёл. — А вот я... — Он уже увидел в эту секунду вторые носилки — со старшиной Колесовым, грязным, небритым, полуголым, лежавшим тоже под рваной шинелью, в гимнастёрке с начисто выдраным плечом и рукавом. — ...я скажу вам, что не приму от вас в таком виде наших раненых.

— Как? Почему? — быстро заговорил полковник. — Мы вам сдаём их так, точно так, как они попали к нам в плен.

— Не приму, — упрямо, с ненавистью повторил Артемьев, — пока ваши врачи не составят с моим врачом акт об антисанитарном виде, в каком вы их доставили, и о состоянии ранений.

— Такие акты не входили в соглашение, — холодно возразил японец.

— Начинайте писать акт, — повернулся Артемьев к нашему военврачу.

— Это произвол, — сказал полковник. — Мои военные врачи не будут подписывать такой акт.

— А не будут — так не будет обмена пленными, — сказал Артемьев.

В эту секунду он увидел, что лежавший вместе с носилками на земле старшина приподнялся на локтях и потянулся к нему с выражением безграничного отчаяния на лице.

— Можете поднимать в воздух свои самолёты, — жёстко продолжал Артемьев. — Ваши раненые пока останутся у нас.

— Это произвол, — повысил голос японец. — Наше командование пошлёт протест вашему командованию, и вы за это заплатите.

— Ничего! Поднимайте в воздух самолёты! — повторил Артемьев, в своей ярости готовый чем угодно заплатить завтра, только бы не уступить сейчас.

— Хорошо, — сказал японец, — мы тоже возьмём обратно ваших раненых и тоже подождём с передачей.

Он сказал это не особенно уверенно, считая, что два человека, которых он заберёт обратно, слабый аргумент по сравнению с сёмьюдесятью девятью пленными, которых ему не возвратит этот русский капитан. Но аргумент, казавшийся японцу слабым из-за разницы в цифрах, был страшен для Артемьева именно потому, что он цифры в расчёт не принимал и не мог принимать. Он знал, что уже не может отступить от своего требования — составить акт, но он не мог и отдать обратно японцам этих двух: потерявшего сознание младшего лейтенанта, которому сейчас выпрыскивали кофеин, и с нечеловеческой мукой ждавшего, что же будет, судорожно схватившегося за носилки бородатого старшину.

— Наши раненые останутся здесь, — сказал Артемьев. — Я вижу, что вы плохо с ними обращаетесь. Я вам не верну их.

— Грузите их обратно! — закричал полковник по-японски своим врачам, упирая руки в бока и расставив ноги.

— Господин полковник, — очень тихо сказал Артемьев и так же тихо взял японца под локоть и повернул его лицом к нашим позициям, где на открытом месте, хорошо видные отсюда, стояли четыре танка. — Если вы это сделаете, я прикажу открыть огонь по вашим самолётам.

Артемьев сам не знал, сделает он это или не сделает, но твёрдо знал одно — что не вернёт японцам двух наших.

Наступило гнетущее молчание. Японец, очевидно, колебался, как ему отнестись к угрозе Артемьева.

И в эту минуту Середа, стоявший рядом с Артемьевым и смотревший на него счастливыми, благодарными глазами, вдруг по какому-то нитику, но необыкновенно кстати, выпалил, обращаясь к Артемьеву и показывая большим пальцем через плечо назад, в сторону танков:

— Разрешите передать приказание?

Эти слова, произнесённые решительным тоном, в сочетании с тем, что произнёс их именно танкист, докончили японца. Он сделал своим врачам небрежный жест двумя пальцами, отменявший его предыдущий приказ, и сказал, чтобы они посмотрели акт, составленный русским врачом, и доложили его содержание.

— А мы со своей стороны, — примирительно сказал Артемьев, — согласимся на то, чтобы ваши врачи составили акт, в каком виде мы доставили ваших раненых.

При том очевидно прекрасном состоянии, в котором Артемьев сдавал японских раненых, его предложение насчёт обоюдного акта звучало насмешкой, но тем не менее японцу приходилось отвечать.

— У меня нет инструкции, чтобы принимать от вас наших раненых по состоянию их здоровья и обмундирования, у меня есть инструкция, чтобы принимать их по имеющемуся у меня именному списку, — сказал японец, сердито придыхая между слишком длинными для него русскими фразами. — У меня есть приказ и дисциплина японской императорской армии. Я не придумываю, как вы, дополнительных процедур из собственной головы, господин капитан.

Артемьев только пожал на это плечами. Он остался победителем, и теперь японец мог сколько угодно утешать своё оскорблённое самолюбие.

— Очевидно, у нашей и у вашей армии, — продолжал полковник, — разница в принципах. У нашей армии принцип — возвращать пленников так, как они поступили к нам. А у вашей армии, очевидно, принцип — возвращать больше, чем вы взяли. Может быть, пока они были у вас в плену, вы постарались их снабдить не только новыми одеялами, но и новыми, марксистскими идеями?

«Что ж, всё возможно», — хотелось сказать в ответ Артемьеву, но вместо этого он только во второй раз равнодушно пожал плечами.

Наши санитары, переложив на свои носилки обоих раненых, не теряя времени, уже несли их туда, где виднелся санитарный автобус и куда теперь вплотную подрулил самолёт. Военврач, наскоро осмотревший обоих раненых, сидя на земле и положив на колени свою медицинскую сумку, писал на ней акт.

Жердеобразный японский поручик, так же как и полковник, владевший русским языком, сидел на корточках рядом с нашим военврачом, заглядывал ему через плечо и читал про себя, шевеля губами.

Наш военфельдшер вдвоём с военным врачом-японцем шли вдоль рядов носилок со списками в руках. Сначала японец выкрикивал японское имя, потом, поверкая его на русский манер, то же имя повторял военфельдшер, потом они оба останавливались и ставили в своих списках по галочке.

Вслед за японским врачом и нашим фельдшером шёл японский фельдшер — кривоногий, рослый, с каким-то особенно злым и грубым, палаческим выражением лица. Подмышкой он держал пачку пакетов. Это были большие прямоугольные пакеты, вроде тех, в которых у нас продают крупу или сахар, но очень толстые, склеенные из нескольких слоёв рисовой бумаги.

Как только очередной раненый откликнулся на своё имя и в обоих списках ставились галочки, японский фельдшер, приподняв голову раненого, быстро и грубо — по самые плечи — нахлобучивал на неё один из пакетов.

Фельдшер шёл не вдоль носилок, а перешагивал через них, и каждый раз, нахлобучивая пакет, становился так, что носилки оказывались у него между широко расставленными ногами.

В этой операции было что-то одновременно и отвратительное и щемящее душу. С трудом сдерживаясь, чтобы не заорать — «Что вы делаете с людьми, сволочи!», Артемьев смотрел на то, как следующий раненый, которому ещё не надели на голову пакета, сам уже приподнимался на локтях и вытягивал шею навстречу бумажному мешку.

— Что он делает с пленными? — не выдержав, спросил Артемьев у всё ещё стоявшего с ним рядом полковника.

Полковник произвёл на своём лице два необыкновенно быстрых движения подряд: сначала он на десятую долю секунды улыбнулся Артемьеву — это был долг вежливости, привычная улыбка, он отвечал ей на обращение к себе; потом его улыбка поползла вниз, и нижняя губа полковника оттянулась в надменную гримасу. Кивнув на пленных

и сделав очень короткий и очень презрительный жест в их сторону, он сказал:

— Это надевают на них для их же собственного спокойствия, они стыдятся после плена смотреть в лицо доблестным представителям командования императорской армии.

— Покажите-ка мне один, — повелительно по-японски сказал Артемьев фельдшеру, подумав про себя, что после халхингольского разгрома гораздо верней было бы надеть бумажные мешки на голозы доблестных представителей командования императорской армии, чтобы им не было стыдно смотреть в лицо своим солдатам.

Фельдшер протянул ему пакет. Пакет был большой, непрозрачный, на редкость добротно склеенный.

Покосившись на полковника и представив себе этот бумажный мешок на его голове, Артемьев зажал в кулаке верх пакета и вдруг по-мальчишески с треском хлопнул им о ладонь. Полковник вздрогнул от неожиданности.

— Всё готово, мы начинаем грузить, — сердито сказал он.

— Товарищ Галкин, готов акт? — не отвечая, обратился Артемьев к военврачу.

Военврач вместе с жердеобразным японцем подошёл к Артемьеву и полковнику. Акт был составлен в двух экземплярах по-русски и подписан Галкиным. Японец ещё не подписался. Артемьев бегло просмотрел акт и передал его полковнику. Тот долго и внимательно читал его, остановился в одном месте, очевидно, хотел поправить, но потом передумал, дочитал до конца и коротко по-японски сказал:

— Подпишите и возьмите один экземпляр.

Жердеобразный японец подписал. Наш военврач засунул свой экземпляр в карман и нетерпеливо попросил у Артемьева разрешения отправиться для оказания помощи раненым.

— Теперь, наконец, я могу погрузить своих солдат? — обозлённый всем предыдущим и уже несколько не скрывая своей злости, спросил полковник, переходя на японский язык.

— Пожалуйста, — тоже по-японски ответил Артемьев. — У советской стороны нет возражений.

Японцы начали грузить своих раненых в самолёты. Санитары делали это грубо — безбожно встряхивали раненых на носилках и то и дело ударяли их при погрузке о края узких самолётных люков. Все три врача — долговязый и двое других — кричали резкими, свистящими головами: «Скорей, поторапливайтесь, не останавливайтесь!». И чувствовалось, что санитары ведут себя так грубо не от природной чёрствости, а из страха и необходимости на глазах у начальства показать своё пренебрежение к возвращённым из плена солдатам.

Три самолёта были уже погружены и один за другим вырливались к центру поля. Оставался четвёртый, — его погрузка тоже почти заканчивалась. Артемьев уже готов был проводить взглядом последние носилки и считать, что всё кончено, как вдруг лежавший на них раненый около самого люка резким движением сорвал с головы бумажный мешок и, прежде чем санитары успели удержать его, схватился за края носилок, приподнялся на них и, перекрывая гудение вырливавшихся вдали самолётов, закричал сначала по-русски:

— Товарищи! Спасибо!

А потом по-японски:

— Да здравствует международная солидарность пролетариата!

Растерявшиеся санитары продолжали совать носилки в люк, не обра-

щая внимания на то, что раненый упёрся спиной в обшивку самолёта и в люк вползают одни носилки.

— Да здравствует японский пролетариат! — продолжал кричать раненый, отрывая правую руку от носилок и вскидывая в воздух сжатый кулак.

Долговязый врач подскочил к нему, схватил его обеими руками за голову и за плечи, пригнул к носилкам, и санитары одним рывком ткнули носилки в люк самолёта.

Через минуту в люк были засунуты все четыре ящика с продуктами, вслед за ними влезли санитары и врачи, люк захлопнулся, и мотор заревел, метя траву.

— Передача закончена, — с трудом сохраняя самообладание, обратился к оставшемуся на земле полковнику побледневший Артемьев. — С японской стороны вопросов и претензий нет?

— Нет, — сказал, прикладывая два пальца к козырьку каскетки, японец.

— Тогда предлагаю вам, — сказал Артемьев, в свою очередь прикладывая руку к козырьку, — согласно условию (он посмотрел на часы)... Сейчас семнадцать пятьдесят пять, — через пять минут покинуть вместе с вашей машиной нейтральную зону.

Бросив на мгновение руки по швам, Артемьев повернулся через левое плечо и вместе с Середой пошёл через лётное поле туда, где ещё стояли наш пассажирский самолёт и казавшиеся совсем маленькими рядом с ним — санитарный автобус и «эмка».

Они молча прошли сто шагов, когда, разворачиваясь на восток, над их головами низко пронёсся японский самолёт. Середа вытащил из кармана платок и долго яростно махал им вслед самолёту.

— Что вы машете? — спросил Артемьев.

— Ему! Может, заметит, — ответил Середа.

Получасом позже, очень накоротке — дольше не позволяло их тяжёлое состояние — поговорив с возвращавшимися из плена нашими, Артемьев позанимствовал у Середы «эмочку», чтобы доехать до штаба. Переправившись через Халхин-гол, он по крутой дороге стал взбираться на Баин-Цаган и, едва въехав на гору, неожиданно для себя встретился с Климовичем, которого не рассчитывал увидеть раньше завтрашнего дня.

Климович на своей «эмочке» возвращался с танкистского кладбища, куда он отвозил ещё давно заказанный сапёрами в Чите и наконец доставленный оттуда большой жестяной венок с фарфоровыми цветами на могилу Русакова.

Они встретились с Артемьевым на перекрёстке трёх дорог, одна из которых вела вниз, на переправу, вторая — к Хамардабе, а третья, мало наезженная, выводила на обрыв, к видному отовсюду за много вёрст танкистскому кладбищу. В центре его, среди деревянных, обитых жестью и алюминием пирамид со звёздами, на постаменте из обломков японского оружия стоял танк командира четвёртого батальона майора Дудникова, вместе со всем своим экипажем сгоревшего при Баин-Цагане.

— Тебя-то мне и надо, — сказал Артемьев, когда они с Климовичем оба вылезли навстречу друг другу из машин, — а я был вчера у тебя дома. — И он протянул Климовичу записку Любы.

Прочитав записку, Климович спросил, правда ли, что дочь уже ходит, или это пока ещё только плод воображения жены? Услышав утвердительный ответ, он улыбнулся и, как показалось Артемьеву, собирался спросить что-то ещё о дочери, но, спохватившись, вместо этого спросил, сильно ли спешит Артемьев.

— Да, по правде говоря, надо бы поскорей доложить о сегодняшней передаче пленных, — признался Артемьев. — Пять минут поговорим с тобой — и ехать надо.

— Ну, раз пять минут — давай походим, чего ж на месте стоять?

И они пошли рядом вдоль самого края баинцаганского обрыва.

— Значит, передали пленных? — спросил Климович.

— Передали.

— Что наши рассказывают?

— Один без сознания, а другой сидел в гиринской каторжной тюрьме. Говорят, выживет, но сейчас похож на умирающего. За два месяца потерял двадцать пять килограммов. А руку, — врач подозревает, — ему нарочно срастили так, что теперь придётся опять ломать и снова сращивать. Рассказывает, что китайцев в этой гиринской тюрьме мучают ещё больше, рубят головы просто без суда, а коммунистам, когда они молчат на допросах, вливают через нос по полтора и по два ведра воды.

— Ладно, не рассказывай, — прервал Климович, — а то начнёшь жалеть, что бои кончились!

Они прошли несколько шагов молча.

— Помнишь это место?

Артемьев огляделся: кругом валялись стреляные гильзы, среди черневших в траве кусков железа кое-где белели кости.

— Здесь палатка Камацубары стояла, — сказал Климович, — и здесь я тебя после боя второй раз встретил: ты сидел и документы разбирал. Сейчас трудно сказать где, но где-нибудь здесь, шагах в двадцати отсюда.

— А ты приехал и сразу же уехал, — сказал Артемьев, — даже не поговорили.

— Я тогда злой был, — сказал Климович. — У меня из всего батальона только семнадцать танков оставалось. А сегодня, после второго пополнения, опять комплект — сорок четыре! — добавил он. — Пойдём к машинам. Тебе ехать пора! — Климович крепко одной рукой обнял Артемьева за плечи, показывая этим молчаливым движением всю силу своего дружеского чувства к нему.

— Подожди, постоим ещё минуту, — сказал Артемьев, — посмотри, какой закат кровавый.

В самом деле, вдали, за свинцовой полосой Халхин-гола, за жёлтым горбом высоты Палец, под чёрно-фиолетовым небом, над далёкой грядой отрогов Хингана, горел рождённый ветром и предвещавший ветер красный закат. Он уже опустился на горы и, разорванный их пиками, был теперь виден только в неровных промежутках между ними.

— Как будто там, за горами, кто-то идёт со знамёнами, — сказал Артемьев, вдруг вспоминая рассказ старшины о гиринской тюрьме и молчавших на допросах китайских коммунистах.

— Ветер будет, — сказал Климович.

1950—1952 гг.
Москва—Сухуми.



С. МАРШАК

★

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

СТЕПНОЙ КОЛХОЗ

Стоял он в стороне от всех дорог.
И, пролетая в полночь степью голой,
Никто и догадаться бы не мог,
Что есть внизу деревня, избы, школа.

Но день настал — и загудел мотор.
Он на поля колхоза гонит воду.
Лучом зелёным светит семафор,
Дорогу открывая теплоходу.

Шуршит асфальт под шинами колёс.
Суда проходят с нефтью и пшеницей...
Ко всем морям приблизился колхоз,
Степной колхоз приблизился к столице.

Приветливо огни горят в домах.
И, повернув на стенке выключатель,
Будённовец, колхозный председатель,
Мне говорит: — Зачем сидеть впотьмах!

ТРАКТОРИСТ

В пшенице густой, колосистой
За рошей мотор стрекотал.
Потом стрекотать перестал:
Обед привезли трактористу.

У края своей полосы
Сидел тракторист смуглолицый.
И были светлее пшеницы
Его голова и усы.

Небритый, большой, седоватый,
Землёй он и нефтью пропах.
Но сразу узнал я солдата,
Прошедшего школу в боях.

Какого он рода и края,
По речи его не поймёшь:
То скажет «ищу», то «шукаю»,
То скажет «люблю», то «кохаю»,
То «жито» промолвит, то «рожь».

Пожалуй, меж областью Курской
И Харьковской так говорят...
— Хочу я податься на курсы,—
Сказал между прочим солдат.

— Покамест,— сказал он,— я в тайне
От всех эту думку держу:
Работать хочу на комбайне.
Семь лет трактора я вожу.

Учиться нам, брат, не впервые —
Учился в цеху и в полку.
На курсы идут молодые,
Нельзя ж отставать старику. —

Обед свой доел он в молчанье,
Потом он сказал мне:—Пока!
А я позабыл на прощанье
Узнать, как зовут старика.

Исчез он вдали —безымянный
Работник Советской страны,
Участник великого плана,
Участник великой войны.

В ПУТИ

Скрипели возы по дорогам.
Едва шелестела листва.
А в скошенном поле за стогом
Сверкала огнями Москва.

Мерцала огней вереница,
А в поле была тишина.
И тенью бесшумная птица
Над полем кружилась одна.

Простора открылось так много
С тех пор, как скосили траву,
И странно в пути из-за стога
Увидеть ночную Москву.

Пронизан и высушен зноем,
Вдали от гудящих дорог,
Дремотой, довольством, покоем
Дышал этот сумрачный стог.

И только огней вереница —
Граница небес и земли —
Давала мне знать, что столица
Не спит за полями вдали.

СТИХИ О СЛОВЕ

1

Когда мы попадаем в тесный круг,
Где промышляют тонким острословьем
И могут нам на выбор предложить
Десятки самых лучших, самых свежих,
Ещё не поступивших в оборот
Крылатых слов, острот и каламбуров,—

Нам вспоминается широкий мир,
Где люди говорят толково, звучно
О стройке, о плотах, об урожае,
Где шутку или меткое словцо
Бросают мимоходом, между делом,
Но эта шутка дельная острей
Всего, чем щеголяет острословье.

И нам на ум приходит, что народ,
Который создал тысячи пословиц,
Пословицами пользуется в меру
И называет золотом молчанье.

2

Когда вы долго слушаете споры
О старых рифмах и созвучьях новых,
О вольных и классических размерах,
Приятно вам услышать за окном
Живую речь без рифмы и размера,
Простую речь: — А скоро будет дождь!

Слова, что бегло произнёс прохожий,
Не меж собой рифмуются, а с правдой —
С дождём, который скоро прошумит.



НАЗЫМ ХИКМЕТ

★

ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ

Драматическая поэма

С турецкого

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Пролог

За занавесом слышен голос глашатая.

Глашатай. Слушайте, слушайте, слушайте, жители нашего города, слушайте, слушайте, слушайте повеление государыни! Слушайте, наши жители, все от малого и до старого, от семи лет и до семидесяти, слушайте, слушайте, слушайте и не говорите, что вы не слышали...

Глашатай доходит до середины сцены, перед закрытым занавесом, останавливается, целует свиток, прикладывает его ко лбу, потом разворачивает и начинает читать.

Глашатай. Жители города Арзена, от мала до велика, от семи лет и до семидесяти, ко всем вам слово наше: мы, дочь шаха Селима, государыня ваша Мехменэ Бану, мы, которые справедливость меряем на ювелирных, а не на дровяных весах, мы, которые в дни осады нашего города, по примеру воительницы Арабузенги, на поле битвы бросали наземь самых славных богатырей, мы, которые ивовой ветви нежней, мы, чьи волосы золотистые ниже колен, объявляем, чтоб слышал весь Арзен: наша единственная сестра больна уже сорок дней. Тому, кто средство найдёт, поможет нашей беде, болезнь её исцелит, — пожелает — отдадим сорок стран, пожелает — сокровищ наших караван, сорок верблюдов караван. Жители города Арзена, от мала до велика, от семи лет и до семидесяти, слушайте слово наше...

Глашатай целует свиток, сворачивает, прикладывает его ко лбу и идёт дальше.

Глашатай. Слушайте, слушайте, слушайте, жители нашего города, слушайте, слушайте, слушайте повеление государыни...

Уходит.

Картина первая

Комната во дворце Мехменэ Бану. На софе лежит Ширин. Ночь. Горят светильники. Мехменэ Бану, визирь, главный лекарь, звездочёт, кормилица, Сервиназ, Ширин.

Право первой постановки предоставлено Московскому театру драмы.

Визирь и главный лекарь стоят у дверей. Звездочёт у окна смотрит в подзорную трубу на небо. Мехменэ Бану сидит у изголовья Ширин; она беззвучно плачет, зажав голову руками. У её ног, раскачиваясь из стороны в сторону, стоит на коленях кормилица. Сервиназ стоит по другую сторону софы. Большим опахалом она обмахивает Ширин. Из окна слышен голос глашатая.

Голос глашатая. Слушайте, слушайте, слушайте, жители нашего города, слушайте, слушайте, слушайте повеление государыни...

Голос глашатая, удаляясь, становится всё тише.

Мехменэ Бану (поднимает голову, смотрит по сторонам, словно ищет помощи). Ах, мой визирь...

Визирь. Да, госпожа моя...

Мехменэ Бану. Послушай, главный лекарь...

Главный лекарь. Прикажите...

Мехменэ Бану. Ты, звездочёт...

Звездочёт. Я жду распоряженья...

Мехменэ Бану. Кормилица!

Кормилица. Пусть твоя кормилица умрёт ради тебя! Здесь я, глубина моего сердца... здесь я, у ног твоих...

Мехменэ Бану снова принимает прежнее положение, плачет. Из окна слышится голос глашатая.

Голос глашатая. Жители города Арзена! Наша единственная сестра больна уже сорок дней...

Голос глашатая затихает.

Звездочёт (про себя). Не знает она, что звёздам нет никакого дела — умрёт её сестра или нет!

Визирь (про себя). Как она красива, эта женщина! Боже мой, как она красива... даже тогда, когда плачет.

Сервиназ (про себя). У меня уже руки отваливаются от усталости...

Главный лекарь (про себя). Ах, государыня моя, сейчас ты скорбишь и плачешь так беспомощно, вот точно моя жена, а стоит твоей сестре умереть, сорвёшь гнев на мне...

Мехменэ Бану (снова поднимает голову, смотрит на окружающих). Ах, мой визирь! Мой звездочёт! Мой лекарь! Скажите, никакой надежды нет? Сестра моя, единственная моя... она умирает?

Кормилица. Не убивайся, дитя моё... Ноги твои целовать буду!

Мехменэ Бану (принимает прежнее положение. Про себя). Молчат... И лучше, что молчат... Если б сказали, что нет надежды, я умерла бы раньше, чем Ширин!.. Сурьма совсем размазалась, лезет в глаза... от слёз будут падать ресницы... Будь они прокляты — и сурьма и ресницы!

Звездочёт (про себя). Сочинить бы рубайю к этому случаю... Если начать, скажем, так: «Звёзды...».

Кормилица (про себя). Смотри-ка, я и не заметила, — борода-то у визира как поседела!

Звездочёт (про себя). Не получается... Нельзя начинать со звёзд. Не выходит. Стало быть... Быть? Ага, есть! «Ты был рабом иль шахом», теперь рифму на «шахом»?..

Сервиназ (про себя). Как меня раздражает, что мамка всё время раскачивается! Дать бы ей опахалом по голове!

Визирь (про себя). Не могу наглядеться на её лицо. Как раздуваются её ноздри, когда она плачет!

Мехменэ Бану (смотрит в лицо Ширин. Про себя). Хоть бы шевельнулась! Обняла меня за шею и сказала: «Сестра!».

Главный лекарь (про себя). Всё-таки ты, государыня, вся в отца... А отец твой, шах Селим, за пять минут до своей смерти приказал отрубить голову моему учителю...

Звездочёт (про себя). Вторая строка готова. Начнём третью. «Звёзды» пойдут в эту строку. Как сказать? «Звёзды...» Нет. «О звёздах...» Нет. «Звёздам!»

Главный лекарь (про себя). Надо спасти свою шкуру из твоих лап. Из дворца удрать нетрудно... Завтра в Индию уходит караван Али-заде... За тысячу золотых Али-заде тайно увезёт меня из города!

Визирь (про себя). Какое счастье, что я уже старик, — я не увижу, как состарится это прекрасное лицо!

Звездочёт (про себя). «Иль прахом стало давно!» Неплохо получилось! Повторим, чтобы не забыть:

Ты был рабом иль шахом — всё равно,
Смеялся или плакал — всё равно,
И звёздам нету никакого дела,
Живёшь ли ты иль прахом стал давно.

Главный лекарь (про себя). Тысячу золотых, пожалуй, много будет для Али-заде... Этот скряга согласится и на меньшее... А вдруг она поправится? А если нет? Ей-богу, Мехменэ Бану прикажет отрубить мне голову!

Сервиназ (про себя). Есть хочу. И пить хочу. В горле пересохло.

Главный лекарь (про себя). Дам Али-заде семьсот золотых. Семьсот тоже много. Пятьсот. А если больная поправится?

Мехменэ Бану (кормилице). Дай мне воды.

Кормилица. Сейчас принесу шербет. Ты любишь малиновый шербет...

Мехменэ Бану. Нет, воды.

Сервиназ (про себя). Будет лакать при мне воду!

Кормилица уходит.

Мехменэ Бану (попрежнему глядя в лицо Ширин, про себя). Ах, если бы была жива наша мать!.. А если б я заболела, Ширин горевала бы так? Или думала бы о том, что вступит на трон? Невольно думала бы... И, может быть, даже радовалась бы... Разве я радовалась, что вступаю на трон, когда умирал мой отец?.. Почему я думаю об этом?

Визирь (про себя). Она забылась... Кто знает, о чём она думает? Если бы до конца света она сидела так, — я всё бы смотрел на неё!

Мехменэ Бану (про себя). Хоть бы шевельнулась! Сестричка моя! Хоть бы пальчиком шевельнула! Какие у неё длинные ресницы! Длиннее моих?

Звездочёт (про себя). Какое молчание! Далеко, далеко, там, где звёзды, там небо так же безмолвно и тихо...

Мехменэ Бану (радостно вскрикнув, вскакивает с места). Шевельнулась! Вы видели? (Показывает.) Сестра моя вот так пошевелила рукой! Вы видели? Отвечайте же! Я вам говорю! Вы видели? Или вы ослепли? (К Сервиназ.) Ты тоже не видела? Видели ли твои глаза, чтоб им высочить? (Неожиданно смягчаясь.) Ты ведь видела, Сервиназ, видела?

Сервиназ. Видела, моя государыня. Вот этой рукой, вот так...

Мехменэ Бану (главному лекарю). Что ты стоишь там? Ведь ты же лекарь! Подойди, осмотри больную. Говорю тебе, она пошевелила рукой. Ты что, не веришь мне?

Главный лекарь (подходит к больной, берёт её руку). Верю, госпожа моя. Разве я смею не верить?

Мехменэ Бану. Вот этой... вот этой рукой она шевельнула. Значит, и ты видел?

Главный лекарь. Видел, госпожа.

Мехменэ Бану (звездочёту). Посмотри же на звёзды, звездочёт! Посмотри на звезду моей Ширин. Есть какие-нибудь перемены? Ну?

Звездочёт (смотрит в трубу). Есть... Да-а... Звезда Ширин-султан, выйдя из созвездия Лиры...

Мехменэ Бану (прерывая звездочёта, кричит). Вы лжёте! Все вы лжёте! Ложь! Ложь!

Неожиданно умолкает.

Главный лекарь (про себя). Надо бежать...

Мехменэ Бану (про себя). Я так визжала!.. Как отворачивательно звучит мой голос!

Визирь (про себя). Как она прекрасна в гневе!

Мехменэ Бану (говорит медленно, тихо, но угрожающе). Ни от кого из вас нет проку. Вот вы все здесь — визири, главные лекари, звездочёты! Моя Ширин умирает в пятнадцать лет! Будь проклят этот город! С утра кричит глашатай, и никто не пришёл на помощь! Я знаю, что мне делать. Видите, я больше не плачу и не кричу. Вместе с телом моей сестры из ворот дворца вынесут и ваши отрубленные головы. Я прикажу отрубить вам головы. Тебе, главный лекарь, тебе, звездочёт, (визирю) и тебе тоже.. И всем в городе от семи до семидесяти лет!.. Всем! Всем!..

Входит кормилица с кувшином в руках, наливает воду в чашу, протягивает Мехменэ Бану. Мехменэ Бану пьёт.

Кормилица. От главных ворот прислали сказать... Какой-то человек хочет предстать перед тобой. Больную лечить...

Мехменэ Бану. Скорей ведите сюда! Может быть, он поможет...

Визирь и кормилица выходят. Главный лекарь тоже хочет уйти.

Мехменэ Бану (главному лекарю). Ты останься. Ты — человек, потерявший надежду. Стоит тебе сказать ему слово — и он отчаётся...

Звездочёт (про себя). Если этот человек тоже не сможет вылечить больную...

Главный лекарь (про себя). Если он её вылечит, не быть мне главным лекарем. Ах, если бы сейчас началось землетрясение или пожар!..

Мехменэ Бану (про себя). Интересно, молодой он или старый?

Главный лекарь (про себя). Если я сшибу этот светильник...

Мехменэ Бану (про себя). Он спасёт мою Ширин... я чувствую...

Главный лекарь (про себя). С ума можно сойти!..

Звездочёт (про себя). Если он не вылечит её — и нам конец!

Сервиназ (про себя). До чего спать хочется! Сейчас упаду.

Мехменэ Бану (про себя). Он спасёт мою Ширин!..

Главный лекарь (про себя). Надо бежать. Но как? Немедленно бежать...

Звездочёт (про себя). «И звёздам нету никакого дела». Звёздам, может быть, и нет дела, но мне...

Мехменэ Бану (про себя). Молодой или старый?

Звездочёт (про себя). Не хочу умирать... Умирать... (Незаметно для себя произносит вслух.) Не хочу умирать...

Мехменэ Бану (звездочёту). Что ты сказал?

Звездочёт. Я? Я ничего не говорил, госпожа моя...

Мехменэ Бану (Сервиназ). Подай зеркало.

Сервиназ кладёт опахало, берёт серебряное зеркало, держит его перед Мехменэ Бану. Мехменэ Бану поправляет платок, проводит пальцами по бровям.

Мехменэ Бану (про себя). А правду говорят, что я очень красива.

Главный лекарь (про себя). Надо бежать.

Звездочёт (про себя). Пусть главному лекарю отрубят голову. И поделом!

Мехменэ Бану (про себя). Я думала, выпали ресницы, ничего подобного. Только глаза немного покраснели.

Звездочёт (про себя). А я в чём виноват? Палач поставит на колени... Потом поднимет топор... Потом ударит пониже затылка, моего затылка!.. Потом... мне страшно! Пройти бы по нужде...

Мехменэ Бану (к Сервиназ). Убери.

Сервиназ кладёт зеркало и снова начинает махать опахалом.

Звездочёт. Если вы разрешите, государыня, я поднимусь на башню и оттуда буду наблюдать за звёздами...

Мехменэ Бану. Нет, останься. Может быть, он что-нибудь у тебя спросит...

Звездочёт (про себя). Вместе с лекарем взять за горло этих двух баб... Я знаю потайную лестницу... Убежим... Конечно, убежим! Тут не до шуток!

Звездочёт делает шаг по направлению к Мехменэ Бану, которая стоит к нему спиной. Главный лекарь тоже двинулся с места. Сервиназ сонно машет опахалом. В этот момент входят визирь, кормилица и незнакомец.

Незнакомец с подчёркнутым уважением приветствует Мехменэ Бану.

Незнакомец. Господь с тобою, государыня. (Бросает взгляд на главного лекаря и звездочёта.) Да будет прошлым горе твоё!

Мехменэ Бану (про себя). Что за урод!

Незнакомец. У вас есть больная? (Показывает на Ширин.) Она?

Мехменэ Бану. Ты из Арзена?

Незнакомец. Нет.

Мехменэ Бану. Ты лекарь?

Незнакомец. Нет.

Мехменэ Бану. Звездочёт?

Незнакомец. Нет.

Мехменэ Бану. Ты индус?

Незнакомец. Нет... Индусы красивы. А ты, как только я вошёл, подумала: «Что за урод!».

Мехменэ Бану (испуганно). Откуда ты узнал?

Незнакомец. Давайте посмотрим больную.

Незнакомец подходит к Ширин, наклоняется над нею, слушает пульс, поднимает ей веки, выпрямляется.

Незнакомец. Слух о красоте твоей сестры облетел все страны. Однако я не предполагал, что она так красива. Сказать тебе, о чём ты думаешь сейчас?

Мехменэ Бану. Нет, нет. Не надо...

Незнакомец. Наша больная в опасности. Неизвестно, протянет ли до утра. Впрочем, если говорить правду, она не проживёт и часа.

Мехменэ Бану. Не это ли пришёл ты сказать мне?

Незнакомец. Нет, я пришёл сказать тебе, что вылечу твою сестру.

Мехменэ Бану. Слава богу!

Незнакомец. Но у меня есть три условия.

Мехменэ Бану. Проси, что хочешь!

Незнакомец. Мне нечего просить у тебя. Я не хочу сорока твоих стран, и у меня нет сорока верблюдов, чтобы увезти твои сокровища. Узнай это, дочь шаха Селима, Мехменэ Бану!

Мехменэ Бану. Я принимаю твои условия!

Незнакомец. Если так (указывает на Сервиназ), отошли эту девушку, она устала и голодна. Твой звездочёт хочет пройти по нужде, отпусти его.

Мехменэ Бану. Ступайте. (К Сервиназ.) Пришли сюда Гюльтер.

Незнакомец. Нет. Никто не должен сюда входить.

Мехменэ Бану. Хорошо...

Незнакомец. Ещё ты должна приказать — пусть построят дворец для твоей сестры.

Мехменэ Бану. Для моей Ширин? Не один — а тысячи дворцов я велю построить!

Незнакомец. Что касается третьего условия... (Оборачивается к главному лекарю.) Ты ошибаешься, главный лекарь. Я не собираюсь занять твоё место. Нет, я вовсе не дьявол. Я просто научился понимать, о чём думают люди. Если немного потрудиться, это сможет всякий. (Обернувшись к Мехменэ Бану.) Моё третье условие... От него зависит выздоровление и жизнь твоей сестры. (Молчание.) Я пришёл издалека, мне хочется пить. Дайте мне воды.

Мехменэ Бану (кормилице). Подай.

Кормилица (подавая воду). На здоровье!

Незнакомец (пьёт). Вода ваша, как сахар.

Кормилица. Мы привозим её из родника Железной горы для дворца.

Незнакомец. Знаю. В Арзене нет питьевой воды. В фонтанах не вода, а гной.

Мехменэ Бану. Ты не сказал своего третьего условия?

Незнакомец. Ты очень любишь Ширин, Мехменэ Бану. Ни одна сестра не любила так свою сестру и не будет любить. Чтобы спасти сестру свою, ты готова корону и трон свой... (Неожиданно обращается к визирю.) Ты ошибаешься, визирь, не спеши, дослушай до конца. (Обернувшись к Мехменэ Бану.) Для того чтобы спасти сестру свою, ты готова отдать корону и трон. Знаю. Но в этом нет нужды. (Молчание.) Пить хочу... (Сам берёт воду, пьёт.) И правда, вода ваша, как ледяной шербет.

Кормилица. На здоровье!

Незнакомец. Но жители Арзена гибнут без воды. В фонтанах не вода, а грязь. (Неожиданно обернувшись к лекарю.) Опять не угадал ты, главный лекарь, опять ошибся... Провести воду в город — не это моё третье условие. Я знаю, сколько трудились, чтобы провести в город воду с Железной горы.

Визирь. Невозможно пробить скалы.

Незнакомец. Знаю. (Обернувшись к главному лекарю.) А, главный лекарь, ты думаешь, что нашёл выход, — ты решил ни о чём не думать! Но ведь это тоже мысль!

Мехменэ Бану. Твоё третье условие?

Незнакомец. Ты сердилась на меня, что я всё тяну... И если бы ты не была уверена, что я спасу твою сестру, ты давно бы приказала отрубить мне голову.

Мехменэ Бану. Твоё третье условие?

Незнакомец. Ты должна кое-чем пожертвовать, чтобы спасти сестру. Но сможешь ли ты пожертвовать этим или нет, я не знаю.

Мехменэ Бану. Что ты требуешь от меня?..

Незнакомец (лекарю). Смотри-ка, ты снова начал думать, главный лекарь, и как скверно! Но я сам знаю, что я достаточно стар, уродлив и беден, чтобы требовать это от женщины.

Мехменэ Бану. Чего же ты требуешь?

Незнакомец. Ты должна пожертвовать, но не мне, а твоей сестре, ради неё.

Мехменэ Бану. Ты знаешь, о чём я подумала?

Незнакомец. Да. Ты думаешь: «Чтобы жила моя сестра, я может быть, должна умереть.. Умру», — думаешь ты. — «Особенно если это будет не больно и быстро», — думаешь ты. И вот тебе в сердце запала печаль, ещё не ставшая мыслью. (Неожиданно обернувшись к визирю.) Нет, визирь, твоей государыне не нужно будет отдавать жизнь. Однако ей нужно будет отдать нечто такое, что ты предпочёл бы, чтоб она отдала жизнь.

Визирь. Молчи... Я понял, понял! Будь ты проклят! (К Мехменэ Бану.) Прогоните этого колдуна!

Незнакомец (к Мехменэ Бану). Уйти мне?

Мехменэ Бану (очнувшись). Что? Куда? Ты же собирался спасти мою сестру?

Визирь. Не давайте того, что он требует, госпожа... Прикажите отрубить ему голову!

Незнакомец (к Мехменэ Бану). Как красиво лицо твоё, дочь шаха Селима! Кожа твоя нежней лепестков розы, что распускается раз в семь лет. Чело твоё подобно заре. Брови твои — тростник, глаза твои — серны, в их темноте золотистые крапинки. Нос твой из мрамора выточен, губы твои — такая клубника только в Стамбуле растёт, вишня такая только в долине Болу... Как ты красива, дочь шаха Селима, ты даже красивей сестры твоей!

Визирь. Заставьте этого дьявола замолчать!

Незнакомец. Дочь шаха Селима, дочь шаха Селима! Эта кожа станет сухим чинаровым листом, жёлтым, грубым, шершавым листом... Вылезут брови... Глаза твои станут такими же, как глаза мёртвой овцы... Нос удлинится... Губы твои, как лохмотья нищей, будут висеть... Нищей из города твоего... Но всё-таки, Мехменэ Бану, ты не будешь такой безобразной, как я!

Мехменэ Бану. Что говоришь ты? Зачем ты это говоришь?

Визирь. Проклятый! Заткните ему рот!

Незнакомец. Я говорю своё третье условие, Мехменэ Бану. Третье условие, чтобы не умерла сестра твоя. Ты отдашь свою красоту, и сестра твоя будет жить.

Визирь. Ты не можешь сделать это, госпожа моя! Ты не вправе принять такое условие! За одну твою ресницу сто тысяч...

Мехменэ Бану. Молчи...

Незнакомец. Я знаю, о чём ты думаешь, Мехменэ Бану. Как быстро ты думаешь, как мечутся твои мысли! Но теперь ты уже ни о чём не думаешь. Ты не думаешь даже о том, чтобы не думать... Теперь ты спокойна.

Мехменэ Бану. Я ни о чём не думаю... Хорошо... Я принимаю твоё третье условие...

Незнакомец. И я не вру. Лицо твоё умрёт, состарится, но сердце твоё, но тело твоё останутся такими же свежими, такими же жадными! Не думай: «Слава богу!». Нет! Было бы лучше, чтоб они постарели, чтоб умерли и они.

Визирь. Государыня наша... Госпожа моя! Единственная моя!..
Мехменэ Бану. Не будем тянуть... Я согласна. Говорю вам, я согласна... Вы слышите? Я согласна!
Незнакомец. Сядь сюда, дочь моя.

Незнакомец сажает Мехменэ Бану спиной к зрителям. Берёт большую серебряную чашу, стоявшую в углу, выливает в неё содержимое бутылки, которую он вынул из кармана. Из чаши поднимается пламя. Незнакомец вынимает из-за пазухи розу и кусочек сухого дерева, бросает их в огонь. Пламя поднимается ещё выше. В это время перепуганная кормилица читает молитвы.

Незнакомец (к Мехменэ Бану). Не бойся, дочь моя, тебе совсем не будет больно. Возьми руку твоей сестры. (Мехменэ Бану попрежнему сидит спиной к зрителям. Она берёт руку Ширин). Это безгрешный и чистый огонь, и потому, что он такой безгрешный и чистый, — он безжалостный. Как красота этой розы, горящей в огне, превратится в пепел и смешается с пеплом засохшей ветви, так твоя красота смешивается со смертью, окутавшей сестру твою, и победит смерть. (Главному лекарю.) Ты можешь итти. (Лекарь выходит.) И ты ступай, визирь...

Визирь. Нет, я не уйду. Я должен...

Незнакомец. Ты прав, останься.

Мехменэ Бану (кормилице). Не плачь, кормилица... Если бы я умирала, разве Ширин не поступила бы так же?

Визирь. Никогда! Клянусь твоей головой! На это ни одна женщина, ни один мужчина... никто!..

Мехменэ Бану. Визирь мой, зачем ты говоришь такие горькие слова? Ради меня молчи... Молчи... Смотри мне в лицо. Смотри мне в лицо, чтобы я по твоему лицу узнала, что делается со мной...

Незнакомец (к Мехменэ Бану). Думай о сестре... Сестра твоя снова, как и прежде, как джейран, будет бегать по дворцовым садам. Она будет смеяться, кушать, спать, просыпаться. Она будет жить.

Мехменэ Бану. Смотри мне в лицо, визирь, смотри мне в лицо... Только молчи... молчи... Думай, как я, только об одном: моя сестра не умрёт!.. Моя Ширин!..

Визирь следит за лицом Мехменэ Бану и постепенно меняется в лице.

Незнакомец. Ты умеешь любить, дочь шаха Селима... Ты умеешь любить.

Мехменэ Бану. Как побелело твоё лицо, визирь. Почему ты отводишь глаза от меня? Ведь бывало, ты не мог на меня наглядеться, думаешь, я не замечала?

Незнакомец. Видишь? Твоя сестра понемногу оживает. Не отворачивайся от неё. Не шевелись.

Мехменэ Бану. Что с тобой, визирь? У тебя старое лицо, но совсем не уродливое. Лицо моей матери стало старым, но не стало уродливым. А моё? Кормилица, принеси зеркало, держи его предо мной. Нет... Не хочу... Потом посмотрю... Потом.

Визирь. Довольно! Довольно, ради аллаха! Встаньте!.. Бросьте руку сестры... (Выхватывает кинжал, хочет ударить себя в грудь. Незнакомец бросается к нему и отнимает кинжал.)

Кормилица. Ай!..

Мехменэ Бану. Что он делает?

Незнакомец. Стой! Не двигайся... Сестра твоя просыпается.

Визирь падает на софу.

Визирь. Почему ты остановил меня, будь ты проклят!..

Незнакомец. Ты любишь, как любят трусы. Только для себя. Ты так любишь, что тебе и в голову не пришло убить меня, вместо того чтобы поднять на себя руку...

В это время огонь в чаше гаснет

Незнакомец (к Мехменэ Бану). Пламя погасло, дочь моя... Твоя сестра спасена.

Мехменэ Бану. Моя Ширин!

Ш и р и н чихает.

Незнакомец. Смотри. Вот она открывает глаза. Она спасена! Отпусти её руку.

Визирь. Пусть бог покарает всех нас!

Мехменэ Бану. Сестра моя, моя Ширин! Голубка моя!..

Ш и р и н приподнялась. Мехменэ Бану падает, уткнувшись лицом в колени Ш и р и н, кормилица бросается Ш и р и н на шею. Ш и р и н как будто ничего не видит и не слышит. В это время незнакомец тихонько выходит.

Кормилица. Слава господу моему!.. Слава господу!..

Ширин (узнаёт кормилицу, но не замечает уткнувшейся в колени, спиной к зрителям, Мехменэ Бану). Кормилица... я была очень больна... а теперь я поправилась? Где сестра моя? Пошлите же за сестрой. (Мехменэ Бану поднимает голову. Ширин замечает Мехменэ Бану.) Кто эта женщина?

Картина вторая

Внутренний сад дворца, строящегося для Ш и р и н. К входу во дворец ведёт широкая лестница. В саду яблони, на них висят яблоки.

Ферхад, стоя на высокой лестнице, над левой створкой двери, рисует орнамент карниза. Прямо под лестницей Ферхада работает над орнаментом Эшреф. С левой стороны дверей Бехзад красит орнамент лестницы. Старший мастер и дервиш осматривают дворец. Один из рабочих смешивает краски, другие работают.

Старший мастер (дервишу). Вот как кончат орнамент, так дворец Ширин-султан готов...

Дервиш. Сколько дней и сколько человек у вас работало?

Старший мастер. Нас работало четыреста душ... С тех пор как заложен фундамент, одиннадцать месяцев прошло.

Дервиш. А сколько лет стоять будет?

Старший мастер. Ну что же, если не сгорит, не разрушат, хорошо следить будут — тысячу лет проживёт.

Дервиш. А потом?

Бехзад (оторвавшись от работы). Потом сгниёт, умрёт, не до конца же света стоять ему!

Дервиш. Если так, чего вы стараетесь?

Бехзад. Чего стараемся? А зачем ты дышишь? Что ж, по-твоему, бросить нам работу, раз он может развалиться через тысячу лет? Да хоть бы завтра! Мы построим, он развалится — снова построим.

Дервиш. Снова развалится.

Бехзад. А мы снова построим. Главное не в том, что разрушится, а в том, чтобы сделать. (Указывая на Ферхада, работающего на

лестнице.) Видишь этого парня на лестнице? Того, что на карнизе орнамент делает. Не этот внизу, а тот, наверху. Сын мой. Ферхадом зовут. Сегодня уже четвёртый день не ест, не пьёт и не спит...

Старший мастер. По ночам при зажжённых факелах...

Бехзад. Работает!

Старший мастер. Я ему сколько раз говорил, мать его приходила, плакала, отец бранился...

Бехзад. Всё без толку. Раз мой сын взялся за работу, до тех пор, пока он, как сердце его желает, не закончит орнамент и в незаметном месте не напишет: «Сработано мастером Ферхадом» и не поставит число, до тех пор не выпустит кисти из рук.

Дервиш. И вы не вечны, и ваш орнамент. Все вы умрёте.

Бехзад. Мы живём, отец, живём! (Показывая на свой орнамент.) Посмотри вот хоть мой орнамент. Сын мой превзошёл меня, но моя оранжевая краска всё ещё лучше, чем его!

Старший мастер. Ты прав, Бехзад-уста. Ты в краске сильнее. Но в рисунке за Ферхадом никому не угнаться. Он всё что-то выдумает! Особенно этот орнамент карниза хочется увидеть... Закончил бы он скорее, убрать бы лестницу да поглядеть...

Эшреф. Мастер!

Старший мастер. Иду, Эшреф-ага. (Дервишу.) Ты здесь посиди немного в тени, потом пойдём, я тебе покажу дворец.

Старший мастер подходит к Эшрефу.

Эшреф (показывая свой орнамент). Посмотри-ка, что скажешь? Выходит?

Старший мастер. Ну что ж... Неплохо. Очень хорошо получилось... Только листья... Листья как будто немного того...

Эшреф. Что там с листьями?

Старший мастер. Что с листьями? Послушай, Эшреф-ага, в нашем деле, как спросишь: «Что там?», — сразу дело затрудняется... То есть наш брат, рисовальщик, словами объяснить не может, а знает, какая краска, какая линия где и почему годится, а где не годится...

Бехзад (не отрываясь от работы). Ей-богу, мастер, что до меня, то, по-моему, рисовальщику мало знать это, надо уметь ещё и объяснить где, что и почему.

Старший мастер. Ты прав, Бехзад-уста. Но такой рисовальщик бывает один на тысячу.

Бехзад. Мой Ферхад такой.

Старший мастер (про себя). У этого Бехзада повсюду сын да сын...

Эшреф (исправил несколько мест в орнаменте). Теперь как?

Старший мастер. Ну что ж? Получилось... получилось... Но сказать тебе по правде, сынок Эшреф, это наше ремесло не дело таких, как ты, знатных молодых...

Эшреф. Что ты хочешь сказать?

Старший мастер. Ты на нас не гляди, говорю тебе. Недаром говорят — если б дьявол себе не нравился, окошел бы. Вот и мы, мастера-вые, плотники, каменщики, кузнецы, ювелиры и прочие, своё ремесло до небес перевозносим. А в конце концов что ж? Рисовальщик есть рисовальщик. Так ведь, Бехзад-уста?

Бехзад (не отрываясь от работы, насмешливо). Так. Мать Эшреф-аги — кормилица во дворце, государыни нашей кормилица.

Старший мастер (Эшрефу). Я это и хотел сказать, Эшреф-ага. Ведь по одному её слову...

Бехзад. Ты мог бы стать наместником в любой стране!

Эшреф. Я хочу быть рисовальщиком.

Старший мастер. Тебе виднее... Но всё-таки быть заместителем...

Эшреф. Я хочу стать рисовальщиком, И стал уже.

Рабочий, готовящий краски (кричит с места). Мастер! Я смешал рубиновую краску.

Старший мастер. Иду. (Отходит от Эшрефа, снова глядит на его орнамент, останавливается.) Эти жёлтые цветы надо бы чуть посветлее сделать... Но тебе виднее, Эшреф-ага... Всё же сделай посветлее. (Отходит к рабочему.)

Эшреф (про себя). Делают из меня круглого дурака... Если ты им чужой да хочешь заниматься их ремеслом, — пропал. Что там с этими цветами? Почему посветлее? Что за чёрт! Почему это мне не удаётся? (Сверху на Эшрефа начинает капать краска. Эшреф кричит.) Эй, Ферхад, ты меня всего запачкал... Краску льёшь! (Краска продолжает капать.) Тебе говорят, осторожней! (Краска продолжает капать.) Эй, оглох ты там, что ли? (Эшреф начинает трясти лестницу).

Старший мастер (подходит). В чём дело, Эшреф-ага?

Бехзад (подходит). Что случилось?

Эшреф. Ферхад опрокинул краску...

Старший мастер. Не может быть. Разве Ферхад опрокинет краску?

Эшреф. Посмотри, как капает. Или краску опрокинул, или с кисти у него капает.

Бехзад. Мой сын ни капли с кисти на землю не уронит.

Краска начинает литься всё сильнее.

Бехзад (кричит). Ферхад, сынок!

Старший мастер. Что с ним случилось?

Бехзад. Ферхад! Не отвечает даже. (Эшреф трясёт лестницу.) Пойди, Эшреф-ага, не тряси лестницу. Я поднимусь, посмотрю. (Начинает подниматься по лестнице.)

Эшреф (про себя). Может, умер? Даже не шевельнётся... Хоть бы сдох!

Старший мастер (про себя). Странное дело, стоит там, прислонившись к стене. Ни рукой, ни ногой не пошевелит.

Бехзад (добрался до Ферхада, кричит вниз). Он уснул! Уснул здесь. Но какой орнамент! А тюльпаны! Вот, шельмец, чем это он их только рисовал? В мире не было таких тюльпанов! Спит сладким сном, спит стоя, как лошадь молочника!

Старший мастер. Устал за четыре дня.

Бехзад. Не разбудишь, хоть голову отрежь, не проснёшься!

Старший мастер. Может, у него обморок?

Бехзад. Да нет, какой там обморок!

Старший мастер. Спускай его вниз, Бехзад-уста! (Подмастерьям.) Помогите мастеру!

С помощью подмастерьев Бехзад на руках спускает Ферхада на землю, несёт к яблоне, под которой сидит дервиш. Снимает с себя рубашку, кладёт под голову Ферхада.

Старший мастер (Эшрефу). Пойдём, Эшреф-ага, посмотрим на орнамент Ферхада.

Эшреф (про себя). Он мастер Ферхад, а я Эшреф-ага, но я вас ещё заставлю называть меня мастером. Да, да, вы ещё будете звать меня Эшреф-уста!

Старший мастер (начинает взбираться по лестнице). Ты не пойдёшь, Эшреф-ага?

Эшреф. Что толку смотреть на орнамент Ферхада?

Старший мастер. Смотреть на красоту — доброе дело.

Начинает взбираться по лестнице. Эшреф тоже становится на первую ступеньку.

Бехзад (кричит из-под дерева). Эшреф-ага!

Эшреф. Что там?

Бехзад. Я возьму немного воды из твоего кувшина? У тебя дворцовая вода, свежая. А у нас известно какая...

Эшреф. Зачем?

Бехзад. Хочу губы Ферхаду смочить. Потрескались...

Эшреф (про себя). Не давать воды... Стыдно, Эшреф... Разве можно не давать воды, если человека мучает жажда?

Старший мастер (взобрался наверх. Рассматривает орнамент Ферхада). Ну и мастер этот Ферхад! Золотые руки!.. Ей-богу, Бехзад-уста, такого зелёного цвета в жизни не видел! Да и не увижу. Сын твой и в краске обогнал тебя.

Бехзад. Нет, до этого ещё не дорос, мал. (Эшрефу, который поднялся наверх и стоит теперь рядом со старшим мастером.) Так можно взять воду, Эшреф-ага?

Эшреф. Сейчас спущусь, сам дам.

Бехзад. Да ты не беспокойся.

Эшреф. Не трогай! Я сам налью.

Старший мастер (показывая Эшрефу орнамент). Ну как, Эшреф-ага? Видал такие тюльпаны? А цвет зелёный каков? На завиток на этот погляди...

Эшреф. Завидуешь?

Старший мастер. Я? Кому?

Эшреф. Ферхаду!

Старший мастер. Что врать, был бы я молод, лопнул бы от зависти. По правде говоря, и сейчас сердце у меня и радуется и щемит. Отца, и того задело... Верно, Бехзад-уста?

Бехзад. Не знаю. (Кричит Эшрефу.) Ты как находишь, Эшреф-ага? Действительно мои краскам...

Эшреф. Куда там твоим краскам! Особенно рядом с этой зелёной.

Бехзад. Ладно, ладно...

Эшреф и старший мастер спускаются. Эшреф берёт свой кувшин и протягивает его Бехзаду, который подошёл к лестнице.

Эшреф. Держи.

Эшреф, передавая, роняет кувшин. Кувшин разбивается.

Эшреф. Тьфу, чёрт...

Бехзад (сердито). Вот, тоже ещё...

Эшреф. Не нарочно ведь!

Бехзад (передразнивает). Нарочно, не нарочно!..

Повсрачивается, уходит. Эшреф догоняет его, берёт за руку.

Эшреф. Правду говорю тебе, Бехзад-уста, не нарочно...

Бехзад. Пусти руку...

Старший мастер. Что вы, Бехзад-уста!

Бехзад (вырывая руку). Глоток воды... эх ты... стыдись! (Отходит к дереву, под которым сидит дервиш и спит Ферхад.)

Эшреф (старшему мастеру). Я ведь нечаянно...

Старший мастер. Конечно, конечно, Эшреф-ага. Разве кто нарочно такое сделает?

Эшреф. Я нечаянно разбил кувшин, а вот голову Бехзаду нарочно бы...

Старший мастер. Что ты, Эшреф-ага!

Эшреф. Будь проклят ваш «ага» и вы все! (Отворачивается от старшего мастера, ходит некоторое время по саду, потом принимается за работу.)

Бехзад, смочив руки водой из своего кувшина, водит мокрыми пальцами по губам Ферхада.

Дервиш (Бехзаду). А ты злой человек.

Бехзад (сердито). Да, злой.

Дервиш. Чего ты злишься?

Бехзад. Злюсь, чтобы злиться. Да и как не злиться, отец? Нарочно ведь разбил кувшин... Завидует моему парню. К чему ему наше ремесло? Не удержался бы, взял нож да... Повесили бы меня — и пусть!

Дервиш. Куда спешить? В этом мире никто не останется.

Бехзад. Скажешь тоже. Раз мы в этом мире не навечно, значит нам и злиться нельзя? Прикажешь не радоваться, не любить и не завидовать, не бороться и не жить?

Дервиш. Глаза ваши не видят другого мира, только суетные мирские призраки.

Бехзад. Какие призраки? Что за призраки? Вещи из камня, железа, дерева, из краски — это, что ли, призраки? Самому тебе мир надоел. Шляешься без дела...

Дервиш. Познав, я покинул этот мир и его суету сует.

Бехзад. А я нет. Я его люблю. И его маяту и его суету. Нравится мне этот чудной мир! Разве можно не любить то, что сам сделал?

Старший мастер (подмастерьям). Уберите лестницу. Орнамент на карнизе уже готов.

Подмастерья начинают спускать лестницу, на которой работал Ферхад.

Эшреф (про себя). Хоть бы этим концом задела орнамент... Краски ещё свежие... Жалко... А чего жалеть? Не глупи, жалко ведь!

Старший мастер (подмастерьям). Осторожно, ребята...

Бехзад (подходя). Смотрите, этим концом не задените орнамент... Не наклоняйте, эй вы...

Эшреф (про себя). Толкнуть?.. И лестница упадёт на орнамент... Толкнуть... Толкнуть... (Лестницу опускают. Становится виден орнамент карниза. Все бросили работу, толпятся внизу, разглядывают орнамент.)

Голоса. Невиданная штука! Молодец, Ферхад! Эй, не наступай на ноги! Посмотри на тюльпаны! Вот это рисовальщик!

Входит звездочёт. Толпа с уважением расступается, пропуская его.

Звездочёт. Благословен аллах! (Рассматривает дворец.) Райские сады перенесли вы на стены дворца! (Обращаясь к Эшрефу.) Как, Эшреф-ага?

Эшреф (угрюмо). Красиво...

Звездочёт (показывая на орнамент внизу). А это твой орнамент?

Эшреф. Мой.

Звездочёт. Поздравляю, Эшреф-ага. Тоже красиво. Матушка твоя сердится на тебя, что ты увлекаешься рисованием. А увидит это, обрадуется. Я ведь ей говорил сколько раз: не огорчайтесь, матушка, увле-

чение его пройдёт! Блаженной памяти шах Селим тоже вот увлекался поэзией...

Эшреф. У меня это не увлечение.

Звездочёт. Знаю — любовь. Но и любовь — увлечение, только немно-го подольше да поострей. (Бехзаду.) Это твой Ферхад рисовал орнамент на карнизе?

Бехзад (с гордостью). Он сработал...

Звездочёт. Где он?

Бехзад. Спит.

Звездочёт. Спит?

Старший мастер. Четыре дня не ел, не пил, не спал, ночью при факелах...

Звездочёт (не слушая мастера, поворачивается к Эшрефу). Когда у человека такой дворец, такой сад, — наливай только вино в хрусталь да прижимай к груди красавицу! Послушай, я сочинил рубайю, прочту тебе...

Жизнь наша — песня. Что ж твой взор погас?
Налей вина и выпьем в добрый час.
И помни, что под этим синим сводом
Поётся песня эта только раз.

(К старшему мастеру.) Не так ли, мастер?

Старший мастер (не понимая). Верно...

Звездочёт. Три дня прошло, как я здесь не был, не так ли?

Старший мастер. Да, три дня назад вы изволили...

Звездочёт (прерывая его). Ювелиры окончили позолоту потолков?

Старший мастер. Окончили.

Звездочёт. Пойдём, посмотрим. Пожалуйста, Эшреф-ага.

Звездочёт. Эшреф и старший мастер входят во дворец. Рабочие разошлись, все занялись своим делом. Бехзад подходит к яблоне, под которой лежит Ферхад.

Бехзад (срывает яблоко, надкусывает). Какие сладкие яблоки! (Дервишу.) Ты тоже ведь хотел осмотреть дворец, ступай...

Дервиш. Не хочу... Кто этот человек?

Бехзад. Главный звездочёт. Ты слышал, какую рубайю он сочинил?

Дервиш. Слышал.

Бехзад. У тебя одна дорога, у него — другая. Но в одном месте вы встретились, отец: оба вы боитесь смерти... Ну ладно, бог с вами. Мой парень так и не шевельнулся ни разу?

Дервиш. Нет.

Бехзад. Хорошо. Пусть спит.

С улицы слышится бой литавр и барабанов, отбивающих торжественный марш.

Дервиш. Что это?

Бехзад. Наверное, государыня наша, Мехменэ Бану, вышла в город.

Дервиш. Они приближаются с этой стороны.

Бехзад. И правда! Нужно во что бы то ни стало разбудить Ферхада...

Звездочёт. Эшреф и старший мастер выбегают из дворца. Эшреф и звездочёт уходят в ту сторону, откуда слышится музыка. Старший мастер, показывая на щепень и ведра, отдаёт распоряжения рабочим и подмастерьям.

Старший мастер. Идут сюда!.. Уберите это! Здесь подметите!

Бехзад (пытается разбудить Ферхада). Ферхад... Ферхад... Проснись, сынок... Скорей вставай...

Старший мастер (продолжая командовать). Быстрее поворачивайтесь! Смотрите, ведро забыли!

Бехзад (будит Ферхада). Ферхад... Ферхад... сынок!

Дервиш. Поднимай, унесёшь на спине... Давай я помогу.

Бехзад. Нет... Мехменэ Бану наверняка увидит его орнамент и спросит: «Кто это сделал?». Увидев такой орнамент...

Старший мастер (рабочим). Давай, ребята, теперь расходись. Все во внутренний сад!

Старший мастер идёт встречать Мехменэ Бану. На сцене остаются только Ферхад, дервиш и Бехзад. Звуки литавр и барабанов приближаются.

Бехзад. Я знаю, как его разбудить!

Дервиш. Как?

Бехзад (улыбаясь). Увидишь.

Бехзад наклоняется к Ферхаду и что-то говорит ему на ухо. Ферхад вздрагивает во сне.

Дервиш. Что ты сказал ему?

Бехзад. Я сказал: «Вставай, мастер Ферхад, твой орнамент испортили».

Дервиш. Разве он услышит?

Бехзад. Не видишь? Уже услышал! Смотри, зашевелился... Эх, отец, да если подойдёшь к могиле рисовальщика и крикнешь: «Испортили твою работу», — если он настоящий мастер, из земли встанет, побежит к своему орнаменту!

Дервиш. Правда, проснулся!

Бехзад. Ещё бы не проснуться! Ферхад... Сынок...

Ферхад. Отец! Мой орнамент...

Бехзад (смеётся). Ничего не случилось. Орнамент твой невредим. Проснись как следует! Мехменэ Бану идёт сюда. Придёт, увидит твою работу, спросит — кто сделал? Смотри только — ни на неё, ни на Ширин-султан, ни на женщин из их свиты не взгляни. Ты ведь знаешь — после этого дела всем, кто посмотрит ей в лицо, велено отрубать головы... Ради бога, сынок, смотри в землю! Ладно, мы пошли...

Бехзад и дервиш уходят.

Бехзад (кричит Ферхаду). Если придёт Эшреф-ага или кто другой и велит тебе уйти, ни за что не уходи...

Уходят. Звуки литавр и барабанов уже совсем близко. Появляются первые четыре телохранителя Мехменэ Бану со щитами и мечами, становятся на лестнице друг против друга. Меч одного из телохранителей касается орнамента Бехзада. Ферхад, который при виде телохранителей спрятался за яблоней, замечает это.

Ферхад. Эй, земляк, ты своим мечом смажешь орнамент моего отца...

Телохранитель оборачивается на голос Ферхада, смотрит, кто это кричит ему. В это время литавры и барабаны бьют совсем рядом. Телохранитель вытягивается в струнку и вместе с другими наклоняет голову, устремляет взгляд в землю. Воспользовавшись этим, Ферхад, тоже опустив голову, делает несколько шагов вперёд, подходит к телохранителю, меч которого касается орнамента.

Ферхад (толкая телохранителя). Подбери немного свой меч... Орнамент испортишь!

Неистовый бой литавр прерывает Ферхада. Входят Мехменэ Бану, Ширин, их свита, звездочёт, кормилица, Эшреф и старший мастер. Женщины в платках, их лица открыты. Только на лице Мехменэ Бану лёгкое покрывало. Открыты одни глаза. Мужчины в свите идут с опущенными головами, устремив взгляд в землю. Фигура у Мехменэ Бану молодая, стройная.

Звездочёт (шепчет кормилице). Вот, матушка, у этой двери, с левой стороны, внизу, орнамент твоего сына Эшрефа-аги.

Кормилица. Дай бог силы его рукам!

Звездочёт. Покажи его работу государыне нашей...

Эшреф. Оставь, ради бога, звездочёт... Что ей смотреть на мой орнамент? Пусть увидит работу Ферхада.

Ширин (показывая Мехменэ Бану на дворец). Какой красивый! Он похож на райский дворец!

Мехменэ Бану (рассеянно). Да... Красивый... (Останавливается.)
Старший мастер!

Старший мастер подходит, всё так же устремив взгляд в землю.

Старший мастер. Прикажи, госпожа наша?

Мехменэ Бану. Когда дворец будет готов?

Старший мастер. Работы осталось на два-три дня.

Мехменэ Бану. Смотри, как бы два-три дня не превратились в два-три месяца.

Подходит к дворцу. Старший мастер отходит на своё место.

Ферхад (шепчет телохранителю). Убери руку!. Тебе говорю... Портить орнамент...

Мехменэ Бану, Ширин и свита подходят к дверям дворца. Ферхад умолкает. Кормилица, несмотря на молчаливое сопротивление Эшрефа, подходит к Мехменэ Бану, показывает на орнамент Эшрефа.

Кормилица. Посмотри, государыня моя... Посмотри на искусство моего Эшрефа.

Мехменэ Бану. Что ты сказала, кормилица?

Кормилица. Этот орнамент мой сын сделал.

Мехменэ Бану. Твой Эшреф? Красиво...

В этот момент Ферхад, не выдержав, отталкивает телохранителя, кричит.

Ферхад. Что ты делаешь, медведь!

Мехменэ Бану. Что такое? Что там случилось?

Паника в свите. Бросаются к Ферхаду. В это время Мехменэ Бану и Ширин поднимаются по лестнице.

Ферхад (смотрит в землю). Он своим мечом портит орнамент моего отца... Краски свежие...

Звездочёт (укоризненно). Ферхад!

Ферхад сдерживается, замолкает. Телохранители вот-вот бросятся на Ферхада.

Мехменэ Бану и Ширин усталились на Ферхада, как на чудо.

Мехменэ Бану (про себя). Как он красив...

Ширин (про себя). ...этот мужчина!

Мехменэ Бану (про себя). Увидеть бы...

Ширин (про себя). ...его глаза!

Мехменэ Бану. Не трогайте его. Кто этот юноша?

Звездочёт. Ваш слуга, Ферхад. Рисовальщик...

Старший мастер (бросается к ногам Мехменэ Бану). Прости его невежество, государыня! Не вели казнить! Такой мастер не родился и не родится, я правду говорю, государыня! Изволь взглянуть на орнамент карниза...

Мехменэ Бану (не отрывая глаз от Ферхада, про себя). Его зовут...

Ширин (не отрывая глаз от Ферхада, про себя). ...Ферхад.

Мехменэ Бану (продолжая думать, про себя). Увидеть бы...

Ширин (продолжая думать, про себя). ...его глаза.

Старший мастер. Смилуйся, государыня, над твоим слугой и над всем нашим цехом...

Мехменэ Бану (про себя). О господи!..

Ширин (про себя). ...я погибла!

Мехменэ Бану (даже не взглянув на орнамент, старшему мастеру). Встань!.. Мы назначаем мастера Ферхада старшим рисовальщиком двора. Пусть завтра же приступит к работе.

Мехменэ Бану, Ширин, свита и телохранители входят во дворец.

Эшреф (проходя мимо Ферхада). Дай бог тебе счастья, Ферхад-ага!

Ферхад остаётся один на сцене.

Ферхад (про себя). Почему этот человек назвал меня: ага?.. Какой красивый голос у государыни... У обеих я видел только туфли... Какие туфли! Как свежая фисташковая скорлупа... Вот я и старший рисовальщик!.. Еле голову унёс... Значит, ей понравился мой орнамент...

Ферхад делает несколько шагов назад, смотрит на орнамент, задумался.

Ферхад (про себя). Молодец, Ферхад... но почему он сказал мне: ага? Ай да мастер Ферхад! Пусть руки твои не знают печали. Только вон там ещё немного...

Появляется Ширин. Ферхад не видит её. Она наблюдает за Ферхадом.

Ширин (про себя). Куда он смотрит так? На тот орнамент... Его Эшреф, наверно, рисовал... Ферхад, Ферхад... Взгляни же на меня...

Ферхад (попрежнему погружён в созерцание орнамента. Про себя). Как ярк блеск твоей зелёной краски! Из скольких трав ты получил её? И даже твой отец не знает этой тайны...

Ширин (всё так же за спиной Ферхада. Про себя). Ферхад, Ферхад... Ну, поверни лицо! Пусть наши взгляды встретятся... Возникни предо мной, как обнажённый меч!

Ферхад (про себя). А кисть, которой рисовал тюльпаны? О ней не догадаться никому! Ты молодчина, старший рисовальщик!.. Ай да Ферхад!

В это время Ширин срывает яблоко. Бросает в Ферхада. Ферхад быстро оборачивается и останавливается лицом к лицу с Ширин. Ферхад в смятении, хочет нагнуть голову, опустить глаза. Не может, снова смотрит на Ширин, снова опускает глаза, нагибает голову. Снова поднимает. Наконец закрывает лицо руками.

Ширин. Открой лицо своё. Зачем глаза ты прячешь? Подними же! **Ферхад**. Глаза мои... (Открывает лицо.)

Ширин. Ферхад! Я убежала из этой двери... Верно, там меня уже хватились... Так скорей взгляни же... Взгляни в мои глаза...

Ферхад. Я не могу... Я ослеплён, как будто я смотрю на солнце!

Ширин. И я ослеплена!..

В этот момент в дверях показывается Эшреф, смотрит на Ферхада и Ширин и, незамеченный, скрывается.

Ферхад (приближаясь к Ширин). Ты безумная, ты отчаянная, ты колдунья, ты — как алый цвет, как зелёный цвет, как тюльпан, как вода, как рисунок — вот какая ты девушка!.. Если бы я не владел собой, я кричал бы во весь голос. Если бы я не владел собой... (Берёт Ширин за плечи, целует в шею.) Ты рабыня нашей государыни?

Ширин. Нет, Ферхад!.. Меня зовут... Ширин...

Ферхад (отталкивая Ширин). Ох, как ты далеко!.. Так, значит, я в звезду влюбился!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Интермедия

Эшреф, Ферхад и кормилица выходят справа на авансцену перед закрытым занавесом. Кормилица останавливается, и за ней останавливаются остальные.

Кормилица. Погодите немного... Ох, кажется, сердце моё разорвётся!

Эшреф. Может, ты что-то скрыла от нас? Скажи-ка, мать?

Кормилица. Ничего, сынок, не скрыла... Конечно, по правде сказать... Да ничего, ничего, не беспокойся... На этой половине никого не осталось, я всех отослала... Ох, сынок, сынок, что ты сделал с моей головешкой! Это твоё малярство — это какое-то наваждение! А захотел бы — визирем мог бы стать.

Эшреф. Оставь эти разговоры, мать. Можно подумать, что всё это только из-за меня!

Кормилица. Так-то оно так... Но если бы я тебе не открыла этого дела и если бы ты не пристал ко мне: «сделай» да «сделай», ни за что бы не сделала! Ни для Ширин-султан, ни для кого... Даже если бы твой покойный отец вышел из могилы...

Эшреф (Ферхаду). Но ты помнишь, Ферхад-ага? Я насчёт этого...

Ферхад. Разве мы об этом не договорились?

Эшреф. Поговорим ещё раз. Значит, завтра утром...

Ферхад. Да, да, завтра утром ты придёшь в мой дом и я тебе открою секрет моей зелёной краски... секрет, который не известен ни одному человеку в мире, кроме меня.

Эшреф. И кисть для тюльпанов...

Ферхад. Об этом мы не говорили.

Эшреф. Вот сейчас говорим!

Ферхад. Хорошо. Дам и кисть. Теперь всё? Больше ничего тебе от меня не надо? Ну, говори... Требуешь всё, что хочешь!

Кормилица. Эшреф, Эшреф! В голове у тебя только краски! А ведь если бы ты захотел...

Эшреф. Я же говорил, мать, оставь эти разговоры. Пошли.

Проходят несколько шагов. Эшреф останавливается.

Эшреф. Вы ничего не слышали?

Кормилица. Да нет же... Не беспокойся... Никого нет — хоть человека зарежь...

Эшреф. Ну, пошли! (Идут дальше.) Вот что я хотел спросить, Ферхад-уста: неужели тебе ни капельки не жалко отдавать секреты своего мастерства?

Ферхад. Нет.

Эшреф. Это потому, что ты очень уверен в себе. Думаешь: пускай эти отдам, что с того? Новые придумаю!

Ферхад. Нет, не потому.

Эшреф. А почему же?

Ферхад. Долго объяснять. Бог с ним! И объяснить трудно и понять трудно.

Кормилица останавливается у самой середины занавеса.

Кормилица. Пришли... (Ферхад и Эшреф тоже останавливаются.) Я здесь подожду... Эшреф подежурит у двери. Ну, Ферхад-уста, иди!

Ферхад раздвигает занавес. Занавес открывается.

Картина третья

Комната Ширин. Ночь. Ширин взволнованно ходит по комнате. Входит Ферхад. Ширин стоит к нему спиной.

Ферхад. Ширин!

Ширин (оборачивается). Ферхад!

Идут навстречу друг другу. Останавливаются. Смотрят друг другу в глаза.

Ферхад (про себя). Смотри, Ферхад... Вот чудо! Ну может ли прекраснейший орнамент сравниться с человеческим лицом?

Ширин (про себя). Какие тонкие и чёрные усы!

Ферхад (про себя). Ферхад! Как ты легко достиг Ширин! А нужно было сдвинуть с места горы...

Ширин (про себя). Как строен стан... как плечи широки!

Ферхад (про себя). А нужно было миновать пустыни...

Ширин (про себя). Опять он за руки меня возьмёт...

Ферхад (про себя). Спросить о ней у журавлей пролётных...

Ширин (про себя). И поцелует...

Ферхад (про себя). Побывать в темнице...

Ширин (про себя). Он за руки возьмёт, и поцелует.

Ферхад (про себя). Нужно было с железным войском в бой вступить... а ты? Что сделал ты, чтобы достичь Ширин?

Ширин (про себя). Ты первая решилась Ферхаду бросить яблоко, Ширин! Ты первая решилась сказать ему: смотри в глаза Ширин!

Ферхад (про себя). Ну может ли прекраснейший орнамент сравниться с человеческим лицом?

Ширин (про себя). Ты позвала его в опочивальню...

Ферхад (про себя). Такая красота уже гнетёт!

Ширин (про себя). А если бы, Ширин, ты не была сестрою государыни, была бы простою, бедной девушкой Арзена, ты бросила бы яблоко ему?

Ферхад (про себя). Ферхад мой, отчего ты так печален?

Ширин (про себя). Мне даже в голову не приходило, что было б, если б я была простою, бедной девушкой...

Ферхад (про себя). Ферхад! Тебя гнетёт такая красота...

Ширин (про себя). Да, и тогда я сделала бы так же — я бросила бы яблоко ему, сказала бы: «Смотри в глаза Ширин!».

Ферхад (про себя). Как ты легко достиг Ширин!.. Как просто! Но нет, Ферхад, Ширин достичь нельзя! Она попрежнему недостижима и далека всё так же от тебя! Ферхад, ты сбился со своей дороги...

Ширин (про себя). Какие чёрные усы!..

Ферхад (про себя). Ферхад, мой друг, скажи мне, отчего ты так печален?

Ширин (про себя). Он за руки возьмёт меня...

Ферхад (про себя). Покорно перед тобой стоит она... Смелей, Ферхад!

Ширин (про себя). Он за руки возьмёт и поцелует...

Ферхад (про себя). Смелей, смелей, Ферхад! Чего ты ждёшь?

Ширин (про себя). И поцелует...

Ферхад (про себя). За руки возьми и поцелуй, вот так же, как тогда...

Ферхад берёт Ширин за руки и целует её. Ширин вырывается и садится на тахту. Ферхад остаётся стоять. Перед тахтой, на огромном серебряном блюде лежат яблоки. Ширин берёт одно яблоко и показывает Ферхаду.

Ширин. Ты видишь это яблоко, Ферхад? Оно от той же яблони, с которой то яблоко, что бросила тебе я... Все эти яблоки росли на ней... (Медленно чистит ножом яблоко.) Ферхад! Как я боялась, что сегодня ты не придёшь...

Ферхад. Боялась? Ты же знала!

Ширин. Что знала? Говори!

Ферхад. Что в эту ночь Эшреф у двери будет караулить.

Ширин. Я это знала...

Ферхад. Кормилица мне помогла. С той стороны твоей опочивальни есть потайная лестница...

Ширин. Да, есть... Но бог с ним! Что об этом думать?

Ферхад (задумчиво). Кормилица... Эшреф... и этот потаённый ход... Так просто! Так легко!

Ширин. Я понимаю... Но как бы ни пришёл ты во дворец, скажи мне, разве то, что ты пришёл, не заставляет обо всём забыть? Ужели радость достижения цели не может оправдать любые средства, которыми её добился ты? Меня ты видишь — разве не довольно, чтоб о кормилице и лестнице забыть?

Ферхад. Тебя увидеть — это мир увидеть! Твоё лицо увидеть... Голос твой услышать... До твоих волос дотронуться... Да это всё равно, что мир увидеть, до него руками дотронуться... Но этот тайный ход, Эшреф и нянька... их позабыть нельзя! Как горько мне! Что сделал я? Ни риска, ни усилий... Не ставил я на карту жизнь мою, не подвергал опасности свободу... Ничем я не пожертвовал, Ширин, чтобы достичь тебя...

Ширин. Кормилица сказала, что ты Эшрефу обещал открыть...

Ферхад. Что за пустяк! Я обещал Эшрефу открыть за то секреты мастерства, которое давно уж мне не служит.

Ширин. А правда ли, что скоро пятый месяц, как бросил ты работу?

Ферхад. Не могу! С тех самых пор... Я кисть беру, рисую тюльпан, но только на него взгляну и вижу, что тебя он не достоин... И я тюльпан стираю. Если б мог я в один тюльпан вместить весь этот мир, и все его цвета, и все сиянья, все радости его и все печали, и все надежды! Если бы я мог вместить весь мир — то есть тебя, Ширин! Но не могу вместить тебя в тюльпан, и мне искусство кажется позором...

Ширин. Так, значит, не тоскуешь ты по мне!

Ферхад. Я не тоскую?

Ширин. Если б тосковал, сумел бы ты создать меня в тюльпане.

Ферхад. А знаешь ли, Ширин, как надо рисовать тюльпан? Как песню складывать, как сочинять стихи, как здание возводить, как в кузнице железо ковать, как землю возделывать!.. В изображении тюльпана есть свой способ, своя гармония, порядок и размер... Моя тоска размера не имеет, не знает ни предела, ни границ!.. И мастер, что гордится тем, что он сумел вложить в тюльпан любимый образ, поверь, Ширин, тот мастер, что гордится, что он сумел в тюльпане повторить возлюбленной красу, как отраженье, тот мастер лжив иль глуп. Одно из двух — иль мастерство с возлюбленной он спутал, иль, зная втайне правду, вслух он лжёт. Какой ничтожной быть должна его тоска, чтобы в его рисунке поместиться! Мы можем только тысячную долю тоски своей в рисунке передать! Да, я узнал — бессильно мастерство.

Ширин делит яблоко на две части и одну половину передаёт Ферхаду.

Ширин. Вот эта половина — ты, а я — другая половина... Почему же ты не садишься?

Ферхад. Дай мне налюбоваться на твоё лицо...

Ширин. Но разве некрасива я вблизи?

Ферхад. Ты и вблизи и издали прекрасна, всегда, везде, откуда ни взгляни, как наш язык турецкий, на котором ты говоришь, прекрасна ты, Ширин!

Ширин. Но отчего не хочешь ты сесть рядом, как на лугу, колено у колена, лицо к лицу?

Ширин берёт Ферхада за руку, притягивает к себе. Они садятся друг против друга.

Ширин. Всегда ль мне первой яблоко бросать? Скажи...

Ферхад. Но ты — наследница султана!

Ширин. Об этом я подумала, Ферхад.

Ферхад. Подумала?

Ширин. Когда бы я была простою, бедной девушкой Арзена...

Ферхад. Чтоб сделала ты?

Ширин. Я бросила бы яблоко тебе... сказала бы: смотри в мои глаза!

Ферхад. И в этом ты уверена, Ширин?

Ширин. Уверена.

Ферхад. О, если б ты была простою, бедной девушкой Арзена!

Ширин. Но что бы изменилось?

Ферхад. Ты бы стала моей, Ширин! Но ты — султана дочь, а я простой, безвестный рисовальщик. Но ремесло своё не презираю! Его не согласился б я смеять на царство целой Индии.

Ширин. А ты назвал его позорным?

Ферхад. Да, позорным. Оно не может уместить в тюльпан мою тоску. Но всё-таки оно, оно, моё искусство, научило меня любить прекрасное и создавать на камне этот мир при помощи его штрихов и красок.

Ширин. Не дочь султана я, и ты не живописец! И дела нет мне до твоих тюльпанов! Ты для меня — Ферхад, а я — Ширин! Готова я. Бери меня — бежим!

Ферхад. Что ты сказала?

Ширин. Мой Ферхад! Ферхад! Тебе я без притворства, без обмана, без оговорок говорю: Ферхад! Люблю тебя! Тебе принадлежу я! Готова я! Бери меня — бежим! И нет на сей раз ни слуги, ни няни, никто не согласится нам помочь... Есть только дверь в моей опочивальне и потайная лестница за ней, как мост, который тоньше волоска, острей меча...

как мост над бездной... И если нас поймают там и схватят, тебя убьют иль бросят в подземелье, где заживо всю жизнь ты будешь гнить... Ты слышишь ли? Чтоб я была твоею, на каргу жизнь поставить должен ты! Готова я. Бежим, Ферхад!

Ферхад (хватает Ширин за руку). Бежим!

Идут к авансцене. Ферхад останавливается.

Ферхад. Стой!

Ширин. Что? Зачем?

Ферхад. Я должен написать секрет зелёной краски и тюльпана. Эшрефу обещал я...

Ферхад левой рукой продолжает держать руку Ширин, а правой пишет на шкуре джейрана.

Ферхад. Верно, нянька сюда придёт и, нас не обнаружив, Эшрефа позовёт. Обыщут всё и это здесь найдут.

Ширин. Ты руку отпусти... пиши спокойно.

Ферхад. Нет, не пущу...

Ширин. Мне больно... Отпусти!.. Нет, нет, не больно мне! Не отпускаяй!

Ферхад (кончил писать). Пойдём отсюда!

Подходят к авансцене. Ферхад одной рукой закрывает занавес. Берёт Ширин на руки.

Ширин. Поцелуй меня!

Ферхад. Нет... Ты уже моя! Моя настолько, что не могу поцеловать тебя, как вор!

Картина четвёртая

Тронный зал во дворце Мехменэ Бану. Вечер. В течение картины зал сначала освещён красноватым светом (закат солнца), потом постепенно свет темнеет до полутьмы. Мехменэ Бану сидит на троне, съёжившись и поджав под себя ноги. Визирь стоит перед ней. Окна открыты. Видно небо.

Мехменэ Бану (поднимает голову, смотрит в окно). Уже совсем стемнело.

Визирь. Госпожа, не приказать ли свечи засветить?

Мехменэ Бану. Нет... Воздух ли прохладным стал, иль мне так холодно?

Визирь. Не приказать ли окна затворить?

Мехменэ Бану. Нет... душно мне.

Мехменэ Бану встаёт, подходит к окну, останавливается спиной к визирю.

Мехменэ Бану. Эшреф и наша кормилица подвергнуты допросу?

Визирь. Да, госпожа. Уж я докладывал об этом.

Мехменэ Бану. Их не пытали, правда ведь, визирь? Их не пытали?

Визирь. Нет, госпожа, и разве вы не так изволили приказывать?

Мехменэ Бану. Скажи, уверен ты, что не пытали?

Визирь. Конечно, госпожа. Но если б вашего покорного раба спросить...

Мехменэ Бану (оборачивается, смотрит визирю в лицо). О, если бы тебя спросить, так были бы распяты оба! И головы их были бы давно отрублены!

Визирь. И по заслугам! Пусть не они им помогли бежать, но маляра они ввели в гарем!

Мехменэ Бану. Тебя спросить — и беглецы, как только схватят их... (Умолкает).

Визирь. Их непременно схватят, госпожа. Четыре сотни всадников послал я, на все четыре стороны послал гонцов.

Мехменэ Бану. Тебя спросить, пожалуй, беглецов ты приказал бы к мулам привязать и разорвать!

Визирь. Нет, было б мало к мулам привязать пройдоху-маляра и разорвать на части, но тронуть даже волос с головы Ширин-султан я не имею власти!

Мехменэ Бану. А если б ты имел такую власть?.. Что ж ты молчишь? Зачем ты лжёшь, визирь? Ведь именно Ширин ты ненавидишь! И разве неизвестно это мне? Ты даже не ходил смотреть ни разу её дворец. Не правда ли, визирь? Неужто смелости твоей нехватит, чтоб обнаружить ненависть свою? Ты враг Ширин! Ну что ж не отвечаешь? Что ж ты молчишь?

Визирь. Вы правы, госпожа.

Мехменэ Бану. Какой ты нехороший человек!

Визирь. Единственное, что могло бы сделать меня хорошим, отняла она.

Мехменэ Бану. Я знаю, это красота моя. Но я сама пожертвовала ею. И не жалею, слышишь ли, ничуть! Я отдала её... И вот причина, что ты, визирь, единственный мужчина, который смеет мне в лицо взглянуть. Но и меня, визирь, ты ненавидишь! Ты враг и мне. Не человек, а волк!

Визирь. Вы сами волком сделали меня!

Мехменэ Бану молчит. Поворачивается, смотрит в окно и продолжает говорить, стоя спиной к визирю.

Мехменэ Бану. Так знай, коль ты посмеешь беглецов хоть пальцем тронуть, — и тебе, визирь, и всадникам твоим придётся плохо!

Визирь. Да, госпожа. Священна ваша воля. И волос с головы не упадёт у беглецов.

Мехменэ Бану (сама с собой). Какой прекрасный вечер! Какой прекрасный вечер, боже мой! Как мир прекрасен!.. (Мехменэ Бану поворачивается, смотрит в лицо визирю.) Ты ведь знал об этом?

Визирь. О чём я знал?

Мехменэ Бану. Что я его люблю...

Визирь. Я это знал.

Мехменэ Бану. Но только ты один! Никто другой не мог бы догадаться.

Визирь. Но разве вы не признавались Ширин-султан?.. Кормилице своей?..

Мехменэ Бану. Нет, никогда. Ни словом, ни намёком. Стыдилась я...

Визирь. Кормилица глупа. Но как Ширин-султан не поняла! Уверен я, что всё ей было ясно.

Мехменэ Бану. Она не знала...

Визирь. Если б даже знала, она бы всё равно...

Мехменэ Бану. Какой ты злой! Ты словно тст, что свистом будит змей... И у меня в груди живёт змея... Она в глубинах сердца притаилась, она, свернувшись, спит там... нет, не спит! Из глубины вытягивает

шею и воздух слушает... Не ангел я, визирь! Достаточно взглянуть в моё лицо... Не ангел я... Нутро моё горит... Мне тяжело... Ты это понимаешь? (Снова поворачивается к окну. Пауза.) Ты говорил вчера, коль я не ошибаюсь, что в городе свирепствует болезнь?

Визирь. Да, госпожа. Мор косит наш народ. Вот так же было в давние года, во времена, когда страною правил покойный ваш отец. И будет так, пока арзенцы пьют такую воду.

Мехменэ Бану. Но знаешь сам, что родники Железной горы в наш город подвести нельзя.

Визирь. Да, это невозможно. На горе такие камни, что работать там немислимо. Там может поместиться один лишь человек. А гору прорубить одной киркой нельзя и за сто лет. Ещё во времена покойного султана много над этим бились...

Мехменэ Бану. Знаю я, визирь...

Визирь. Так гибнет наш народ и будет гибнуть — в фонтанах не вода, а сущий гной!

Мехменэ Бану поворачивается к визирю.

Мехменэ Бану. Что ты сказал? Визирь, что ты сказал? В фонтанах не вода, а гной... Как странно! Ты помнишь? То же самое сказал мне тот человек. Как был уродлив он! О господи! Как был он безобразен! Ты помнишь ли? Он мне сказал — ты всё же не будешь безобразнее меня! Ты это помнишь?

Визирь. Помню, госпожа.

Мехменэ Бану. Так почему ты не убил его тогда же, а попытался умертвить себя? Ты помнишь ли, что он тебе сказал? Любви не знаешь ты, визирь. Ты любишь, как любят трусы. Любишь лишь себя. Не правда ль, так тебе в глаза сказал он?

Визирь. Да, госпожа.

Мехменэ Бану. Так разве это ложь?

Визирь. Нет, это правда. Но и ты любви не знаешь.

Мехменэ Бану. Не знаю? Чтоб спасти мою Ширин, мою единственную...

Визирь. Да, сестру свою умеете любить вы, госпожа. Как ни одна сестра на свете не любила свою сестру.

Мехменэ Бану. И он так говорил... сказал он: ни одна сестра на свете не любит и не будет так любить... не будет так любить...

Визирь. Да, но Ферхада...

Мехменэ Бану. Ферхада?

Визирь. Вы не любите его.

Мехменэ Бану. Молчи... Ни слова больше!

Визирь. Чтоб спастись от муки и тоски моей, тогда мне в голову пришло убить себя. Но ничего не в силах был придумать в тот миг, когда был должен потерять всё, что имел... Я мог лишь умолять, да корчиться, да ползать, словно червь. А между тем я должен был тогда же убить его! Да, я любил, как трус. Но знай, и ты так любишь, дочь моя. Труслива ты настолько, что не можешь осмелиться вернуть себе всё то, что потеряла ты. Ты свой покой оберегаешь так, что ты боишься, да, ты боишься раздавить того, кто отнял у тебя твоё богатство...

Мехменэ Бану. Молчи! Во имя господи, молчи!

Визирь. Ферхада ты не любишь, дочь моя! Не любишь так, как любишь ты Ширин... Ты отдала ей красоту свою... Скажи, а что Ферхаду отдала ты?

Мехменэ Бану. А что же я должна ему отдать? Любовь Ширин... или голову её?

Визирь. Дать голову её? О, нет! Ты можешь не делать столь кровавого подарка. Коль хочешь ты избавиться от муки, ты можешь попытаться, как и я, убить себя. А если нет... (Замолкает.)

Мехменэ Бану. А если нет? Ну что ж ты замолчал? А если нет?

Визирь. А если нет... так можешь ты Ферхада на трон с собою рядом посадить. И бедный рисовальщик из Арзена, согретый блеском царства твоего, поверь мне, очень скоро позабудет свою Ширин!

Мехменэ Бану. О чём ты говоришь!

Визирь. Но, госпожа, подумай же о теле своём, оно так молодо, тебе ведь только двадцать лет, и до сих пор прекрасней тела женского не сыщешь по всей стране.

Мехменэ Бану. В своём ли ты уме? Безумный человек! Что говоришь ты?

Визирь. Твоя Ширин поохает немного и скоро позабудет.

Мехменэ Бану. Не забудет!

Визирь. Забудет!

Мехменэ Бану. Разве можно позабыть Ферхада?..

Визирь. Ты не любишь, дочь моя! Нет, госпожа, любовь вам не знакома!

Молчат.

Мехменэ Бану. Мне холодно. Вели закрыть окно!

Визирь (закрывает окно). Не приказать ли свечи засветить?

Мехменэ Бану. Нет... Уходи. Хочу побыть одна... (Визирь идёт к дверям.) Постой... Пришли кормилицу ко мне. Эшрефа отпустите из темницы!

Визирь (с поклоном). Желанье госпожи моей — закон.

Визирь уходит. Мехменэ Бану некоторое время стоит без движения, потом, шатаясь, делает несколько шагов, прислоняется к стене.

Мехменэ Бану (про себя). Тело моё... тело моё... Телу моему только двадцать лет... Ноги, грудь, живот мой, руки мои... (смотрит на руки) кисти мои, как два птенчика голубя... их могли бы схватить, их могли бы ласкать большие, смуглые руки твои. Ты бы мог их согнуть, Ферхад... Ферхад!.. Боже мой, как я люблю! Хочу, чтобы взял меня за руки... спрятал голову на моей груди... Но не только тело моё кричит — жаждает, жаждет, сходит с ума. Сердце моё, голова моя... Печаль моя! Тоска моя! Слышать голос его! В лицо взглянуть... Боже мой, как я люблю! Даже теперь... Даже теперь... Когда никакой надежды нет! Может быть, потому, что надежды нет? Что мне делать? Как беспомощна я! Как гнилая рана, сердце моё... Как я муку такую терплю? Как я ревную! Умереть! Убейте меня, или я убую! Ширин моя! Сестра моя! Голубка моя... тебя убую!.. Ферхад, возлюбленный, кровь твою пролью, а кровь твою пролью... Люди! Пожалейте меня! Боже мой... Какие мысли приходят в голову! Не думать! Не думать ни о чём! Что за свет на стене? Это солнце заходит... Не думать! Не думать ни о чём... Не думать о том, что солнце заходит... Ферхад... Ширин... Ширин моя, единственная сестра моя... Умирала, я её спасла! Это я, это я её спасла! Это я... Жалею ли я о том? Жалею ли? Нет! Если б я была так же красива, Ферхад... Ферхад... Если б так же красива теперь была, если б снова спасти была должна... Ферхад... Я бы снова её спасла! Как клубничный сок, этот солнечный свет... Принесу тебе ледяной шербет... Ты ведь любишь малиновый шербет... Жалею ли я? Жалею ли я?

В дверях появляется кормилица, растерянно и испуганно смотрит на Мехменэ Бану.

Кормилица. Госпожа...

Мехменэ Бану (очнувшись). Ах, это ты... Что ты стоишь? Входи... Они тебя измучили? (Идёт к ней навстречу. Кормилица делает шаг, падает на пол, плачет. Мехменэ Бану берёт её за руки, помогает подняться.) Не плачь... Вставай, не плачь... (Мехменэ Бану садится на тахту, кормилица опускается на пол у её колен.) Давно ли так, в другой опочивальне, в другое время мы с тобой сидели, сидела так же ты у ног моих, мы за больной ухаживали, помнишь? За умирающей... Но лучше стало ей. Она любовь узнала, птицей стала и упорхнула из гнезда.

Кормилица. Ей-богу, в этом я не виновата, госпожа! Вот эта шея тоньше волоска! Клянусь аллахом, не виновата!

Мехменэ Бану. Никто не виноват. Я приказала Эшрефа отпустить.

Кормилица. Пусть будет светом всё то, что ты делаешь, госпожа. Дай бог тебе...

Мехменэ Бану. Вам ничего плохого не сделали? Скажи всю правду мне.

Кормилица. Нет, госпожа, ничего...

Мехменэ Бану. Но как это случилось, что ты, на чьих руках я родилась...

Кормилица. Ох, дитячко моё! Ох, птенчик мой! Что сердце материнское не стерпит! Уж лучше бы я камень родила! Всё требуют от матери! Всё им сделай! А сделай — просят ещё... Как цыплята, которые никак не вырастут! Не помешайся мой Эшреф на этих красках, не приставай он каждый день ко мне: «Хочу узнать, хочу иметь секреты!» — я б ни за что...

Мехменэ Бану. Я знаю. Но скажи... об этом ты жалеешь?

Кормилица. Да как же можно об этом не жалеть? Сто тысяч раз себя ругаю, каюсь, как могла я тебе, моя голубка, изменить! Как смела постороннего мужчину ввести в гарем!

Мехменэ Бану. Да не об этом я! Жалеешь ли, что сыну помогла ты узнать секрет?

Кормилица. Он так и не узнал! Такой уж он у меня невезучий! Ферхад-уста написал секрет свой на шкуре, да её у нас отняли.

Мехменэ Бану. Я прикажу, её вам отдадут.

Кормилица. Ох, госпожа моя! Дитя моё! Ты головы бы нам должна срубить... (Плачет.)

Мехменэ Бану. Не плачь... не плачь... Ты лучше мне признайся, скажи, что не жалеешь ни о чём, скажи, что, если твой Эшреф захочет, ты для него спалишь и мой дворец.

Кормилица. Упаси господи! Уж до такого дела...

Мехменэ Бану. Голубушка... Кормилица... скажи... скажи, что не жалеешь ты нисколько... Ведь правда же?

Кормилица. Ну как тебе сказать? Уж если ты нас простила и шкуру вернуть пообещала... Ты ведь сама, когда сестру свою хотела спасти, пожертвовала самым дорогим — своею красотой. Иль ты жалеешь?

Мехменэ Бану не отвечает. Встаёт... Встаёт и кормилица.

Мехменэ Бану. Какая духота! Я задыхаюсь. Кто окна все закрыл?

Кормилица бросается открывать окна. Мехменэ Бану подходит к окну, останавливается спиной к публике.

Мехменэ Бану. Скажи-ка мне... Они видались только раз?

Кормилица. Да, голубка моя, только раз.

Мехменэ Бану. Ты говорила так. Но, может быть, визирю и тем, кто

вёл допрос, ты побоялась рассказать всю правду? Они мужчины и чужие люди... Но я — сестра Ширин. Ты можешь мне сказать, не опасаясь, всё, как было...

Кормилица. Ей-богу, раз один... один разочек! Пускай я поцелую труп Эшрефа, коли я тебе вру!

Мехменэ Бану. Так значит — только раз?

Кормилица. Один, один раз... Да раз ещё в саду видели друг друга.

Мехменэ Бану. Да, да, я знаю. (Мехменэ Бану смотрит в окно.) Какой прекрасный вечер!.. Скоро солнце зайдёт... (Поворачивается к кормилице.) Они друг друга очень любили?

Кормилица. Верно очень, коли сбежали. Меня Ширин голубка так молила... Со щёчек её розовых, как жемчуг, катились слёзы...

Мехменэ Бану. Значит, они очень любили оба...

Кормилица. Очень, госпожа. Как горлицы! И горлицы, пожалуй, не могут так любить!

Мехменэ Бану. Он целовал Ширин?

Кормилица. Откуда мне знать, госпожа?

Мехменэ Бану. Скажи, когда Ферхад вошёл в покои, за ним ты не следила?

Кормилица. Нет, ей-богу, ничего не видела...

Мехменэ Бану. Конечно, целовал! Ферхад большими смуглыми руками взял ручки белоснежные Ширин... (Отходит от окна.) Какая жажда! В горле пересохло...

Кормилица. Я принесу тебе шербет. Ты любишь малиновый шербет...

Мехменэ Бану. Нет, нет... воды... Здесь есть, в кувшине... (Кормилица наливает воды из кувшина, подаёт Мехменэ Бану, Мехменэ пьёт.) Тёплая, как кровь... А в городе вновь вспыхнула болезнь.

Кормилица. Эшреф мой говорил мне. Говорят, из-за гнилой воды... В один прекрасный день из-за этой проклятой воды весь город наш перемерёт...

Мехменэ Бану (задумчиво). Так, значит, Ширин меня ни капли не любила!

Кормилица. Что говоришь ты, госпожа моя! Грех думать так. Ведь у Ширин есть бог... Ей за тебя отдать не жалко душу!

Мехменэ Бану. Она оставила меня и убежала! Она Ферхада больше любит, чем меня...

Кормилица. Эта любовь другая.

Мехменэ Бану. Значит, эта любовь сильнее, чем любовь к сестре, любовь к отцу и матери...

Кормилица. Да нет... совсем другого рода.

Мехменэ Бану. Если б ты такой любовью заболела, скажи, могла бы ты Эшрефа бросить и убежать?

Кормилица. Стара я, госпожа. В мои года...

Мехменэ Бану. А будь ты помоложе? И если бы твой муж, отец Эшрефа, не год назад скончался, а тогда, когда была ты юной и красивой, и если б встретила ты человека такого, как Ферхад?

Кормилица. Не знаю я... Здесь девушка была одна, я знала её, дочь кузнеца, Паакизэ, полгода с мужем только прожила, и умер он... она дитя носила... Вдовую родила. А мальчик был — как солнышко! И многие жениться на ней хотели, даже главный ювелир... Всем отказала. День и ночь трудилась, как говорится, волосами пол мела, а сына воспитала.

Мехменэ Бану. Ювелир! Вот если бы ей встретился Ферхад...

Кормилица. Откуда же Ферхаду было взяться? Паакизэ — старуха уж давно, а наш Ферхад...

Мехменэ Бану (с досадой). Наш иль не наш Ферхад!.. Не в этом дело, а в том, что встретился ей не Ферхад...

Кормилица. Выходит, что Ширин правильно поступила, что убежала? А ведь ты только что сердилась на неё?

Мехменэ Бану. Я не сердилась, няня... Нет, сердилась! Да я сама не знаю, что со мной! Тоска меня грызёт... Зажги-ка свечи...

Кормилица зажигает свечи.

Мехменэ Бану. Оставь, оставь... все свечи потуши!.. Хочу, чтобы тоска меня душила!.. Чтоб глубже проникала в грудь мою... чтоб сердце разорвала мне!..

Кормилица (гасит свечи). Спаси, господа!

Молчат.

Мехменэ Бану. Кормилица, скажи, могу ли я понравиться ещё? Тебя не спрашиваю я — могу ли любимой быть... Но нравиться — могу? С таким лицом, уродливым и старым...

Кормилица. Но женщина ведь не из одного лица состоит, госпожа. Твой разум, стать твоя, твой стан и тело — как идол мраморный! Видит бог — тело Ширин по сравнению с твоим, как ива против кипариса. Послушай, госпожа. Есть у нас одна женщина, Зехра, дочь погонщика верблюдов, Али-заде, лицо её с детства изуродовано оспой, горсть гороха бросишь на её лицо — ни одна горошина обратно не упадёт. А посмотрела бы, какое у неё тело! Конечно, против твоего — день и ночь. Но бог дал ей такое тело! Ноги, грудь, шея, стан... И отец у неё богат. Так знаешь ли, парни друг другу дороги не уступают, сватаются наперебой!

Мехменэ Бану. Отец у неё, ты говоришь, богат?

Кормилица. Один караван в Индию отправляется, другой караван из Багдада прибывает!.. Но против твоей казны — это как капля в море. Ты — государыня! Целым царством владеешь. Какому мужчине, какому принцу ты моргнёшь — и он не упадёт к твоим ногам!

Мехменэ Бану. Ты говоришь, точно как визирь... Но я сама вытянула из тебя эти слова! Боже мой! Что со мною?

Кормилица. Я что-нибудь не так сказала, госпожа? Может, обидела тебя чем-нибудь, ласточка ты моя? Пусть бог меня покарает!.. Глупая я старуха... (Плачет.)

Мехменэ Бану. Не плачь... не плачь, няня... Ты ничего плохого не сказала... Я сама виновата. Не плачь... Не могу видеть слёзы... Мне хочется сесть на землю... зажать голову в колени и выть... выть!

Кормилица. Дитя моё!.. Ласточка моя... пусть я буду жертвой твоей!.. Не терзай себя... Дай ноженьки твои поцелую! Поймают их! Непременно поймают! Неразумно Ширин поступила... Старшие должны младших прощать... Ты Ферхада визирем сделаешь и тогда их обручишь! Свадьба покроет весь позор. Молиться будут за тебя! И как они подходят-то друг к другу!

Мехменэ Бану. Они подходят друг к другу?

Кормилица. Как парная черешня на ветке!

Входит визирь.

Визирь. Они здесь, госпожа.

Мехменэ Бану (рассеянно). Кто здесь?

Визирь. Ширин-султан и старший рисовальщик.

Мехменэ Бану. Сами пришли?

Визирь. Нет, госпожа. Их поймали.

Мехменэ Бану. Немедленно приведите обоих сюда.

Визирь. Да, госпожа, но...

Мехменэ Бану. Что? Говори! Да не тяни же!

Визирь. Рисовальщик ранен.

Мехменэ Бану. Ферхад ранен! Что ты говоришь! Ты с ума сошёл!

Визирь. Рана не опасна. Не тревожьтесь. Царапина.

Мехменэ Бану. Но как могло это случиться? Ведь тебе было сказано...

Визирь. Помилуйте, госпожа... Когда мои воины окружили беглецов, малаяр бросился на них... Никто не ожидал от него такой прыти... Этот дьявол сражался, как Зал оглу Рустэм... Ширин-султан сидела в седле, сзади него. И только тогда, когда Ширин-султан упала с лошади, страже удалось его схватить.

Мехменэ Бану. Ширин ранена? Лицо... Глаза не повредила?

Визирь. Нет, госпожа. Только колени немного поцарапала. Ничего опасного. С её лицом, с её прекрасным лицом ничего не случилось! Так, значит, привести обоих? Так вы приказывали?.. Не лучше ли было бы принять их по отдельности?

Мехменэ Бану. Почему?

Визирь. Если спросить вашего покорного раба, так было бы удобнее...

Мехменэ Бану. Хорошо. Приведи Ширин. Только скорее! Ну что же ты стоишь? Ступай!

Кормилица. Слава тебе, господи!

Визирь выходит. Мехменэ Бану показывает кормилице на солнечный луч на стене.

Мехменэ Бану. Смотри на этот луч, кормилица...

Кормилица. Какой луч? Где?

Мехменэ Бану. Вот этот, видишь ты?

Кормилица. Это солнце заходит... Вот и блеснит.

Мехменэ Бану. Если хочешь — уходи...

Кормилица. Тебе лучше знать...

Мехменэ Бану. Ступай, ступай.

Кормилица уходит. Мехменэ, как зачарованная, смотрит на отблеск солнца на стене. Кладёт на стену руку. Свет падает на её руку. Убирает руку и снова кладёт. Входит Ширин, наблюдает за сестрой, лицо её печально.

Ширин. Сестра!..

Мехменэ Бану (поворачивается). Ширин! Моя голубка! (Подходит к ней, обнимает её.) Очень больно? Ты не ранена, скажи? (Ширин вырывается из объятий.)

Ширин. Нет... я не ранена.

Мехменэ Бану. А как колени? Быть может, надо лекаря позвать?

Ширин. Нет, нет... не надо... Мне уже не больно.

Мехменэ Бану. Как я измучилась! Как я боялась!

Ширин. За то, что я измучила тебя...

Мехменэ Бану. Оставь, не говори так... мы же сёстры! Ведь ты же знаешь, я тебе, как мать!

Ширин (смотрит в упор на Мехменэ Бану). Что ты с Ферхадом сделаешь? Скажи?

Мехменэ Бану. С Ферхадом... что я сделаю?

Ширин. Да, с ним.

Мехменэ Бану. Но я ещё не думала об этом... Не бойся. Я не в силах причинить ему страданье. (Улыбается.) Даже голову ему не струблю... В темницу даже его не посажу...

Ширин. А что ты сделаешь? Что будет с ним? Со мною?

Мехменэ Бану. Как странно... Ты со мною говоришь так, будто бы виновна я!

Ширин. Прости... Но я не чувствую вины и за собою...

Мехменэ Бану. Разве я сказала, что ты виновна?

Ширин. Ах, нет, сестра! Ведь мы не только сёстры — ты государыня. Мы не из дома твоего сбежали, а из дворца, и государыня послала за нами всадников, чтоб беглецов схватили... Шеи наши тоньше волоска.

Мехменэ Бану. Нет, я тебе сестра, ты слышишь? Только сестра. И в час, когда погоню посылала, была не государыней — сестрой. Куда могла бы ты пойти, что стало бы с тобою? Об этом ты подумала, Ширин?

Ширин. Об этом мы не думали...

Мехменэ Бану. Но я не спрашиваю, думали ли вы? Я спрашиваю — ты об этом подумала?

Ширин. Я отвечаю — мы не подумали. Отныне мы думаем, сестра. Ферхад и я... Отныне я не дышу: Ферхад и я — мы дышим!

Мехменэ Бану. Ширин! Уж ты не та! Как ты могла так быстро измениться!

Ширин. Больше нет меня, сестра.

Мехменэ Бану. Да, нет и вас...

Ширин. Есть только он один.

Мехменэ Бану. Как хорошо я это понимаю! Мне это состояние знакомо... Я знаю, как ты любишь... Знаю я, что это значит — любить...

Ширин (с отчаянием). Сестра!..

Мехменэ Бану. Что с тобой?

Ширин (обнимает Мехменэ Бану). Сестра! Сестра! Конечно, ты умеешь любить, как никто... Вот я, эта неблагодарная, эта скверная девчонка — живой свидетель... Если я могу убежать из твоего дома, если я живу, то это только благодаря тебе!

Мехменэ Бану (вырывается из объятий Ширин). К чему ты это говоришь!

Ширин. Ты отдала мне то, что ни одна женщина не могла бы отдать... Ты лучше всех нас умеешь любить!

Мехменэ Бану. А разве ты не сделала бы то же самое? Почему ты не отвечаешь? Но я уверена — ты сделала бы то же самое! Уверена! Ты сделала бы!.. Не правда ли?

Ширин. Сестра! Если я не ответила тотчас же, не пойми меня превратно. Если я не ответила тотчас же, то это потому, что я в таком состоянии, когда невозможно лгать... Внутри у меня так ясно, так похоже на весенний сад... Да, сестра, я то же самое сделала бы для тебя!

Мехменэ Бану. Ты сделала бы... то же самое... Сделала бы... А потом? Потом, встретив Ферхада, ты не пожалела бы о своём поступке?

Ширин. Дай мне подумать, сестра.. Какой вопрос ты задала мне! Не знаю! Не знаю..

Мехменэ Бану. А где же твоя «ясность», твой «весенний сад»? Ты же не можешь в эту минуту лгать! Подумай! Если бы ты не была так молода, так здорова, с таким прекрасным лицом, с этими штрихами, линиями, с этим светом и тенями... Если бы лицо твоё было таким же, как моё, и ты встретила бы Ферхада? Разве ты не пожалела бы?

Ширин. Я... я пожалела бы, сестра! Пожалела бы...

Ширин садится, плачет. **Мехменэ Бану** садится рядом с **Ширин**, гладит её волосы.

Мехменэ Бану. О чём ты плачешь?

Ширин. Я думаю о том, что ты жалеешь!

Мехменэ Бану. Я? Но я не встретила Ферхада.

Ширин. Я плачу потому, что обо всём этом я ни разу до сих пор не подумала... Я не думала о твоих муках... Я думала только о себе.

Мехменэ Бану. Не плачь... не плачь! Я не встретила Ферхада... Я не жалею. Но я не встретила Ферхада, и потому у меня в груди нет весны. Я могу лгать. (Встаёт.)

Ширин. Ты не можешь лгать, сестра!

Мехменэ Бану. Нет, могу. И ещё как! Я стала совсем другой,
Ширин. Мы шли с тобой рука об руку, пока между нами не упала молния.

Ширин. Как странно ты говоришь...

Мехменэ Бану. Не странно... а как страшно! И ещё, если бы ты знала, как страшно то, о чём я думаю...

Ширин. Сестра... о Ферхаде?

Мехменэ Бану. Не бойся. Я люблю так сильно, что не могу причинить ему вреда...

Ширин. Я знаю, ты любишь меня! Я без него... Нет меня, есть он.

Мехменэ Бану. Оставь меня, Ширин, ступай... Я должна говорить с Ферхадом. Я хочу говорить с ним с глазу на глаз.

Ширин. Но что же будет с нами?

Мехменэ Бану. Если послушаться кормилицы, то надо вас обручить... Сорок дней, сорок ночей свадьбу играть.

Ширин. Сестра!

Мехменэ Бану. Я сказала, если слушать кормилицу. Это она так считает, а не я. Всё дело в том, насколько я умею любить...

Ширин. Ты лучше всех нас на свете!

Мехменэ Бану. Ступай... ступай...

Почти выталкивает Ширин в дверь, ведущую в гарем. Возвращается.

Мехменэ Бану (про себя). Я лучше всех на свете... (Входит визирь.) Ты нас подслушивал?!

Визирь. Да, госпожа.

Мехменэ Бану. Мне хочется что-нибудь разорвать, разбить, уничтожить... кровь пролить! Придётся, кажется, твою кровь пролить!

Визирь. Как это было бы хорошо, госпожа!

Мехменэ Бану. Приведи Ферхада.

Визирь. Остаться ли мне с вами, госпожа? Или вы хотите говорить наедине с маляром? Было бы лучше, если бы вы были вдвоём.

Мехменэ Бану. Нет. Пусть стражники войдут.

Визирь. Ваше желание — закон.

Визирь выходит. Мехменэ Бану медленно подходит к трону. Садится. Входят четыре стражника, останавливаются у дверей. На сцене полутьма. В течение последнего действия свет постепенно темнеет до полной тьмы. Входит визирь и Ферхад. Кроме визиря, глаза всех мужчин опущены. Ферхад почтительно приближается к Мехменэ Бану и приветствует её.

Мехменэ Бану. Как овцу из загона, ты похитил нашу сестру, Ферхад. Воинов за тобой послали... ты не сдался.

Ферхад. Сдаваться не в моей привычке, госпожа.

Мехменэ Бану. Ты, сказывается, умеешь не только рисовать, но и сражаться.

Ферхад. Умею, госпожа.

Мехменэ Бану. Мы назначили тебя старшим рисовальщиком двора, но ни разу не видели твоих рисунков.

Ферхад. Вы не видели моих рисунков? Разве вы не видели карнизов дворца Ширин-султан?

Мехменэ Бану. Нет.

Ферхад. А я думал, за то вы меня и назначили старшим рисовальщиком...

Мехменэ Бану. Подними голову, Ферхад. Смотри на меня. Созерцай меня с ног до головы. (Ферхад поднимает голову и смотрит на Мехменэ Бану. Мехменэ Бану поднимает с лица вуаль. Зрители не видят её лица.) Я должна была бы убить тебя. Я должна была сказать тебе: выбирай себе казнь. Но никакая казнь не окупит тех страданий, которые ты причинил мне... нам... Мехменэ Бану, дочери шаха Селима. Позор, который покрыл наш дворец... Почему ты так странно смотришь на моё лицо?

Ферхад. Я хочу пасть на землю... Хочу поцеловать край твоей одежды... Я вижу тебя и горжусь, что я человек! То, что сделала ты, не может сделать ни ангел, ни дэв, ни дерево, ни птица... Только человек! Сердце моё наполняется безграничным уважением... Глаза мои...

Мехменэ Бану. Молчи! Довольно... Опусть глаза. Если ещё раз увижу, что твои глаза глядят на моё лицо, я прикажу отрубить тебе голову. Рана твоя не опасна?

Ферхад. Нет, госпожа.

Мехменэ Бану. Её лечили?

Ферхад. Да, госпожа. Твой главный лекарь.

Из открытых окон доносятся приглушённые душераздирающие стоны.

Мехменэ Бану (визирю). Что это такое?

Визирь. Народ оплакивает своих покойников. Мор свирепствует.

Мехменэ Бану. Закройте окна! (Визирь и двое стражников закрывают окна. Стонов не слышно.) Ты видишь, Ферхад? Не такой уж я хороший человек, чтобы целовать край моей одежды! Но и ты не отличаешься от меня. И тебе нет дела до людей, оплакивающих своих покойников. Ты не думаешь ни о ком, кроме своей Ширин. Хорошо, мы отдадим тебе Ширин, Ферхад-уста. Готов ли ты на ней жениться? Но что ты нам дашь за это? Можешь ли ты прорубить Железную гору? Прорубить и пустить воду в наш город? Но не думай, что я предлагаю тебе сделать это, заботясь о нашем народе. Мне всё равно, какую воду он пьёт! Я предлагаю это потому, чтобы знать — можешь ли ты это сделать, чтобы получить Ширин? Это моё условие! Принимаешь его?

Ферхад. Принимаю.

Мехменэ Бану. Может быть, пятнадцать лет, может быть, двадцать лет потребует эта работа. Двадцать лет!..

Ферхад. Принимаю.

Мехменэ Бану. Может быть, Ширин не захочет так долго ждать?

Ферхад. Принимаю.

Мехменэ Бану. Пока не прорубишь гору, до тех пор и мизинца Ширин не увидишь!

Ферхад. Принимаю.

Мехменэ Бану. Может быть, не окончив своей работы, ты умрёшь?

Ферхад. Принимаю.

Молчание. Мехменэ Бану встаёт на троне.

Мехменэ Бану. Хорошо. Иди. Идите все.

Ферхад, визирь и стражники выходят. Мехменэ Бану, съёжившись, сидит на троне, закрыв лицо руками, рыдает.

Мехменэ Бану. Ширин моя! Ферхад! Ферхад!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Пролог

Справа на авансцену выходит толпа народа. Это жители Арзена. У некоторых в руках факелы, у других—фонари. Слева на авансцену выходят Эшреф и человек из Багдада. Останавливаются и смотрят на толпу.

1-й горожанин. Опоздали! Опоздали!

2-й горожанин. Ещё час нам итти. Скоро солнце зайдёт...

1-й горожанин. До захода солнца не дойдём...

2-й горожанин. Не увидим его...

1-й горожанин. Опоздали! Опоздали!

Человек из Багдада. Куда эта толпа направляется, Эшреф-уста? **Эшреф.** К Железной горе. Ферхада хотят увидеть. Сегодня исполнилось десять лет, как он начал рубить гору.

Человек из Багдада. Эта весть дошла и до Багдада. Мы не верили. Выходит, это правда!

3-й горожанин (своей жене). Разве можно так мучить шестимесячного ребёнка!

Женщина с ребёнком (мужу). Ничего не делается без мучения. Пусть привыкает. Разве я мало мучилась, когда его рожала? Я ему Ферхада покажу!

3-й горожанин. Устала ты. Дай, я мальчика понесу.

Женщина с ребёнком. Нельзя, уронишь ещё...

1-й горожанин. Опоздали! Опоздали!

2-й горожанин. Скоро солнце сядет...

Человек из Багдада (Эшрефу). Значит, он встаёт с солнцем, начинает работу и до захода солнца...

Эшреф. Да, до захода солнца трудится.

Человек из Багдада. Ну, а если этот народ, что идёт посмотреть на Ферхада, не дойдёт до захода солнца к Железной горе?

Эшреф. Тогда они послушают гул его стопудовой палицы. Представь себе, что десять тысяч человек поют, десять тысяч сазов играют — вот какой это звук! Страшный, но необыкновенно прекрасный! Печальный, но рождающий надежду!

Человек маленького роста (догоняет высокого человека, тянет его за полу). Постой, брат... И ты с ума спятил!

Человек высокого роста. Оставь, полу оторвёшь!

Человек маленького роста. Этот тёмный народ не знает, что делает! Пророком сделали этого маляра!

Человек высокого роста. Да нет. Какой там пророк! Не пророк, не шайтан... Такой же, как ты и я, сын человека.

Человек маленького роста. Для собственной пользы старается, скотина. Упрямый, как бык! Знаем, куда метит! Вбил себе в голову — женюсь на Ширин, буду зятем государыни! Вот и взялся гору рубить... Разве не глупец? Жадность ослепила его! Разве такую гору можно прорубить?

Человек высокого роста. Говорю тебе, отпусти полу... (Вырывает

полу из его рук.) Знаю я тебя! Как только вода пойдёт — первый ты с кувшином прибежишь!

Человек маленького роста. Какая вода? Десять лет ждём! Ещё десять лет подождём — и ничего не дождёмся! Да к тому времени ещё кто умрёт, кто жив останется! Не верь ты этим бредням! Вернись назад.

Человек высокого роста отталкивает человека маленького роста. Тот падает. Человек высокого роста смешивается с толпой. Человек маленького роста встает с земли, стряхивает с себя пыль, уходит.

Человек из Багдада. О Меджнуне мы слышали. Из-за любви к Лейли в пустыню ушёл, стонал дни и ночи, грудь свою разбил о чёрные камни. Мы думали, что именно такой бывает любовник — с опущенной головой, со слезами на глазах... Но ваш Ферхад не плачет, не стонет...

Эшреф. Наш Ферхад стопудовой палицей гору рубит, чтобы людям дать чистую воду.

Человек из Багдада. Необыкновенный человек!

1-я девушка. Неужели и сегодня не увижу его!

2-я девушка. Я видела... В прошлом году.

1-я девушка. Очень красив? И он тебя видел?

2-я девушка. Нас много было.

1-я девушка. Если бы увидел тебя, может, и Ширин свою забыл бы!

2-я девушка. Ты что, смеёшься надо мной? А что, Ширин очень красива?

Эшреф (человеку из Багдада). Вот ты сейчас пойдёшь по этой дороге, увидишь мечеть. Пройдёшь мимо неё. Повернёшь в первую улицу налево, там дом Али-заде. Передашь от меня поклон его сыну, и тебя там приютят.

Человек из Багдада. А ты?

К этому времени толпа ушла налево. Эшреф и человек из Багдада на сцене одни.

Эшреф. Я иду к Ферхаду. Отец его, Бехзад-уста, десять лет не хотел его видеть. Никак не может простить Ферхаду, что он бросил своё искусство. И вот сегодня я уговорил старика, поведу его к сыну... Да и сам старик стосковался по нему! Мы поедем на лошадях, думаю, до захода солнца успеем. Ну ладно, прощай. С богом!

Человек из Багдада. Нет, я тоже с тобой поеду.

Эшреф. Едем, если хочешь. Бог даст, до захода солнца успеем. Посмотришь на него.

Человек из Багдада. Я согласен хоть бы гул его палицы послушать...

Уходят.

Картина пятая

Площадка на вершине Железной горы. Налево, в глубине, — вход в пещеру, где бурлит родник. Справа — деревья. Вдали на горизонте виден лес. На переднем плане одиннадцать тополей, посаженных в ряд, один другого меньше. Одиннадцатый тополь совсем крошечный. Сцена освещена лучами угренней зари. Ферхад, только что посадивший последний тополь, отряхивает с рук землю.

Ферхад. Одиннадцатый тополь посадил я... Одиннадцатый год пошёл, как я здесь... Скоро солнце встанет! (Гладит маленький тополь.) Холодно тебе? Дрожишь?

Маленький тополь. Холодно...

Ферхад. погоди, скоро согреешься! И часа не пройдёт, как солнце встанет и согреет твои веточки.

Маленький тополь. Не знаю, согреюсь ли...

Ферхад. Ну полно, не ломайся... Согреешься! Вот посмотри на своего старшего брата, я десять лет тому назад его посадил, смотри, какого он роста! А был такой же крохотный, как ты. Постой, дружище, с тобою занимаясь, забыл я поздороваться с друзьями! (Берёт свою палицу, прислонённую к чинаре.) Здравствуй, палица моя!

Палица. Здравствуй, Ферхад!

Ферхад (втыкает её в землю и стоит, опираясь на неё одной рукой). Здравствуй, Железная гора! Здравствуй, моё жилище!

Железная гора. Здравствуй, Ферхад!

Ферхад. Здравствуй, утренняя звезда! Всё ещё висишь, как колокольчик верблюда!

Утренняя звезда. Здравствуй, Ферхад!

Ферхад. Здравствуй, рассветающая тьма!

Тьма. Здравствуй, Ферхад!

Ферхад. Здравствуйте, олени и косули!

Олени и косули. Здравствуй, Ферхад!

Ферхад. Волк, ожидающий зимы, медведи, спящие в каштановых рощах, змеи, влюблённые в человеческое тело, все звери, лукавые и глупые, коварные и смелые, насекомые, травы, деревья, оливковая ветка, пшеничное зерно, смеющийся гранат, плачущая айва, здравствуйте!

Хор. Здравствуй, Ферхад!

Ферхад. Здравствуйте, братья! Всем вам кланяюсь!

Хор. Здравствуй, брат наш! Здравствуй, Ферхад!

Ферхад снова прислоняет палицу к чинаре. Садится под чинару. Соловей начинает петь.

Ферхад. Друзья мои! Сегодня у меня на душе какая-то странная печаль. Не из таких, которые прилипают к сердцу человека, как муха, — она кислотоватая, как яблоко, но со здоровой сердцевиной, без червоточины.

Соловей. Влюблён ты, Ферхад-уста!

Ферхад. Это известно. Да, слава богу, соловей, я влюблён. Влюблённый влюблённого узнаёт по глазам. И ты узнал меня сразу, соловей! Но ведь только вчера ты прилетел сюда!

Смеющийся гранат (хохочет).

Ферхад. Смеющийся гранат! Над чем ты так смеёшься?

Смеющийся гранат. Над тобой!

Плачущая айва (плачет, всхлипывая).

Ферхад. Плачущая айва! Над чем ты плачешь?

Плачущая айва. Над тобой!

Ферхад. А я не плачу над собой и не смеюсь. Я, слава богу, очень всем доволен. Вот только эта тихая печаль... Что ты скажешь на это, утренняя звезда?

Утренняя звезда. Далеко твои мысли, Ферхад-уста. Вчера минуло десять лет, как ты не видишь Ширин, не слышишь её голоса, не держишь её руку...

Ферхад. Как мало я её видел!

Утренняя звезда. Лицо её ты помнишь?

Ферхад. Нет, не помню.

Утренняя звезда. Неужели забыл?..

Ферхад. Не то чтобы забыл... Нет, тут другое... Не помню очертаний глаз её, её бровей и губ... Как ни стараюсь — не могу вообразить лицо

Ширин — оно во мне осталось, как белое сиянье, как твой свет далёкий, ясный... Нет, не так... Не так, как призрак и воображенье, — как что-то тёплое, что-то живое... Живое до мучений... Трепещущее, близкое, что ближе мне, чем собственная кожа. Оно во всём — в тебе, в чинаре этой, и в палице моей, и в шуме ветра, и в лицах людей, которые приходят ко мне! Оно везде, во всём!

Железная гора. Вы люди... Как странно вы любите!

Ферхад. Что ты сказала, Железная гора?

Железная гора. Я сказала, как вы странно любите, люди... Смотри на волков, смотри на птиц, смотри на медведей в каштановых рощах, смотри на зерно, смотри на землю... Они любят только своим телом. Только руками, ртами, глазами. А вы... и сердцем своим, и воображением, и разумом.

Ферхад. Правду сказала ты, Железная гора. Особенно если наша возлюбленная далека от наших глаз, от наших уст и рук... Особенно если мы всем своим существом стремимся к ней!

Железная гора. Это и делает вас несчастными.

Ферхад. И счастливыми. Наша мечта — наша сила.

Смеющийся гранат (долго хохочет).

Плачущая айва (плачет).

Ферхад. Ты только смеяться умеешь, смеющийся гранат. А ты умеешь только плакать, плачущая айва. Только плакать! А человек умеет и плакать и смеяться.

Железная гора. Эшреф-уста идёт сюда!

Ферхад. Эшреф-уста? (встаёт) Где он? Ах, вот... (Идёт навстречу Эшрефу.) Здравствуй, Эшреф! Добро пожаловать!

Эшреф. Привет тебе! (Обнимаются.) Ну-ка, догадайся, кого я к тебе привёл?

Ферхад. Ширин?!

Эшреф. Нет, Ферхад-уста, возможно ли привести Ширин!

Ферхад. Кого же в таком случае ты привёл? Неужели...

Эшреф. Догадался! Я привёл Бехзад-уста, твоего отца.

Ферхад. Мой отец! Где он?

Входят Бехзад-уста и человек из Багдада

Ферхад (растерян. Подходит к отцу, целует ему руку). Отец!

Отец и Ферхад молча смотрят друг на друга.

Бехзад. Что ты на меня уставился? Обними меня! Для того, чтобы человека обняли, похитили и прорубили гору, надо быть обязательно Ширин-султан?

Ферхад (обнимает отца). Отец!

Бехзад (вырывается из объятий Ферхада). Постой, постой... Ты задушишь меня! С тех пор, как ты оставил своё искусство и сделался каменщиком, руки твои стали, как железо. Такой мастер, как ты!.. Опять мне кровь в голову ударила!

Человек из Багдада. Здравствуй, Ферхад-уста!

Ферхад. Здравствуй, брат. Добро пожаловать.

Эшреф (указывая на человека из Багдада). Из Багдада он... Вчера прибыл в наш город. Хочет видеть, как мы здесь тюльпаны рисуем.

Бехзад. Чувешь ты, каменщик, люди из Багдада приходят смотреть на наши тюльпаны... А ты?

Ферхад. Не присядешь ли, отец, ты, верно, устал?

Бехзад. Нет... Дай-ка посмотрим на твою стопудовую палицу...

Ферхад приносит палицу и кладёт у ног отца.

Бехзад. Видно, штука тяжёлая! (Хочет поднять, но только с трудом двигает по земле.) Да и в самом деле стопудовая! Ну-ка, подними ты, посмотрим! (Ферхад поднимает палицу.) Да... А я думал, что руке рисовальщика не подходит ничего, кроме кисти! (Ферхад опускает палицу на землю.) Ну, а теперь посмотрим пещеру, которую ты рубишь.

Ферхад. Пожалуйста.

Бехзад, Эшреф, человек из Багдада вслед за Ферхадом идут к пещере

Бехзад. Значит, через эту дыру тыходишь в неё? Ох, сынок, сынок! (Человек из Багдада и Эшреф заглядывают в пещеру и отходят.) Значит, тыпустишь воду в город? Ты уверен в этом?

Ферхад. Уверен, отец.

Бехзад. Народ верит тебе. Народ обмануть нельзя. Народ давно уже забыл, что ты начал рубить Железную гору для того, чтоб получить Ширин.

Ферхад. И я забыл.

Бехзад. Ширин?

Ферхад. Нет... Разве можно её забыть? В моём сердце Ширин и вода соединились в одно. Я уже сам не знаю, почему я вырубая эти скалы — для того ли, чтобы соединить себя с Ширин или народ с водой...

Бехзад. Сколько лет тебе ещё работать?

Ферхад. Самое малое десять лет.

Бехзад. Ну-ка, дай на тебя взглянуть... Лицо твоё бледное. Ты солнца не видишь — вот оттого и бледный... Может, ты бы ночью работал, а днём отдыхал бы?

Ферхад. Такой уж я порядок установил, отец... Теперь это нарушить трудно.

Бехзад. Это верно. Менять порядок — дело нелёгкое. Всё же, если бы ты по утрам немного попозже начинал работу или по вечерам немного раньше кончал её... До того, как солнце зайдёт. А то уж больно ты бледный, сынок...

Ферхад. Не присядешь ли, отец?

Бехзад. Что ж, присяду.

Ферхад и Бехзад садятся на траве друг против друга.

Бехзад. Мать каждый месяц приходила навещать тебя, правда ведь?

Ферхад. Приходила...

Бехзад. Тайком от меня. Но я знал об этом. Женщины — странный народ. Раз стала матерью — пиши пропало: никого больше для неё не существует, только ребёнок. Умерла на моих руках... Но последнее слово было — Ферхад... Последний человек, кого она видела, — был я, но меня она не видела. А тебя видела, хотя тебя не было около неё. Ты плачешь? (Рукавом отирает слёзы со своих глаз.) Ты когда-нибудь думал о смерти?

Ферхад. Думал, отец.

Бехзад. Страшно?

Ферхад. Нет, отец.

Бехзад. И мне не страшно. Но мука разлуки — самая страшная мука.

В это время человек из Багдада и Эшреф, нагнувшись к земле, рассматривают тразы.

Эшреф. Бехзад-уста!

Бехзад. Что такое?

Эшреф. Мне кажется, как будто я нашёл...

Ферхад и Бехзад подходят к Эшрефу.

Эшреф (протягивает Бехзаду лист). Посмотри на этот лист.

Ферхад (берёт у Эшрефа второй лист). А для чего это?

Эшреф. Пусть Бехзад-уста скажет для чего.

Бехзад. Ты думаешь, — ты гору для народа рубишь, а мы сидим сложа руки? У нас, брат, все рисовальщики, каменщики, все кузнецы, все медники одним делом заняты — двадцать четыре фонтана в городе строим...

Эшреф. Вода Железной горы будет бить из двадцати четырёх фонтанов!

Бехзад. И все двадцать четыре будут из мрамора. Вот мы и пришли сегодня, чтобы тебе об этом сказать...

Эшреф. Самый большой фонтан будет на площади чинар.

Бехзад. А орнаменты будем рисовать мы вдвоём — Эшреф и я.

Эшреф. Я думаю, этот лист хорошо получится на зеркальном камне.

Ферхад (разглядывает лист, который держит в руках). Этот лист... Нет, не подходит.

Эшреф. Тебе не нравится?

Ферхад (нагибается, чертит палкой на земле). Зеркальный камень фонтана будет поставлен так, не правда ли?

Эшреф. Так...

Ферхад. Если вы нарисуете листья по краям, вот так (рисует), видите, как нехорошо?

Человек из Багдада. Правда.

Эшреф. Постой, Ферхад...

Бехзад. Чего там — постой! Ферхад прав! Некрасиво!

Эшреф. Мы же не будем рисовать лист, как он есть... Мы же будем его обрабатывать!

Ферхад. То есть так? (Рисует.) Или так? (Рисует.) И так можно... (Рисует.)

Эшреф. Вот этот третий рисунок мне не приходил в голову.

Ферхад. Видите, не получается. Постойте... (Встаёт, рассматривает траву вокруг пещеры, срывает один лист, возвращается.) Вот! На зеркальном камне надо рисовать этот лист! (Нагибается, рисует.) Эту сторону надо немного удлинить (рисует), а здесь — немного расширить (рисует).

Человек из Багдада. Молодец! Клянусь богом, как красиво!

Бехзад. Ох, сынок... Опять мне кровь в голову ударила! Такой рисовальщик, как ты... За столько лет не забыл своё искусство!

Ферхад. Разве человек забудет свой родной язык, даже если годами не будет говорить на нём? Когда начинаете работать?

Эшреф. Завтра на рассвете.

Бехзад. Пять-шесть лет протянется, пока построим. А может, и больше...

Человек из Багдада. Время быстро пройдёт.

Бехзад. И жизнь тоже так. Ферхад, может быть, я не увижу, как вода потечёт из родников... Всё-таки — семьдесят лет... Но я представляю себе, как она пойдёт... Может быть, я и не закончу орнамент зеркального камня... Ну что ж? Эшреф закончит! Но я знаю — наш мраморный фонтан будет сверкать, как вода, и будет прекрасный и величественный, как вода!

Ферхад. Отец... Не смею сказать — каждый день, у тебя ведь дела, но, может быть, раз в неделю ты будешь приходить ко мне?

Бехзад. Буду, буду, сынок... Какое у тебя лицо бледное! Может быть, как-нибудь ты сделаешь так, чтоб хоть чуточку солнца видеть... О господи... Ну ладно, мы пошли.

Ферхад. Остался бы ещё немного, отец..

Бехзад. Нельзя, сынок... Нам пора. Сказал ведь, буду приходить каждую неделю... Ну ладно, счастливо оставаться.

Ферхад целует руку отца

Эшреф. Прощай, Ферхад.

Человек из Багдада. Счастливо оставаться, Ферхад-уста!

Ферхад. Я провожу вас...

Идут к левому выходу.

Бехзад. Хоть ночами-то ты хорошо спишь?

Ферхад. Сплю, отец.

Бехзад. Да, спать надо. Спокойно спать... Отдыхать надо.

Ферхад. Отдыхаю, отец...

Все выходят. Некоторое время сцена остаётся пустой. Затем справа из-за холма выходит Ширин, смотрит в сторону, куда ушёл Ферхад, и прячется за деревом. Ферхад возвращается, останавливается на середине сцены. Ширин берёт камушек и бросает в Ферхада. Ферхад оглядывается. Ширин бросает ещё один камушек, потом ещё один. Ферхад догадывается, откуда летят камушки, и идёт к дереву. Из-за дерева выходит Ширин.

Ферхад. Ширин! (Бросаются друг к другу, обнимаются, потом Ферхад берёт Ширин за руки и смотрит в лицо.) Ширин! Ширин!

Ширин. Ферхад!

Ферхад. Как ты пришла? Ты убежала? Нет, нет, молчи... Не говори ни слова... Дай наглядеться на твоё лицо!

Ширин. Ферхад! (Улыбается.)

Ферхад. Моя Ширин. О, как прекрасна твоя улыбка! Как луч солнца в воде...

Ширин смеётся.

Ферхад. Как прекрасен твой смех! Как ветки яблони, колеблемые ветром, весенним ветром...

Ширин тихо плачет.

Ферхад. Стчего ты плачешь?

Ширин. От радости! Ты видишь — мои слёзы смеются...

Ферхад. Расскажи, как ты пришла? Ширин! Моя голубка... Как пришла ты? Ты убежала? За тобой следят?

Ширин. Нет, я пришла со стражею. Они за тем холмом остались ждать меня!

Ферхад. Твоя сестра?..

Ширин. Здорова. слава богу! Она меня послала...

Ферхад. Как! Она тебя ко мне послала? Навсегда?

Ширин. Я навсегда твоя!

Ферхад. Моя Ширин! (Обнимает Ширин.) Отныне будешь ты всегда со мною... Со мною, на груди моей, так близко... так радостно, так живо... Ты моя! (Выпускает Ширин, берёт её за руки, подводит к пещере.) Хочешь, я покажу тебе, где я работаю? Постой, сначала палицу мою я покажу тебе... (Показывает палицу.) Вот видишь? Возьми за рукоятку!

Ширин берёт за рукоятку, но не может даже шевельнуть.

Ширин. Какая тяжесть! (Смотрит на обнажённые мускулы Ферхада.) Как мускулы твои раздулись! Когда меня ты обнял, мне показалось, что кости мои хрустнули... Ферхад, лицо твоё немного побледнело, но эта бледность сделала тебя ещё красивее!

Ферхад. Ты знаешь, отец мой приходил ко мне... Оставил своё десятилетнее упрямство и навестил!

Ширин. Я рада за тебя.

Ферхад. Как я был рад, увидев старика! И ты пришла, Ширин! Тоска, разлука — всё кончилось, всё позади! Отныне мы каждый вечер будем вместе смотреть на звёзды... Каждую зарю мы будем просыпаться рядом... Ширин моя! Ты — ночь моя, мой день!

Ширин. Сядь здесь.

Ферхад садится, Ширин ложится на траву, кладёт голову на его колени.

Ширин. Слушай меня и не перебивай. Я всё, всё должна рассказать тебе, с самого начала...

Ферхад. Рассказывай, но только побыстрее! Мне не хочется думать о том, что было, — нет, только о том, что будет!

Ширин. Слушай, слушай... Страшную вещь узнала я. Не верю, но и не могу не верить... как только вспоминаю, что сестра моя за эти десять лет всё дальше от меня и дальше с каждым днём — чужой становится... Она поставила новое условие...

Ферхад. Условие? Какое? Говори же!

Ширин. Три месяца тому назад визирь скончался.

Ферхад. Я это слышал.

Ширин. Накануне смерти визирь пришёл ко мне. Я не могла себе представить, что человек может быть так коварен, так злобен и так полон ненависти! «Ширин-султан, — сказал он, — я ненавижу тебя. Мои дни сочтены. Я знаю это. Но прежде чем умереть, я хочу сказать тебе несколько слов... Ты отняла у сестры не только её красоту, но и любимого ею мужчину...»

Ферхад. Что ты сказала?

Ширин. Так сказал визирь...

Ферхад. Но это ложь!

Ширин. Не знаю... Красоту её я отняла...

Ферхад. Она сама дала её!

Ширин. Порою я думаю — уж лучше бы она не жертвовала ею, лучше б я умерла!..

Ферхад. Ширин!

Ширин. Подумай сам... У человека, чьей милостью живу я... и какой милостью! Отнять у этого человека, пусть даже невольно, его любовь, отнять тебя!

Ферхад. Ложь!

Ширин. А может быть, и правда...

Ферхад. Пусть даже правда! В этом ни ты, ни я не виноваты!

Ширин. А что от этого меняется? Ферхад! Всмотрись в лицо моё, да хорошенько... Ты видишь эти три морщинки? Две из них говорят о разлуке с тобою, третья появилась совсем недавно... (Ферхад целует Ширин в лоб.) Сестра была красивее меня...

Ферхад. Нет! Ни одна красавица на свете не может быть красивее тебя!

Ширин. Ох, если б умерла я!.. Ей осталась бы красота её... Вы встретились бы... Правда? Отвечай же! (Встаёт.) Нет! Лгал визирь. Хочу счастливой быть!

Ферхад. Мы будем счастливы... Да, я хотел показать тебе пещеру, где я работаю. (Подводит Ширин к пещере.) Вот, видишь?

Ширин. Как темно!.. Хочу забыть! Всё, всё хочу забыть — и эту тьму, и нашу десятилетнюю разлуку, и сестру мою... Идём!

Ферхад. Куда?

Ширин. Туда, где счастье... В наш дворец прекрасный, что ты рисовал своей рукой... В наш сад, к тем яблоням, чьё яблоко впервые я бросила тебе... Но что с тобой? И отчего так странно на меня ты смотришь?

Ферхад. Скажи мне, что за новое условие придумала сестра твоя?

Ширин. Она сказала мне: «Иди к Ферхаду, и, если согласится он вернуться с тобой и бросить этот свой родник, я дам согласие на твою свадьбу. Если ж он не примет этого условия, то всё останется по-прежнему...».

Ферхад. Так вот оно, условие твоей сестры!

Ширин. Какое же это условие? Условие! Как странно! Не правда ли? Но знаешь ли... по голосу её, который я не слышала годами, мне показалось, что сестра моя как будто что-то затаила... сказать: предательство? Язык не повернется! А хитрость?.. Нет! Она на это не способна! Месть?.. Ах, Ферхад, пойдём скорей! Я не хочу здесь оставаться ни минуты...

Ферхад. Тебе не нравится здесь?

Ширин. Это место разлуки нашей... А там — наш сад, наш сад, цветы которого похожи на твои рисунки... Всё лучше там, чем здесь!

Ферхад. Ширин!

Ширин. Как странно посмотрел ты на меня...

Ферхад. Ширин! Я десять лет рубил скалу, чтоб подвести в наш город воду. Вода должна пойти, она пойдёт! Тогда не гной польётся из фонтанов, — вода, сверкающая, как твои глаза, прекрасная, как руки твои, живая, как твоё дыханье! Вода забьёт из мраморных фонтанов!

Ширин. Что говоришь ты?

Ферхад. Наш народ не будет косить болезнью... Люди, собираясь на площадях, не будут больше плакать беспомощно...

Ширин. Ферхад... Ты не идёшь? Так, значит, ты меня не любишь больше?

Ферхад. Я никогда ещё так сильно не любил тебя! За десять лет в пещере я продвинулся на сто аршин... Теперь передо мной лишь чёрная скала... Я прорублю её, а там — вода!

Ширин. За сколько дней прорубишь? Отвечай же! За сколько месяцев? Молчишь?.. За сколько лет?.. Нет, нет... молчи...

Ферхад. Не плачь... Не плачь, Ширин! И руки мне не связывай слезами! Дай мышцам силу радостью своей!

Ширин. Я не герой... Я только беспомощная женщина, которая хочет соединиться со своим мужем.. И ждёт этого десять лет! Беспомощная женщина, которая понимает, что она больше не живёт в сердце мужа...

Ферхад. Ты в моём сердце, в моих руках, в моих глазах!

Ширин. Я ухожу...

Ферхад. Не уходи... останься!

Ширин. Ты не идёшь? Так, значит, снова годы глаза твои не прикоснутся к моим глазам, а руки твои к моим рукам... Ты не идёшь? На лбу моём три маленькие морщинки... Но я ещё красива. Наш дворец, твои орнаменты там ждут тебя, Ферхад! Ты не идёшь?

Ферхад. Ширин!

Ширин. Ты не идёшь?

Ферхад. В то время, когда люди мрут, как мухи, — ну можем ли с тобой мы во дворце быть счастливы, пить из серебряных кувшинов воду с Железной горы? Нет, надо, чтобы эта вода забила в мраморных фонтанах Арзена! И она забьёт! Осталась только одна скала... Я прорублю её!

Ширин. Арзен ты любишь больше, чем меня!

Ферхад. Но разве ты не из Арзена?

Ширин. Пора итти мне. Поцелуй меня! (Ферхад целует Ширин.) Ещё... (Ферхад целует Ширин.) Мы снова не увидимся годами... Морщинки на лбу моём опустятся до глаз... потом до губ... всё ниже... я состарюсь... И, наконец, когда тыпустишь воду в наш город и когда с тобой мы сможем соединиться... ты с жалостью помотришь на меня!

Ферхад. Ты для меня всегда...

Ширин. Молчи! Я верю... Дай руку... (Ферхад протягивает руку, Ширин её целует.) Оставайся с богом... Ферхад... (Ферхад хочет обнять Ширин.) Нет... Поцелуй меня в глаза... (Ферхад целует глаза Ширин.) В этой сказке каждый хоть что-нибудь да сделал... Я тоже сделаю — я буду ждать тебя, как узника — жена, как мать — солдата... До свиданья, Ферхад!

Ферхад (идёт за ней). Не уходи... Остаься здесь!

Ширин поспешными шагами удаляется и скрывается за холмом. Ферхад смотрит ей вслед. Потом вбегает на холм, смотрит на неё.

Ферхад. Ширин! Ширин!

Входит народ. Восходит солнце.

Народ. Здравствуй, Ферхад! (Ферхад обрачивается к народу.) Солнце восходит, Ферхад! Мы снова пришли к тебе, слушать гул ударов твоих! Здравствуй, Ферхад!

Ферхад. Здравствуйте, люди!

Женщина с ребёнком. Я шестимесячного сына принесла, чтоб он тебя увидел, чтоб стал таким богатырём, как ты!

Ферхад. Какой я богатырь? Пусть сын твой лучше станет, чем я...

1-я девушка. Смотри в мои глаза, Ферхад-уста! Ведь говорят, глаза, в которые взглянул ты, получают то, чего желают...

Народ. Ферхад, взгляни — восходит солнце!

Ферхад. Здравствуй, солнце!

Солнце. Здравствуй, Ферхад!

Ферхад. Готова ли ты, палица моя?

Палица. Готова я, Ферхад, жду рук твоих!

Ферхад. А ты, вода за чёрной скалой, слышишь ли голос мой?

Вода (издалека). Слы-ы-шу, Ферха-ад...

Ферхад. А ты готова ль, чёрная скала? Готова ли?

Чёрная скала. Готова я, Ферхад! Иди сюда. Поборемся... Пора!

Ферхад берёт палицу, входит в пещеру, и спустя некоторое время раздаётся гул его ударов, всё сильнее и сильнее.

Женщина с ребёнком. Слушай, сынок, этот гул! Слушай, сынок!

Народ. Бей чёрные скалы, Ферхад, бей! Вода Железной горы, брызни скорей! В наши кувшины лейся полней! Бей, Ферхад, бей!



ВАСИЛИЙ КАЗИН

★

ЛИРИЧЕСКИЕ СТИХИ

О ТЕБЕ

Как о друге, кто всего милее,
Кто блеснул мне солнышком в судьбе,
Хочется поярче, потеплее
Выбрать слово в песню о тебе.

И пристрастие дружбы отвергая
Как возможность моего греха,
Без прикрас, по праву, дорогая,
Ты достойна лучшего стиха.

Хоть на смотр достоинств! Что к их ряду,
Что к их радуге добрать могу?
Красоту твою я, как награду,
Благодарный, гордо берегу.

Хоть красавиц я встречал немало,
Не видал другого образца,
У кого б так правду раскрывала
Молодость прекрасного лица.

Краше нет лица — вот этих скромных,
Добрых черт, где прелесть пролилась
От улыбки, от твоих огромных,
С умным отблеском огромных глаз.

Правде, скромности, уму опорой
Пламя негасимое дано —
Сила духа твёрдого, которой
У народа русского полно.

ЛЮБОВЬ

Меня, ей-богу, не спросилась,
К тебе с любовью вдруг сама
Моя рванулась некрасивость,
Дав страсти сбросить власть ума.

Попробовал я, балагуря,
Удрать от морока, как вор.
Но будто огненная буря
В твой образ мой вковала взор.

Взирал я с жадностью: уж очень
Хорош он был, фигуры взлёт.

В лице до тонкости отточен
 Был каждой чёрточки расчёт.

Что ж! Ведь любовь не урезонишь,
 Как ей умно ни прекословь,
 В пылу восторгов, мук, бессонниц
 Любви ответной ждёт любовь.

Какой надеждой жить бессонной?
 Чем поборю я трудность ту,
 Чтоб к некрасивости влюблённой
 Привлечь твою мне красоту?

Лишь верю в чудо я: такую
 Вдруг в муках сотворю строку,
 Что красоту твою взволную,
 Всем взрывом чувства увлеку.

Надежда и на жалость малость.
 Но, как с врагом в бою бойцу,
 В любви рассчитывать на жалость
 Мне проку нет и не к лицу.

Любовь не терпит снисхожденья.
 Любовью правило дано,
 Чтоб в страсти два сердцебиенья
 Гремели громом, как одно.

ИЗ ОСЕТИНСКОЙ ТЕТРАДИ

ЦЕЙДОН

Мчась с горы сквозь облака,
 Словно буря молока —
 Всё морозом ломится
 В зной полуденный река,
 Великана-старика
 Ледника питомица.

То Цейдон летит. Хотя
 Он и холода дитя,
 Страсть в нём бьёт рабочая:
 Как бурлит он весь, летя,
 Камни с грохотом крутя,
 Валуны ворочая!

С ропотом грохочет он:
 Скор, упорен я, силён —
 Что кручусь, как в танце, я?
 Горный брат мой Гизельдон,
 Почему я обойдён?
 Где ж мне гидростанция?

Вот создать её бы там,
 Где я рвусь на склон к богам,
 Рвусь с угрозой к капищу!
 Я всю бурю волн отдам,
 Горд, коль Родины сынам

В грудь вплесну в труде и сам
Счастья —
Пусть не в рост волнам,
Ну хоть с ту вон каплищу!

В ДИГОРСКОМ УЩЕЛЬЕ

Едва ль порадует, едва ли
И вас река, чей дик мне дух:
Незрим для глаз, для слуха глух,
Тут в потрясающем провале
Урчит Урух.

Хоть у него он и громовый,
Урух в стремительности вод
Свой голос кручам, на народ,
Из тьмы полукилометровой
Чуть подаёт.

Поёт не громом — дробью грома.
Как пред подобным мне певцом,
Я пред Урухом хмур лицом.
Как сердцу песнь его знакома
Скупым концом!

Пока последний час не пробил,
Ты, сердце, бьёшься, кровь стремя,
Безостановочно гремя,
Всё бодрствуя в теснине рёбер,—
Как жизнь моя.

Гремишь огромностью эпохи
В восторге гордом, огневом.
Но как встревожусь я притом,
Вдруг вспомнив, что творю лишь крохи,
Звуча стихом!

ГОРА

Гора ты, гора-осетинка!
С тобой я лишь встретился раз —
Огромная скорбь, как соринка,
Слетела, смущённая, с глаз.

При полном знакомстве — как глыба,
Стал твёрд я душой и умом.
О, каменный друг мой, спасибо
За помощь, за добрый приём!

С врагом ли я брошусь сражаться,
Трудом ли брать к солнцу мосты,
Гора-осетинка, как ты,
Во всём постараюсь держаться
Упрямой, большой высоты!



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ВАЛЕНТИН ОВЕЧКИН

★

В ОДНОМ КОЛХОЗЕ

В один из июльских предуборочных дней у конторы правления колхоза «Красное знамя» съехалось десятка три грузовых автомашин — из всех колхозов района. На каждой машине было полно колхозников. Но хозяевам не впервые было видеть у себя на площади такое скопление машин. Даже ребяташки спокойно поглядывали на эту выставку автомобилей разных марок. Разлѣгшись в стороне, в тени под деревьями, переговаривались.

— Опять договор будут проверять?

— Какой договор! Всем районом, что ли, будут проверять? Видишь, сколько машин.

— Экскурсия?

— Понятно, экскурсия.

— По полям поедут?

— Сначала по полям, потом на фермы. Посмотрят, как электричеством коров доят.

— А потом, которых пригласят, пойдут к председателю обедать...

— Не все?

— Если всех кормить-поить, так у Павла Фѣдорыча и зарплаты нехватит.

— У нас редкий день обходится, чтоб не было гостей.

Только одна машина привлекла внимание ребят. Они подошли ближе, долго рассматривали разнокалиберные скаты, кабинку, измятую, как старая консервная банка, с пробойнами, похожими на пулевые.

— Что, ребята? — высунулся из кабинки шофѣр. — Такой техники ещё не видели? Ни за что не узнаете! Это машина марки «ГТТ».

— Первый раз слышим.

— То-то и оно! Передок и мотор немецкие, а задний мост с «форда».

— «Гитлер — Трумѣна — Ташит», — объяснил один из колхозников, сидевших в кузове.

— Куда ташит? — спросила его женщина, сидевшая рядом.

— После разберѣмся. Пока ещё поездим.

Из конторы правления вышли секретарь райкома Стародубов и председатель колхоза «Красное знамя» Назаров — Герой Социалистического Труда; оба высокие, в меру грузные для своих сорока с лишним лет мужчины, в защитного цвета гимнастѣрках, газифе, хромовых сапогах, — издали по фигуре и костюму не отличишь одного от другого. Стародубов пропустил на заднее сиденье своего «газика» Назарова. Не оглядываясь, зная, что за его жестом следят, махнул рукой, сел рядом с шофѣром, с треском захлопнул дверцу.

— Поехали!

Взревели моторы, за клубилась пыль. Колонна растянулась на полкилометра через всё село, впереди — вёрткий армейский «газик»-вездеход Стародубова.

— Куда? — спросил шофёр, чуть притормозив на выезде из села, где расходились три полевые дороги.

— Я думаю, Дмитрий Сергеич, — сказал Назаров, — начнём с тех полей, что захватило градом. Там похуже.

— А потом рожь Лисицына, перекрёстный сев, свёкла? Чтоб усилить впечатление под конец? Хитёр! Ладно, давай, Стёпа, по средней дороге.

На выбоине, заросшей травой, «газик» сильно трянуло. Назаров стукнулся головой о перекладину, почесал лоб.

— Амортизация!.. Когда же райком партии приобретёт себе «победу»?

Стародубов усмехнулся, промолчал.

— Нам предлагали «победу», товарищ Назаров, — сказал шофёр. — Дмитрий Сергеич отказался.

— Давали в обкоме на выбор: «победу» или «газик», — сказал Стародубов. — Я говорю: «Мне машина для работы нужна, чтоб в любую погоду проехать, куда надо». Взял этот вездеход... А вы, четырежды миллионеры, когда раскошелитесь на «победу»? — обернулся он к Назарову.

— Должно быть, никогда, Дмитрий Сергеич.

— Почему так?

— Даже записано в решении отчётного собрания насчёт легковой машины для правления. А мне что-то не хочется её покупать. Боюсь, покажусь колхозникам каким-то чужим в «победке». Они привыкли к моей таратайке.

— Ну, это глупости говоришь. Колхоз растёт, забот прибывает, всюду нужно поспеть, нужен хозяйский глаз. Зачем тратить лишнее время на разъезды?

— Не в том суть, чтоб за полдня все бригады обскакать. В иной бригаде можно и неделю не быть, если знаешь, что наладил там дело.

— Это так, конечно...

И больше ни словом не перекинулись до самой остановки на дальней границе земель колхоза «Красное знамя».

— Так вот, товарищи колхозники, — сказал секретарь райкома, когда экскурсанты сошли с машин и собрались вокруг него и Назарова, — это у них градобойные участки. Тут у них будет недобор.

— Это-то недобор?..

— Недобор, конечно, — сказал Назаров. — Присмотритесь, сколько колосков посечено, на земле лежат.

— Много лежит, но много и осталось!

— Потому много осталось, что много было, — сказал Стародубов. — Знаете, друзья, пословицу: пока толстый исхудает — из тошего дух вон.

— Нам бы, Дмитрий Сергеич, такой урожай, как у них этот недобор! — заговорила колхозница, приехавшая на машине марки «ГТТ», из колхоза «Ударник», Христина Соловьёва. — А зёмли у них, глядим, никудышные. Глина, мел. Свистульки только лепить. — Метнула горячими чёрными глазами в сторону своего председателя. — Что бы они тут делали, ралетели наши, на такой неудобь? Как бы они выкручивались? На чернозёме по семь центнеров берём!

— Если бы в колхозе «Красное знамя» были самые лучшие зёмли, я бы вас не привёз сюда на экскурсию, — сказал Стародубов. — Я привёз вас не зёмлёй любоваться, а урожаем.

— Если на то пошло, — усмехнулся Назаров, — то можно похвалить-

ся. Почвоведы утверждают, что хуже нашей земли нет по всей области. А на рельеф обратите внимание.

— Да уж обратили, Павел Фёдорович, — подошёл председатель колхоза «Общий труд» Филипп Конопельченко. — Бугры, балки, косогоры. Карпаты!.. Жалко, что не захватили на экскурсию наших трактористов. Поглядели бы, каково вот тут работать! Того и гляди, загудишь вверх тормашками с комбайном в яр! Небось, пережогу в твоей тракторной бригаде — тонны! А?

— Третий раз приезжаешь ты к нам, Филипп Петрович, и всё допытываешься насчёт пережога. Нету, говорю, пережога!

— Ох, не обманешь, Фёдорович! Сам десятый год председательствую. Чтоб по такому рельефу не быть пережогу? А спалит парень лишнего горячего рублей на пятьсот — вот у него уж и энергия отпадает...

— Как-нибудь открою тебе, Филипп Петрович, секрет, почему у наших трактористов нет пережога. Наедине поговорим: Не отвлекай, пусть люди поля смотрят.

— Ну как, товарищи, по-вашему? — обратился ко всем Стародубов. — Сколько возьмёт здесь колхоз «Красное знамя» пшенички, на этом градобойном участке?

— Погодите, пройдем дальше от дороги, посмотрим. Иван Спиридоныч! Как на твой глаз?

— Что — глаз? Сын-плотник говорил отцу-плотнику: «Наплюй, батя, на свой глаз, теперь у нас аршин есть». Обмеряем, посчитаем.

Отмерили в разных местах поля несколько квадратов, оборвали колосья, обмяли их в ладонях, провеяли зерно на ветру, взвесили даже — кто-то из гостей захватил с собой маленькие лабораторные весочки.

— Тринадцать центнеров будет, Дмитрий Сергеич.

— А почему с тех машин не слезли? Вы зачем, товарищи, ездите по полям? Катаетесь или урожай смётрите? Все слезайте, смотрите, щупайте! Вам же придётся дома отчитываться, что видели в колхозе «Красное знамя»!

И лишь после того, как все согласились, что, действительно, на этих самых плохих участках урожай будет не меньше двенадцати — четырнадцати центнеров, Стародубов командовал:

— По коням!..

Колонна грузовиков запыхала по узенькой, извилистой — с перевала на перевал — полевой дороге. Пошли такие рослые хлеба, что местами приземистый райкомовский «газик» совсем скрывался в них, лишь пыль курилась столбом, словно смерч шёл по полям.

По сигналу Стародубова колонна останавливалась. Экскурсанты прыгивали на землю, рассыпались по хлебам, смотрели, щупали, обминали колосья.

— А здесь по сколько будет? — пылливо обращался ко всем Стародубов.

— Ну, здесь, пожалуй, все двадцать, Дмитрий Сергеич. Не меньше.

— А не больше?

— Да как уборка покажет. Если не прихватит суховзем. Зерно-то ещё, видишь, не окрепло, молочко..

— Вопросы к председателю есть? Сколько удобрений внесено, какой предшественник, чем подкармливали эту красавицу?

— Вопросов много к нему, Дмитрий Сергеич!

— А я думаю так, — подошёл Назаров. — Мне лучше бы ответить на все вопросы там, когда в клубе соберёмся. Расскажу и про нашу организацию труда и про агротехнику. А тут пусть люди смотрят, убеждаются.

— По коням!..

Возле свекловичных плантаций задержались дольше. Пышная зелень, без единой сорной травинки междурядья, дважды уже прополотые ровные рядки — хорошо пойдёт здесь свеклокомбайн!.. Но Христине Соловьёвой приглянулось другое.

— Вот где руководители заботятся о нас, женщинах! Против участка каждого звена — шалашик. В холодочке пообедают, отдохнут. Видно, председатель сам когда-то с тяпкой работал, не забыл, как это от зари до зари спины не разогнуть?..

— Мы, Христина Семёновна, эти шалаши строили не только от солнца, — обернулся к ней Назаров. — Придёт время копать свёклу. — осень, ветры, дожди. Надо же где-то людям погреться.

— Ты смотри! — толкнула Христина Соловьёва другую колхозницу. — Второй раз сюда приезжаю, и он уже знает, как меня по батюшке зовут!

— А почему так распланировали? — спросил Филипп Конопельченко. — Один шалаш — в том конце поля, другой — в этом?

— Простой расчёт, товарищ Конопельченко, — ответил Назаров. — Если дождь захватит женщин ближе к тому краю загона — побегут в шалаш к соседнему звену. Если ближе к этому краю — сюда все прибегут.

— И что машинами возите сюда колхозниц на прополку — тоже расчёт? — спросил Стародубов.

— Ну-у? Машинами возите колхозниц на свёклу? — раздалось враз несколько женских голосов.

— А что же такого особенного? У нас в колхозе пять машин. Пусть мы затратим тысячу рублей на горючее, зато сколько выгадаем! Отсюда до села семь километров. Туда, обратно — четырнадцать. А работать когда? Постановили на заседании правления: в семь часов утра все машины ждут пассажиров у конторы. Кто желает ехать — садись. Пришёл в четверть восьмого — опоздал, машины ушли. Так же и в обратный путь. Если хотите ехать, а не пешком идти, работайте до такого-то часа, ровно в назначенное время машины придут за вами в поле. Вот и увеличили рабочий день. Вдвое быстрее прополка пошла.

— Расчёт! И людям выгодно.

— А как же! За хозбутье трудодни не пишут.

— Ну и как, товарищи колхозники, — повёл рукой вокруг Стародубов, — сколько, по-вашему, возьмут они здесь сахарной свёклы с гектара?

— Если ещё дождик-два...

— Метеорологи обещают.

— Да ежели во-время уберут...

— А почему бы им не убрать во-время? Дисциплина, что ли, хромает у них?

— Да что говорить, Дмитрий Сергеич! — кинул всерьёз фуражку оземь один колхозник. — Что ты нас агитируешь? Все — хлеборобы, не первый год землю пашем! По триста пятьдесят центнеров будет тут на круг!

— Кабы такой урожай по всему Советскому Союзу, дома бы строили из сахара вместо кирпичей!

— Как в сказке — молочные реки, кисельные берега?..

— По коням!..

Собрание в переполненном клубе открыл Стародубов. Президиум не выбирали. Это было не собрание, а просто подведение итогов экскурсии.

— Я привожу сюда, товарищи, уже пятую экскурсию, — сказал Стародубов. — Как Назаров не жалеет горючего на прополку свёклы, так и мы не пожалеем горючего на это дело. Дадим каждому колхозу дополнительные лимиты, — но чтоб все люди побывали здесь, посмотрели своими глазами, убедились! И трактористов привезём, покажем им здешние «карпатские горы» и урожаи на этих горах!.. Предоставим слово Павлу Фёдоровичу. Пусть он теперь расскажет, каким путём это всё достигнуто: такая чистота на полях, порядок на фермах, доходы, строительствó. Давай, товарищ Назаров! А потом ещё поговорим.

Доклад Назарова был суховат. Цифры и факты. Он почти не заглядывал в истрёпанные листки с «тезисами», — не первый раз отчитывался по ним перед таким собранием, помнил всё наизусть. В нынешнем году одни лишь капиталовложения в хозяйство составляют миллион. За прошлый год колхозники получили на трудодень по четыре килограмма зерна и по шесть рублей деньгами. Нынче, если выдержат план урожайности, доходность трудодня будет значительно выше. Организация трудодня такая-то, всё делается, как положено по Уставу: главное внимание — укреплению бригад, но и звенья на пропашно-технических культурах не забыты. Из девятисот семидесяти пяти трудоспособных колхозников нет ни одного не выполняющего рабочий минимум в трудоднях. Весенний сев был проведён в восемь дней, ни одного гектара весновспашки, всё по зяби. Минеральные удобрения по разрядке полностью выкуплены и завезены, даже больше завезено — за счёт тех колхозов, которые отказались от них. Местные удобрения используются полностью, старого навоза не найдёте нигде ни грамма — ни на фермах, ни во дворах колхозников, — всё вывезено на поля. Уход за растениями — строго по утверждённым агроправилам: столько-то прополоч, подкормок. Скот на фермах — исключительно племенной, высокопродуктивный. План развития поголовья по всем видам скота перевыполнен на двадцать — тридцать процентов. Дохода от животноводства получено столько-то, и т. д.

Слушать его доклад было скучновато. Цифры, факты замечательные, но будто всё сделалось само собою, потому стал колхоз передовым, что все сознательно выполняют в точности Устав сельхозартели и министерские агроправила, не было будто борьбы, трудностей, помех. Он ни разу не сказал в докладе: «я», «у меня», «я сделал», только — «мы», «у нас», «мы решили». Хорошая скромность, но в ней ступшеёвывалась руководящая роль председателя.

Мне приходилось не раз слушать в другой обстановке рассказы Назарова о колхозе, о пережитом и сделанном здесь за пять лет. Куда лучше рассказывал он об этом под настроение, в небольшой компании, нежели с трибуны перед многолюдным собранием. Он обладал и меткой наблюдательностью и народной образностью языка, был горяч и остроумен в споре. Но здесь, в клубе, все собрались сегодня послушать о достижениях колхоза «Красное знамя», похвалить его, Назарова, поставить в пример другим председателям, споров как будто не предвиделось. Может быть, поэтому он и сделал свой доклад без огонька.

После доклада один колхозник из гостей, не дождавшись, пока Назаров ответит на все вопросы, попросил слова.

— Не о том вы спрашиваете, товарищи, Павла Фёдорыча, — горячо заговорил он. — Про агротехнику нам и свой агроном дома расскажет: когда лучше гречку сеять, когда клевер косить. По книжке — так, а на деле иной раз совсем не то выходит. Живыми людьми всё делается!.. Вы вот про что расскажите нам, Павел Фёдорыч. Сколько вы лет здесь председательствуете?

— С сорок седьмого года. С осени.

— Когда принимали вы колхоз, всё так же было здесь или похуже? Назаров улыбнулся.

— Похуже немного.

— По пятьсот грамм авансом дали за тот год — только пила душа и ела! Вот как было! — подал голос кто-то из присутствовавших в зале колхозников «Красного знамени».

— Ты нас спроси, что тут было до товарища Назарова, — поднялся другой колхозник-гость. — Мы этот колхоз знаем, как свой. Соседи — через межу. Самый отстающий колхоз был в районе! Где падёж скота? У них. Где половина колхозников минимум не вырабатывает? У них. Каждый год семяк им занимали.

— Вот это-то нас и интересует, — продолжал первый колхозник. — Каким же вы чудом, Павел Фёдорович, сделали этот колхоз самым богатым, что теперь вот ездим к вам любоваться вашим хозяйством? Либо, может, золото в земле нашли да сразу всего накупили, настроили? Либо, по какой-ся милости, поставки с вас не берут? А?

— Золото в нашей местности не водится. Никаких природных богатств нет. Даже воды не было. Артезианы пришлось бить. За десять километров возили воду бочками на фермы. И село-то наше называется — Сухоярово... А поставки меньше как по седьмой группе нам ни разу не начисляли. А нынче по девятой будем выполнять, по самой высшей.

— Ну-ну, Павел Фёдорович, — поддержала колхозника Христина Соловьёва, — вот и расскажите нам об этом — с чего вы начинали, как пришли сюда на разбитое корыто? Как дисциплинку подтянули, как на фермах дело наладили? Пусть наши руководители послушают, поучатся. Может, пойдёт им на пользу.

— С чего начал? — Назаров, простодушно-хитровато улыбаясь, почесал затылок. — Давно было, товарищи, не помню уж, с чего начал... Принял печать от старого председателя, порошки в конторе починил, фитиль в лампе подрезал, стекло вытер. Электричества тогда не было... А ещё что?

— Ладно, ладно, — поморщился Стародубов. — Без кокетства. Не забыл, всё помнишь. Расскажи людям.

— Ну, с чего начал... Учили людей честно работать, поощряли передовиков, наказывали лодырей, расхитителей колхозного добра. Назначили хороших бригадиров...

— Эх! — махнул рукой колхозник «Красного знамени» Никита Родионыч Королёв, бондарь, сидевший в первом ряду. — Работать умеет, рассказать про себя не умеет! — Он встал. — Давайте, что ли, я расскажу? Только мой рассказ будет не про него одного. И про других председателей расскажу, каких мы повидали тут.

По залу прошло оживление. Среди гостей сидело много колхозников «Красного знамени», знавших красноречие Никиты Родионыча.

— Валяй, Родионыч, рассказывай!

— Читай по писаному!

— Наш колхозный летописец, — обернулся Назаров к Стародубову.

— Слышал, слышал. Книгу пишешь про колхоз, Родионыч?

— Историю колхоза. А как же! После нас будут существовать внуки, правнуки, жизнью наслаждаться, механизация, электризация, вентиляция, а как же они узнают, как это всё зачиналось? В армии пишут историю дивизий. А я вот в свободное время, вечерами, пишу про наших председателей — что за люди были, про всё ихнее похождение. Павел Фёдорович у меня под седьмым номером идёт. До него шестеро перебыло... Так что, рассказывать или погодить? Даёте слово?

— Даём! — враз несколько голосов из зала.

— Со стороны виднее. Родионич лучше расскажет.

— Пусть говорит.

Стародубов и Назаров переглянулись.

— Тогда уж выйди на сцену, Никита Родионич, чтоб всем было тебя слышно, — сказал Назаров.

Никита Родионич вышел на сцену — лет пятидесяти на вид, высокий, тощий, с впалой грудью, узловатыми кистями рук.

— Про всех шестерых не буду рассказывать, — начал он, — времени нехватит. Были и хорошие председатели, и так себе, и плохие, и пьющие, и непьющие, и такие, что к женскому полу привержены, и наоборот — не любили некоторых бабы за то, что не обращали на них внимания. Всякие были. Один, бывало, нас на три шага вперёд пихнёт, другой — на четыре назад осадит... Расскажу про последнего, от которого ты, Павел Фёдорыч, дела принимал, про Сторчакова... Это до вас было, товарищ Стародубов, — обернулся к секретарю райкома. — Тогда у нас такие порядки были в районе — в колхоз за наказание посылали людей. Если, скажем, всюду не сгодился, тогда уж его — председателем колхоза. Вот так и Васька Сторчак к нам попал. Работал он в Покрозском, директором кирпичного завода. Вроде бы и ничего съедобного — кирпич, глина, песок, но и там как-то занялся самоснабжением. И к тому же пьянствовал, безобразничал. Вызывают его на бюро, отчитался он о проделанной работе, — что ж, снимать? Сняли. Поставили ему строгий выговор на вид. Назначили директором завода безалкогольных напитков. *Безалкогольных!* Мучайся!.. Это до вас ещё было, Дмитрий Сергеевич, — опять глянул на Стародубова. — При бывшем секретаре. Товарищ Тихомиров — был у нас такой... Ну поработал он, Сторчак, на этом заводе безалкогольных напитков — и там проштрафился. Какая-то, говорят, лаборатория у них там при заводе была, спирт для лаборатории выдавали. Подсобное хозяйство было, свиньи, а сала рабочим не попадало, пошло всё ему на закуску. Тянут его опять на бюро. «Не исправился — теперь поедешь председателем колхоза в «Красное знамя», в Сухоярово! Там и воды не так-то просто добыть». Приехал он к нам на отчётное собрание. Уполномоченный говорит: «Вот этого товарища вам рекомендуем». А нам так припёрло — были и непьющие и некурящие, а по работе — ни рыба, ни мясо. Хозяйство не в гору, а вниз идёт. Да давай хоть чёрта, лишь бы другой масти! Проголосовали. Начал он руководить. Бьёт телеграмму какому-то приятелю в Донбасс: «Почём у вас картошка?». Повезли туда два вагона. А время — декабрь месяц, морозы, картошка помёрзла, выкинули из вагонов да ещё штраф заплатили за то, что насорили на путях. Подработали!.. Весна наступает — зяби нет, семян нет. Промучились мы с ним лето, уборку завалили, хлебопоставки сорвали — прощается он с нами. «Ну, товарищи, уезжаю. Выдвигают меня опять на районную работу».

— А куда его выдвинули, Родионич? — голос из задних рядов. — Я что-то уж запомнил.

— Да опять же директором какой-то конторы «Заготкождёрсырьё», что ли... «Прощайте, — говорит. — Покидаю вас». — «А как же мы тут без тебя, Василий Гаврилыч?» — спрашивают его. — «Да проживёте, — говорит. — Пришлют кого-нибудь».

Вот, значит, распрощались мы подобра-поздорову с Василием Гаврилычем. С неделю было у нас безвластие, уполномоченный сидел тут, наряды бригадирам выписывал. Потом привезли нам Павла Фёдо-

рыча. Хотя про него неправильно будет сказать, что привезли. Он сам сюда напросился. Работал он в райкоме партии инструктором, так, Павел Фёдорыч? И, значит, изъявил желание пойти сюда председателем. Это уже нас заинтересовало. В самый отстающий колхоз добровольно пошёл человек. Стало быть, есть у него приверженность к колхозному делу, к хлеборобству. И ничего не слышно было про него такого, чтоб где-то там чего натворил, чтоб снимали его. Так... Выбрали мы его, принял он дела. Ходит по селу в офицерской шинелишке фронтовой, потрёпанной. Худенький такой, моложавый. Это уж он после раздобрел, у нас, когда по три да по четыре килограмма стали давать... А начал ты, Павел Фёдорыч, если уж всё в точности говорить, с того, за что тебя в первые же дни райком чуть из партии не исключил. Помнишь?

— Да не забыл.

— Видите? Всё помнит, только рассказывать стесняется... Или, может, про это нельзя говорить тут, при беспартийных?

— Давай, давай! — махнул рукой Стародубов. — Я не слышал этой истории.

— Так было дело, — продолжал Никита Родионыч. — Тогда у нас ещё молотьба шла. В декабре месяце. Не молотьба, а загробное рыдание. По пять человек из бригады выходило на работу. Окончательно стпала энергия у людей. Видят, урожай плохой, поставки выполнили, еле хватит на семена и фураж, а по трудодням получать нечего. Но всё же домолотить то, что в скирдах осталось, нужно, хоть его и мыши уже наполовину съели. Ковырялись помаленьку... Конечно, сами виноваты, что такой урожай вырастили, но опять же рассудить — при чём мы, что не было у нас хорошего руководителя? Мы от этого Васьки Сторчака слова человеческого не слышали, только: «Судить буду!»... Походил Павел Фёдорыч по бригадам, полюбовался на нашу работу — центнер в день намолачиваем, до следующей зимы хватит такими темпами молотить, — пошёл по селу, заглянул и к тем, что дома сидят, не выходят на работу. А у тех тоже положение незавидное. Сидит вдова с детишками, топлива нет, корму для коровы нет, хата раскрыта, ветер свищет. Сидит и сама не знает, зачем сидит, что высидит? Созывает он вечером в правление всех бригадиров и даёт такое указание: молотьбу приостановить на три дня, все мужики, что выходили на работу, пусть возьмутся и покроют вдовам хаты. Выдать им лошадей, сколько нужно для подвоза соломы, и только этим пусть и занимаются — кроют хаты. И пусть подвезут торфу на топливо особо нуждающимся. Как налетел уполномоченный! «Вы что — очумели? Молотьбу остановили! Товарищ Назаров! Тебя зачем сюда посылали? Укреплять дисциплину или разлагать?» На машину его, раба божьего, и поволок к Тихомирову... А какой у них там был разговор с товарищем Тихомировым, пусть он сам об этом расскажет, я там не присутствовал.

— История об этом умалчивает? — рассмеялся Стародубов.

— Да нет, не умалчивает...

— Читай, как у тебя записано, — ответил Назаров. — Я после скажу, так ли было.

— В райкоме, по слухам, хотели сразу собирать членов бюро и снимать ему голову. А потом всё же сообразили, что как-то оно получится политически неверно: человек только что принял колхоз — и сразу исключать его из партии?.. И он, конечно, стал проситься: «Дайте, — говорит, — ещё неделю сроку, а потом присылайте комиссию, пусть проверит — прав я был или нет». Так?

— Ну так...

— А через неделю у нас уже во всех бригадах не по пять, а по тридцать человек выходило на работу!..

— А почему? — перебила Королёва одна из колхозниц «Красного знамени». — Про это и ты, Родионыч, не расскажешь. Ты в нашей вдовьей шкуре не был. Как у нас бабы частушки поют: «Вот и кончилась война, и осталась я одна»... Пришёл Павел Фёдорыч к нам в бригаду. Зерно чистили мы на семена и в амбары возили. Мужики все на ответственной работе: тот кладовщик, тот весовщик, тот завтоком, тот учётик. Сидят, покуривают, анекдоты рассказывают. А бабы веялки крутят, зерно грузят на машину. Да ещё сделали нам ящик — меру, центнер целый пшеницы влазит. Ну-ка, подними, перекинь его через борт! Животы надрывали. Поглядел Павел Фёдорыч на такие порядки, видим — аж побелел с лица, рассердился. Как трахнет тот ящик оземь! Разбил в щепки. «На чью силу вы, — говорит, — такие короба делали? Калечить женщин? Этим хотите поспешить?» Дал чертёж, какие ящики поделать, на двадцать килограмм, не больше. И разогнал потом всех мужиков на рядовые работы. А женщин — кладовщицами, учётицами... Э, думаем, есть, значит, люди, которые об нашей бабьей доле болеют! Ну и как же нам не возрадоваться, не сделать хорошее для такого человека, для колхоза? У кого совесть не заговорит?

— Короче сказать, — продолжал Никита Родионыч, — поставили мы две молотилки да как ахнули в две смены — дней за двенадцать перемолотили всё, что оставалось. До снегу управились. Приезжает комиссия из района, видят — ошиблись, зря нашумели на человека. Дело в колхозе, похоже, пойдёт на лад...

Назаров вначале, когда заговорили о нём колхозники, несколько смущался. Он сел в первом ряду на стул, с которого поднялся Никита Родионыч, и заметно было, не знал, куда себя девать. То ли сидеть спиной к залу — неудобно, когда о тебе говорят, то ли повернуться лицом к людям — тоже нехорошо, как на выставке, смотрите, мол, все на меня, какой я есть. Сейчас смущение его прошло, он поднял голову и вполоборота, через плечо, широко раскрытыми глазами смотрел в зал. Половина людей в зале — колхозники «Красного знамени». Взгляды всех были обращены к нему. На всех лицах он видел хорошие, тёплые улыбки. Вздвигало Назарова сегодняшнее собрание... Нет, не всё делал он с расчётом. Много — от сердца, и сам уж позабыл. А народ помнит. Пять лет поработал он здесь. Большой кусок жизни. Каждый шаг его помнят...

— Так вот с чего начинал у нас Павел Фёдорыч, — заключил Никита Родионыч Королёв. — Понятно вам, товарищи? Сельское хозяйство — это такая штука: поднять дух человека — он тебе втрое больше сработает. А больше поработаем — во-время посеём, уберём, хороший урожай получим. А от хорошего урожая ещё больше дух у человека поднимается! И ещё скажу вам про сельское хозяйство. Когда председатель в четыре часа утра на ногах — и бригадирам уж как-то неловко на мягких перинах нежиться. А от бригадиров и другим передаётся. Так оно и идёт, беспокойство, по всему колхозу...

...Расходились из клуба все в каком-то приподнятом, взволнованном настроении. У женщин как всегда не обошлось без слёз. Христина Соловьёва, одной рукой вытирая слёзы, другой вlepила крепкого тумака в спину своему председателю.

— Эх!..

И в это одно слово вложила всё, что пережила, перечувствовала за день.

Стародубов живо обернулся на возглас женщины.

— Так, так, Христина Семёновна! Не давай ему покоя, толстошкурому! Где ни встретишь его, на улице ли, в правлении, спрашивай: «А почему у нас хуже, чем в «Красном знамени»?»

— Да мы теперь, Дмитрий Сергеич, такие злые стали! — враз заговорили несколько женщины. — На свою голову привезли нас сюда!

— И к вам в райком придём, спросим: почему же вы так неровно руководите, что наши колхозы отстали?

— Что мы — у бога телёнка съели?

— Руки до нас не дошли, что ли?

Стародубов с довольным видом смеялся.

— Так, девчата, так! Как по-морскому говорится: «Так держать!»...

Но хотелось, чтобы он на прощание сказал и Назарову что-то дружески-подхлестывающее, вроде:

— А не привыкаешь ли ты, Павел Фёдорыч, к тому, что всё к тебе да к тебе ездят на экскурсию учиться? А тебе с твоими колхозниками некуда поехать поучиться? Разве твой колхоз самый лучший в Советском Союзе?..

Но этого Стародубов не сказал Назарову. Вокруг Назарова собралось человек десять — председатели соседних колхозов, бригады, директор МТС, Христина Соловьёва. Назаров успел сказать им: «Обедать — ко мне». Остальные — кто побежал перекусить в сельпо, кто пошёл к своей машине. Стародубов взял Назарова за рукав.

— А то поле, что под Городенским, всё же поздновато вспахали вы под пар. Не все, может быть, это заметили, обратили только внимание, что чистый пар, ни соринки. А чистый потому, что неделю назад только вспахано. — Засмеялся. — Верно? Меня не проведёшь!

— Под выпас оставляли, Дмитрий Сергеич. Ничего, не хуже будет на том поле пшеничка, посмотрите будущим летом. По толоке — пар. Верите, некуда скот выгонять. По нашему животноводству нам бы ещё земли гектаров пятьсот. Где её взять?

— Подсевать, подсевать надо побольше! Искусственные выпасы. Культурно надо хозяйствовать, не надеяться лишь на ту травку, что бог вырастит.

— Есть и искусственные выпасы — нехватает. Хотели посеять больше ржи на выпас, — вы же сами попросили занять «Маяку» семян... Куда вы, Дмитрий Сергеич?

— Поеду. Стёпа! Давай машину.

— Да зайдёте ко мне, пообедаем! С утра не ели. Уже шестой час.

— Нет, поеду, спасибо. Отдохну часок. А вечером — заседание исполкома.

— Всегда вы отговариваетесь заседаниями. Неправда, нет сегодня исполкома! Почему же меня не известили? Я — член исполкома.

— Или что-то другое... Забыл. Комиссия какая-то. Нет, поеду.

— Брезгуете нашим хлебом-солью?

— Ничего, ничего, как-нибудь в другой раз. До свидания. А ты и за столом расскажи ещё им о своих методах руководства. Я думаю, сегодня день не пропал зря. Крепко запало в душу людям то, что они видели здесь. Ты уж потерпи, Павел Фёдорыч. Ещё не раз побеспокоим тебя, оторвём от работы. Не одну ещё экскурсию поводишь по своему хозяйству.

Пожал всем руки, сел в «газик», уехал...

Назаров посмотрел вслед машине, огорчённо сказал мне:

— Третий год он в нашем районе работает, а ни разу не выпил у

нас в колхозе и стакана молока. Ни ко мне домой не заходит, ни к себе не приглашает, когда бываю в районе. Только по обязанности встречаемся. Разойдёмся — и будто чего-то главного не сказали друг другу...

Я много раз бывал в колхозе «Красное знамя» и не один вечер просидел в райкоме у Дмитрия Сергеевича Стародубова. Прилепился я как-то душой к этому району, где при многих недостатках и недоработках пульс жизни бьётся энергично и во всём чувствуется умное, помогающее делу вмешательство «первой головы» в районе — секретаря райкома.

Но всякий раз меня неприятно удивляло, что, когда я заводил речь о колхозе «Красное знамя» и его председателе Назарове, восхищаясь его организаторским талантом и прочими хорошими человеческими качествами, у Стародубова потухали глаза, он скучнел, отвечал что-то вроде: «Да, да, хороший колхоз. Да, хороший председатель», и переводил разговор на другую тему. Он куда с большим увлечением рассказывал о самом отстающем в районе колхозе — что сделал он там, прожив два дня, и какие заметил после этого обнадеживающие перемены, — чем о «Красном знамени», крепко вставшем на ноги колхозе, знамени-том на всю округу.

Что это? Ревность к делу? В этот колхоз уже не нужно посылать толкачей? Там «кампании» идут своим чередом, без уполномоченных райкома. Там ему, Стародубову, делать нечего?..

Однажды на прямо заданный вопрос Стародубов прямо и ответил мне, несколько, правда, иносказательно.

— У вас есть взрослые дети?

— Да, сын студент, на втором курсе.

— И у меня — два студента... Кончили десятилетку, поступили в институт, стипендия, взрослые люди — в крайнем случае, уж и без отца обойдутся. Ты уже не нужен им... Грустно провожать выросших детей в самостоятельную жизнь...

Как-то при мне в райкоме Стародубов и Назаров стали хвалиться — в шутку, кто больше сил положил на колхозное строительство.

— Я, товарищ Назаров, — сказал Стародубов, — связан с колхозным строительством уже двадцать восемь лет!

— Как же это может быть? — развёл руками Назаров. — Колхозам-то всего двадцать второй год. Мы стали организовывать колхозы в тридцатом году.

— Кто это — вы? Вы, может быть, в тридцатом. А мы, батраки и бедняки села Глебово, Курской области, организовали коммуну ещё в тысяча девятьсот двадцать четвёртом году, и я работал в этой коммуне на тракторе. Первым был трактористом в районе!

Назаров умехнулся.

— Вот так и моим словам удивляются, Дмитрий Сергеевич, когда скажу, что я — колхозник с тысяча девятьсот двадцать второго года. Я родом с Кубани. У нас была краснопартизанская коммуна. Отец мой был командиром отряда, его же выбрали и председателем. Мне тогда было четырнадцать лет. По началу коров пас в коммуне.

— Значит, выходит, мы оба с тобой — колхозники с «подпольным» стажем?

Посмеелись, вспомнили комсомольские годы, раскулачивание, бандитизм, трудное время, когда спали, не раздеваясь, с наганом под подушкой... Стародубов спохватился, встал, провёл карандашом по сводке, разложенной на столе.

— Там у тебя, Павел Фёдорович, невыполнение по яйцу. Нехорошо, сводку нам портишь. Передовой колхоз. Я тебя прошу. Постарайся как-нибудь к двадцатому числу...

И Назаров встал, вздохнул.

— Выполним, Дмитрий Сергееч. Чем-нибудь заменим... Я же вам объяснял, почему мы не взяли цыплят с инкубатора. Недостроили новый птичник, не успели. А тут — холода, снег пошёл в апреле месяце. Зачем брать? На погибель? По птичьему поголовью немножко невыполнили, зато коров — сто сорок процентов. Это же важнее. Заменим молоком. Какое сегодня число? Двенадцатое. Девятнадцатого покажу вам квитанцию.

А когда я присмотрелся ближе к делам в колхозе «Красное знамя», то увидел: нет, нужен ещё этому выросшему сыну отец! Только надо бы и отцу, когда дети поступили в институт, заглядывать в свои истрёпанные вузовские учебники, повторять кое-что забытое и узнавать новое, чтобы во всякую минуту знать и понимать больше, чем знают дети, обращающиеся к нему за помощью...

Стародубов увлёкся подтягиванием всех колхозов района к уровню передового колхоза «Красное знамя» и делал это, надо сказать, с душой. В районе, собственно, уже и не было резко отстающих колхозов. В последние годы, при нём, председателями колхозов посылали действительно лучших людей из партактива. Было послано и несколько агрономов — не таких, что, имея диплом о высшем сельскохозяйственном образовании, не могут запрячь лошадь в телегу, а практиков, любящих колхозное дело, организаторов. Стародубов много занимался машинно-тракторными станциями. При мне как-то он созвал совещание бы в ш и х трактористов — узнал, что в каждом колхозе есть пять-шесть старых комбайнеров и трактористов, бросивших машины и устроившихся кто кладовщиком, кто просто ездовым, — и распорядился созвать всех в райком такого-то числа к такому-то часу. Там он подробно расспросил каждого: почему бросил он машину? Непорядки ли в МТС отпугнули, колхозы ли неаккуратно рассчитывались с ним, бытовые ли условия в бригаде были плохие? Пообещал, что займётся улучшением быта трактористов и проверит по каждому колхозу расчёты с ними. Рассказал им то, что они и сами, собственно, видели, — как в МТС ежегодно весной сажают на новенькие машины учеников и что из этого получается: богатейшая техника не даёт и половины того, что могла бы дать в опытных руках. Постыдил, поругал их за то, что бросили свою замечательную, трудную, но почётную профессию. После совещания многие его участники вернулись на машины.

Когда приезжали мы со Стародубовым в средний колхоз, у него находилось достаточно советов и дельных предложений председателю. Там он чувствовал себя как рыба в воде — где труднее. А в «Красное знамя» он и заезжать не любил. Только и бывал там, что с экскурсиями.

Но действительно ли ему нечего было там делать?

Да, когда клевер убирать и что сеять на искусственных выпасах — это Назаров знал не хуже секретаря райкома и любого агронома. Да, кстати, и агроном у них был в колхозе. И поставки они выполняли без особого нажима, не нужно было посылать туда уполномоченных. А вот почему бы не спросить Назарова:

«До каких пор в таком богатом колхозе у людей хаты будут соломой крыты? Случись пожару под хороший ветер — полсела сгорит. Начиная с того что заставил бригадиров крыть соломой хаты вдовам, но ведь с тех пор уже прошло пять лет. Теперь уж нужно перекры-

вать те хаты черепицей. Агророда, что ли, напугали вас? Затея с агрородами осуждена как преждевременная, есть более первостепенные задачи — повышение урожайности. Да и вам, может быть, не нужно тут город строить. Но село благоустроить — нужно. Вам-то ваши доходы позволяют уже заняться бытовым строительством. Миллион — на капиталовложения!»

«А почему в вашем хозяйстве такое пренебрежение к садоводству? Сады — это и богатство колхоза, и изобилие, и украшение жизни. Десять гектаров старых, запущенных, обломанных деревьев — это не сад по вашим масштабам. Двести гектаров культурного сада надо бы вам иметь!.. Бывает, конечно, что сельский хозяин увлекается чем-то одним — пшеницей, или разведением свиней, или орловскими рысаками. Может быть, он просто не ест яблок. Но председатель колхоза, где живут и работают тысячи людей с разными вкусами и потребностями, не имеет права быть односторонним. У него не должно быть нелюбимых отраслей».

А самое главное вот что. Три года уже колхоз «Красное знамя» топчется на месте в смысле урожая. Хороший собирает урожай, но топчется на месте, рост приостановился. А удобрений и местных и химических из году в год всё больше вносится в землю. В чём дело? Подтянулись все бригады к уровню передовых и застыли? Никто больше не ищет путей к ещё лучшему урожаю? Или сказывается уже сильная распылённость почвы, разрушение её структуры? Может быть, даже введённая на полях колхоза травопольная система не восстанавливает её в должной мере? Зёмли ведь в колхозе действительно выпажаны, распылены до крайности. А «карпатские горы»! Одни ежегодные смывы почвы на буграх весной какой наносят ущерб её плодородию!

До сих пор Назаров показывал себя на деле грамотным, образованным хозяином и не одного специалиста удивлял своей эрудицией в вопросах культурного земледелия. Но его познания в агрономии — это многолетний крестьянский опыт, начитанность, добросовестное изучение всяких агротехнических учебников, журналов и только. Это ещё не творчество. Чем-то принципиально новым в земледелии колхоз даже под его руководством пока что не блеснул. Чтобы не зайти в тупик с урожаями, Назарову нужно упорно, напрягши все силы, искать возможности для нового рывка.

Может быть, ему следовало бы съездить в Курганскую область к знаменитому уральскому полеводу-новатору, колхознику-учёному Терентию Мальцеву? Очень важно именно здесь, в среднерусской полосе, на сильно распылённых почвах, заложить опыты с севооборотом Мальцева! Самое «страшное», на первый взгляд, в агрокомплексе Мальцева — это то, что он в шесть лет лишь два раза глубоко пашет землю, а четыре года сеет пшеницу и ячмень по непаханной, только взлущённой дисковыми лушпильниками стерне. Как не пахать поля? Скажи только в каком-нибудь отстающем колхозе, что можно не пахать, — разведут тебе такие сорняки, что твои джунгли! Но «Красное знамя» — передовой колхоз. Здесь земли давно уже очищены от сорняков. В колхозе есть агроном. Бригады достаточно подготовлены агротехнически. Можно быть уверенным, что здесь не погубят предложений Мальцева.

Не «от бедности» ввёл Мальцев такой севооборот у себя в колхозе, в Зауралье. Не для того, чтобы как-нибудь обойтись без пахоты. Для урожая. Для быстреего восстановления структуры почвы и, стало быть, повышения её плодородия. И на полях, которые в его колхозе

«Заветы Ленина» перестали ежегодно пахать, урожай из года в год растёт.

Посоветовать, настоять, прямо усадить в вагон и отправить нужно Назарова туда, где люди в ещё более трудных природных условиях берут урожай гораздо выше, чем его колхоз «Красное знамя!» «Тебе, Павел Фёдорович, хоть ты и Герой Социалистического Труда, не зазорно поехать поучиться к Терентию Семёновичу Мальцеву. Он — лауреат Сталинской премии и кандидат в академики. Шадринский район, Курганской области, — место, где происходят сейчас интереснейшие события в сельскохозяйственной науке!»...

...Да, уполномоченные — толкачи по текущим «кампаниям», может быть, уже не нужны Назарову. А глубокое проникновение первого секретаря в дела, в жизнь колхоза — необходимо.

— Скажите, Дмитрий Сергеевич, — спросил я как-то Стародубова. — Вот вы бьётесь третий год над тем, чтоб сделать район передовым, подтянуть все колхозы. Есть такие препятствия, что вы не в силах сами преодолеть? Не от вас зависящие? Не местного происхождения препятствия?

— Есть, конечно. — Стародубов помолчал минуты две. — Самое большое зло — кампанейское руководство колхозами. Приезжает к нам уполномоченный обкома, требует, скажем, хлебопоставки. Ни о чём другом и речи нет. А в это время в сельском хозяйстве — целый комплекс работ! Для будущего урожая, для будущего хлеба! Что-нибудь одно упустишь из виду — всё расстроится. Нажимают на нас, и мы тоже начинаем психовать, и мы так же рассылаем уполномоченных: только по заготовкам, — ни зябь, ни засыпка семян, ни корма в зиму для скота — ничто их не интересует. Потом уж, когда хлебопоставки закончим, спохватимся: надо же и зябь пахать! А тут уже — дожди, морозы... По моему, такие методы руководства колхозами устарели на сто лет!.. Может быть, кого-нибудь из секретарей райкомов они и удовлетворяют, такие методы, — тех, кто в деревне на короткое время обосновался, пережить годик-два, потом на учёбу или на повышение, а после меня — хоть потоп. Но я в деревне родился и вырос, мне спешить отсюда некуда. И в этот район я пришёл поработать, а не посидеть на чемодане до следующего поезда.

Стародубов рассмеялся.

— Надо бы закреплять секретарей райкомов хотя бы на одну полную ротацию севооборота! На восемь-десять лет. Как за бригадами участки закрепляем. В колхозах боремся с обезличкой, а среди нашего брата, руководителей районного и областного масштаба, обезлички этой самой — хоть отбавляй! Один сеял, другой жал, третий за всех ответ держал!..

— Что ещё от нас не зависит?.. Вот — планирование. — Стародубов обернулся к книжному шкафу, достал с полки томик Семёнова Тянь-Шанского из собрания «Россия» — «Среднерусская чернозёмная область». — Наши районы — уезд, вернее, по-старому — славились урожаями бобовых культур, гороха, чечевицы. — Перелистал том. — Вот даже фото есть — грузят на баржи горох. И старики вспоминают, что горох здесь сильно родил. Земли и климат, стало быть, подходящие. Да что — старики. Опытная станция у нас есть — факты, доказательства за ряд лет. И нам не планируют ни гектара гороха. Планируют ячмень. А он здесь испокон веку плохо родит. Тоже есть тому доказательства. А попробуйте заменить ячмень горохом! Пишем, пишем, спорим, доказываем — как об стенку горохом! И тоже ведь — ценная, нужная куль-

тура! Но почему же так планируют? А в те районы, небось, где ячмень лучше родит, — горох дают. Бездушное, канцелярское планирование!

— Что еще?.. Ну вот нормы горючего... Конечно, в большинстве случаев мы сами виноваты в пережоге. Плохо работаем с трактористами, в энтээс безобразно обращаются с горючим, цистерны у них текут, при перевозке, при заправке много проливают на землю. Но вот такой случай. Урожай в колхозе на каком-то участке — небывалый, тридцать пять — сорок центнеров. Техника наша от таких урожаев отстала. Высокоурожайных комбайнов мы ещё в районе не получили ни одного. А обыкновенный комбайн такой хлеб на полный хедер не берёт. На полхедера косят, и то молотилка с трудом перерабатывает. Выходит, что здесь трактористу и трудодней меньше запишут, потому что он нормы не вырабатывает, и горючего он в два раза больше спалит. Директору энтээс-то, правда, разрешается увеличивать нормы расхода горючего на отдельных участках, но не намного. А где урожай всего десять центнеров, там тракторы с комбайнами бегом бегают, там — перевыполнение, экономия горючего, «передовики уборки». Дикая вещь, но получается, что трактористу куда выгоднее убирать средний хлеб, чем очень хороший!.. А вы знаете, что у Назарова получается на его «карпатских горах»? Конечно, есть перерасход, неизбежен там, на таком рельефе, перерасход. И урожай у него к тому же всегда такие, что комбайны бегом не разгонятся. Но, как умный председатель, он не может допустить, чтоб его тракторист корову продавал в конце года, чтоб рассчитаться за горючее. Действительно — энергия отпадёт у ребят. Знаете, что он делает? Уплачивает из колхозной кассы за трактористов, за их пережог. Или покупает горючее. Незаконно, но что поделаешь, если в наших земельных органах товарищи не продумали как следует такие вопросы?.. Вообще, нужно сказать — урожай ещё не стал критерием всей нашей работы. Как у нас в обкоме определяют первенство районов, скажем, на уборке? Такой-то район убрал зерновые на сто процентов — он красуется в сводке на первом месте. А убрали они быстро только потому, что нечего было там, собственно, и убирать. Колос от колоса — не слышать голоса. Семь центнеров — урожайность. И группу им установили самую низшую, и хлеба государству сдали они в три раза меньше, чем соседний район, где урожайность была восемнадцать центнеров. Так за что же они — «передовики»? За то лишь, что на неделю раньше отрапортовали?.. Много, много есть такого, что от нас не зависит. Думаю, что я бы здесь за три года больше сделал, если б не было помех.

А Назаров на такой же вопрос — о препятствиях не местного происхождения — повёл разговор не о своём колхозе, а об МТС.

— Да в колхозе-то у нас сейчас ничто, вроде, не мешает мне. С Дмитрием Сергеечем в основном поладили. При Тихомирове хуже было. За всё в районе отдувались передовые колхозы... Вот на энтээс нашу больно глядеть. Что получается — ни копейки ведь не дают им на капитальное строительство! Постройки у них до войны были богатейшие. Немцы всё спалили. И вот до сих пор бедствуют. Мастерской нет, есть там сарайчик — три трактора только загнать, наша колхозная кузница куда просторнее. Весь инвентарь зиму и лето — под открытым небом. Не на что построить хотя бы простенькие навесы — министерство не даёт денег. Это что — государственная экономия? Не могу понять такой экономии! Сам хозяин, знаю, на чём можно натянуть, а на чём нельзя натягивать. Копейку пожалеешь — рубль потеряешь! Самоходные комбайны, молотилки, тракторные сеялки под снегом зимуют. Срок службы

инвентаря сокращается в три-четыре раза. Почему раньше у мужика лобогрейка работала двадцать пять лет? Кончил ксовицу, обтёр её тряпкой, разобрал, смазал и — в сарай. А тут — сеялки под открытым небом, солнце, дождь, снег. Дисковую сеялку правильно наладить на севе, вы знаете, это же — что скрипку настроить. И вот эти скрипки — под снегом! Дерево гниёт, коробится, высевающие аппараты ржавеют. Эх!.. Взять бы тем финансистам, что фонды в эмтээс спускают, карандаш в руки да подсчитать: сколько стоит крыша без стен, столбы, дрань и сколько стоит тот инвентарь, что можно под этой крышей спасти?.. А трактористы зимою как у них живут? Приходят на ремонт, некоторые за пятнадцать—двадцать километров, каждый день туда-сюда не находишься. Надо тут где-то и жить, так, чтоб поспать в тепле, переодеться, помыться. Общежитий в эмтээс нет. Ютятся, где попало: кто в конторе, кто в кочегарке. И разобраться — директор не виноват. Опять же — не дают ему денег на строительство. Выше головы не прыгнешь. Спрашивал я нашего директора: «Может, это ты один такой в области несчастливый? Или не умеешь выпросить денег, или рассердились на тебя за что-то, в чёрном теле держат?» — «Какое там один! — говорит. — Съедемся в областное управление на совещание, директора, станем спрашивать друг друга — многим не выделяют фондов на капитальное строительство». А ведь эта «экономия» нам боком выйдет! И дорогие машины калечим прежде времени и кадры теряем, старые трактористы уходят из эмтээс... Видят это работники Министерства сельского хозяйства? Видят. Почему же не добьются фондов?..

Пожаловался мне однажды Стародубов на Назарова:

— Мужичок. Замкнулся в рамках своего колхоза, ни о чём больше знать не хочет.

— Замкнулся? Вот это на него что-то не похоже.

— Член бюро, член исполкома, а не живёт интересами района. В прошлом году он вывез по хлебопоставкам авансом, в счёт нынешнего года, восемьсот центнеров. Мы ему сейчас этот аванс засчитали. Но нам-то, району, не засчитывают! Да вдобавок после того, как мы уже довели планы до колхозов, получаем телеграмму: ещё вам десять тысяч центнеров. В других районах с заготовками хуже — боятся, что там хвосты останутся, и в порядке страховки дают нам дополнительно. Спрашиваем: «Как же размещать их?» — «Как хотите, так и размещайте»... Говорю Назарову: «Павел Фёдорович! Махни-ка ещё, в счёт будущего года, центнеров тысячу?». Жмётся... «Подумаем, Дмитрий Сергеич... Я же не директор — председатель. Что колхозники скажут»... А мне что скажут в обкоме, если я эти десять тысяч не выполню?..

— Но если они вывезут ещё тысячу центнеров, то ваш передовой колхоз поравняется в выдаче хлеба на трудодень с отстающими?.. Может быть, Дмитрий Сергеич, это и есть те случаи, когда нужно обращаться в высшие инстанции? И у вас и у Назарова сколько наболевших вопросов! Вот бы вдвоём — такие практики колхозного строительства! — сели бы, обдумали всё и написали — что, по-вашему, мешает укреплению колхозов...

Стародубов взял со стола книжечку: «Устав Коммунистической партии Советского Союза», раскрыл её, полистал.

— Да... Для нас написано, чёрным по белому: «Член партии не имеет права скрывать неблагоприятное положение дел, проходить мимо неправильных действий, наносящих ущерб интересам партии и государ-

ства», «Член партии имеет право... обращаться с любым вопросом и заявлением в любую партийную инстанцию вплоть до ЦК...», «Член партии обязан... бороться против парадного благополучия и упоения успехами в работе»...

Был у меня ещё разговор с «летописцем» колхоза «Красное знамя» Никитой Родионом Королёвым.

— До Дмитрия Сергеича у нас и такие секретари бывали, — рассказывал Королёв, — что всё больше в богатые колхозы ездили. Душою отдыхали там, голова у них там от бабьего крику не болела. А мимо какой-нибудь бригады в отстающем колхозе промчатся — сто километров в час, — люди только пыль понюхают. То — хуже. То значит — руководители боятся трудностей, не нашли общего языка с народом. Последнее дело!..

— А вы, Никита Родионом, в своей «Истории колхоза» и про секретарей райкома пишете?

— А как же! Я считаю, нет горше беды колхозу — плохой председатель, а для председателя колхоза нет ничего хуже — плохой секретарь райкома. А когда и тот и другой неудачные, то колхозу, значит, беда вдвойне... Товарищ Стародубов у меня под девятым номером идёт... Эх, был у нас товарищ Круглых! При немцах в партизанах погиб. Орёл! Тот бы нас тревожил! Каждый день пускал бы ежа под череп нашему Павлу Фёдорычу!.. А про Дмитрия Сергеича не знаю, чего написать. Пока что ничего такого не заметил, ни положительного, ни отрицательного. Так, вообще, по делам в районе, слышно, неплохо он руководит, а как он к нашему колхозу относится — не поймёшь. Приезжает к нам с людьми, экскурсии привозит, показывает им наши достижения — вот так нужно бы вам! А нам ещё ни разу не сказал — к а к н а м н у ж н о! Да неужто мы высшей точки достигли? Вроде как на Северный полюс пришли, куда ни глянь — все на юг дороги, назад, а вперёд — нету?.. Почему мы, колхозники, тревожимся об этом — что, вроде, приостановились мы? Так ведь, может, и товарища Стародубова куда-нибудь на учёбу пошлют, и Павла Фёдорыча заберут от нас, переведут на руководящую работу. Пока попались нам хорошие люди — хочется с ними подалее вперёд продвинуться!.. А насчёт того, почему между ними дружбы нет, я вам так скажу. Всегда дружат либо толстый с тонким, либо длинный с коротким, так уж оно как-то в природе устроено. А когда оба ровные — скучно им, что ли, глядеть друг на друга? Да ежели ещё по уму равны — кому же у кого поучиться, кто кого должен вперёд подтолкнуть?..

Но в последний приезд к ним я застал горячий спор у Стародубова с Назаровым в райкоме.

Этому предшествовали такие события.

Стародубов возвращался как-то поздно вечером из района домой. В пути, в Сухоярове, его захватил такой ливень, что даже его «газик»-вездеход забуксовал. Вдобавок спустил скат. Пришлось заночевать. От колхозников он узнал, что Назаров ещё днём уехал на грузовой машине в МТС и не вернулся до сих пор — тоже, вероятно, где-то застрял. Стародубов не пошёл к нему, остался ночевать в той хате, возле которой забуксовал в балочке его «газик». Это была хата бывшей звеньевой, а теперь старшей птичницы колхоза Марины Фомичёвой. Соседки, узнав, что у Фомичёвых ночует секретарь райкома, собрались к ним на «посиделки». Часов до двух ночи горел свет в хате, много было рассказано секретарю о жизни колхоза, много вопросов было ему задано, были и

шутки и серьёзные разговоры, были даже жалобы на председателя колхоза, непогрешимого и непревзойдённого Павла Фёдоровича Назарова.

Вот после этой-то задушевной беседы с колхозницами — в домашней обстановке, не на общем собрании — и произошёл у Стародубова крупный разговор с Назаровым в райкоме. Я застал спор в разгаре.

— Если бы ты послушал этих женщин! — говорил Стародубов. — Эх, какой народ!..

— А что же я — не видел, не слышал их никогда? — отвечал Назаров. — По десять раз на дню с ними встречаюсь.

Оба ходили по кабинету навстречу друг другу, по разные стороны длинного узкого стола, приставленного в виде ножки буквы «Г» к письменному столу Стародубова, — оба в офицерских гимнастёрках, с орденскими колодками, оба рослые, с сильными покатыми плечами, чуть расплывшие... Было у них даже в глазах какое-то сходство — живые искорки юмора, усмешливые морщинки под глазами и на висках. Только Стародубов — брюнет, с отброшенными назад длинными волосами — загорел как-то нежнее Назарова. Его лицо было матово-смуглое, словно припудренное. А Назаров, которого всё же больше обжигало солнце на полях, — стриженный под машинку безбровый блондин, — был краснокож, как индеец.

— Это вам, может, в диковину. Первый раз с ними встретились. Вынужденная посадка! А я в колхозе живу... Труженицы, стахановки, болеют о хозяйстве!

— Но ты же не даёшь этим стахановкам разворота.

— Я не даю им разворота?..

— погоди, не сердись!.. Что-то мы, Павел Фёдорович, с тобою вместе проглядели. А раз ты ближе всех к этим людям, то, значит, ты в первую очередь и проглядел... Скажи — какая бригада у вас самая передовая?

— Третья бригада, Николая Грачёва. Мы вам представляли материалы по проверке соревнования.

— Да нет у вас соревнования!

— Как нет соревнования? Все бригады имеют договора, есть проверочная комиссия, по три-четыре раза в лето проверяем!..

— Не в договорах, не в бумажке дело!.. А чья бригада у вас самая отстающая?

— Васюкова Михаила, шестая.

— И какая же разница между ними по урожайности зерновых, между третьей и шестой?

— Восемьдесят килограммов.

— Меньше центнера?.. Не намного отстал Васюков от Грачёва. Какая же это отстающая бригада?

— Значит, моя вина в том, что у нас в колхозе нет отстающих бригад?..

— Я был бы полным идиотом, Павел Фёдорович, — рассмеялся и остановился против него Стародубов, — если бы упрекнул тебя в том, что у вас нет отстающих бригад. Не в том беда, что нет у вас отстающих бригад, а в том, что нет резко вырвавшихся вперёд! Дошло?.. А звенья на свёкле? Ещё не подсчитали вы урожай, знаю, но тоже, небось, не будет большой разницы между худшими и лучшими? Поравнялись? Да?..

Стародубов спорил с азартом, горячо жестикулировал, иногда даже, остановившись, пристукивал кулаком по столу, но был весел, вероятно, от сознания своего превосходства в споре, от ощущения найденной твёрдой точки опоры. Назаров хмурился, раздражённо курил одну за другой папиросы, поглядывая на Стародубова исподлобья. Когда тот посылал

в его адрес резкое слово, у Назарова даже дрожали губы от обиды... Отвык, отвык Павел Фёдорович от критики! Сколько лет уж — всё к нему да к нему ездили люди учиться.

Он долго собирался с мыслями, прежде чем ответить секретарю райкома.

— Я, Дмитрий Сергееч, — сказал он, — с первых же дней, как пришёл в колхоз председателем, решил: нужно кончать с этим очковтирательством! Утешаемся рекордами с трёх гектаров, а на остальных ты с яч а х гектаров государственного плана урожайности не выполняем!

— Правильное решение... Только зря ты называешь вообще всякие рекорды очковтирательством. По началу нужно было, хотя бы на маленьких участках, показать колхозникам: вот что может дать наша земля, если применить передовую науку и приложить руки!.. Ну, может быть, потом где-то кто-то превратил это в очковтирательство...

— Да не где-то! У нас, в нашем районе, было два прославленных звена: в колхозе «Вперёд» — Агриппины Плотниковой и в колхозе имени Чкалова — Ефросиньи Сомовой. Только и было чем похвалиться. Шуму, треску вокруг этих звеньев! На всех слётах — только и разговору о них. А в целом район три года подряд плана хлебопоставок не выполнял!.. Я пришёл в колхоз и сказал женщинам: будем бороться за урожай сообща. Минеральных удобрений завезём вдвое больше, всем хватит! И не лезьте вы, пожалуйста, в уборные за фекалиями. Этого вам ещё недоставало!

— Вот насчёт фекалий я с тобой вполне согласен. Действительно, этого только не хватало нашим колхозницам — фекалии собирать! Как будто не можем заменить другими удобрениями. Химикатами можно заменить. И так у девочек мало женихов, а тут ещё какие-нибудь хулиганы пускают похабные частушки про них по селу!..

— Да, да, так и я им сказал: сами себя не жалеете, так мы вас пожалеем. И чтоб не грызлись, не ссорились вы между собой из-за лишней пары волов и центнера навоза, — вот вам всего поровну. Никаких никому привилегий!

— Ссору утишил и соревнование загубил...

— Загубил соревнование?.. Такое соревнование, как было, это кустарничество, Дмитрий Сергееч! Знахарство! Колдовала каждая что-то на своей делянке.

— А чем ты его заменил-то, соревнование?.. И у вас были рекордсменки. Не такие, может быть, знаменитые, как Плотникова и Сомова, но тоже для своего времени сделали немало. Что ж, выходит, при высокой механизации, когда трактористы все площади засевают и убирают и когда председатель сам не профан, лучше других знает агротехнику, — такие колхозницы выключаются из соревнования? Ох, что-то не так!..

Стародубов сел за стол, помолчал с минуту.

— Марина Фомичёва говорит: «Много бы вы, командиры полков да батальонов, наводили без нас, сержантов?». Слышишь? Армейские порядки знают! Всего за войну насмотрелись, наслушались. «Кто, — говорит, — на фронте бойцов в атаку поднимает? Сержанты! Армия без сержантов — не армия». Да... Очень обижалась на тебя Марина.

— За что?

— За твою доброту. Да сядь, не ходи, мельгешнись перед глазами!.. «Семь лет, — говорит, — работала я звеньевой, и людьми руководить немножко научилась, и к полю привыкла, и на курсы меня пять раз посылали, агротехнику учила, а теперь меня Павел Фёдорыч старшей птичницей назначил. «Отдохни, — говорит, — не век тебе с тяткой гнутья». Да не хочу я отдыхать! Ликвидировали звенья на зерне, пра-

вильно ликвидировали, мешали они механизации, — так дайте мне бригаду! Васюков Михаил, — говорит, — в шестой бригаде — не бригадир, а нарядчик. Что Павел Фёдорыч ему прикажет — выполнит, а своей головой ничего нового не придумает. Дали бы мне эту бригаду да вот этих девчат, которых я семь лет учила, — их тоже рассовали кого куда, ту амбарщицей, ту учётчицей, — да съезжу в Москву в академию, узнаю, чего там нового по агротехнике выдумали, пока я тут кур не по специальности шупала. Может, какой академик шефство возьмёт над нами. И сделали бы! Показали бы людям, что нет конца краю колхозному урожаю!.. Павел Фёдорыч, — говорит, — таких, видно, помощников любит, чтоб много не рассуждали. Лишь бы бригадир не безобразничал, не пил водку в неположенное время, да рано вставал, да все его распоряжения выполнял в точности, не перечил ему»...

Назаров присел к столу.

— Ерунду городит Марина!

— Не знаю... Женщина она, видимо, наблюдательная... Это очень хорошо, Павел Фёдорыч, что нет у тебя отстающих, — продолжал Стародубов, — всех ты подтянул. Но кто-то же должен опять вырваться вперёд?.. Ну вот, в самом деле — достигли вы общего высокого урожая, но это же не предел, все понимают. И вот с этого трамплина какая-то бригада у тебя захочет сделать новый большой скачок. Захочет испытать у себя более сложный агрокомплекс, нежели та агротехника, которой все сейчас у нас придерживаются. Что ж, на первых порах, может быть, этой бригаде придётся больше помочь. Больше тягла им дать — обработка полей у них сложнее — и семян дать им больше — норму посева, может быть, они увеличат. И даже удобрений, может, лишних попросят у тебя. А главное — больше внимания этим людям, зачинщикам. А на свёкле остались звенья. Может быть, какое-то звено захочет показать всем, как по тысяче центнеров с гектара можно брать, а не по триста? А ты скажешь: «Очковтирательство! Особые условия!». Нет! Это маяк!.. Другое дело, что нельзя баловать передовиков «вечным первенством», нельзя давать соревнованию заостенеть. Вырвалась одна бригада вперёд, проверили урожай её опыты, убедили людей, что это всем доступно, — сразу же подтягивай к ней все остальные бригады. А потом опять рывок вперёд! Так, по-моему, а?.. На низком ли уровне, на высоком ли уровне — застой есть застой, дорогой Павел Фёдорович. Страшное дело! В самом лучшем нашем показательном колхозе жизнь остановилась. За три года урожай не выросли ни на полцентнера! Вопрос — для специального обсуждения на бюро. Будем тебя ругать! Да и самим придётся признать, что прошляпили, проглядели... Добрый ты человек, Павел Фёдорыч, — усмехнулся Стародубов. — За доброту тебя колхозники и полюбили. А теперь, вот видишь, обижаются... Народ, знаешь, любит, чтоб его и пожалели и подтолкнули, когда надо. А ты говоришь: «Не нужно! Не надо мне ни отстающих, ни рекордсменов! Всё за всех обдумаю и сделаю сам!». Задавил всё и вся собственным авторитетом... Может, Золотую Звёздочку, кроме тебя, десятки людей в колхозе желают носить? И докажут делом, что достойны носить?

Загорелое лицо Назарова то бледнело как-то пятнами, то багровело до такой степени, что, казалось, вот-вот брызнет кровь из кожи на скулах. Рука его, лежавшая на столе с зажатой в пальцах потухшей папиросой, дрожала.

— Не думал я об этой Звёздочке, Дмитрий Сергеевич, и не об авторитете думал, когда загонял последние оборотные средства в суперфосфат да в семена клевера, — сказал он. — Мне в то время нужно было

платить полмиллиона просрочки за Сторчака и всех прочих, кто до меня разваливал колхоз. Ладно, думаю, напишу в Совет по делам колхозов, войдут, может, в положение. А без урожая нам — не жить!

— Верю, верю, Павел Фёдорыч, — положил ему руку на плечо Стародубов, — что ты ночей не спишь, думаешь о том, чтоб колхозу было лучше. Но сам всего не поднимешь. Тем умная голова и умна, что понимает — всего за всех сама не обдумает. Кроме того, ты же — фронтовик, знаешь: веди бой главными силами, а разведку вперёд всегда пускай!.. Вот повешу замок на кабинет, приеду к тебе в колхоз ещё дня на три, походим вместе по хатам, поговорим с людьми — найдём у тебя не одну новую Марию Демченко!..

Назаров встал, с треском отодвинул кресло, опять заходил по кабинету.

— Нашёл бы и сам! Что ж, я людей своих не знаю? Знаю таких, что поедут поучиться и на Урал и на Дальний Восток, куда угодно, где только можно хороший опыт перенять. И сам бы поехал — да не знаешь, за что хвататься!.. Вы бы когда-нибудь захронометрировали рабочий день председателя колхоза — чем он занимается? Много ли времени у него остаётся подумать о самом главном? Председатель — не завхоз. Должен и от науки не отставать и от людей не отрываться. А нас мелочи заедают!.. Вот теперь прочитал доклад товарища Маленкова на девятнадцатом съезде — чувствую, будет нам, председателям, облегчение! Хотел уж было свой черепичный завод открывать — товарищ Маленков говорит: не нужно, наша промышленность в состоянии с этим справиться. Правильно, не нужно! Ведь о чём только не приходится хлопотать председателю колхоза: и где гвоздей добыть на строительство, и чем крыши покрыть, чем коней ковать, во что запрячь? На иного председателя посмотришь — так это же не председатель и даже не завхоз — экспедитор! Дни и ночи мотается по разным конторам, «снабам», ищет, достаёт, выпрашивает, выменивает. Уголовное дело на председателя колхоза можно завести — как он это всё добывает. От хорошей жизни, что ли, пооткрывали мы свои заводы? Кирпич палим, уголь древесный выжигаем для кузниц, мазь колёсную сами делаем. И колёса делаем, и дуги гнём, и верёвки вьём. Не колхоз, а какой-то кустпромкомбинат! Вот разгрузите меня от всего этого — больше буду заниматься урожаем! А как же вы разгрузите? Хорошо, закрою я кирпичный завод. И людей оттуда всех пошлю в полеводческие бригады. Но откуда же нам возить кирпич на строительство? Нам его много нужно! Из Курска, за сто пятьдесят километров? Дорого обойдётся!

— Построим такой завод, Павел Фёдорыч, что всему району хватит кирпичей!

— Давно надо бы! Местную промышленность надо развивать, Дмитрий Сергеич! Ваша обязанность об этом подумать! Завалите магазины и хомутами, и колёсами, и мебелью!..

— Вот с твоей помощью всё обдумаем. Ты тоже член бюро. Но эти колёса увозят нас в сторону.

— Нет, Дмитрий Сергеич, это очень серьёзное дело! Как в паутине, бьёмся! Отпадут эти доставальческие заботы — наполовину очистятся мозги для других мыслей.

Назаров присел на подоконник, распахнул створки окна. С улицы, вероятно, похоже было, что в райкоме пожар — табачный дым повалил из окна клубами.

— Где же ты раньше был, товарищ секретарь райкома? — заговорил после большой паузы немного успокоившийся Назаров, перейдя с вежливо-холодного «вы» на «ты». В глазах его заиграли усмешливые огоньки. Кажется, впервые за все мои встречи с ними, он назвал Стародубова на «ты». — Это же счастье наше, что у тебя скат спустил в Сухоярове! Ни разу не задержался у нас на часок, не поговорили по душам. В собственном соку варюсь!.. Не влюбил ты чего-то наш колхоз.

— Я не влюбил ваш колхоз? Глупости!

— Ты тоже, видно, добренький. Бедных любишь, а богатых нет. А оно, видишь, и у богатых свои болезни... По обязанности ты, Дмитрий Сергеич, всё делал, что нужно... И хвалил нас и возил к нам людей поучиться, а душа твоя к нам не лежала... Или, может, я тебе не приглянулся?

— А что ты — девушка? Любоваться тобой? Не приглянулся!..

— Да нет, бывает так... Может, не нравилось, что я сам по себе существую, никогда ни в чём помощи у райкома не прошу? Так мне помощь нужна, может, не такая, как другим. Если мне неисправный комбайн вывезли на участок из эмтээс — я с таким пустяком в райком партии не побегу, как-нибудь сам добьюсь, чтобы исправили.

Спор угасал. Я ушёл в гостиницу за чемоданом — вечером из райкома отправлялась машина в К—скую МТС, куда и мне нужно было съездить. Когда я зашёл в кабинет Стародубова минут через двадцать, оба сидели на высоком подоконнике, свесив ноги, и предавались фронтовым воспоминаниям.

— Так, значит, ты на Крымском фронте был в кавдивизии генерала Книги? — разминая в руках папиросу, говорил Стародубов.

— Ну да. В Михайловке стояли, во втором эшелоне. Готовились к прорыву. Потом нас спёшили.

— А я был в восемьдесят второй бригаде, в морской пехоте. Ротой командовал. Так мы же вместе в Керчи дрались! Рядом!..

— Рядом, рядом... Ты знаешь, Дмитрий Сергеич, как мне в эту войну пришлось. Уже после Крымского фронта, в другой армии. До Берлина прошёл с родным братом в одной дивизии! И не встретились. В разных полках были. После войны уже списались: ты в какой дивизии служил? В такой-то. И я — в такой-то! Как же так?.. До сих пор не могу с ним повидаться. Инженер. Работает начальником строительства в Казахстане.

В дверь заглянули посетители, ожидавшие приёма. Стародубов спрыгнул с подоконника.

— Ну, до завтра, товарищ Назаров! Приеду на три дня. А к субботе готовь доклад на бюро: «О мерах дальнейшего повышения урожайности и продуктивности животноводства в колхозе «Красное знамя».

— О животноводстве мы, вроде, не говорили...

— Ничего, ничего, там поговорим. Походим по фермам без экскурсии, вдвоём. И не обижайся на меня. Мне народ подсказал, и я тебе подсказываю. Давай поработаем так, чтоб никакие летописцы не смогли написать про нас: «Были, мол, у нас такие-то товарищи, с виду не хворые, при здоровье, а ничего особенно примечательного не сделали».

— Сам того боюсь, Дмитрий Сергеич! — усмехнулся Назаров, — Как бы не попасть в историю не с того конца!.. Никита Родионыч наш? Тот запишет!

— Запишет!..

Посмеялись.

— А вот подкалываешь ты меня зря: «Вынужденная посадка. Это в а м, может, в диковину, а я-то в колхозе живу»... А я не живу в колхозе. Что поделаешь, такая моя должность. У меня — двадцать три колхоза. Ночую дома. А дом — в райцентре, не в колхозе. Может, и секретарю обкома прикажешь в колхозе жить?

— Так и меня не упрекайте: ты ближе к ним живёшь, ты в первую очередь проглядел. Я — ближе, а вам — с горы виднее. Вот и подсказывайте нам, куда двигаться. Зачем время терять?

— Да, время терять не нужно... А землю я тоже люблю, товарищ Назаров, как и ты, хоть и не в колхозе живу. И всё, что на ней растёт... И, может быть, не так люблю то, что сегодня на ней растёт, как то, что завтра вырастет!

Крепко пожали друг другу руки на пороге. Стародубов сел за стол. ...Звонил телефон, заходили очередные посетители, забежали заведующие отделами с проектами резолюций и докладных записок, помощник приносил только что доставленные, с мокрыми ещё наклейками телеграммы из области.

Рабочий день секретаря райкома продолжался.



ПУБЛИЦИСТИКА

Доктор философских наук
М. ДЫННИК

★

ВРАГИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Только так, только врагами человечества, можно назвать современных буржуазных философов США — оплота всемирной реакции, жандарма и эксплуататора народов. Все без исключения «школы» и «направления» американской буржуазной философии и социологии имеют одну цель — теоретически обосновать безудержную алчность американских капиталистов, «узаконить» их погоню за максимальной прибылью, их стремление закабалить и безнаказанно грабить народы всего мира.

Фальшь, лицемерие и обман характерны для всей идеологии, господствующей ныне в Соединённых Штатах Америки. Многие официальные американские деятели выступают с фальшивыми речами о своём «миролюбии» и этими речами прикрывают усиленную подготовку к новой агрессивной войне. Политики США всячески рекламируют американскую «помощь» странам, входящим в Атлантический блок. Но всему миру известно, что так называемая американская «помощь» означает не что иное, как ограбление этих стран и подчинение их США. Подобно германским фашистам, нынешние поборники «американского образа жизни» распространяют всяческие небывлицы о Советском Союзе, а также о странах народной демократии, вопят о необходимости «освобождения» этих стран от коммунизма, хотя весь мир является свидетелем того, что народы этих стран уверенно строят новую, действительно свободную жизнь и не нуждаются в американских «освободителях». Что такое «освобождение» по-американски, достаточно хорошо показали события в Корее.

Американские буржуазные социологи идут по кровавым стопам американских политиков. Для «теоретического» оправдания безудержной эксплуатации и угнетения народных масс, для восхваления американской системы государственного управления, построенной на расовой и национальной дискриминации, они выступают с проповедью давно опровергнутых историй реакционных «теорий». Расизм и космополитизм, неомальтузианство и геополитика, слегка подкрашенные и перелицованные на американский лад, открыто пушены в оборот современными американскими фашистами.

В США имеется целый сонм «своих», американских розенбергов и геббельсов, которые на разные голоса — кто грубо и нагло, кто вкрадчивым шепотком — стремятся отравить сознание среднего американца пропагандой войны, идеями «мирового господства США». Идеолог американской империалистической реакции Бэрнхейм открыто заявляет, что «нации морально подготовлены к войне», ссылаясь при этом на опыт второй мировой войны. Он рьяно выступает против советских предложений об отказе от атомного оружия и его безусловном запрещении, выступает на том основании, что, мол, атомное оружие и методы его производства являются продуктом развития западной науки и техники, венцом «западной цивилизации». Бессовестно рекламируя смертоносное действие атомной бомбы, Бэрнхейм проговаривается, что именно подразумевают американские политики под своим требованием «контроля» над производством атомного оружия. Оказывается, «контроль» США над атомным оружием имеет тот же смысл, что и их «контроль» над той или иной территорией, то есть, выражаясь точнее, означает господство США. Бэрнхейм всячески тщится доказать необходимость монопольного контроля над атомной энергией со стороны

США. Истолковывая контроль как монополию, а монополию как «мировую империю» во главе с США, Бэрнхейм соблазняет рядового американца «блестящими» в смысле бизнеса перспективами, которые, мол, сулят ему осуществление далеко идущих захватнических планов хозяев Уолл-стрита. Но в своём рвении усердный слуга империалистов запамätовал, что жизнь уже опрокинула наглые притязания атомных королей — монополии США на атомное оружие уже не существует! Точно так же осуждены на позорный провал и безумные планы «американского мирового государства». Когда же Бэрнхейм формулирует основные принципы внешней политики США, он окончательно разоблачает себя как беззастенчивого апологета разбойничьего империализма. Отказавшись от лицемерной маски американских дипломатов, которые, воздев глаза к небу, твердят на международных ассамблеях о своём миролюбии, Бэрнхейм откровенно провозглашает, что сохранение мира не является и не может быть целью американской внешней политики; что США должны прямо заявить о своём полном отказе от «доктрины равенства наций» и открыто предъявить свои претензии на мировое господство. Бэрнхейм не только «обосновывает» необходимость отказа от «доктрины невмешательства» во внутренние дела других наций, но и призывает «к быстрому и эффективному вмешательству в их внутренние дела».

Как известно, внешняя политика нынешних правителей США даёт множество примеров агрессивного вмешательства во внутренние дела других стран. Но все эти факты преподносятся беззастенчивой в своей лжи американской агитацией и пропагандой как проявление благородства и бескорыстия США. В своих лекциях под откровенным названием «Сила и политика», прочитанных недавно в колледжах Южной Калифорнии, один из редакторов газеты «Нью-Йорк таймс», Болдуин, всячески оправдывает и поддерживает американских поджигателей войны и тут же бросает незуитский лозунг: «Стремиться к братству людей, но жить в реальном мире». И получается, что призывы «к братству людей» — «в реальном мире» американских империалистов означают кровавую бойню против корейского народа и подготовку агрессивной войны против СССР и стран народной демократии.

В современных исторических условиях, когда мир оказался поделённым на два противоположных лагеря — лагерь мира, демократии и социализма во главе с Советским Союзом и лагерь реакции, агрессии и империализма во главе с США, — идеологическая борьба становится всё более острой и сложной. День ото дня крепнет и усиливается лагерь мира и социализма. Непрерывный рост его мирной экономики, развивающейся в интересах максимального удовлетворения материальных и духовных потребностей социалистического общества и обеспечивающей систематическое повышение жизненного уровня народных масс, вызывает бешеную злобу в империалистическом лагере, чувствующем неотвратимость своей гибели. Экономика современного капитализма, основной задачей которого является обеспечение максимальной прибыли для капиталистов, охвачена углубляющимися день ото дня общим кризисом капитализма, постоянно повторяющимися экономическими кризисами. Производительные силы современного капитализма не находят условий для своего развития; происходит милитаризация капиталистической экономики, обостряются противоречия между капиталистическими странами, конкурентная борьба между ними. В погоне за максимальной прибылью современные капиталисты обрекают большинство населения своих стран на нищету, голод, болезни, стремятся закабалить народы других стран, строят преступные планы разжигания новых завоевательных войн.

Новый классический труд товарища Сталина, посвящённый экономическим проблемам социализма, с необыкновенной ясностью вскрывший основные законы современной общественной жизни — основной экономический закон современного капитализма и основной экономический закон социализма, — даёт в руки советских философов оружие несравненной силы, содействует их активному наступлению на идеологию империалистической реакции. Открытый товарищем Сталиным основной экономический закон современного капитализма показывает, что именно погоня за максимальной прибылью толкает монополистический капитал на закабаление и систематическое ограбление колониальных народов, нарушение суверенитета независимых стран, на подготовку

агрессивной войны с целью завоевания мирового экономического господства. Знание этого экономического закона помогает народам в их борьбе против империалистической реакции, против бесчеловечной эксплуатации, в их борьбе за свои насущные интересы, за свой национальный и государственный суверенитет, за сохранение мира. Знание основного экономического закона современного капитализма вооружает наш идеологический фронт для борьбы против апологетов империализма, для борьбы против буржуазных социологов — бардов «максимальной прибыли», «теоретиков» бесчеловечной эксплуатации народных масс, врагов мира, демократии и социализма, врагов человечества.

Противопоставляя основной экономической закон социализма основному экономическому закону современного капитализма, товарищ Сталин показывает прямую противоположность и полное преимущество социалистического строя перед строем капиталистическим. Вместо погони за максимальной прибылью, что составляет основную черту современного капитализма, для социализма характерно обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей общества. Вместо развития производства в условиях чередования подъёмов и кризисов — непрерывный рост производства; вместо периодических перерывов в развитии техники, сопровождающихся разрушением производительных сил общества, — непрерывное совершенствование производства на базе высшей техники «Открытие товарищем Сталиным основного экономического закона современного капитализма и основного экономического закона социализма наносит сокрушающий удар всем апологетам капитализма» (Г. Маленков).

Опираясь на классические труды товарища Сталина, наша борьба против современной буржуазной идеологии усиливается и углубляется, наша критика реакционных «теорий» получает ещё большую обоснованность и убедительность. Товарищ Сталин указывает нам, в чём заключаются причины того, что в современных исторических условиях расцвёт и укрепляется роль лагеря социализма, а лагерь капитализма терпит урон и ослабляется. Товарищ Сталин показывает, что неизбежность войн между капиталистическими странами остаётся в силе. Это важнейшее положение, выдвинутое и обоснованное товарищем Сталиным, значительно усиливает наши позиции в деле разоблачения врагов мира. Товарищ Сталин отмечает, что «...капиталисты, хотя и шумят в целях «пропаганды» об агрессивности Советского Союза, сами не верят в его агрессивность, так как они учитывают мирную политику Советского Союза и знают, что Советский Союз сам не нападёт на капиталистические страны».

Разоблачение агрессивной политики США, борьба за мир во всём мире органически связаны с борьбой против антинародной и антинаучной философии империалистической буржуазии Соединённых Штатов Америки.

Различные идеалистические школы буржуазной философии, господствующей ныне в США, не включают в себе ничего оригинального. Это вывезенные из Европы, слегка подновлённые и перекрашенные и потому выдаваемые за собственные национальные изделия, обветшалые идеалистические теории Беркли, Юма, Канта, Маха и других реакционных буржуазных философов. Эти «теории», изложенные со свойственной американской буржуазии примитивной грубостью и получившие штамп «Сделано в США», фигурируют теперь под новыми кличками, под новыми ярлыками. Наиболее распространённой из них является прагматизм.

В. И. Ленин в своей книге «Материализм и эмпириокритицизм» дал уничтожающую характеристику прагматизма, разоблачив реакционность этого «модного» уже тогда направления американской буржуазной философии. В. И. Ленин писал: «Вот еще пример того, как широко распространенные течения реакционной буржуазной философии на деле используют махизм. Едва ли не «последней модой» самой новейшей американской философии является «прагматизм» (...философии действия). О прагматизме говорят философские журналы едва ли не более всего. Прагматизм высмеивает метафизику и материализма и идеализма, превозносит опыт и только опыт, признаёт единственным критерием практику, ссылается на позитивистское течение

вообще, опирается специально на Оствальда, Маха, Пирсона, Пуанкаре, Дюгема, на то, что наука не есть «абсолютная копия реальности», и... преблагополучно выводит из всего этого бога в целях практических, только для практики, без всякой метафизики, без всякого выхода за пределы опыта.. Различия между махизмом и прагматизмом так же ничтожны и десятистепенны с точки зрения материализма, как различия между эмпириокритицизмом и эмпириомонизмом»¹.

Вот уже на протяжении более чем полувека реакционная прагматистская философия как была, так и остаётся наиболее характерным направлением среди различных идеалистических школ США. Так же как и прагматизму, всем этим школам свойственны близость к религиозному мракобесию, отрицание объективной истины и объективного характера законов науки.

Видным представителем современного американского прагматизма до самого последнего времени являлся недавно умерший идеолог империалистической реакции «инструменталист» Джон Дьюи. Подобно махистам, американские прагматисты отрицают объективную истину, утверждают «философию незнания» — непознаваемость мира. Прагматисты пытаются убедить, что истина имеет лишь условный характер, что истина является не чем иным, как успехом действий, соответствующих данным идеям. Сама же идея, которой руководствуются в действиях, с точки зрения прагматистов не отличается от фактов. Совершенно ясно, что подобное понимание истины абсолютно чуждо научному познанию. Истина с точки зрения прагматистов — это то, что выгодно, то, что делает бизнес. Цинизм и неразборчивость в средствах — все эти характерные качества империалистической политики — получают, таким образом, философское «освящение» и «благословение». Нетрудно понять, что всё это необходимо империалистам для «теоретического» обоснования проводимой ими реакционной политики, для их борьбы против науки и для возвеличения религии, которая с точки зрения прагматистов также является истиной, — ведь религия в США работает прежде всего на империалистов.

Всем этим реакционным, антинаучным положениям философия диалектического материализма противопоставляет учение о том, что вне и независимо от сознания существует объективный мир, который отражается в человеческой голове, в наших представлениях и понятиях. Товарищ Сталин учит: «...наши знания о законах природы, проверенные опытом, практикой, являются достоверными знаниями, имеющими значение объективных истин...»².

В противоположность этому американские прагматисты, как и другие современные идеалисты, отрицают объективный характер законов природы. Если послушать прагматистов, то между законами науки и между фактами нет никакого различия. Идеи, законы превращаются в факты, говорят они, а факты превращаются в идеи, в законы. Другими словами, с точки зрения прагматистов люди не познают законы науки, а создают их. Это нелепое утверждение прямо противоречит материалистической теории познания, материалистическому пониманию законов науки.

В борьбе с прагматизмом, как и со всей буржуазной идеологией, огромное значение имеет классический сталинский труд «Экономические проблемы социализма в СССР», в котором всесторонне доказан объективный характер законов науки, творчески развитая ленинская теория отражения.

Проповеди современных буржуазных философов и социологов, утверждающих субъективный характер законов науки и отрицающих их объективный характер, отражают прежде всего классовые интересы империалистической буржуазии, которая вовсе не заинтересована в том, чтобы познавать действительные законы развития общества, которая, наоборот, заинтересована в том, чтобы от сознания трудящихся были скрыты законы, характерные для эпохи империализма. Основная цель прагматистов, как и других современных американских буржуазных философов, — «теоретически» обосновать грабительскую, бандитскую практику империалистов: ведь истинно всё, что выгодно, — провозглашают они!

¹ В. И. Ленин. Сочинения. т. 14, стр. 327.

² И. Сталин. Вопросы ленинизма. изд. 11-е, стр. 543.

Прагматизм и его разновидность — инструментализм — сводятся к восхвалению империалистической политики насилия над народами, к оправданию неслыханной эксплуатации народных масс. Ведь даже сам Дьюи неоднократно рекламировал свою «инструментальную философию» как наиболее удобную для нынешних правителей США идеологический «инструмент» закабаления народных масс и осуществления реакционной политики завоевания «мирового господства».

Родственной прагматизму, замаскированной формой идеализма в современной американской буржуазной философии является неореализм. Так называемые неореалисты строят свою философию на соответствующим образом обработанных данных логики, математики, физики, психологии и других наук.

Используя «физический» и «физиологический» идеализм и математическую логику, неореалисты пытаются доказать, что наука якобы имеет дело только с ощущениями и мыслями, ввиду чего познанная реальность совпадает с психикой.

Эклектизм и полная несостоятельность неореалистической «теории» наиболее ярко обнаруживаются в утверждении тождественности объекта сознанию и в то же время независимости его от сознания. Тут явная попытка соединить несоединимое. Неореализм следует по тому же пути, что и махизм. Возьмём, говоря неореалисты, какую-нибудь планету, положим, Марс. Будучи небесным телом, Марс является в то же время человеческим восприятием, относится к сфере сознания. То, что телесно в силу одного отношения и является, следовательно, объектом, то в силу другого отношения оказывается содержанием сознания, то есть относится к субъекту. Объекты имманентны субъекту. Но ведь это уже чистая софистика! Однако современные философы неореализма ничтоже сумняшеся к простой фразе сводят различие между небесным светилом и человеческим сознанием. Природа существует независимо от сознания — таков основной принцип материализма. Природа тождественна сознанию — таков основной принцип идеализма. Неореалисты поставили себе целью создать в своей «теории» видимость примирения материализма и идеализма, преодоления их «односторонности». Но это старый приём идеалистов, применявшийся ещё махистами и до конца разоблачённый В. И. Лениным.

Логическим выводом из рассуждений неореалистов, как и из рассуждений Маха, является солипсизм. Немудрено, что законы науки для неореалистов, как и для прочих современных идеалистов, имеют субъективный характер. Для них нет никакого различия между законами природы и человеческими представлениями об этих законах, между законами общественной жизни и отражением этих законов в сознании людей. Подобные рассуждения направлены на подрыв науки, хотя авторы их и претендуют на научность своих «теорий». Неореализм лишь воспроизводит с несущественными терминологическими изменениями агностицизм махистов, эмпириокритиков, неокантианцев и прагматистов.

Говоря об объективных законах экономического развития, товарищ Сталин подчёркивает, что люди, которые отрицают объективный характер законов экономического развития общества, тем самым отрицают науку, выступают против научных знаний. Идеалистические «учения» современных американских философов, отрицающие объективную истину, отрицающие объективный характер законов науки, превратились в прямую опору религиозного мракобесия.

Особенно вредоносно в этом смысле наиболее «модное» ныне направление американско-английской философии, так называемый семантизм. Претендуя на научность своих воззрений, семантики в то же время заключили прямой союз с представителями религиозного мракобесия. В сущности эта «школа» также представляет собой чуть-чуть видоизменённый махизм.

Представители семантизма сводят задачу научного исследования к формально-логическому анализу терминов. Отрывая язык от его действительного, реального содержания, они рассматривают человеческую речь как простую совокупность условных знаков или символов, которые якобы не имеют никакого действительного содержания и никакого отношения к объективной реальности. Таким образом, представители семантизма «изобрели» очень простой и дешёвый способ избавиться от поста-

новки и решения действительно научных, философских проблем. Всякая научная формулировка с их точки зрения является не чем иным, как произвольным сочетанием произвольных условных знаков. Эти произвольные сочетания условных знаков, заявляют предстатели семантизма, могут иметь реалистический характер, могут сочетаться в реалистическом аспекте, но они могут иметь также идеалистически-религиозный аспект. Однако и в том и в другом случае, заявляют они, перед нами системы формальных, условных и бессодержательных терминов.

Семантики договариваются до того, что, мол, все общественные противоречия и бедствия вызваны прежде всего... несовершенством языка, которое приводит к идеологическим и социальным расхождениям и непониманию. В семантизме находит своё отражение жалкая попытка реакционных идеологов противопоставить классовую борьбу трудящихся масс, их стремлению свергнуть капитализм — «семантическую» схоластику и реформу языка как главное средство для преодоления всех трудностей в науке и жизни.

Классические труды товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» и «Экономические проблемы социализма в СССР» с железной логикой показывают ложность, антинаучность американско-английского семантизма. Что же касается смены понятий, то товарищ Сталин выдвигает положение о том, что некоторые устаревшие научные понятия должны быть в новых исторических условиях заменены новыми научными понятиями, соответствующими этим новым историческим условиям. Так, например, такие категории политической экономии, как «прибавочная стоимость», «капитал», «прибыль на капитал» и др., применяемые к капиталистическому обществу, уже неприменимы к обществу социалистическому. Смена этих категорий объясняется в конечном итоге теми коренными изменениями, которые произошли в жизни общества, — революционной сменой капиталистического строя строем социалистическим. Марксистская наука учит диалектическому, конкретно-историческому подходу к научным категориям. Образцом такого подхода является новый классический труд товарища Сталина.

Наряду с прагматистами, неореалистами и семантиками идеологическим одурманиванием американского народа занимаются также персоналисты, открыто распространяющие поповско-фидеистические бредни, утверждающие, будто основой и творцом всего сущего является божественная личность, «персона», откуда происходит и название этого философского направления. Персонализм — это проповедь клерикализма, прямой поход против науки, восхваление средневекового раболепия перед церковью. С точки зрения персоналистов наука должна полностью подчиниться религии.

В персонализме, распространённом не только в США, но и в других странах капитала, отражается стремление буржуазных идеологов противопоставить теологическую «теорию» растущему в капиталистических странах религиозному индифферентизму трудящихся масс, который представляет несомненную угрозу для нынешних правителей этих стран. В связи с этим нужно отметить также усиленно распространяемую в буржуазных кругах США церковную философию так называемого неотомизма, представляющего собой подновлённую «теорию» средневекового теолога Фомы Аквинского.

Одним из учреждений, распространяющих в США реакционные идеи неотомизма, является так называемый Американский католический университет в Вашингтоне. Многотомные «труды» этого «университета» представляют собой собрание схоластических бредней, направленных против научного мировоззрения, против диалектического и исторического материализма. Американские «философы» в рясах ставят своей задачей «опровергнуть» марксизм, «доказать», что наука должна подчиняться религии.

К числу подобных же фидеистических направлений относится так называемый «критический реализм» — реакционное идеалистическое направление, которое по своей сущности ничего общего не имеет с реализмом, а тем более с критическим реализмом. Название «реализм» да ещё «критический» имеет своей задачей замаскировать идеалистическую сущность этого философского направления, главным представителем которого является Джордж Сантаяна, такой же активный пособник американских

поджигателей войны, как и Джон Дьюи. Реакционная система Сантаяны представляет собой не что иное, как американскую перелицовку платоновского идеализма в его средневековом толковании. Сантаяна сам называет свою систему ортодоксально-схоластической. При помощи всевозможных вывертов этот идеалист и фидеист стремится доказать, что его эклектическая стряпня является якобы «всеобъемлющим мировоззрением», включающим в себя даже материализм и атеизм.

Современные буржуазные идеалисты готовы на любой обман, они согласны называть себя даже материалистами и атеистами, только бы отвлечь мысль людей от подлинного материализма. Сантаяна «признаёт» существование материи и заявляет даже, что он не согласен с философией, отрицающей её существование. Однако что же такое материя в понимании Сантаяны? Оказывается, что это «грешная плоть» средневековых схоластов, это, как учил ещё античный идеалист Платон, — «небытие», противопоставленное бытию идей. Сантаяна как-то назвал себя «единственным материалистом Америки». Но что может быть софистичнее наглого утверждения Сантаяны, что он защищает «материализм идеалистов»? Подлинный смысл этой фальши и демагогии состоит в попытке извратить материализм, в попытке противопоставить свою идеалистическую точку зрения, как «включившую в себя материализм», передовым идеям действительных материалистов и, в первую очередь, американских коммунистов. Сантаяна много разглаживает о вечной и абсолютной истине, но эти его рассуждения не в меньшей мере, чем агностическое отрицание истины прагматистами, враждебны научному пониманию объективной истины как отражения объективной реальности в сознании людей. Истина, утверждает Сантаяна, принадлежит религии, а не науке.

Таким образом, американская философия «критического реализма» является самой настоящей служанкой религии и обслуживает вместе с нею американских капиталистов. «Критический реализм» — это философия махровой империалистической реакции, растлевающая сознание рядовых американцев, пытающаяся отравить религиозным ядом сознание трудящихся масс, чтобы отвлечь их от борьбы против капитализма и превратить в послушное орудие Уолл-стрита.

Можно встретить в США и других буржуазных философам, которые не причисляют себя ни к одной из названных выше школ и претендуют на самостоятельную и оригинальную точку зрения. Однако эта «оригинальность» сводится лишь к пустейшим словесным вывертам, к игре в «новые» термины, к пересказу устаревших идеалистических положений, перепевающих Беркли, Юма, Канта и прочих идеалистов прошлого. Американские буржуазные философы — это закостенелые агностики, враги науки, враги материализма, марксистской философии. Для всех направлений современной буржуазной философии в США характерна софистика, циничное жонглирование понятиями, превращение чёрного в белое и белого в чёрное. Именно эта софистика и составляет «теоретическую основу» фальшивых речей нынешних правителей США об их мнимом миролюбии, об их «помощи» другим народам и странам.

Знакомство с основными направлениями современной буржуазной философии в США показывает, что в них возрождено всё самое реакционное, гнилое, отсталое, что имелось в истории философии. Чёрное мракобесие, враждебное отношение к науке, научному познанию, черты прямой поповщины, свойственные всей буржуазной философии эпохи империализма, нашли своё крайнее выражение в философии американской империалистической буржуазии. Представители прагматизма, неореализма, неоматриализма, семантизма — это потомки Маха, Авенариуса и других буржуазных фидеистов, реакционная философия которых была блистательно разоблачена Лениным в его классическом труде «Материализм и эмпириокритицизм». В. И. Ленин не только подверг сокрушительной критике американскую идеалистическую философию прагматизма, но и разоблачил характерные для всей американской буржуазной философии черты упадка, разложения и реакции. Ленин писал об одном из модных тогда философов: «...перед нами — лидер компании американских литературных проходимцев, которые

занимаются тем, что спаивают народ религиозным опиумом»¹. Ленинская характеристика и ныне применима ко всей современной буржуазной философии США.

Американские буржуазные философы — враги человечества, они духовно предадут его, отдадут его на поток и разграбление американскому империализму. Американские буржуазные философские организации — это школы лжи и обмана. Здесь получают «теоретическую» подготовку продажные агенты американско-английской дипломатии. Здесь завязываются «идеологические связи» между представителями пёстрых, но мало чем отличающихся друг от друга направлений, школ и школок современной буржуазной философии в Западной Европе. Здесь находятся истоки мутной «философии» правых социалистов.

Американские философы-идеалисты усердно способствуют идеологическому одурманиванию масс, но проповедь реакционных «теорий» встречает всё больший отпор со стороны прогрессивных деятелей культуры и науки США во главе с американскими коммунистами. Разоблачая поджигателей войны и их идейных прислужников, прогрессивные философские силы страны ведут борьбу за дело мира, демократии и прогресса. Коммунисты США возглавляют движение за мир, демократию и борьбу против реакционной философии американских монополистов. К коммунистам примыкает ряд прогрессивных философов США, много сделавших для разоблачения прагматизма и других направлений современной идеалистической философии.

Вильям Фостер непосредственно связывает борьбу против упадочных реакционных направлений в философии с борьбой за мир, против американских поджигателей войны. Американские философы-коммунисты отвергают одностороннее и неверное определение прагматизма, в частности «инструментализма» Дьюи, как «философии дедачества». Опираясь на марксистско-ленинскую теорию, они вскрыли классовые корни прагматизма как теоретического базиса реакционной идеологии американского империализма. В особенности много сделали в этой области Говард Селзам, Гас Холл, Батти Гарнет, Дик Струйк и другие философы-коммунисты США. Рядом с ними борются с идеализмом и религиозным мракобесием, с идеологией империалистической реакции такие прогрессивные мыслители США, как Сомервилл, Боумэн, Селларс.

В своей борьбе против растленной философии империалистической реакции передовые учёные-мыслители Соединённых Штатов опираются на великое всепобеждающее учение Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина. Неоценимой теоретической основой и идейно-политическим оружием в их и нашей борьбе против сил реакции служат классические труды великого корифея марксистско-ленинской науки, мудрого учителя коммунизма, закалённого в боях вождя и самого большого друга трудящегося человечества — товарища Сталина.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 14, стр. 213.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АРВИД ГРИГУЛИС

*

ТВОРЧЕСТВО АНДРЕЯ УПИТА

Тятого декабря 1952 года мы отмечаем семидесятилетие Андрея Упита, одного из выдающихся советских писателей старшего поколения. За пятьдесят лет своей творческой деятельности Андрей Упит дал нашей литературе десятки романов, сборников рассказов, пьес, критических работ и историко-литературных исследований. Многие из того, что принадлежит его перу, войдёт в сокровищницу культуры не только латышского, но и всего советского народа. Воспитанный на великих традициях русской реалистической классики, писатель сумел раскрыть в своих произведениях глубокую правду народной жизни и достиг высокой ступени реалистического мастерства.

Долгие годы энергичного и талантливого труда отдал Андрей Упит борьбе своего народа за свободу, и, когда его родная Латвия вышла на солнечную дорогу советской жизни, огромный революционный и творческий опыт помог писателю создать художественные произведения, снижавшие популярность во всех концах нашей страны.

В ПОИСКАХ ДОРОГИ

Те, кому доводилось летать в Ригу, имели возможность с «птичьего полёта» познакомиться с характерными чертами латышского пейзажа. Квадраты полей сменяются небольшими лесочками, но почти нигде не видно деревень. Только время от времени среди деревьев мелькают крыши нескольких тесно прижавшихся друг к другу построек: жилой дом, хлев, сарай, баня...

Нетрудно представить себе жизнь на этих одиноких хуторах в те времена, когда ещё не было хороших дорог, когда просёлки на большую часть года превращались в непроходимые топи, когда на поля ещё

не выходили тракторы и хлеб не убирали комбайнами, когда Латвия ещё не знала того бурного строительства, какое ведётся сегодня в латышских колхозах. На одних хуторах жили кулаки, которые вечерами и воскресными утрами пересчитывали свои деньги, на других — ожесточившиеся бедняки, перебивавшие в уме свои долги. Хуторяне месяцами не видели иных людей, кроме своих домочадцев, не разговаривали ни с кем, кроме своих близких.

В богатом кулацком доме всегда была пара плохоньких, жалких комнатушек. Их занимали временные постояльцы хозяина: батраки, батрачки, испольщики. Эту массу сельских пролетариев и полупролетариев было принято называть «перелётными птицами», потому что ежегодно 23 апреля, в Юрьев день, жильцы бедных каморок собирали свой жалкий скерб и перебирались к другому хозяину в надежде найти более сносные условия жизни. Чаще всего нищета, в конце концов, загоняла этих несчастных в серый каменный дом при волостной управе — убежище для немущих. В народе такие дома обычно называли богадельнями.

Во второй половине прошлого столетия в хуторском домике, стоящем недалеко от реки Даугавы, в сырой и закопчённой каморке жили две семьи испольщиков. Одной из них была семья Упитов.

Детство и юность будущего писателя проходили в обстановке напряжённой борьбы с нищетой, тщетных попыток порвать узы, привязывающие семью к кулацким «зелёным землям».

Ещё мальчиком Андрей Упит понял, что путь к сносной человеческой жизни может открыть ему только ученье, — иначе не уйдёшь от батрацкой доли. Несколько зим подряд он посещал волостную школу, по-

том с удесyтерённой энергией взялся за самообразование, не теряя ни одной свободной минуты, которую удавалось ему урвать от тяжёлых крестьянских работ.

Интерес к литературе проснулся в нём рано. И возбудителем этого интереса был календарь.

Может быть, ни в одной стране и ни у одного народа календарь не играл такой большой и своеобразной роли, какую играл он в Латвии. Во второй половине прошлого столетия книги и журналы были настолько дороги, что простые люди не могли себе позволить приобретать их. Календарь же — печатное издание, необходимое каждой семье, и на покупку его даже люди с малым достатком выкраивали гроши. Появились предприимчивые издатели, стремившиеся разбогатеть на издании общедоступных календарей, превзойти своих конкурентов. Календари выпускались с объёмистым литературным приложением, изобиловавшим сентиментальными рассказами и приключенческими повестями. В долгие зимние вечера, когда ранние сумерки не позволяли продолжать работу вне дома, крестьянские семьи часто собирались в одной комнате и коротали время за домашним трудом. Мужчины плели сети, вырезали деревянную посуду, женщины пряли или вязали, а на столе стояла маленькая керосиновая лампа без стекла, и при свете её кто-нибудь из младших членов семьи, знающий грамоту, читал календарь вслух. Каждая прочитанная страница подробно обсуждалась всеми слушателями, комментировалась на основании личного жизненного опыта.

Такие вечера развили фантазию молодого Упита, у него появилась тяга к литературе и, наконец, желание самому что-нибудь написать. Его первые литературные упражнения были подражанием именно такой «календарной» литературе. Они были написаны под её прямым влиянием.

Учителем в Скриверской волостной школе в то время работал довольно популярный латышский писатель Янис Пурапуке. Но это был нерадивый учитель и нерадивый писатель. Чтобы самому не переписывать свои сочинения, он заставлял это делать одного из своих учеников — юного Упита, обладавшего красивым каллиграфическим почерком. Переписывая произведения Пурапуке, Андрей Упит обратил вни-

мание на то, что автор часто рассказывает в них о происшествиях, имевших место в волости и хорошо знакомых всем, в том числе и самому Упиту.

Настал день, когда юноша набрался мужества и послал свои первые сочинения в латышскую газету «Маяя внесис» («Домашний гость»). В 1892 году, к великой радости школьника, газета поместила несколько его вещей. И сын исполщика, идя за плугом или сгребая сено, чувствовал себя новоиспечённым писателем, который уже завоевал полмира и которому осталось немного: завоевать его целиком.

Однако путь к завоеванию всего мира оказался не таким-то простым. Дорога, идущая в гору, становится всё круче, и чем выше молодой автор взбирается по ней — тем шире горизонты, открывающиеся перед ним, а с ними возникают и новые цели.

В 1896 году мать Андрея уложила в чистый полотняный мешочек кусок хлеба и немного масла для сына, решившего отправиться в Ригу, чтобы экстерном сдать экзамены на диплом школьного учителя.

Молодой Упит выдержал экзамены, получил право учительствовать и поступил на работу в одну из школ на окраине Риги. Он оставался педагогом до 1908 года, успев за это время прочно завоевать себе литературное имя, стать популярным писателем. Все эти годы он продолжал интенсивно заниматься самообразованием и — писал, писал, писал...

Он писал сатирические стихотворения, и почти все они сразу публиковались на страницах одного из сатирических календарей; он писал лирические стихи — это была длинная вереница строчек о жизни без цели, о страданиях молодого человека, пробивающего себе дорогу собственным трудом; он писал длиннейшие рассказы на самые разнообразные темы. Перед ним не было определённой цели, он не обладал ещё глубоким пониманием происходящего, но его влекло желание во что бы то ни стало сделаться настоящим писателем. Потребность в национальной латышской литературе была в те годы необычайно велика, и что бы ни посылал молодой Андрей Упит в различные редакции — календарей, альманахов, газет, — всё находило издателя, всё публиковалось. Ему никто не давал никаких советов, его работы не под-

вергались критике. Начинаящему писателю самому приходилось решать, что хорошо и что плохо.

Латышская литература тогда переживала период серьёзного перелома. Это была эпоха резкого обострения классовых противоречий, и демократически настроенная интеллигенция, в поисках ответа на выдвигаемые жизнью вопросы, обращалась к марксизму. Появилась группа «Новое течение». Радикально настроенная часть приверженцев «Нового течения» поддерживала непосредственную связь с первыми нелегальными рабочими кружками и в своём органе, газете «Диенас лапа» («Дневной листок»), проповедовала революционные социал-демократические идеи. Всё уверенней и смелей выходил на арену истории сознательный пролетариат: в 1904 году возникла социал-демократическая партия Латвии, вставшая рядом со своим учителем — русской революционной социал-демократией — на общий путь борьбы.

«Новое течение» потребовало от латышской литературы реализма, оно заговорило о долге литературы перед обществом. Литературными авторитетами для передовой молодежи, демократической интеллигенции и рабочих были в то время Эдуард Вейденбаум, автор острых сатирических стихов, молодой Янис Райнис, только что вернувшийся из Петербурга, где он окончил юридический факультет, Эд. Трейманис-Зваргулис и другие передовые писатели Латвии.

Однако идеи «Нового течения», веяния уже назревавшей революции 1905 года не доходили до погрязшей в мешанстве маленькой школы в предместье Риги, где учитель Андрей Упит целые ночи просиживал над своими рукописями. Отсутствие определённой общественной цели мешало развернуться молодому таланту, хотя имя начинающего писателя стало уже довольно известным, а литературное мастерство его несомненно росло.

Время от времени Андрей Упит перечитывал привезённые из деревни произведения Пушкина, подаренные ему одним молодым учителем. Проза Пушкина оказала на него большое влияние. Он перестал увлекаться надуманными фабулами и, вспоминая конкретные жизненные факты, написал несколько коротких, деловых и неприкрашенных повестей. Эти произведения ещё

терялись в огромном количестве написанных им ранее «календарных» рассказов, но в них уже проступают черты подлинного реализма, к которому пришёл впоследствии Упит.

Приближалась революция 1905 года. Вся страна бурлила в предчувствии великих событий. Андрей Упит к этому времени работал уже в другой школе, в самом городе. Как-то раз, выйдя на улицу после уроков, он увидел рабочую демонстрацию, проходившую мимо. Мощная волна демонстрантов увлекла Упита с собой, он шёл и пел вместе с рабочими малознакомые ему до той поры песни. И с каждым кварталом уверенней становился его шаг...

Вскоре Андрей Упит уехал на родину, к брату, и там волна революционных настроений захлестнула его с ещё большей силой. Там был настоящий революционный центр, туда приезжали агитаторы из Риги, там распределялась нелегальная литература. Андрей Упит жадно читал брошюры, прислушивался к дискуссиям революционеров.

Постепенно старые, узкие понятия о мире начали рушиться. Их место заняло новое, революционное сознание. Молодому писателю ещё предстояло укрепиться в новых взглядах, всесторонне проверить их... Но путь к будущему уже был найден.

В БОРЬБЕ ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ И РЕВОЛЮЦИОННУЮ ЛИТЕРАТУРУ

1905 и 1906 годы прошли для Андрея Упита в глубоком изучении классиков марксизма, идеи которых стали прочным фундаментом его нового мировоззрения. Одновременно происходила и решительная ломка его представлений о задачах и целях литературы. Если и раньше русская классика привлекала его внимание, то теперь труды Белинского и Добролюбова и особенно книги и статьи Максима Горького заставили Упита коренным образом перестроить своё писательское самосознание.

Андрей Упит всегда правильно оценивал огромную роль русской культуры в развитии культуры латышского народа. Воспитывая впоследствии целые поколения латышских литераторов, он неоднократно указывал им на то, что единственно верным путём развития своих сил и выработки плодотворного творческого метода

является для писателя глубокое изучение русской культуры, русской литературы, представляющих собою неиссякаемый источник духовных ценностей. Через несколько лет после революции 1905 года он писал: «Всё прошлое России способствовало возникновению демократических стремлений, появлению широкого круга демократически настроенной разночинной интеллигенции и огромных демократических рабочих масс... Великие русские писатели всех времён всегда были и великими художниками, и гражданами своей отчизны, и борцами за свободу, за социальную справедливость. Они следовали известному девизу: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан»... Большие социальные вопросы всегда волновали русских писателей; глубокий демократизм — вот характерная черта русской литературы. Русская классическая литература многогранна и разнообразна — в произведениях Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Достоевского и Толстого говорят сердца угнетённых, сердца борцов... Если латышскому народу придётся сделать выбор между культурой русской и культурой немецкой, то ему без колебаний следует выбрать первую... Русская демократическая культура обладает ценностями, без которых латышская демократия не может быть сильной и самостоятельной».

Старая истина гласит, что большим художником может стать только такой писатель, который связал свою жизнь и свой труд с прогрессивными устремлениями своего времени. История латышской литературы ещё раз подтверждает справедливость этой истины. Высоко над всем созданным в латышской литературе поднялись произведения двух писателей — Яниса Райниса и Андрея Упита. Райнис как поэт вырос и окреп в конце прошлого столетия, когда он стал певцом революционного пролетариата, а вершины своей славы этот замечательный писатель достиг именно в 1905 году, во время революции. Андрей Упит начал играть ведущую роль в латышской литературе в 1907 году, когда он тесно связал своё литературное творчество с борьбой латышского народа за свободу и светлое будущее.

Годы, последовавшие за поражением революции, были тяжёлыми годами в обще-

ственно-политической жизни Латвии, как и всей России. Часть революционеров погибла в борьбе, часть была угнана на каторгу, демократические силы ушли в подполье, рассеялись. Реакция временно восторжествовала. Один за другим в Латвии начали возникать черносотенные и декадентские органы печати. За одним реакционным литературным «манифестом» следовал другой, за одной упадочнической «декларацией» — десяток новых. На все лады буржуазные витии и ренегаты повторяли лозунги: «Искусство для искусства!», «Да здравствует надпартийное искусство!», «Долой все революции, да здравствует революция духа и абсолютная свобода индивидуума!». За этими лозунгами скрывались мистицизм, сексуализм, преклонение перед «золотым тельцом».

Но прибывали в Латвию из Швейцарии книги Райниса, посвящённые «тем, кто не забывает», — тем, кто помнит революцию и цели революционной борьбы. Эти книги воодушевляли прогрессивную часть общества. В самой Латвии всё громче и громче начинает звучать голос Андрея Упита.

Он обладал удивительной работоспособностью. Выходила одна книга Упита за другой. И каждая преследовала точно определённую цель: разоблачать буржуазный уклад жизни, методы капиталистического насилия над человеческой личностью, срывать маски с прислужников капитала — представителей мелкобуржуазных слоёв. Ни одна область общественной жизни, ни одно хоть сколько-нибудь выдающееся событие того времени не ускользали из поля зрения писателя. Упиту был чужд стиль возвышенных романтических деклараций и воззваний. Работу Андрея Упита в те годы можно сравнить с работой крестьянина, выкорчёвывающего пни срубленных деревьев, чтобы создать на месте вырубки пашню; его деятельность можно сравнить с работой землекопа, роющего на болоте канавы, чтобы осушить землю, пропитанную чёрной, гнилой водой. Упит предчувствует близкое время, когда придут люди, которые посеют семена будущего на новой земле. Свою задачу в тот период он видел в уничтожении и выкорчёвывании всего старого, мешающего будущему, новому севу.

Пора литературного ученичества не прошла для Андрея Упита даром. Перо его

стало гибким. Чувство нового помогло ему правильно оценить свои ранние литературные работы, помогло отсеять зерно от шелухи. Беспощадно и самокритично отнёсся он к своим ранним произведениям. Теперь его руководящим принципом стало стремление к жизненной правде, которую можно познать во всей полноте, только изучая мир глазами последовательного марксиста. Развернув энергичную деятельность во всех областях латышской литературы, Андрей Упит вскоре сделался организатором всех её демократических сил и крупнейшим латышским писателем.

О том, как многосторонняя была литературная деятельность Андрея Упита и какая необыкновенная работоспособность его отличала, свидетельствует уже простой перечень книг, опубликованных им в период от 1907 года до начала первой империалистической войны. Он издал сборники рассказов и новелл: «Верноподданные» (1907), «Маленькие комедии» (1909, 1910), «Тревога» (1912), «Во время работы» (1915), «Последний латыш» (1912). Выходят его романы: «Новые родники» (1908) и «В шёлковых сетях» (1912) — две первые части трилогии «Робежниеки»; «Женщина» (1910), «Золото» (1914), «Ренегаты» (1914). Появляются его пьесы: «Голос и отголосок» (1911), «Один и многие» (1914), целый ряд одноактных пьес; сборник стихов «Маленькие драмы» (1911); литературоведческие работы: «Исследования и критика» (том 1-й — 1910, том 2-й — 1912), «История новейшей латышской литературы» (1911). За эти же годы в периодических изданиях появилось более ста других его новелл, фельетонов, сатирических стихотворений, публицистических статей.

Рассматривая классовую борьбу как главный двигатель всей социальной жизни, Андрей Упит успешно развивал метод правдивого изображения жизни, поднял его в латышской литературе на высокую ступень критического реализма.

История реализма в латышской литературе сравнительно коротка. Его рождение связано с публикацией братьями Каудзит в 1879 году первого латышского романа «Времена землемеров». Наблюдать реальную жизнь и изображать её черты научили братьев Каудзит классики русского реализма и прежде всего Гоголь. Успех, ко-

торым пользовался их роман, побудил многих латышских писателей последовать по стопам братьев Каудзит. Начиная с восьмидесятых годов, реалистический метод завоевывает в латышской литературе всё большее число сторонников, на путь реализма становится целый ряд писателей: Екаб Апсит, Рудольф Блауманис, Доку Атис, Саулетис, Аугуст Деглав, Екаб Зейболт и другие. Но их реализм ограничивался узкими рамками отображения лишь отдельных, разрозненных явлений жизни. Писатели не понимали сущности социальных явлений, законов истории; в их творчестве не было сознательного отбора жизненного материала. Осуждая отдельные типические черты капиталистической действительности, они в то же время часто становились на путь идеализации патриархального быта. Приверженцев этой школы в латышской литературе Андрей Упит назвал наивными наблюдателями-реалистами.

В девяностых годах прошлого столетия, когда прогрессивная латышская интеллигенция познакомилась с русскими революционными демократами, а потом и с трудами Плеханова и Ленина, её требования к литературе необычайно возросли; перед латышской литературой встал вопрос об активном участии в социальной борьбе. Были заложены первые основы революционной литературы. Главная заслуга в этом принадлежала Эдуарду Вейденбауму, Райнису, критику Я. Янсону-Брауну. Однако писателя, не только революционно настроенного, но и твёрдо стоящего на позициях сознательного критического реализма, в латышской литературе ещё не было. Первым таким писателем-реалистом стал Андрей Упит, который, начиная с 1907 года, дал ряд блестящих образцов подлинного реализма, бичевавшего самые основы капиталистического уклада жизни.

Продолжая упорно заниматься самообразованием, Андрей Упит уже в тот период стал одним из образованнейших латышских писателей. Овладев несколькими иностранными языками, он изучал литературу многих народов. Но особое его внимание, с ещё большей силой, чем прежде, привлекала русская литература. Он выписывал все более или менее значительные литературные произведения из тогдашнего Петербурга. И для дальнейшего развития

реалистических тенденций в его творчестве, для совершенствования его литературного мастерства решающее значение имели работы Максима Горького.

С годами всё яснее определялись особенности художественного метода писателя.

В центре внимания Андрея Упита всегда находится человек. Рельефно и выразительно описывая характеры своих литературных героев, он никогда не отрывает их от свойственной им общественной среды. Изображая эту среду, он даёт подробный анализ общества, ярко раскрывает его классовый характер и правильно объясняет столкновения социальных сил. Действие в его романах обычно начинается в восьмидесятих годах прошлого века и доводится до событий последних лет. Перед нами проходит жизнь всех слоёв латышского общества и раскрываются противоречия капиталистического мира. В романе «В шёлковых сетях» и в нескольких других произведениях Упит повествует о том, как в недрах капиталистического общества зреют силы, которые его победят, как растут и крепнут кадры боевого пролетариата. Типическое Андрей Упит всегда и совершенно правильно расценивал как существенное для данной исторической обстановки, а не как некое статистическое среднее.

Особое место в его творчестве того периода занимали произведения, темой которых являлось разоблачение предателей революционного движения (пьесы «Голос и отголосок», «Один и многие», роман «Ренегаты» и др.).

Андрей Упит всегда широко пользовался оружием сатиры. С особенным блеском он применил его в борьбе против декадентов (цикл одноактных пьес «Сверхлюди»). Ему удалось разбить декадентские группировки, выставив их перед латышской общественностью в их истинном — смешном и жалком — виде. Сорвав с декадентов «звёздные тоги сверхлюдей», Андрей Упит облачил их в клоунский наряд, который они так и не сумели сбросить: слово «декадент» стало бранным словом в самых широких слоях общества.

Но не только непосредственной литературной деятельностью занимался Андрей Упит в годы столыпинской реакции и в период нового революционного подъёма

перед началом первой империалистической войны. Много времени посвящал он организации прогрессивных литературных сил, отдавал немало энергии воспитанию молодых литераторов. В 1909 году Андрей Упит принял участие в организации и работе прогрессивного ежемесячника «Изглитыба» («Просвещение»). Критический отдел журнала, работавший под руководством А. Упита, определил характер этого издания. Журнал продолжал прерванное в период реакции изучение литературы с точки зрения марксизма. Травля реакционеров привела в 1911 году к запрещению этого передового журнала. Но Андрей Упит не признал себя побеждённым. В 1912 году по его инициативе был создан новый литературно-общественный ежемесячник «Домас» («Мысли»), продолжавший традиции «Изглитыбы». Кроме того, Андрей Упит организовал издание литературного альманаха «Вардс» («Слово»), который служил тому же делу объединения демократических сил латышской литературы.

Латышская марксистская критика не была тогда свободна от ряда ошибочных положений, и эти ошибки были свойственны и работам Упита в области истории литературы. Но вместе с тем эта критика добилась серьёзнейших успехов, особенно в объяснении классового характера литературы и её сложной зависимости от развития общественно-экономических сил.

В годы мировой войны литературная деятельность Андрея Упита на время совершенно прекратилась. Зато после Февральской революции 1917 года он весь отдался активной общественной и литературно-политической работе. Избранный в Совет рабочих депутатов, он борется за претворение в жизнь ленинской программы перерастания буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую. В августе 1917 года, когда кайзеровская армия заняла Ригу, Андрей Упит был заключён в немецкую оккупационную тюрьму. Но и потом, выйдя на свободу, писатель беспрерывно подвергался репрессиям. Он жил в нужде, его литературная работа была парализована.

Периодом нового подъёма его духовных сил стал 1919 год, когда в Латвии пришли к власти Советы. В ту первую советскую весну латышского народа Андрей Упит все свои силы отдавал общественно-политиче-

ской деятельности. Работая в Наркомате просвещения, он создавал в Латвии новые театры, организовывал консерваторию, университет, академию художеств... Для литературной работы почти не оставалось времени. Но тем не менее и в этот период бурной общественной деятельности Андрей Упит находил силы для литературного творчества. Его революционные стихи той поры пользовались широкой известностью. Тогда же написал он большой теоретический труд «Пролетарское искусство». Ему удалось правильно поставить некоторые насущные проблемы развития новой советской литературы. В частности, он подчеркнул её реалистический характер, он говорил о том, что в основе произведений советских художников слова всегда должна лежать правильно понятая жизненная правда. Верно поставил Упит и вопрос о необходимости критического отношения к литературному наследству.

Во второй половине 1919 года международной реакции удалось свергнуть неокрепшую советскую власть в Латвии, и для латышского народа началась тёмная ночь буржуазного владычества, длившаяся двадцать лет.

«МОТЫГОЙ ПО ЧЕРТОПОЛОХУ!»

Андрей Упит снова был заключён в тюрьму. Только в конце 1920 года, освободившись из неё, он сумел возобновить свою литературную деятельность.

Атмосфера общественной жизни в Латвии стала ещё более тяжёлой, чем до революции. Реакция торжествовала. Культ национализма и идеализация кулачества — таковы были характерные черты литературы буржуазной Латвии. А колеблющиеся писатели мелкобуржуазного толка впали в «аполитичную литературную летаргию», отдавшись «пессимистическим эмоциям».

На литературном поприще Андрей Упит стал деятельным участником той борьбы против господства буржуазии, которую латышский народ вёл под руководством подпольной Коммунистической партии. Его произведения были широко популярны в народе. И благодаря своей непримиримой принципиальности и идейной последовательности, большому опыту и выдающемуся мастерству художника он вновь, как и в предреволюционные годы, стал организато-

ром всех прогрессивных сил латышской литературы.

Из-под его пера выходят книга за книгой, и всё, что он пишет, посвящено прежде всего борьбе с реакцией. Его работоспособность попрежнему беспримечна. Он издаёт сборники рассказов и новелл — «Во время оттепели» (написаны ещё в 1918 году в немецкой оккупационной тюрьме), «Битва ветров» (написаны в тюрьме буржуазной Латвии в 1920 году), «Щепки в омуте» (1921), «За вратами рая» (1922), «Метаморфозы» (1923), «Голая жизнь» (1926), «Рассказы про священников» (1930). Он пишет роман «Северный ветер» (1921) и заканчивает этим романом начатую в 1908 году трилогию «Робежники». А в 1934 году он публикует вступительную книгу к этой трилогии — «Тени прошлого» и затем ещё две книги — «Возвращение Яниса Робежника» и «Смерть Яниса Робежника», превращая, таким образом, свою трилогию в целую серию романов. Но это далеко не всё. Среди написанного Упитом в двадцатых и тридцатых годах следует ещё назвать романы — «Накануне грозы» (1922), «Через радужный мост» (1926), «Под кованым сапогом» (1928), «Улыбающийся лист» (1938), «Тайна сестры Гертруды» (1939) и историческую трилогию: «Первая ночь», «К эстонской границе», «У ворот Риги». Он выступает и как автор исторических трагедий — «Мирабо» (1926), «Жанна д'Арк» (1930). Эти две пьесы являются первыми в созданной им драматической трилогии, третья пьеса — «Спартак» — была написана Упитом уже в советское время. Но и это не всё. Он пишет ряд комедий, среди которых нельзя не упомянуть «Купальницу Сусанну» (1922), «Мужа вдовы» (1925), «Полёт чайки» (1926), «Причины и следствия» (1927), «Здоровое тело» (1927), «Заколдованный круг» (1929), «Победу Ешки Зиньги» (1933). Он выпускает, кроме того, сборник стихов «Фабула без морали»; работает как литературовед-историк: в 1921 году он перерабатывает и дополняет «Историю новейшей латышской литературы», изданную в 1911 году, а в 1930—1934 годах пишет, в соавторстве с Рудольфом Эгле, «Историю мировой литературы». Он выступает и с книгами для детей и юношества — пьеса «Медвежонок, приносящий счастье» (1923), сборник рас-

сказов «Дальние дороги» (1925), книга «По следам Лауча» (1926).

Большую популярность завоевала в те годы серия критических статей Андрея Упита, появившаяся в периодической печати под общим заголовком «Мотыгой по чертополоху!». Этим метким выражением можно охарактеризовать всю литературную деятельность Андрея Упита эпохи буржуазного владычества в Латвии. Упит действительно напоминал труженика, который с мотыгой в руках ходит по заросшему сорняками полю и безжалостно выпалывает чертополох. Он наглядно показывал широкому читателю, как отвратительна политическая почва, на которой вырастают вредные сорняки — паразиты общества.

Для творчества Андрея Упита всегда были характерны не только разнообразие жанров, но и многогранность тематики.

В нескольких романах он воссоздаёт картины недавнего прошлого своего родного народа. Особое значение для латышской литературы имеет его законченная трилогия «Робежниеки». В ярком реалистическом повествовании о судьбах крестьянской семьи Упит раскрыл процесс формирования общества и классовую борьбу в эпоху между девяностыми годами прошлого столетия и революцией 1905 года. Позднее, в дополнительных романах к трилогии «Робежниеки», писатель-реалист подверг подробному анализу и разоблачению антинародную сущность наиболее характерных экономических и политических явлений буржуазной Латвии, в том числе пресловутой аграрной реформы. В романе «Накануне грозы» он показал закулисную сторону первой мировой войны, а в книге «Под кованым сапогом» рассказал о временах немецкой оккупации Латвии.

Андрей Упит постоянно возвращался к историческим темам. При этом его всегда привлекали те периоды в истории человечества, когда с особой силой разгоралась борьба народов за свою свободу. О чём бы ни рассказывал Упит в своих исторических романах, новеллах, драмах — об освободительной ли борьбе латышей на рубеже XVII—XVIII веков или об эпохе буржуазной Французской революции, — описания давно прошедших боёв за свободу перекликаются в его произведениях с современными задачами борьбы против

эксплуататорского ига буржуазии в Латвии.

Он был последователен и целеустремлён в своём неутомимом творчестве. И не случайно именно в те годы, среди обилия всего им написанного, рядом с историческими повествованиями большое место занимала сатира на современную ему жизнь.

В своих острых комедиях Упит дал целую галерею картин, разоблачавших коррупцию господствующей клики, растленную буржуазную мораль, распустство и гнилость «сильных мира сего».

И одновременно писатель убедительно показывал, что все попытки отдельных буржуазных деятелей найти мирный выход из вопиющих противоречий капиталистического строя обречены на провал, он показывал, что подобным деятелям рано или поздно всё равно приходится отказываться от своих «требований». Ведь даже курица, саркастически говорил писатель, если очень рассердится, может попытаться взлететь на забор, но её попытка летать заранее осуждена на неудачу. Только свергнув существующий буржуазный порядок, можно уничтожить господствующий в Латвии хаос.

В те годы формалистической свистопляски в буржуазной литературе Андрей Упит оставался до конца верным традициям реализма. Он отшлифовывал и углублял приёмы реалистического письма, продолжая формировать свой стиль, свою литературную манеру, в основном определившуюся уже в дореволюционный период его творчества, после 1907 года. Упорным и тщательным трудом преодолевал он и слабости своего художественного метода.

Создавая образы своих героев, Упит всё настойчивей стремится теперь к глубокому психологическому анализу характеров.

Он всегда уделял много внимания языку своих книг. Стиль Упита опирается на живую, повседневную речь народа. Латышские советские языковеды доказали, что во всей латышской литературе самой богатой лексикой обладают Андрей Упит и Яннс Райнис. В тот период, о котором мы здесь говорим, язык произведений Упита становился от книги к книге всё более совершенным и богатым.

Результатом упорной работы над формой явилось и то, что сюжет в больших прозаических произведениях Упита стал

теперь развёртываться более динамично, чем прежде. Его романы дореволюционного периода отличались кропотливо обработанными деталями и в то же время слишком заторможенным, почти вялым развитием действия. Переход от одной ситуации к другой происходил в чрезвычайно замедленном темпе. Писатель как бы не спеша, а иногда и слишком уж неторопливо перелистывал мелко исписанные, избыточные большим числом подробностей страницы своих огромных эпических повествований. Эта характерная для Упита особенность хотя и помогала ему весьма рельефно выписывать характеры литературных героев, порождала вместе с тем и вялость сюжета в его произведениях. Продолжая, как и прежде, детально описывать явления жизни, Упит, борясь со слабостями своей художественной манеры, учится теперь ярче оттенять всё важное и отбрасывать ненужное.

НА ПУТЯХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА

В 1940 году борьба латышского народа за свободу увенчалась полным успехом. Буржуазная власть в Латвии была низвергнута. Влившись в братскую семью советских республик, страна вышла на широкую дорогу социализма.

Заслуги и опыт деятельнейшего борца за освобождение народа выдвинули Андрея Упита на роль организатора перестройки латышской литературы на новых, социалистических основах. Он создаёт Союз советских писателей Латвии, становится его первым и бессменным председателем, оставаясь и ныне на этом посту.

Новая действительность предъявила латышским писателям новые высокие требования — перед ними возникла задача овладеть методом социалистического реализма. Опираясь на передовые реалистические традиции прошлого, на достижения всей советской литературы и прежде всего на великий пример литературы русского народа, латышская литература должна была помочь торжеству нового, передового общественного строя, торжеству социализма.

Для Андрея Упита, который на протяжении долгих десятилетий был страстным поборником реализма и последовательно осуществлял в своём творчестве реалистические принципы изображения действитель-

ности, переход к социалистическому реализму явился как бы логическим завершением всего предшествующего развития его взглядов и устремлений.

Нападение гитлеровской Германии на Советскую страну прервало мирный творческий труд освобождённого латышского народа. Шестидесятичетырёхлетний писатель был вынужден временно покинуть свой родной край. Он поселился недалеко от города Кирова, в деревне Кстынино, но и там, вдали от фронтов Отечественной войны, он своим писательским трудом помогал патриотам Советской Латвии в их борьбе против немецко-фашистских захватчиков. Его рассказы, в которых он показывал звериный облик врага, носили подлинно боевой характер. В годы войны в Москве вышли рассказы Андрея Упита «Шпек, Буттер, Айэр» (1942), «Возвращение героя» (1942) и сборник «Новеллы» (1943). Под Кировом Упит написал и свою историческую трагедию «Спартак» (1943), которая явилась последним звеном исторической трилогии, начатой писателем ещё задолго до войны.

С той же молодой, удивительной работоспособностью, какая всегда была ему свойственна, Упит начал в военные годы трудиться над большим историко-бытовым романом «Земля зелёная». Когда работа была уже почти закончена, пожар уничтожил домик, в котором жил писатель, а вместе с домом сгорела рукопись книги, явившейся плодом огромного труда. Но Андрей Упит не опустил рук — с присущей ему энергией и упорством он взялся за роман снова, и, когда осенью 1944 года писатель вернулся в освобождённую Ригу, он привёз с собой уже законченное произведение.

Роман «Земля зелёная» получил единодушное признание всего советского народа. Андрею Упиту, первому среди писателей Латвии, была присуждена в 1946 году Сталинская премия.

«Земля зелёная» — большое эпическое повествование о жизни латышского крестьянства в последней четверти прошлого столетия. Упит рассказывает о той эпохе, когда в латышской деревне рядом с немецким помещиком-бароном появляется новый эксплуататор, новый кровопийца — латыш-кулак, когда неудержимое развитие капитализма в стране приводит к новому чудовищному усилению эксплуатации на-

рода и к резкому обострению классовых противоречий. Об этом же историческом периоде Упит писал в своё время в первой части трилогии «Робежниеки». Но диапазон его нового романа несравненно шире, художественное мастерство писателя проявилось в нём со значительно бóльшей силой.

Заслуга Андрея Упита состоит в том, что, правильно поняв характерные черты века, он сумел охватить в своём романе сложный исторический процесс и воссоздать его с подлинной достоверностью. Реалистическое изображение достигает в «Земле зелёной» такой конкретности, образы настолько яркие, типичны и вместе с тем индивидуальны, что перед читателем возникает живая картина жизни латышской деревни той эпохи.

Создавая картины прошлого, Андрей Упит рассматривает их глазами советского человека. С особенной ясностью проявляется это в тех главах романа, где идёт речь о формировании новых, революционных сил в народе, где писатель глубоко анализирует процесс становления нового человека. Изображение жизни общества с точки зрения перспектив его революционного развития существенно отличает «Землю зелёную» от других, ранее написанных произведений Андрея Упита — критического реалиста.

В последнем по времени романе писателя — «Просвет в тучах» (1951) тема революционного развития общества становится основной.

Как и для «Земли зелёной», для нового эпического полотна, созданного Андреем Упитом (которое, к слову сказать, по своему объёму является самым большим прозаическим произведением в латышской литературе), послужила материалом жизнь латышского народа в конце прошлого столетия. Этот роман является как бы продолжением «Земли зелёной» — часть персонажей первого романа проходит и по страницам второго. Таковы Анна Осис, Андрей Осис, Адрис Калвиц и Лиена Берзиня. Но в своей новой книге Андрей Упит изображает уже не деревенскую жизнь, а будни латышского пролетариата конца прошлого столетия.

Десяностые годы девятнадцатого века в Латвии, как и вообще в России, характерны тем, что в этот период рабочий класс

страны начинает превращаться из политически несознательной массы в организованную политическую силу, из класса в себе начинает становиться классом для себя. Изобразить этот процесс — вот задача, которую поставил перед собой Упит. И в центре его нового романа стоит не отдельный герой, как Бривиньш в «Земле зелёной» или братья Робежниеки в одноимённой серии романов. Главная сила истории — пролетариат — олицетворяется здесь в целой группе сюжетно равноправных, если можно так выразиться, персонажей.

Писатель развёртывает широкую картину жизни латышских рабочих в девяностых годах. Страшная эксплуатация на предприятиях, нищета и лишения в повседневной жизни, постоянный страх перед безработицей.. В эту мрачную темень всё чаще проникает свет; из разрозненной массы задавленных нуждой труженников выделяется передовой, сознательный отряд, который помогает этой массе вырасти в организованную силу; во время рижского мятежа 1899 года рабочие на несколько дней завоёвывают власть в Риге. В конце романа с особой силой звучит мотив нарастания победоносной революции, приближения той поры, когда восставший рабочий люд окончательно разгромит и сотрёт с лица земли капитализм. В согласии с исторической правдой Андрей Упит подчёркивает громадное значение революционной борьбы русского пролетариата для пробуждения классового сознания латышских рабочих.

Упит показывает, как представители демократической интеллигенции, самостоятельно ищущей ответы на вопросы, поставленные самой жизнью, обращаются к трудам классиков марксизма и знакомят с ними рабочих, он показывает, как происходил важнейший процесс соединения научного социализма с рабочим движением. В романе фигурирует ряд исторических личностей, среди которых читатель находит имена видных писателей того времени — Эдуарда Вейденбаума, Райниса, Аспазии.

Отсутствие в романе центрального героя приводит к особому композиционному построению произведения. Сюжетная линия разбивается на отдельные, тщательно выписанные эпизоды. Как медленно текущие ручейки, стекаются разнообразные линии повествования к главенствующей идейной линии романа.

«Просвет в тучах» — обширная батальная панорама, на которой изображены боевые полки латышского пролетариата в период его революционного становления и первых классовых боёв. Новый роман Андрея Упита представляет особый интерес ещё и потому, что он является первым значительным художественным произведением, посвящённым истории рабочего движения в Латвии.

В заключение нельзя не отметить заслуг Андрея Упита в области литературоведения и теории литературы.

За последние годы он опубликовал ряд работ, освещающих важные эстетические проблемы социалистического реализма. Он не только популяризировал основные принципы новаторского метода советской литературы и помог, таким образом, молодому поколению латышских советских писателей освоить их, но и дал новую, своеобразную, хотя и не всегда бесспорную, постановку некоторых вопросов теории этого метода. Так, Андрей Упит не считает необходимым вводить понятие «революционного романтизма» в определение метода социалистического реализма, а при рассмотрении истории реалистической литературы, существовавшей до нашей социалистической эпохи, он выделяет из наследия критического реализма особое направление, названное им «пролетарским реализмом». В понимании Андрея Упита это метод тех писателей-реалистов, которые в эпоху, непосредственно предшествовавшую революции, не ограничивались только критикой капиталистического строя, а, стоя на позициях марксизма, призывали к уничтожению этого строя и построению социалистического общества. Естественно, что с этой точки зрения целый ряд прежних работ Андрея

Упита относится к произведениям именно «пролетарского реализма».

Литературоведческие работы Андрея Упита, при всей спорности отдельных его теоретических положений, несомненно, носят характер серьёзных изысканий. Они опираются на глубокую литературную эрудицию писателя и проникнуты стремлением обобщить процессы, происходящие в непрерывно развивающемся, новаторском искусстве нашего времени. Интересны работы Андрея Упита, посвящённые критике латышского литературного наследия, и прежде всего его книга «Латышская литература» (часть 1-я), написанная в 1951 году.

Глубокая принципиальность и неизменная последовательность революционных взглядов, отличавшая творчество Андрея Упита в период борьбы народа за свою свободу, интенсивная общественная деятельность этого крупного художника слова, огромный литературный опыт и художественное мастерство выдвигают его в первые ряды советских писателей. За выдающиеся заслуги перед Родиной Андрею Упиту присвоено почётное звание Народного писателя Латвийской Советской Социалистической Республики, он награждён многими орденами СССР. Доктор филологических наук, Андрей Упит избран действительным членом Академии наук Латвийской ССР.

На необозримых просторах Родины героическим трудом народа создаётся светлое коммунистическое будущее человечества. Ради торжества этого великого дела всю свою жизнь неутомимо работал и работает вместе со своим народом Андрей Упит.

Перевод с латышского Т. Иллеш.

ИВАН КАШКИН

★

ТРАДИЦИЯ И ЭПИГОНСТВО

(Об одном переводе байроновского „Дон-Жуана“)

Перевод большого произведения поэта-классика можно уподобить длительной осаде, завершаемой победоносным штурмом. В ходе её могут быть полезны и предварительные работы, вроде прозаического перевода, передающего только смысл произведения, но не охватывающего художественных особенностей, форму подлинника; могут сыграть свою роль и частичные удачи поэтических разведок, как бы дающие читателю возможность взобраться на стену крепости, которую ещё предстоит взять, и т. д. Всё это закономерные подготовительные этапы к решительному штурму.

Редкий переводчик способен объединить все этапы такой осады и сразу добиться решающей победы. Обычно это дело нескольких переводчиков, которые вносят каждый свою долю, в меру своих способностей и возможностей, а то и дело нескольких переводческих поколений.

Так случилось, например, с переводом «Гамлета» Шекспира на русский язык ещё во времена Белинского. Был прозаический перевод Кетчера; был стихотворный перевод Полевого; был перевод для сцены Кронеберга; была предшествующая им попытка Вронченко дать универсальный, окончательный перевод.

Белинского, который считал, что форма неотделима от содержания, что для стихов «прозаический перевод есть самый отдалённый, самый неверный и неточный, при всей своей близости, верности и точности», — Белинского перевод Кетчера, конечно, удовлетворить не мог.

Но и для стихотворных переводов Белинский делал различие между переводом «поэтическим» и «художественным». В его

понимании перевод поэтический — это первоначальное талантливое ознакомление с лучшими образцами мировой литературы, которое должно привлечь сердца читателей к переводимому автору. Таким казался ему «Гамлет», переведённый для сцены Николаем Полевым.

Перевод «художественный» в понимании Белинского должен полностью воспроизводить все эстетические особенности подлинника. Белинский на примере перевода «Гамлета» Вронченко доказывал, а Тургенев на примере перевода «Фауста» Вронченко подтвердил, что одного стремления дать такой перевод — ещё мало: он под силу только переводчику-художнику, каким Вронченко не был. Без этого может получиться лишь добросовестная копия, неудобовоспринимаемая читателем и несоизмеримая с художественной силой оригинала.

Переводчик должен стараться передать дух создания, а не букву, писал Белинский. На этом пути и надо искать то, что Белинский называл «художественным» переводом: это предел достижимого, это поэтически верный перевод, творческая удача и в то же время результат вдохновенного и упорного труда.

Решительный «штурм» «Гамлета» во времена Белинского так и не состоялся, это осталось задачей следующих поколений. И хотя в критике и не решён вопрос, взята ли уже эта «крепость», можно утверждать, что новые переводы «Гамлета» сделаны талантливо и мастерски.

Байрону по сравнению с Шекспиром гораздо меньше «повезло» в деле перевода его на русский язык. Правда, были от-

Все слова и каламбуры в строфе сохранены, даже добавлен некий «Spiritus» и множество скобок и восклицательных знаков. Но разве это стихи? И, главное, разве это ясное выражение байроновского острого выпада против идеалиста-мракобеса? Протокольная, жестокая «точность» перевода Г. Шенгели напоминает дотошность судебного исполнителя, который ведёт инвентарную опись всего домашнего скарба, а не истинного достояния поэта. Такая «точность» обесценивает полноту перевода, потому что она неудобопонятна и ненадёжна. Перевод Г. Шенгели нельзя цитировать без риска попасть впросак. Так, например, те, кто многократно цитировал строки: «Я камни науку искусству мятежа! Убийству деспотов!» — не замечают того, что в переводе получается двусмысленность. Ведь даже и при просторном шести-стопнике из-за напряжённой и неловкой расстановки слов выходит, что Байрон будто бы собирается камни научить искусству мятежа, а деспотов — убийству.

И невольно вспоминаются несколько упрощённые, но понятные строки перевода Козлова о том же Беркли, которые без промаха цитировались многими критиками идеализма.

Епископ Берклей был такого мнения,
Что мир, как дух, бесплотен Лишний труд

Опровергать то странное ученье
(Его и мудрецы-то не поймут)¹

Особенно ясно видно искажение Георгием Шенгели смысла байроновской поэмы в том, как воспроизвёл переводчик образ Суворова.

Известно отношение Байрона к России и к русским. Об этом говорил и Пушкин: «Байрон много читал и расспрашивал о России. Он, кажется, любил её и хорошо знал её новейшую историю». Это, в частности, сказывается и в главах 7 и 8 «Дон-Жуана», которые посвящены славе русского оружия — штурму Измаила, полководцу Суворову. Но присмотримся, как Суворов и его солдаты поданы в переводе

¹ Здесь и ниже перевод Козлова цитируется по изданию: «Дон-Жуан». «Всемирная литература», Госиздат, П.—М. 1923.

Г. Шенгели. После двух-трёх парадных строф читаем про Суворова:

...Он, воюя,
Как олдермен, — мозги, кровь обожал
парную.

Любой обозный ждал, в волнение чуть дыша,
Когда же грабежом украсится атака?
И всё лишь потому, что старичок чудной,
В рубашку нарядясь, решил вести их в бой.

Тут повернулся он и русским языком,
Весьма классическим, вновь начал в груди солдата
Вдуть желанье битв, вёчаных грабежом.

Да, полудемоном, героем и шутком,
Молясь, громя и руша — он являлся
Двуликой особью: он Марс и Момс — один,
А перед штурмом был — в мундире арлекин.

Суворов в этот час, вновь командиром взводным,
В рубашке, сняв мундир, калмыков обучал,
Их совершенствуя в искусстве благородном
Убийства. Он острил, дурачился, кричал
На рохль и увальней. Философом природным,
От грязи — глины он людской не отличал
И максимуму внушал, что смерть на поле боя,
Подобно пенсии, должна манить героя.

...А русский острячок
Средь пепла, как Нерон, сумел сложить стишок!

...по вкусу ей (Екатерине. — И. К.)
стишок пришёлся глупый
Суворова, кто смог в коротенький куплет
Вложить известие, что где-то грудой трупы
Лежат, — чем заменил полдюжины газет.
Затем ей, женщине, приятно было щупы
Сломить у дрожи той, цепляющей хребет,
Когда вообразим убийств разгуд
кромешный,
Что повод дал вождю для выходки потешной,

Если присмотреться к этим и многим другим аналогичным местам текста, то получается какая-то странная, неприглядная картина. Суворов — это какой-то экзотический «Сьюарру», и отсюда и все прочие его качества: «любовник войны», «двуликая особь», «старичок чудной», «старичок, весьма криклив и скор», «русский острячок», написавший «глупый стишок» или «романс игривого пошиба». А русские солдаты, суворовские чудо-богатыри — это «свирепые солдафоны», «привыкшие убивать и женщин и детей», или «егеря... испуганные превыше всех приличий», или «Орлы кутузовские», при штурме Измаила «жавшиест друг к другу в уголках»...

Люди, не читавшие подлинника, спросят: но, может быть, это так и у Байрона? Нет, даже когда похоже, это не так! А здесь важен каждый оттенок. Есть, например, у Байрона обозный, с замираньем сердца ожидающий «опасности и добычи», или солдаты, жаждущие «денег и завоеваний», но нет «грабежом украшенной атаки», нет солдафонов и трусов-егерей и, главное, нет того, чтобы Суворов «вдувал желанье бить, венчаных грабежом». Где у Байрона «убийств разгул крошечный»? Нет у него ни «двуликой особи», ни «парной крови», ни «романса игривого пошиба», ни «острячка», ни «глупого стишка». Что же, оскудели возможности русского языка, или нет в нём для правильной характеристики Суворова таких слов, как шутник, балагур, прибаутка?

Кое-что переводчик как будто недопонял, так, например, на месте стихов:

Заманивая в топь. — И все за ним летели,
Как зачарованы, не разбирая цели. —

по-английски стоит follow wrong or right — отголосок ходовой формулы my country wrong or right; Байрон хочет сказать, что солдаты следовали за Суворовым, что бы это им ни сулило.

Кое-что переводчиком примышлено. Например, слова о Суворове как об одном из вождей, «что населяли ад героями и в мир несли с любой победой мрак и отчаянье». У Байрона нет ни «мира», ни «любой» победы, ни «мрака и отчаянья», а просто утверждается, что Суворов «повергал в печаль (завоёванные) провинцию или королевство» (plunged a province or a realm in grief).

Кое-что дано переводчиком в произвольной и недопустимой трактовке, например: вместо

And bared as little for his army's loss
(So that their efforts should at length prevail)

или, как у Козлова:

Суворов, чтобы выиграть сраженье,
Не пожалел бы армии своей, —

у Шенгели стоит:

Он погибать своим предоставлял
войскам
(Лишь бы они ему победу одержали).

Это — о полководце, который, ведя солдат в бой, сам делил с ними опасности и под Кинбурном и в Альпах! Что-то не похоже на Суворова. И вообще странная получается фигура победоносного полководца, который, заманивая в топь, предоставлял погибать своим войскам.

Переводчиком всюду подчёркнута снисходительная, уничижительная интонация, причём смакуется эстетский, гурманский привкус ложной экзотики, которая к тому же подчёркнута весьма странным в устах Суворова обращением на «вы» ко всем, вплоть до любого солдата.

Байрон ужасается кровавым развалинам Измаила, но общее уважительное отношение к Суворову — не просто случайное чувство поэта, оно закономерно. И в этом Байрон является выразителем современного состояния умов. Для тогдашнего англичанина победитель французов в Италии Суворов мог представляться страшилищем, но уж во всяком случае не объектом для насмешек. Тенденция к оскорбительному снижению этого образа характерна скорее не для Байрона, а именно для смертельно перепуганных итальянской кампанией французов.

Сам Г. Шенгели, защищая на совещании переводчиков свою трактовку ряда мест в «Дон-Жуане», подкреплял это ссылками не на текст Байрона, а на французский подстрочный прозаический перевод Бенжамена Лароша. Исходя из этого и многих данных текста, можно предположить, что и в неверной трактовке переводом Г. Шенгели Суворова повинен скорее всего Ларош. Конечно, переводчик при необходимости должен привлекать для проверки и подстрочник, но зачем в русском переводе англий-

мая передача шутки, приходится соблюдать меру и осмотрительность, чтобы не получилось дешёвого зубоскальства. А в переводе Г. Шенгели сатирический блеск Байрона обращается в напряжённое и вымученное «острословие». Непринуждённая шутливость Байрона огрублена. О женщинах Байрон будто бы говорит (и не раз) в терминах скаковой конюшни:

Изяцна, замужем и — двадцатитрёх-
летка.

Героини Байрона будто бы:

Красивы свыше сил во всех своих
статьях...

(очевидно, имеются в виду статьи).

Не шадит Шенгели и стариков:

...в океан
За неликвидностью (стар очень) сброшен.
Влизиим
Манимый выкупом, наш мудрый
старикан...

и даже самого Байрона, которого он заставляет принимать на свой счёт излюбленное словечко переводчика «охочий»:

Был у него талант: с ним ренегат (как vates
Да irritabilis к тому ж) не будет спать.
Пока не выключит в журнале («так уж,
«статист») —

Рецензику (мы все пред публикой
блистать

Охочи). Впрочем, стоп. Где я? Гляжу,
попятысь...

То же словечко «охочий» употреблено и для характеристики отца Жуана, который: «Был погулять охоч, коль бес овладевал им», — и дона Альфонзо, «весьма охочего» до каких-то пустыков, которых его лишала супруга, и охочих демагогов, и Екатерины Второй, «до всяких благ охочей», и всех влюблённых, «охочих до риска и неохочих».

А это лишь один из немногих случаев чрезмерного пристрастия переводчика к полюбившемуся ему слову.

С манерным подмигиванием обыгрываются в переводе и вольные словечки Байрона. Например, *whore* — «блудница» дано в переводе то как «бл...удница», а то и как «б-дь».

«В поэтических шалостях, грация — великое дело, потому что без неё эти шалости могут показаться отвратительными», — сказал ещё Белинский.

И не только отвратительными, но и вредными, потому что, вольно или невольно, они смыкаются с реакционной английской традицией трактовки Байрона, которая снижает его до уровня нереспектабельного поэта-озорника, позорящего английскую литературу, легковесного острослова, способного на нелепицу и болтовню, до смысла которой не стоит и добираться. Но разве таков настоящий Байрон? Разве таким воспринимают его советские переводчики, разве таким его должен знать советский читатель?

Особо следует остановиться на языке перевода. Язык Байрона — это богатый, образный, страстный язык пламенной мысли. При всей его шутливой непринуждённости он чужд всякой расхлябанности, туманности и неоправданных новшеств. Байрон привлекает материал отовсюду, берёт своё везде, где только находит, но все слагаемые его языка пронизаны и сплавлены воедино поэтической, вольнолюбивой мыслью. Язык Байрона — острое и действенное оружие литературной полемики и политической борьбы, явление яркое и для своего времени прогрессивное.

Язык перевода Г. Шенгели не передаёт языкового богатства Байрона и в то же время не только не обогащает, но засоряет русский язык, с внутренними законами которого переводчик не считается.

Стих Байрона, поскольку это допускает английский язык, — благозвучен. Текст перевода сплошь и рядом режет слух, «и эти скрежеты, да в стиховом размере» часто привнесены переводчиком или подчеркнуты им. Переводчик старается «подобрать русские корни, в звуках которых есть «что-то английское»; он угощает читателя «мистером Речелудом» и вереницей русских имён в их «английском» звучании: Кхреметов, Счереметев, Стронгенов, Строконов, Тсчитшаков, Чичицков, Мускин-Пускин, не считая ещё Куракина, Катскова и пр. В тексте Байрона для этого есть своё оправдание: кичась своим превосходством во всём, британцы не снисходят до приспособления английского произношения к звучанию чужой речи — в результате коверканье ими французских и прочих слов, которое закреплено даже в английских словарях. Именно эту слепую

заискусность и пародирует Байрон. Но это псевдоанглийское преломление русских имён в их обратном переводе воспринимается как издевательство над русскими именами и русским языком.

Тяжёлым грузом чужого звучания и затемнённого смысла загромождает перевод пристрастие Г. Шенгели к иностранным словам, притом к таким, в которых есть «так сказать, своё таинственное... э-э... недоумение» (Чехов). Тут «скимитары», «фибулы» Гайди, «бравуры бурные», «максимы», «цитаторы», «кланы кордебалетных нимф» и прочие «бомбазины». Словом, словесный маседуан, где перемешаны и правлены рифмой «дыюкессы» и «дюшесы», «пэрессы» и «деликатесы» и т. д. Если прибавить сюда «Ордалини Жуана — почише», то есть обилие чуждых конструкций, вроде «в нём было от солдата» и пр., то надо признать, что линия эта в переводе проводится последовательно.

Обогащение языка — длительный, органический процесс, каждое чужое слово проходит в нём проверку временем, и едва ли попытка Г. Шенгели насильственно навязать языку слова, ему не свойственные, чем-нибудь обогатит язык. Из целой пригоршни накиданных им без разбора чужезычных слов нет почти ничего, что имеет право удержаться в языке, почти всё это — шелуха чужих слов, только засоряющая язык.

Как и всякий поэт, Байрон, переведённый на русский язык, становится достоянием русского поэтического языка. А если это так, то следует помнить слова Ломоносова: «Российские стихи надлежит сочинять по природному нашего языка свойству; а того, что ему весьма не свойственно, из других языков не вносить».

На фоне общего иноязычия перевода в нём пестрят изысканные архаизмы: «так возрастал Жуан», «рудомет», «скудель», «плечá» (множественное число), «крыле голубине», «Шестоднёв»; а рядом — такие разговорные слова и сверхсовременные прозаизмы: «мальцы», «персональный опыт», «убойная техника» и т. д.

Переводчик заставляет читателя гулять глазами «впродоль унылых стен дворца Сент-Джемского и смежных с ним «геенн»; заглядывать «внутрь пакета», дивиться «распутнице двуснастной» или «любовнику-веролому» и т. п.

А наряду со всем этим — любование доморошенной «блатной музыкой». Характерный пример такого воровского жаргона:

Он парня знатного и смелого притом
Спровадил в гроб, — и где бывала слава
ныне?
Кто «стенку» вёл в бою отважнее, чем
Том?
Кто мог смелей бузить в обжорке или в
«малине»?
Колпачить «фрайеров»? Пускай шинки
вкругом, —
Кто «бимборы» срывал так ловко с
каждой «дыни».
Кто с черноглазую марухой Салли был
Галантеееи столь, шинюзеи, клёв и мил.

Чуть не в каждой строфе перевода — насилие над лексикой и грамматическим строем русской речи. Читатель на каждой странице видит, как «умом аттическим блистала сплошь она», «или другое что», как, например:

Наитончайшую так он честил чадру,
Какую видели на свадебном пиру

Читатель видит, как «дом тонул в скандале», он узнаёт с удивлением, что Дон-Жуан «болезнь нивесть какую сцапал» и «что шансы есть, пол-на-пол, больному в гроб сойти!» и т. п.

Так вместо многокрасочного языка Байрона получается в переводе клочковатость, неустоявшаяся, ничем не объединённая языковая смесь. В этом сказывается и всеядность переводчика и ошибочный критерий отбора: здесь и засорение языка обветшавшей символистской лексикой, и гурманское пристрастие к дешёвой экзотике, и блатные слова, и неуместные в данном контексте неологизмы.

В большинстве случаев языковая пестрота вызвана прихотью переводчика, но иногда на это толкает его рифма. Форма должна обогащать и заострять смысл, а не подчинять его своим капризам. В этом же переводе на каждом шагу — натяжки ради рифмы. За словом «контракт» следует концовка: «а это — факт!». «Муза в плаче» рифмуется с «по-свинячь», «свод драгоценных максим» вызывает рифму «такс им»; «сердца трепет!» — «крёпит».

На фоне этого виртуозничания особенно странно выглядят такие натянутые рифмы, как: «наславу» — «Лау» (вместо «Лоу»); «Саламанка» — «Санхо-Панка» и т. п.

увлечение внешней виртуозностью, экзотической, формалистическим штукаризмом и т. д.

Где же были, что же молчали критики? — вправе спросить читатель. Критика подавала свой голос ещё задолго до того, как возникли разбираемые переводы Г. Шенгели. Ещё в 1923 году Валерий Брюсов напечатал рецензию на шеститомное полное собрание поэм Э. Вержарна в переводе Г. Шенгели. Проницательный критик, Брюсов уже тогда совершенно точно определил несостоятельность переводческой манеры Шенгели. Однако Шенгели не видел Валерию Брюсову.

В 1940 году в рецензии А. Фёдорова на двухтомник Байрона, вслед за обстоятельным разбором, был высказан упрёк в том, что «перевод... фактически оказывается порою слишком точным именно в деталях», а эта «точность в деталях вредит стилю, вызывает впечатление громоздкости, запутывает фразу, а иногда... вызывает и некоторые противоречия смыслу целого. Возникает та шероховатость, которая именно для Байрона нехарактерна.. словам как бы «нехватает воздуха»... зарождается парадоксальное желание, чтобы переводчик был несколько «менее точен».

Но и к этому не прислушался Г. Шенгели. Правда, его могла дезориентировать такая оценка, какую мы находим в рецензии Э. Левонтина, напечатанной в № 3 журнала «Советская книга» за 1948 год. Эта рецензия состоит из оглушительных похвал, причём Э. Левонтин видит в переводе Г. Шенгели как раз те достоинства, которых в нём нет. Например, он хвалит переводчика за то, что он «раскрывает образ Суворова именно так, как он изображён в подлиннике», говоря при этом, что Байрон относился к Суворову «с острым интересом и уважением». Получается одно из двух — либо Байрон не относился к Суворову с уважением (что неверно), либо переводчик не относится с уважением к Байрону, искажая образ, данный поэтом.

В обоих случаях критик неправ в своих утверждениях.

Отметив как недостаток перевода только мелочи, Э. Левонтин упорно внушает и автору и читателю, что Г. Шенгели полностью стоит на позициях советской школы художественного перевода. И далее: «Создал ли Шенгели, в конечном итоге, наиболее близкий к подлиннику перевод? Мы можем ответить на этот вопрос положительно. Переводчик исследовал все компоненты подлинника: язык, острословие, фабулу, форму,— отдал себе отчёт в идейном назначении «Дон-Жуана» и передал это средствами богатого русского поэтического языка. Успех Г. Шенгели является успехом всей школы советского перевода».

Стоит ли такие «успехи» Г. Шенгели, как перевод «Дон-Жуана», приписывать «всей школе советского перевода»? Она, право же, в них неповинна и не может нести за них ответ.

Байрона много переводили и переводят в советское время. Можно ли сказать, что советские переводчики не справляются с трудностями перевода Байрона? Нет, этого сказать нельзя. Конечно, много времени было потрачено на не оправдавшие себя эксперименты формалистов и буквалистов и на поиски компромиссных решений. Таковы были переводы под редакцией М. Рязанова, незавершённый перевод «Дон-Жуана» М. Кузминых, переводы М. Рудакова, разбираемый нами перевод Г. Шенгели. Много времени ушло и на уяснение их несостоятельности.

Но совсем другой характер носят переводы С. Маршака, В. Левика, М. Богословской, О. Холмской и других советских переводчиков, которые подходят к переводу поэзии и прозы Байрона с верных позиций, с учётом завоеваний и богатейшего опыта, накопленного советской переводческой школой, на основе традиций русского реалистического перевода. Их работы показывают, что дело перевода поэзии Байрона находится на верном пути и может быть достойно осуществлено советскими переводчиками.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Турнов. Альманах воронежских писателей.— **А. Кондратович.** Завод и люди.— **Е. Герасимов.** Черты современников.— **Ю. Олеша.** Образ и содержание.— **С. Смирнов.** Богатыри.— **С. Мацинский.** Избранные произведения Павла Грабовского.— **В. Жданов.** Сборник статей о классиках.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Действительный член Академии медицинских наук СССР **О. Б. Лепешинская.** О продлении жизни.— **В. Асмус.** Труд Аристотеля в русском переводе.— **С. Артемьев.** Африка борется.— **А. Никифоров.** Энциклопедия бандитизма.— **Н. Болотников.** Арктика глазами художника.

Литература и искусство

Альманах воронежских писателей

В четырёх последних книгах альманаха «Литературный Воронеж» решительно преобладает проза. Кроме двух повестей, двух пьес и отрывка из романа, мы найдём здесь много очерков и рассказов. Любопытно, что рассказов не намного меньше, чем стихов. Явление редкое и отрадное!

В альманахе имеется специальный раздел «Стихи и рассказы для детей». Печатаются также критические статьи и рецензии.

Наиболее интересным из крупных произведений, напечатанных в альманахе, является повесть Ю. Гончарова «Любимая наша земля». Лучшее в повести — это изображение зарождающейся любви студентки Лены к лесоводу-опытнику Матвееву.

Удались автору и некоторые второстепенные персонажи, например, кучер Аким Фёдорович и семья Шляховых, в чьей жизни как бы запечатлён «путь труда, борьбы и побед, пройденный страной за тридцатилетие... подобно тому, как геологиче-

ская эпоха, преобразующая земной лик, запечатлевается в осколке горной породы».

Однако есть в повести и значительные недостатки. Сентиментально написана сцена, где Лена, случайно попавшая домой к Матвееву, играет «Осеннюю песню» Чайковского, которую очень любила его покойная жена, пианистка. В заключение, передав мысли Матвеева — «должно быть, никогда не заживёт эта рана», — автор рисует слишком обнажённо-символический пейзаж: «Дождь ещё шёл, но в разрывах облаков уже проглядывали крупные и яркие синие звёзды».

Неудачно показана борьба Матвеева, являющегося директором лесозащитной станции, с директором опытного лесничества Авиловым. Суть этой борьбы не раскрывается перед нами в живых картинах. О столкновении Матвеева и других новаторов с косным и инертным Авиловым и некоторыми его сотрудниками мы больше узнаём из разговоров. Последние нередко представляют собою, так сказать, ложные диалоги, в которых один из собеседников откровенно «вводит в курс дела» читателя. Так, например, старик Ершов делает совсем ещё не знакомой ему Лене целый доклад о неблагоприятном положении в

«Литературный Воронеж». Альманах Воронежского отделения Союза советских писателей. №№ 1, 2, 3 за 1951 г. Ответственный редактор В. Петров. № 1 за 1952 г. Ответственный редактор К. Локотков.

опытном лесничестве. Автор чувствует это и пытается оправдать словоохотливость героя: «Видно, здорово накопело у него на сердце, что он стал жаловаться Лене, постороннему человеку, и посвящать её в такие подробности, о которых ей, быть может, и не следовало бы знать».

Порой у автора нехватает изобразительных средств для того, чтобы обрисовать психологическое состояние героя, и он ограничивается одной и той же «дежурной» деталью.

Встречая Матвеева первый раз оживлённо разговаривающим с секретарём райкома, мы читаем: «Папироса у Матвеева погасла, он хлопал по карманам, ища спички... Хмураясь, Матвеев сосредоточенно сбивал с папиросы пепел». В разговоре с Авилковым, вспомнив о погибшем друге, он «смял пальцами окурок, положил его в пепельницу». Рассказывая Лене о гибели части саженцев, Матвеев опять-таки «бросил на землю смятый окурок, стряхнул с брюк пепел». Прочитав клеветническую статью Авилова, Матвеев «машинным движением достал из кармана помятую коробку папирос, но тут же, видно, забыв про них, не закурил и спрятал папиросы обратно». Узнав о находке бумаг своего погибшего друга, «он взял в рот папиросу, а потом вторично поднёс к ней горящую спичку, забыв, что уже прикурил».

Этот навязчивый приём проходит буквально через всю повесть, вплоть до последних страниц, где Матвеев, увидев вспыхнувшие огни электростанции, «достал папиросу, жадно закурил — верный признак того, что волновался».

Вспору задуматься, почему так однообразна характеристика психологического состояния героя, тем более, что сходный недостаток встречается и в других произведениях альманаха.

Думается, что это свидетельствует не столько о недостаточности взыскательной редакции (объяснение самое лёгкое и слишком часто встречающееся в рецензиях), сколько о том, что авторы довольно смутно представляют себе своего героя.

Ведь даже тогда, когда в произведении изображена не вся жизнь героя, а лишь какой-то период её, часто очень незначительный по времени (как, например, в рассказе), герой предстаёт перед читателем, имея за плечами известный жиз-

ненный опыт, во многом определивший особый, индивидуальный склад его натуры. В характере героя в значительной мере отражена его предшествующая биография. Это придаёт образу подлинную цельность, жизненность, достоверность.

К сожалению, во многих произведениях биография героя и его характер существуют изолированно друг от друга. Биография героя предъявляется читателю как анкета. Прочтя её, вы словно кладёте её в сейф. Когда она может пригодиться — автор назидательно укажет перстом на соответствующую графу, а чаще всего вы не чувствуете в ней ни малейшей надобности: в ней нет ничего, что бы, как камертон, отзывалось в вашей памяти на те или иные проявляющиеся в действии черты героя.

Так, быстро и раздробленно прошедшая перед читателем биография Степана Ермакова, героя одноимённой повести Н. Чанцева, — детство на Амуре... вступление в партию... схватка с оппозиционерами в 1927 году — не связана с дальнейшим повествованием о борьбе героя за внедрение новых методов работы на транспорте.

Так, в рассказе Н. Коноплина «Первая любовь» о комбайнере Колесникове и агрономе Гурьеве даётся сухая и, по сути, никчёмная биографическая справка, написанная, как и все справки, по определённой форме: «Несмотря на свои двадцать шесть лет, Колесников имел за плечами богатую жизнь»; «Она (героиня рассказа Галя. — А. Т.) знала, что Гурьев прожил замечательную жизнь», и т. п.

Единственно, что из пережитого героями ярко запечатлелось в их сердце и памяти, постоянно вспоминается ими и служит источником всевозможных ассоциаций, — это события Великой Отечественной войны, военный опыт.

Конечно, обращение недавних солдат и командиров к своему фронтовому опыту вполне закономерно. Но разве в жизни советских людей была только — хотя и большая и благородная — война? Разве не пережили они множество других событий, память о которых будет жить века? Разве, наконец, их сугубо личная, пусть скромная, жизнь никогда ничего не подсказывает им?

Пьеса Фёдора Волохова «Мы пойдём дальше» основана на привычном для дра-

матургии последних лет конфликте: между консервативным и упрямым директором совхоза Красовым и секретарём партийного бюро Державиным. Последнего все остальные действующие лица усиленно расхваливают. «Знаешь, у Игната Сергеевича глаза... как это... ласковые, добрые... Сразу угадываешь в нём человека простого, скромного,— говорит главный агроном Некрылов,— хотя и не без строгости, твёрдости. Люблю таких. Ему сразу веришь, веришь и завидуешь». «Лёша, скажи, ты мог бы меня всю жизнь к солнцу вести... к большому яркому солнцу... Игги трудно и далеко, далеко...»,— говорит молодой агроном Ольга механику Брагину и, услышав его недоуменные вопросы, заключает: «А Игнат Сергеевич мог бы... мог, да, да...».

Эта выпренняя тирада подошла бы надломленной и бессильно мечтающей интеллигентке начала 900-х годов, а не советской девушке! Вообще весь образ Ольги неясен. Сначала она явно тянется к Державину, а потом неожиданно отдаёт своё сердце Брагину. «Заметнее стал, вот я и вижу тебя лучше»,— «весело» объясняет она ему причины этой перемены. Однако, для того чтобы как следует разобраться в происшедшем, такого объяснения слишком мало.

Зато врач Забозлаев, тяготящийся работой «на периферии», выбалтывает о себе всю подноготную, оговариваясь, что «ещё не научился мысли прятать, облекать их, так сказать, в соответствующую обстоятельству оболочку». Увы, в том-то и беда, что в жизни Забозлаевы это отлично умеют! И этот образ был бы настоящим интересен, если бы Ф. Волохов сумел показать именно такого, реального Забозлаева и отделить его истинные мысли от защитной оболочки, да не заставлял бы его так стремительно «перекладываться» в конце пьесы.

Значительная часть рассказов, опубликованных в альманахе, живо вызывает в памяти слова товарища Маленкова: «Многогранная и кипучая жизнь советского общества в творчестве некоторых писателей и художников изображается вяло и скучно».

Этими своими качествами рассказы во многом обязаны той самой неотчётливости образов героев, о которой говорилось выше. Большинство рассказов лишено живых

красок жизни и производит впечатление кабинетного сочинительства.

Особенно надуманным выглядит рассказ Г. Воловика «Мыс Доброй Надежды». Узнав, что дочь не будет встречать Новый год дома, старый врач понял, что она уже взрослая. Тут же, выйдя на прогулку, он встретил давнюю знакомую — учительницу и предложил ей пройтись в парк, где они часто бывали в юности, к обрыву, некогда названному ими «мысом Доброй Надежды». И когда, подводя по дороге внешне скромные, но весьма значительные итоги своих трудов, они наконец добираются туда, то оказывается, что там стоят и мечтают о будущем, как мечтали когда-то они сами,— дочь врача и сын учительницы.

Лучше остальных рассказы — «Первая любовь» Н. Коноплина (хотя в повествование о сложных отношениях Гали Хмелько и Колесникова автор порой привносит ненужную рассудочность); «Первая запись» К. Локоткова, где довольно живо передана манера речи паренька, недавно вышедшего из ФЗО; «В овраге» Н. Алёхина, проникнутый хорошим юмором, но, к сожалению, снабжённый приторно-сладкой концовкой (это вообще беда талантливого рассказчика).

Хочется отметить историко-биографический очерк Б. Дальнего о А. Л. Дурове — одном из блестящих русских цирковых артистов. Остальные очерки написаны довольно стандартно, нередко плохим языком. Особенно это относится к очеркам И. Семина о Сталинграде. Или чего стоит, например, такая банальная фраза из очерка Дм. Матвеева «Галичья гора»: «Свежий горно-степной воздух, живописные окрестности, свойственные советским людям энтузиазм и любовь к делу — всё это наполняет бодростью человека, желающего внести свой вклад в строительство коммунистического общества».

В странном свете предстают отношения двух комбайнеров — мужа и жены — в очерке О. Кретовой «На комбайне». Вот как комментируются «ласковые» размышления мужа: «Девять лет они женаты, пятый год работают вместе, и Павел не помнит случая, чтобы Люба взяла обязательство и не выполнила...». Право, даже в коротком очерке можно бы позаботиться о том, чтобы герои не выглядели душевно урезанными.

менных поэтов обязан Маяковскому, критик не всегда точно характеризует этого поэта. Так, А. Абрамов пишет:

«Лирика его (Щипачёва. — А. Т.) конкретна; определённа, что несомненно коренится в определённости и ясности самих человеческих отношений в нашем советском обществе». Анализ здесь подменён общими словами.

«Самобытный поэтический голос Суркова проявляется буквально во всём, даже в эпитетах, даже в отдельных элементах лексики, — читаем мы далее. — Такие слова и отдельные словосочетания, как «голос правды моей», «смятённая совесть», «окопное лихо», «твой, по-волчьи поджарый, солдатский живот», конечно, могут встретиться в стихах любого поэта. Но в стихах Суркова эти слова особенно весомы». А, собственно, почему?

Но в целом, особенно учитывая сложность вопроса, которому посвящена статья, надо признать её успехом альманаха.

Перелистывая альманах, задумываешься: а ведь хорошо было бы, чтобы в каждом номере, в соответствии с лучшими традициями русских литературно-художественных и общественно-политических журналов, появлялись острые публицистические заметки, статьи на злободневные, умело выбранные международные, экономические, философские темы. Интерес читателей к альманаху во много раз повысился бы!

«Литературному Воронежу» необходимо значительно расширить авторский коллектив. Следует почаще предоставлять трибуну партийным и хозяйственным работникам, специалистам-практикам, которые врачаются в гуще жизни, дать им возможность поделиться с читателями возникающими у них мыслями. Напомним, что в своё время «Литературная газета» опубликовала статью секретаря Воронежского обкома партии, посвящённую стилю работы советского руководителя и подымавшую много интересных вопросов. Разве не могли бы подобные же статьи появляться и на страницах «Литературного Воронежа»?

Следует шире привлекать к участию в альманахе местных учёных, преподавателей вузов. Концентрация вокруг альманаха опытных и квалифицированных представителей разных профессий и отраслей научных знаний, их активное, заинтересованное участие в нём благотворным образом скажутся и на работе воронежских писателей. Они получат ценных советчиков по множеству вопросов, а также взыскательных критиков.

Решительное повышение литературного качества, жанровое и тематическое разнообразие — вот к чему надо стремиться редколлегии альманаха, чтобы достойным образом удовлетворить выросшие запросы своих читателей.

А. ТУРКОВ.

★

Завод и люди

... В парткоме турбостроительного завода висит картина «Митинг на заводе». Картина неважная, вызывает она не восхищение, а прямо противоположное чувство. «Меня злость берёт, когда я смотрю, — говорит один из героев нового романа В. Кетлинской инженер Алексей Полозов. — Кепок больше, чем людей... Это лень и неумение видеть, что коллектив состоит из личностей... Почему искусство не показывает нам этих людей? Не пятно на картине, не производственную единицу, а личность во всём её богатстве, во всей её сложности?.. А если есть ничтожества, так

и это нужно показать, да так показать, чтобы им самим противно стало!»

Устами Полозова писательница как бы прокламирует свой творческий принцип: нет, она не намерена показывать коллектив как некую безликую массу, сумму «человекоединиц», — это легко, и это не искусство. Цель и достоинство нашего искусства — в раскрытии духовного мира советского человека — сложного, богатого, многогранного.

Действие романа ограничено шестью месяцами жизни крупного турбостроительного завода. Мы знакомимся с героями, когда Родина ставит перед ними новую и очень трудную задачу — в кратчайший срок перейти от выпуска уникальных ма-

Вера Кетлинская. «Дни нашей жизни». Роман. Журнал «Знамя» №№ 7, 8, 9, 10 за 1952 г. Главный редактор В. Кожевников.

шин к серийному производству мощных турбин высокого и сверхвысокого давления,— и расстаться, когда заводской коллектив добивается решающего успеха.

Это не значит, однако, что перед нами ещё один так называемый «производственный роман», хотя писательница порой отдаёт большую и, пожалуй, излишнюю дань различного рода специальным, техническим проблемам. Технология дела не заслоняет для неё главного — психологии людей.

И это правильно. Приелись нам произведения, заполненные однобокой и тощей технологией производства, в которых герои не мыслятся вне дромфинплана, где за «рацпредложениями» не видишь души человека, занятого волнующим творчеством — совершенствованием и обновлением техники, где шум станков заглушает живые интонации людей. Не одним производством жив человек, и В. Кетлинская показывает своих героев не только у станка или за чертёжной доской, раскрывает их думы и надежды, связанные не только с трудовой деятельностью. Она ведёт нас на квартиры руководителей предприятия и простых рабочих, описывает их жизнь, быт.

Интересно, сложно и порой совсем по-другому, чем на производстве, складывается эта жизнь. В разных цехах завода работают Николай и Пётр Петрович Пакулины. Оба — стахановцы, люди, уважаемые в рабочей среде, но немногие знают, что Пётр Петрович и Николай — это отец и сын. В трудное время, когда Николай вместе с матерью и младшим братом был в эвакуации, ушёл отец от семьи. Николаю пришлось, недоучившись, подростком, встать к станку. Легче лёгкого обвинить во всём отца и поставить на нём крест, но разве перечеркнёшь добрые, светлые воспоминания о нём?..

Непутёвым, «озорником и сердцеедом» слывёт на заводе Аркадий Ступин. Нагло, грубо пристаёт он к крановщице Вале Зминой, надеясь на «лёгкую победу», но получает решительный отпор. Это обескураживает его, заставляет задуматься. Многие видят в «домоганиях» Ступина лишь очередное похождение, — всерьёз его никто никогда не принимал, — и не замечают, как постепенно выветриваются в нём дурные привычки и рождается настоящая, сильная и чистая любовь.

В этих реальных жизненных осложне-

ниях вырисовываются черты характера человека. Довольно обычны житейские ситуации, в которых оказываются герои, и в то же время это не упрощённые, условно-литературные, а во многом характерные ситуации. И то, что герои ведут себя в этих ситуациях естественно, повинувшись логике своих чувств, сообразно строю своих мыслей, делает их убедительными, реальными персонажами. Да, они существуют, — верим мы и потому не забываем первой случайной встречи Петра Петровича Пакулина с Николаем, одинаково тягостной для того и другого, с волнением читаем о том, как Пакулин приходит в свою старую семью — не виниться и каяться, а по зову отцовского сердца, потому, что не может он не прийти к своим сыновьям. И, хотя писательница не ставит точек над «i», не морализирует, мы всерьёз задумываемся над большой моральной проблемой. То же самое со Ступиным: персонаж это второстепенный, сюжетная линия, связанная с ним, далеко не главная, но следишь за ней внимательно и заинтересованно. Захватившая Ступина любовь выпрямляет линию его поведения, и потому читателя не удивляет рассказ о том, как двадцатичетырёхлетний Аркадий Ступин сидит по ночам над учебниками шестого класса: в школу взрослых идти стыдится, а по-старому жить он уже не может.

Борьба нового со старым, очищение человека от дурных привычек, понятий проявляется в многообразии человеческих индивидуальностей. Наивно было бы представлять эту борьбу схематично. Новое сложно переплетено со старым и теснит старое по всем направлениям, — выживание старого новым подчас проходит неосознанно даже для самих людей, захваченных этой внутренней борьбой. Вряд ли Аркадий Ступин до конца понимал, что с ним происходит. Он полюбил и, полюбив хорошего, лучшего, чем он сам, человека, уже не мог оставить прежним Ступиным — лодырем и гулякой. Но, конечно, не сразу стал другим.

«Обычное представление, — указывает В. И. Ленин, — схватывает различие и противоречие, но не переход от одного к другому, а это самое важное»¹. Пи-

¹ В. И. Ленин. «Философские тетради». Госполитиздат, 1947, стр. 117.

сатель не может довольствоваться «обычным представлением». Его обязанность — проникнуть в жизненные процессы и воспроизвести их в реальных образах. В ряде случаев В. Кетлинской это удаётся. Помимо Пакулиных и Аркадия Ступина, читатель запомнит старого мастера Ефима Кузьмича, который упорно спорит сдвигающейся старостью, иногда теряется, не понимает новых условий, но попрежнему старается твёрдо итти в ногу с лучшими людьми коллектива; запомнит и совсем молоденького паренька Кешку, с его мальчишеским озорством и почти полным непониманием того, что требуется от него на производстве. Достижением писательницы является образ Воловика — талантливого самородка-изобретателя, не растерявшегося перед внезапно пришедшей славой, занятого настойчивыми поисками новых путей в технике. Правда, есть в этом образе налёт литературной традиционности: Воловик излишне угловат, рассеян, его творческое горение иногда выглядит как одержимость.

Но все эти герои, за исключением Воловика, — персонажи второстепенные. То, что они удались автору, — хорошо. Но читателя в первую очередь интересуют главные герои, на них он чаще всего останавливает свой взор.

Один из главных героев романа — инженер Алексей Полозов. По замыслу В. Кетлинской, он должен олицетворять собой нашу передовую техническую интеллигенцию — с её широтой интересов, острым чувством нового и постоянной готовностью поддержать это новое. Полозов — заместитель начальника турбинного цеха, ему противостоит начальник цеха Любимов — человек бескрылых мыслей и робких поступков, больше всего радеющий о спокойствии, боящийся риска, без которого не может быть подлинного творчества. Полозов несколько не сомневается в том, что задание досрочно выпустить турбины может и должно быть выполнено. Любимов полон сомнений: надо ломать график, не повлечёт ли это за собой дезорганизацию в работе, да и реален ли вообще досрочный выпуск машин? Полозов — за изыскание внутренних резервов производства, за всемерное развитие инициативы всех рабочих. Любимов считает это пустой затеей: лучше бы расширить цех, приобрести новые станки. Полозов — за планирование

повышенных обязательств. Любимова пугает самая мысль о повышенных обязательствах.

Казалось бы, налицо все условия для реализации конфликта — пусть уже знакомого, но конфликта, в котором раскроются лучшие качества Полозова, станет видна никчёмность перестраховщика Любимова. К сожалению, писательница не использовала этих возможностей.

Конфликт, читаем мы в словаре, есть столкновение между спорящими, несогласными сторонами. Несогласные стороны в романе есть, но они очень редко спорят и почти совсем не сталкиваются. В самом деле, каждый раз идеи Полозова быстро получают столь единодушную поддержку и руководителей и рядовых рабочих, что Любимову остаётся только смиренно подчиниться воле большинства.

Чувствуя, очевидно, что узел конфликта завязан слабо, писательница в решающий момент бросает Любимову «подкрепление» в лице самого директора завода Немирова. Неожиданно для коммунистов-производственников директор выступает на партийном собрании против планирования повышенных социалистических обязательств, его речь полна сомнений в возможности досрочного выпуска машин.

Могло ли случиться такое с руководителем предприятия? Почему ж, конечно, могло: и умные люди ошибаются. Но ведь такие ошибки тоже не случайны, они — не каприз и не прихоть. Между тем в романе столько рассыпано комплиментов директору, столько раз он вызывает у самых различных персонажей уважение и даже восхищение, что выступление его на собрании — путаное, противоречивое — никак не вяжется с тем образом, который уже создала писательница. Читатель скорее думает о том, что автор создал на пути новаторов искусственный барьер, — создал и, наверное, сам же его скоро уберёт.

Так это и оказывается. Директор довольно быстро прозревает, сознаёт свою ошибку, разгадывает «зловредность» Любимова и становится, ко всеобщему удовольствию, прежним Немировым. Конфликт смазан, его нет, есть только видимость конфликта.

Что же получается? Много, часто и хорошо говорит Полозов о заводских делах, о творчестве, о борьбе за совершенствование производственных процессов, но самого его мы не видим в живом деле, в творче-

стве, в борьбе. Это герой больше резонёрствующий, чем действующий. При этом он наделён столькими добродетелями, всегда так прав и безошибочен, что образ его невольно остаётся в романе статичным. Ему и развиваться-то некуда: он уже всего достиг.

Лишённым энергии, вялым оказался и образ другого инженера — Ани Карцевой. Она поступает на завод на должность заведующего техническим кабинетом, призванного организовать учёбу среди рабочих цеха. Карцева долго мучится: живёе ли это дело, не лучше ли работать непосредственно в цехе, на участке? И когда её сомнения рассеиваются, когда читатель ждёт, что Карцева наконец-то приступит к делу, к которому она внутренне привязалась, — следует сухая, маловыразительная отписка: «Никто не назначал здесь (в техническом кабинете. — А. К.) совещаний, никто не требовал, чтобы десятки разных людей заходили сюда и оставались тут по долгу. Это вышло само собой. Технологи, начальники участков и мастера забегали посмотреть новые рационализаторские предложения, чувствуя, что иначе отстаешь, попадешь в неловкое положение и перед своими рабочими и перед руководителями!».

Такого рода мгновёнными «переключениями» писательница пользуется слишком часто. Интересно задуман в романе образ молодого партийного работника, секретаря цехового бюро Воробьёва. Ждешь, что писательница расскажет о первых шагах секретаря, о его срывах и успехах. Но эти успехи приходят к нему сразу же и опять-таки сами собой. «Воробьёв видел, что активность рядовых коммунистов быстро растёт. Как всегда, когда меняется руководство, к новому секретарю ходило много посетителей... Не было случая, чтоб человек, получив такое поручение, не выполнил его... А потом, выполнив поручение, коммунист уже не хотел оставаться в стороне и сам просил дать ему новое задание».

Как всё просто, гладко! Здесь нет даже и видимости трудностей. Между тем именно на трудностях не только проверяется, но и обогащается, совершенствуется характер человека.

Пресловутая «теория бесконфликтности», замазывавшая трудности и противоречия в

нашей жизни, пагубно повлияла не только на содержание, но и на организацию жизненного материала, на композицию и даже стиль целого ряда книг. Если нет убедительного, жизненно важного конфликта, то композиционная аморфность неизбежна. Конфликт — организующее начало в искусстве. Нет конфликта — и налицо или случайная систематизация материала, или просто авторский произвол, нанизывание эпизодов и эпизодиков — нужных и обязательных вперемежку с ненужными и совсем не обязательными.

Не всё ладно в этом отношении у В. Кетлинской. Есть в её книге вялые, необязательные сцены, случайно забредшие, «проходные» персонажи. Стремясь, например, показать высокий культурный уровень Полозова, писательница ведёт его в Русский музей, затем в консерваторию, заставляет его произносить пространственные (и не такие уж свежие и глубокие!) тирады об искусстве — о живописи, музыке. При этом она явно теряет чувство меры: именно в этот день, в эти часы в Русском музее оказываются и Аня Карцева и Николай Пакулин с матерью. «— Да что это здесь — филиал завода?» — удивлённо спрашивает сама Карцева. Явно не найдёе писательницей конец романа. В заключительной главе она разом вывозит на стадион почти всех своих героев. На футбольном матче мы встречаем и Немирова, и директора смежного предприятия Саганского, и парторга завода Диденко, и парторга цеха Воробьёва, и Полозова с Аней Карцевой, и Пакулина с Ксаной, и ёще многих других героев. Здесь, во время игры футболистов, герои романа обмениваются репликами о том, что сделано, и о том, что должно быть сделано. Композиционно глава сумбурна и представляется просто лишней в романе.

Нельзя сказать, что роман перенаселён персонажами — для большого романа их не так уж много; но то, что перенаселены ими отдельные главы, — это несомненно. Иногда это нужно и естественно (там, где рассказывается о совещаниях, собраниях), но сплошь и рядом писательница объединяет своих героев без всякого повода, фамилии мелькают одна за другой; скажет человек одну-две реплики и тотчас же исчезает, а порой и совсем ничего не говорит. Эта толчея особенно затрудняет читателя в начале повествования, когда

только-только познакомишься с героями книги. Не будем гадать, сознательно пошла на это В. Кетлинская или так уж у неё получилось, но на первых шестнадцати журнальных страницах она представила читателю двадцать шесть персонажей. Знакомство происходит таким образом:

«Начальник планового отдела Каширин, пожилой неповоротливый мужчина в мешковатом костюме, сел за отдельный столик и разложил перед собою папки и сводки... Главный инженер Алексеев грузно опустился в кресло рядом с Немировым и беззвучно, но выразительно спросил: ну, как?.. Увидав молодого инженера Полозова, который замешал уехавшего в Москву начальника турбинного цеха, Немиров вполголоса спросил главного инженера:

— Любимов ещё не вернулся?»

Дальше характеристики становятся уж совсем скучными: «Коршунов?.. Ну, конечно, Коршунов—великолепный мастер, и до войны выполнявший самые сложные работы. А вот очень знакомое женское лицо. Стахановка-многостаночница Смолкина...»— и т. д., в том же духе. Удивительно ли, что, выбравшись из этой сутолоки, читатель вынужден затем мучительно вспоминать: «Катя Смолкина... кто это такая?». Шапочное знакомство не дало ему и не могло дать какого-либо стойкого представления о человеке.

Наряду с такой непохвальной лапидарностью в романе немало излишеств, внимания к пустым мелочам. Можно, конечно, спорить, нужен или не нужен в романе рассказ о том, как Немиров устроил у себя праздничный вечер, пригласив на него зятых людей завода (нам, например, этот рассказ, написанный к тому же умиленно-слащаво, кажется лишним в романе), но уж при всех условиях в него не следовало включать такие пародийные куски, как, например, следующий:

«— Гриша, — раздался за приоткрытой дверью весёлый шёпот Клары, — пойдика, застегни мне пуговицы на спине.

— Давайте я, — вызвалась Груня, обра-

довавшая простотой незнакомой директорской жены, и, не дожидаясь ответа, пошла в спальню. За дверью сразу зазвучали оживлённые голоса.

Припоминая, какое же платье застёгивается у Клары на спине, Григорий Петрович заговорил-таки о производственных делах...»

Вот уж воистину — «единство» личного с общественным!

Кстати, о производственных делах герои В. Кетлинской говорят слишком много, часто повторяя друг друга, варьируя одну и ту же мысль. В романе немало растянутых диалогов, смысл которых уместнее было бы ясно и экономно выразить авторской речью. При подготовке романа к печати писательнице следовало бы помнить прекрасный завет Л. Н. Толстого: «Перечитывая и поправляя сочинение, не думать о том, что нужно прибавить (как бы хороши ни были приходящие мысли), если только не видишь неясности или недосказанности главной мысли, а думать о том, как бы выкинуть из него как можно больше, не нарушая мысли сочинения (как бы ни были хороши эти лишние места)».

Есть в романе и стилистические погрешности. Вряд ли о нашем Дальнем Востоке, территория которого почти в шесть раз больше территории Франции, можно сказать, что он — «только небольшая частица страны». Весьма неточен образ: «вдруг над белой гладью широкой реки возникли дуга плотины и светящиеся огромные окна электростанции...». Дуга предполагает под собой пустое пространство. Сомнительна уместность междометия «брр!» в таком контексте: «— Коммунизм — это ж будет горячее, страстное время, а не этакий скучный рай без волнений, без страсти достижения... Брр!..».

Хочется верить, что сама писательница не считает журнальный вариант романа окончательным и продолжит работу над ним.

А. КОНДРАТОВИЧ.

Черты современников

Новую книгу Бориса Полевого «Современники» нельзя не сопоставить с предыдущей книгой писателя «Мы — советские люди».

Обе эти книги родились из одного источника, связаны общим замыслом и проникнуты одной мыслью — мыслью о величии простого советского человека, современника Сталина.

В предисловии к книге «Мы — советские люди» Борис Полевой писал о своих героях: «Это не выдуманные герои. Это солдаты, офицеры, рабочие, крестьяне, интеллигенты. Это вооружённые советские люди, защищавшие свою Родину».

Рассказывая, как создавалась новая книга, Борис Полевой пишет во вступлении:

«В этой книге собраны рассказы о твоей жизни, твой труд, твои подвиги, простые и великие в своей повседневности, наиболее, как мне кажется, отразили наш сегодняшний день. Я рассказал о них, ничего не прикрашивая и не утаивая. Герои большинства рассказов выведены под своими фамилиями...»

Новая книга писателя является как бы продолжением его книги «Мы — советские люди», как бы вторым томом единого труда, повествующего о судьбах рядовых советских людей в дни войны и в дни мира.

Герои большинства очерков, собранных в «Современниках» (именно очерков, а не рассказов, как почему-то значится на титульном листе), — это участники строительства Волго-Донского канала и Сталинградской гидроэлектростанции: экскаваторщики, скреперисты, водолазы, механики землесосных снарядов, тоннельщики, электросварщики, верхолазы, водители гигантов-самосвалов, прорабы, начальники строительных участков и районов — люди, в судьбе которых мы находим отражение великих деяний и свершений советского народа за последние годы.

Многие из них, как Дмитрий Алексеевич Слепуха, бывший командир-танкист, ныне командир прославленного экипажа экскаватора «Уралец»; как Анатолий Павлович Усков, бывший артиллерист, командир тяжёлой гаубицы, ныне командир знаменитого первого шагающего — «ЭШ-14-65»; как

Лев Павлович Ермолин, бывший партизанский командир, ныне командир землеройных гигантов, — многие из них в годы Великой Отечественной войны отважно прошли трудный солдатский путь.

Для других — таких, как бывший метростроитель, топельщик Павел Михайлович Сергеев, как знатный строитель-монтажник Павел Тимофеевич Недайка, — участие в строительстве Волго-Дона было наградой за долгий трудовой путь, за неустанное совершенствование своего мастерства.

Для третьих, самых молодых, — таких, как комсомолец верхолаз Пётр Синицын, комсомолец скреперист, сын погибшего солдата Виктор Мохов, — это было просто счастливым осуществлением горячей юношеской мечты, которая неудержимо влекла их на передний край строительства коммунизма, как в годы войны она влекла тысячи таких же юношей на передний край фронта.

И хотя писатель весьма скупое даёт обстановку действия своих героев, хотя он лаконичен в описаниях механизмов стройки, не щедр и на пейзаж, хотя он часто, проследившая, как складывалась судьба волгодонцев, уводит читателя к трудовому и военному прошлому своих героев, — несмотря на всё это, из очерка в очерк всё зримее вырисовывается грандиозная панорама строительства, изменившего лицо волго-донских степей. Черты этого строительства определяются чертами его создателей.

Это выгодно отличает собранные в книге очерки Бориса Полевого от многих других газетных и журнальных очерков о Волго-Доне, авторы которых большую долю своего восторга отдали машинам-гигантам, нежели людям, создавшим эти гиганты, диктующим им свою волю и управляющим ими.

Во всей своей корреспонденческой и писательской работе Борис Полевой прежде всего ищет в людях типическое, то, что наиболее ярко, полно, заострённо выражается в характерах наших современников. И он умеет увидеть и показать в советских людях эти подлинно типические, воспитываемые партией черты: горячую любовь к своей профессии, своему делу, к мастерству, к новой технике — в сочета-

нии с широким государственным, партийным кругозором; стремление и умение определять линию своей жизни общенародными интересами; постоянную глубокую внутреннюю тревогу, что отдаёшь народу меньше, чем можешь, чем должен отдать; желание всегда быть на «главном направлении», там, где партия сосредоточивает силы народа для решающей борьбы за осуществление планов великого зодчего коммунизма; понимание, что, где бы ты ни был, что бы ты ни делал, ты всегда — боец ударной бригады революционного движения, боец авангарда мировой армии трудящихся, борющихся за мир и светлое будущее всех народов.

Хорошо показаны эти черты, свойственные лучшим советским людям, в очерке «Сын Сталинграда» — об инженерере Ускове, которому на своём шагающем гиганте довелось копать Волго-Донской канал вблизи тех мест, где он со своей гаубицей отражал атаки танков Манштейна, где он был ранен и, оставшись у орудия один, продолжал сражаться.

Эти же черты мы находим и в очерке «Вклад». Молодому монтажнику-верхолазу Синицыну казалось, что, ставя изо дня в день мачты, протягивая провода, он делает на строительстве неизмеримо меньше, чем другие люди, работающие на гигантских машинах. И только тогда он почувствовал, что внёс свой вклад в стройку, когда, вызвавшись добровольцем на опасное дело, качаясь в более чем ста метрах над уровнем Волги, он не поддался тягостному ощущению бездны, не повернул назад, а, преодолев страх, мобилизовав все свои силы, двинулся вперёд по раскачивающимся над водой проводам, наложил бандаж на место обрыва; он сознавал, что в его руках государственное дело, — если оно его не выполнит, все эти восхищающие людей машины-гиганты будут стоять без электроэнергии мёртвыми.

То же чувство ответственности за ход работ на строительстве заставляет молодых водолазов Веселовского, Назаренко, Лесина — героев очерка «Эстафета» — вызваться на опасную и трудную работу: выкладку под водой, при сверхбыстром течении, «постелей» для ряжей.

Во вступительном очерке Борис Полевой рассказывает об одной греческой женщине, о страстном борце за мир, вдове, поте-

рвавший сыновей-партизан. По свидетельству этой женщины, для тех, кто борется за освобождение своей родины, советские люди «светят, как звёзды».

«— По судьбам этих людей мы стараемся направлять свой путь, как в древности по звёздам водили корабли», — говорит она.

Именно о таких людях, которые «светят, как звёзды», и рассказывает в своей новой книге Борис Полевой.

Греческая женщина сказала советскому писателю при встрече, что ей бы очень хотелось познакомиться с «волшебником советской индустрии — токарем Павлом Быковым».

И вот очерк о Быкове. Мы видим знаменитого стахановца в гостях у венгерских рабочих. Писатель хорошо показал те драгоценные черты советского человека, которые изумляют иностранцев, благодаря которым он, советский человек, давно уже стал для многих миллионов трудящихся зарубежных стран не только другом, но и учителем.

И, однако, при всём своём достоинстве этот, один из лучших в книге очерк не может полностью удовлетворить нашего читателя. Написан он умелой рукой, сильно; автор даёт в нём яркое представление о роли советского стахановца среди зарубежных друзей. Но представление о самом Быкове у читателя остаётся довольно общим. На место Быкова можно поставить другого стахановца — и от этого мало что изменится. Мы видим в нём черты советского человека, но не видим живого образа нашего современника.

Многие очерки сопровождаются в книге рисунками художника Н. Жукова. Эти талантливые рисунки-портреты привлекают к себе внимание исключительным разнообразием показанных в них характеров. Всё в них — поворот головы, жест, прищур глаз, чуть заметная улыбка, линия губ, складка лица — выражает неповторимое в человеческом характере. Когда смотришь эти рисунки один за другим, ясно видишь в изображённых людях присущую им большую душевную силу и красоту. Это волевые, твёрдо шагающие в жизни люди, люди творческого склада, озарённые светом большой идеи, люди, способные на подвиг. И вместе с тем сколько в каждом из

них своего, индивидуального — не только внешне, но и внутренне!

Почему же в очерках Бориса Полевого эти же самые люди если и не совсем похожи один на другого, то в большинстве случаев очень мало в чём различны внутренне? Может быть, в небольшом очерке невозможно дать характер, образ человека, и поэтому приходится ограничиваться только отдельными чертами его?

Нет, сам же Борис Полевой в некоторых очерках, вошедших в его новую книгу, опровергает это.

Вот водитель двадцатипятилетнего самосвала — Юрий Пронин, который по ночам всё пишет и пишет, тщательно выводя буквы в толстой тетради. Это его дневник. Как ни был труден рабочий день, как бы поздно ни вернулся шофёр домой, он обязательно раскрывает свою тетрадь, чтобы записать в ней всё, что он увидел сегодня на Сталинградгидрострое, — ведь вокруг так много нового, интересного, поучительного.

Вот молоденькая москвичка Валя, по прозвищу Зайчик, в залепленных снегом очках, шагающая в буран по степной дорожке, одетая, как мальчик, — в ушанке, в ватнике, в стёганных шароварах. На плече наперевес висят у неё два тяжёлых тучка с книгами. Она работает библиотечаршей, она плещит к ожидающим её читателям. Валя близорука, и её оставшаяся в Москве старенькая мама боится, что трудно приходится её дочке на стройке коммунизма. А Валю возмущает, когда её кто-нибудь спрашивает, почему она пошла пешком, не попросила машину: «— Подумаешь, расстояние — семь километров! Что я, кисейная барышня.. Я такой же работник, как и все...». Валю беспокоит совсем другое: на стройке коммунизма появился какой-то странный инженер: месяц уже, как приехал, и ещё ни одной книжки у неё не взял.

А вот ещё более юный энтузиаст, ставший участником великой стройки «в нарушение всех правил», — Костя Ермоленко. Он прибыл издалека, на время школьных каникул, после окончания шестого класса, пробиравшись где «зайцем» на пароходе, где

пешком, где на попутных машинах. Его хотели отправить обратно, предлагали даже место на самолёте, но он, добившись встречи с самым большим на стройке начальником, поразил его своим упорством, привёл неотразимый довод: «Вы студентов на практику принимаете? Вот и меня возьмите практикантом, на время каникул». Так Костя стал курьером, а вскоре выдвинулся в порученцы при начальнике и оказался в этой роли незаменимым человеком. Щупленький, в ватнике, который непомерно велик для мальчика и сидит на нём, как водолазная рубаха, Костя Ермоленко сопровождает приезжающих на стройку гостей, даёт им пояснения по отдельным объектам и, отвечая на их вопросы, иногда достаёт из кармана замурзанную записную книжку, чтобы уточнить по ней названия и цифры. Ни один вопрос не застаёт его врасплох.

Досадно, что таких образов в книге мало, что мы не можем представить себе так же живо всех замечательных людей, с которыми знакомит нас в своих очерках Борис Полевой.

Писатели-очеркисты часто ссылаются на особые трудности своей работы, своего «документального» жанра. Для того чтобы создать живой образ человека, надо, мол, передать его мысли, чувства, а как их передашь, если этот человек — не выдуманный герой, если он может прислать опровержение: «я этого вовсе не думал, я этого вовсе не чувствовал».

Борис Полевой во вступительном очерке тоже ссылается на эту трудность. Он пишет: «...трудно писателю, как бы он ни старался и как бы тщательно он ни изучал жизнь, до конца понять и передать мечты и мысли живых персонажей своей книги».

Да, конечно, трудно, но кто бы ни был герой произведения — вымышленное лицо или действительное, — если это герой художественного произведения, мы хотим видеть его во всей плоти и крови жизни. Тогда мы сможем представить себе его мысли, чувства, мечты, даже те, о которых в книге ничего не сказано.

Е. ГЕРАСИМОВ.

Образ и содержание

Образно видит Сергей Орлов мир! Смотрите, во что превращается под его взглядом такое прозаическое занятие, как починка фонаря: оказывается, бакенщик вставляет «в оправы медные кусочки алые зари». Сразу становится просторно от этого образа и светло — как будто мы и в самом деле на берегу реки.

Голубь, запущенный мальчиком, взлетает над домом. Сколько раз уже описывались крыши! Но вот мы читаем у Сергея Орлова:

И глядят прохожие, не дышат,
Позабыв на миг свои дела,
На зелёную, как лето, крышу...

О медленно гаснущих, как это бывает в зрительном зале, люстрах Сергей Орлов говорит, что они «идут на убыль», о гармонике — что она начинает свою песню, «негромко ахнув», о лунной дорожке на реке — что она «цепляется за крыло руля», о лежащих на песке тенях пушек — что они «несгигаемые»...

Как по-новому написал Орлов о лунной ночи! А ведь тут он соревнуется с большими поэтами. С Маяковским! Кстати, если уж вспомнили, что и Маяковский описывал лунную ночь, то приведём это описание.

Поэт стоит на Красной площади, и поэтому луна

идёт
оттуда откуда-то...
оттуда,
где
Совнарком и ЦИК,
Кремля
кусок
от ночи откутав,
переползает
через зубцы.

Сколько чувства истории было у Маяковского и сколько таилось в нём возможностей её драматизации, если, глядя на освещённые луной древние стены, он сказал, что луна именно переползает через их зубцы.

Сергей Орлов. «Радуга в степи». Редактор М. Дудин. Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство, 1952.

Дальше:

Вползает
на гладкий
валун,
на секунду
склоняет
голову,
и вновь
голова-лунь
уносится
с камня
гололого.

Как было на самом деле, мы, к сожалению, уже не узнаем — тайна принадлежит времени, — но легко представить себе, что тень Маяковского и его спутников могла просто упасть на камень и закрыть его от лунного света. А у поэта родился образ: лунный свет унёсся... — образ удивительной лёгкости и красоты!

Заканчивается описание тем, что Красная площадь — со всей той внезапностью, которой обычно сопровождается этот момент, — на глазах у Маяковского вся заливается лунным светом. Поэт видит Кремлёвскую стену, мысль его устремляется к могилам, которые в сердце стены и у её подножия, — и поэта охватывает такое мощное ощущение величия истории его Родины, что лунный свет кажется ему пламенем...

Вот как описал Маяковский лунную ночь! Тут, как и во всём, что выходило из-под его пера, яркие образы связаны с глубоким содержанием. Мы и привели эту цитату, чтобы ещё раз напомнить молодым поэтам о необходимости этой связи, без которой, как бы ни был ярок образ, он лишён своей художественности, он перестаёт быть тем, чем по существу и являясь образ, — целым светящимся миром!

Приятно отметить, что Сергей Орлов, судя по «Радуге в степи», представляет собой поэта, как раз стремящегося применить свой образный дар к серьёзной теме. В этой книге, посвящённой в основном трудам и дням строителей Волго-Донского канала, есть ряд вещей, в которых автору удалось слить и образы и содержание в одно значительное целое. Укажем, например, на стихотворение «Памятник танкистам в Калаче», в котором рассказывается о танке, поставленном, как говорит поэт.

«на каменном холме» в память о погибших под Калачом танкистах, — поставленным в том месте, где некогда механик зачерпнул воды из Дона — «у России целой на виду!». Этот танк так много говорит сердцу поэта, что кажется ему даже одушевлённым — поэт представляет себе, что танк видит. Видит великое строительство!

Видит танк порталных кранов стрелы,
Башни шлюзов, насыпи плотин,
Жизнь людей, не знающих предела,
Битву суховеев и машин.

Он стоит, по собственному праву,
В центре дел над Доном, молчалив,
В дальний год навеки для державы
С Волгой тихий Дон соединив.

К такого же рода удачам относятся и стихотворения «Начальник заставы», «В кино», «В этот день», «Площадь Революции», «Старый буксир» и ещё некоторые. «Старый буксир» стоит того, чтобы на нём остановиться.

Поэт смотрит на старый буксир, который стоит в затоне. Он совсем уже вышел из строя, этот «пресноводный житель длинных рек».

Мальчишки удят с борта пескарей,
В пустынном трюме бродят по железу.
Он молча спит, ни широтой морей,
Ни далью океанскую не грезя.

Лишь тонким стоном отвечает сталь,
Когда гудят суда на повороте...

Какую мысль, какое чувство вызывает у советского поэта вид пришедшего в негодность судна? Рассуждение о «бренности» мира? Нет, ему приходит в голову, что буксир мог бы ещё пригодиться, как материал, как металл.

Стоит буксир, как бы сама печаль,
Сама тоска железа по работе.

Лучшее стихотворение в книге, на наш взгляд, — «Лесовод».

Поэт изображает старика-лесовода в разгаре забот о взращённых им молодых дубках, которые не достают ему ещё и до колена.

Над каждым он склонялся со стараньем,
Как будто бы он пламенем раздувал
Листья негромкой собственным

дыханьем...

Лес хоть ещё и молод, но уже вырос настолько, что в нём «Пичуги отдыхают от жары», и лесовод любит их им.

Затем автор представляет себе, как пройдёт сто лет и как на той же самой поляне под кронами уже гигантских дубов о лесоводе вспомнят потомки. По мысли автора, он предстанет перед ними в той же неизменной гимнастёрке, в которой автор видит его и сейчас, с теми же грубыми, заскорузлыми ладонями и, что самое главное, между фигурой лесовода и его дубами останется то же, не изменившееся соотношение в росте:

И точно так же будут до колена
Тогда его столетние дубы.

Очень хорошее стихотворение! В нём так же светло, как и в молодом лесу, о котором оно рассказывает. Листва названа негромкой — и верно, в ней ещё не задерживается ветер! Дальше поэт хочет показать, с какой нежностью лесовод относится к ещё не окрепшим деревцам, и находит такую метафору: листву раздувают, как пламя, чтобы она не погасла. Или ещё: не пичужки отдыхают в тени молодых дубков, а именно — пичуги, и это усиление как раз говорит о нежности, с которой лесовод относится и к птицам. Главная же ценность этого стихотворения именно в мысли, заключённой в нём. Слава тех, кто строит ныне коммунизм, — бессмертна.

На положительной ноте и хотелось бы окончить рецензию. В самом деле, книга безусловно талантливая — стоит ли выискивать недостатки? Если бы недостатки были действительно такими, что без особых поисков их и нельзя было бы заметить, то что ж — можно было бы закончить и похвалой. К сожалению, в книге есть серьёзный недостаток: поэт относится к себе не слишком строго.

Как можно было, например, допустить, чтобы в таком ответственном стихотворении, как «Лесовод», два раза повторилась одна и та же пара рифм и притом слабых — «неизменный» и «колена»? Что же, это умышленно? Вряд ли. Слабые рифмы автор допускает сплошь и рядом. Можно рифмовать и скромно, но сразу видно, когда рифма просто не удалась. «Невнятно — непонятно», «крестьяне — горожане»... Срифмовал же он в другом месте тех же

«горожан» с «виражами»! Только внезапным ослаблением строгости к себе можно объяснить неряшливость в рифмовке у поэта.

Или как мог поэт, понимающий, что такое образ, выступить с такой непоэтической строфой:

Вот уже семафор ладонью
Приказал паровозу: трогай!
И на землю опять обронен
Гром, прикинувшийся дорогой.

Простим автору, что семафор у него приказывает ладонью (против того, что доска семафора похожа на вздёргивающуюся ладонь, возразить нельзя,—мы возражаем против того, что можно приказывать ладонью. Если уж и можно приказывать ладонью, то во всяком случае — остановиться, а не, как у автора, — трогать), — ладно, помиримся с этим, но что за «гром, прикинувшийся дорогой»? Только после повторных чтений начинаешь понимать, что это стук колёс.

В стихотворении «У репродуктора» автор, упоминая о сходстве очертаний шлюза с рядами «катуш», о самих «катушах» говорит так:

Тех, что когда-то бушевали,
С ума сводя
Войска, что страны потрясали:
С войной придя.

Ничего не понятно! Здесь явная неряшливость в синтаксисе.

Есть также и случаи безвкусицы.

Многовёрстной плотины желтеет вал,
Клювы кранов пронесятся, воздух чертя...
Я таким марсианский пейзаж представлял,
В детстве книги фантастов прочтя.

Вот уж действительно — сравнить пейзаж одной из наших великих строек, цель которых сделать человечество счастливым, с марсианским пейзажем! Мы только что говорили о связи между образом и содержанием. Сергей Орлов забывает об этой связи, когда, видя перед собой работу крана на стройке коммунизма, сразу же не отмечает чисто внешнего, если можно так выразиться, механистического сходства крана с клювом. Нет, кран — это не клюв, кран — это, скорее, рука гиганта.

Можно привести ещё многие примеры срывов, происходящих оттого, что Сергей Орлов не проявляет, повторяем, достаточной к себе строгости.

Мастерство должно быть безукоризненным. Мы для того и ввели в рецензию образ Маяковского, чтобы молодой поэт Сергей Орлов всегда чувствовал себя под взглядом строгого судьи.

Ю. ОЛЕША.

★

Богатыри

Молодой писатель Владимир Дудинцев назвал свою первую книгу, как это часто делают, по заголовку одного из содержащихся в ней рассказов. И хотя рассказ этот не самый лучший, само слово «богатыри» оказалось очень к месту — герои большинства рассказов Дудинцева с полным правом могут быть названы так.

Это старое звучное русское слово в наши дни уже не сводится к понятию одной лишь физической силы человека. Ежедневно вершатся в нашей стране богатырские дела руками советских людей, черпающих свою мощную силу в живом роднике великих идей партии Ленина—Сталина. Именно в этом смысле являются богатырями герои рассказов Дудинцева — старый рабо-

чий-взрывник Прокопий Снарский, машинист экскаватора Тимофей Теренин, колхозник Бейшеке Гончулуков, тракторист Гусев, бригадир плавильщиков Илья, колхозный механик Лёша и многие другие.

Главным героем книжки можно условно назвать взрывника Снарского — труду и жизни его бригады, строящей в горах Киргизии железную дорогу, посвящены первые пять рассказов, объединённые автором в отдельный цикл. Снарский, фигура яркая и своеобразная, — несомненная удача писателя.

Он уже в летах, этот прославленный рабочий, широко известный среди взрывников. Но Снарский не только мастер, он поэт своего дела, овладевший тончайшими секретами, проникший в самую «душу» нелёгкой и опасной профессии.

В литературе не в новинку образ старо-

Владимир Дудинцев. «У семи богатырей». Рассказы. Редактор В. Солнцева. «Советский писатель», М. 1952.

му рабочего — великого знатока всех секретов той или иной области труда. Однако Снарский вполне оригинален, он содержит в себе принципиально новые черты характера, новое отношение к жизни, новое миропонимание. В его образе лучшие качества старого русского рабочего-умельца слиты воедино с яркими чертами передового стахановца-коммуниста наших дней.

Снарский — талантливый воспитатель молодых рабочих, глава целой школы взрывников. Любовно и тщательно подбирает себе учеников старый бригадир. Уже прославился самостоятельной работой на стройке его бывший воспитанник, а теперь тоже бригадир взрывников Алексей Савельев. С радостью видит Снарский, как постепенно зреет и раскрывается рабочий талант другого его ученика — озорного, весёлого Гришуки. Он знает, что Гришука, как и Алексей Савельев, скоро выйдет на свою дорогу, тоже станет бригадиром и покинет его. И порой невольно грустно становится старику: «И так каждый год... Не успеешь привязаться к человеку, глядишь — телеграмма. И уходит. И некогда ему старое помнить, поважнее дело есть. И на его место приходит другой...». Но тут же Снарский вразумляет самого себя: «Ничего не напишешь — кадры!».

Это умение взглянуть на дело с государственной точки зрения — в крови у Снарского. Когда приезжает геолог равнодушно отвергает один из вариантов железнодорожной трассы и предлагает другой, который должен обойтись гораздо дороже, Снарский возмущён этим казённым подходом до глубины души.

«— Не верю! Геолог обязан доказать. Чтоб не было колебаний. Чтоб я знал, куда миллион идёт. Миллион лишний истратить — это мы и без инженера можем. А ты сумей миллион в банке оставить и интерес соблюди! Чтоб мы сказали: мудрец, золотая голова, учили тебя не зря — памятникка достоин!». И тут же решительно добавляет: «— Напишу в Москву... Министру напишу».

Тот же новый, глубоко советский подход к делу отличает Снарского и тогда, когда он сталкивается с ценной инициативой, с новаторством. Старый рабочий прежних времён почти всегда содержал в себе элементы консервативности, годами накопленное мастерство сочеталось с застойностью в методах труда. Снарско-

му консерватизм органически чужд, он — рабочий новой, стахановской эпохи, человек социалистического труда. С восторгом принимает он новый метод работы, предложенный его учениками Павлом Залётовым и Клавой Бариновой, и тут же велит им подробно рассказать о новом приёме всей бригаде. Так же горячо встречает он умное предложение маленького тихого киргиза взрывника Мусакеева. А когда он наталкивается на интересное усовершенствование, введённое на стройке, Снарский не успокаивается, пока не разыскивает автора этого нововведения, колхозника Бейшеке Тончулукова, и прилагает все усилия, чтобы впоследствии привлечь его в свою бригаду.

Критика не раз отмечала важный недостаток многих наших «производственных» рассказов, повестей и романов, где рабочий показан лишь в процессе труда, а его личная жизнь, быт остаются за пределами произведения. Дудинцеву нельзя бросить такого упрёка. Труд и быт его героев связаны между собой хотя бы потому, что этому способствуют условия, в которых находятся взрывники. Бригада Снарского живёт там же, где она работает, и непрерывно перемещается по трассе вслед за продвижением фронта работ. И эта бригада — одна большая и дружная «семья», как метко определяет её Мусакеев, семья, в которой члены её привыкли делить друг с другом и трудности работы, и радости и огорчения личной жизни.

Автор показывает нам Снарского в различных аспектах. Вот он горячо и поэтически говорит своим молодым ученикам о большом значении их труда, учит их правильно, социалистическому отношению к успехам и неудачам товарища, и тут же ему приходится заняться «моральной проблемой», помочь установить здоровые взаимоотношения молодых взрывников с новой кладовщицей Клавой Бариновой («У семи богатырей»). Мы видим и семейную жизнь Снарского, в личном быту сохраняющего ту же цельность, кристальную чистоту природы. Несколькими яркими штрихами автор рисует тёплый, запоминающийся образ жены бригадира — Насти, верной подруги своего беспокойного, вечно занятого делом мужа, умеющей так же ясно и просто смотреть на жизнь, как и он. Чистота и ясность супружеских отношений старого бригадира и Насти, их

неостывшая с годами любовь, — всё это удачно дополняет цельный и сильный образ Снарского.

Автор рисует нам своего любимого героя и в критический, опасный момент, когда Снарский оказывается перед лицом грозящей ему смерти («Избушка Снарского»). Поистине богатырские душевные силы проявляет старый бригадир в этот час, казалось бы, неминуемой гибели. Ему свойственны те замечательные качества, которыми русский советский человек поразил весь мир, — спокойное, величавое презрение к смерти, умение с необычайным достоинством и мужеством встретить свой последний час. Снарский остаётся в живых — его самоотверженно спасает его бывший ученик Алексей Савельев, — и гордое, достойное поведение бригадира в минуту смертельной опасности глубоко западает в память читателя.

Рядом с людьми старшего поколения в рассказах Дудинцева всегда действуют молодые герои, и, как правило, это такие же цельные и сильные натуры, что и Снарский.

Сила и красота их души тоже прежде всего раскрываются в труде. Легко и весело спорится дело в талантливых руках любимого ученика Снарского — Гришуки Мухина, которого в последнем рассказе — «Дуся и Тимофей» — мы уже видим в роли бригадира. Увлекательный труд взрывников заинтересовывает жадного до работы экскаваторщика Тимофея Теренина, и он, захваченный этим новым для него делом, жертвует ради него и отдыхом и свиданием с молодой женой. Соперники в любви — Василий и Илья из рассказа «В ночной смене» — оба умеют вдохновенно работать, и поэтому понимание красоты трудового подвига Ильи помогает Василию победить свою ревность. Весёлая, ненасытная жажда труда отличает тракториста Гусева («Двадцать лектаров»). «— А я тебе скажу: сядь Лёшка на комбайн — завтра же Власова забудут. Это мастер. Механик-универсал», — так рекомендует Панкратий Савельевич Лёшу — героя рассказа «Лыжный след».

Но герои Дудинцева не только великодушные труженики, они умеют при этом крепко, по-настоящему дружить, горячо и искренне любить. Они любят красиво, глубоко и сильно. В неприкосновенной целостности и чистоте хранят они

свой чувство, ни в чём не желая мельчить его. Это любовь гордая и требовательная, высокая и самоотверженная. Именно такой предстаёт перед нами любовь Дуся и Тимофея Теренина. Такова и любовь героев превосходного, полного поэзии рассказа «Лыжный след». Требовательны и непримиримы друг к другу Лёша и Катерина Матвеевна, и много горьких минут переживают они, прежде чем чувство их освобождается от всего лишнего, постороннего. Но эта требовательность и непримиримость — верное свидетельство глубины и цельности их любви.

Чехов говорил, что в человеке всё должно быть красиво — и душа, и лицо, и одежда. Дудинцев любит выводит красивых людей. Хороша собой его Дуся, хороша Поля из рассказа «В ночной смене», красавицей называет он Катерину Матвеевну. Но мы не найдём у него подробного описания внешней красоты. Автор вольно или невольно следует правилу, сформулированному ещё Лессингом в его «Лаокооне»: внешняя красота передаётся в литературе главным образом через то впечатление, какое она производит на других людей. «Серые с синевой глаза» — вот единственное, что сообщает нам о наружности Катерины Матвеевны автор. Но, слыша то, что о ней говорят другие, следя за всеми действиями девушки, читатель проникается глубоким убеждением, что перед ним красавица. Секрет этого убеждения кроется в таланте художника, в его умении с помощью деталей передать наружность человека, не описывая самой этой наружности. И не будь других рассказов, один «Лыжный след» мог бы неоспоримо свидетельствовать о художественном таланте молодого писателя.

Умение художника найти характерную, яркую деталь, одним смелым мазком передать многое, важно и для автора повести и для автора романа. Но писатель, работающий в жанре рассказа, должен особенно хорошо владеть этим даром. В. Дудинцев владеет им — в его рассказах рассыпаны десятки ярких, поражающих своей верностью деталей. Для Катерины Матвеевны такой деталью служит большой вязаный платок, в который она закутана так, что не может повернуть головы. Автор дважды повторяет эту деталь, усиливая её действие: «В платке ей было трудно двигать головой, и она вся повернулась к нам»;

«Дверь опять запела, и на крыльце появилась Катерина Матвеевна в большом белом вязаном платке. Ей было трудно поворачивать голову, и она двигала счастливыми серыми глазами, улыбаясь каждому и никого не замечая». И в памяти читателя прочно запечатлевается эта туго закутанная сероглазая деревенская красавица.

Такой удачно найденной, характерной для обстановки деталью является солдат со второй полки санитарного поезда в рассказе «Руки друзей». Каждый день перед обедом он протягивает сверху длинную волосатую руку, чтобы взять завтрак лежащего без сознания внизу Миши Ноготова. А когда потом врач спрашивает очнувшегося Мишу: «—Получаете масло?»,—этот солдат вместо него басит сверху: «—Получает». Много верных и запоминающихся деталей в описании возвращения домой фронтовика из рассказа «Встреча с берёзой».

Но В. Дудинцев порой излишне увлекается поиском детали. Иногда она становится у него самодовлеющей, и весь рассказ кажется написанным именно ради этой «хлёткой» детали. Такова надпись на берёзе в рассказе «Встреча с берёзой» или кольцо в рассказе «Руки друзей». В западной литературе произведения, написанные ради «красиво придуманной» детали или концовки, — не редкость. Но в традициях русской классической литературы — иное. Наши великие писатели рассматривали характерную деталь лишь как средство, но никогда — как цель. Хочется, чтобы В. Дудинцев следовал в этом примеру великих русских художников.

Именно потому, что в нём отсутствует глубокая идея, служащая позвоночным столбом всякого произведения, «Встреча с берёзой» кажется наименее удачным рассказом-сборника. Читатель встречает здесь

много хорошо подмеченных частных, но не находит ни яркого образа героя, ни интересной, своеобразной мысли, над которой автор заставил бы его задуматься. Слабее других и рассказ «Двадцать гектаров», написанный в несколько однообразной манере.

Несколько слов о рассказе «У семи богатырей», который в своё время был напечатан в «Новом мире». Рассказ этот, имеющий свои достоинства, в целом всё же уступает остальным рассказам «серии Снарского». И дело здесь не в искусственности его ситуации и не в нарочитом применении литературной параллели пушкинской сказки к обстоятельствам жизни бригады взрывников, в чём упрекали автора некоторые критики. Рассказ этот написан уже «вдогонку» другим рассказам о Снарском и отделён от них значительным промежутком времени. За это время писатель, видимо, отвык от своих прежних героев и потерял кое-какие черты их характеров. Иным тут выглядит Снарский — он как будто стал моложе, появились в нём ранее чуждые ему черты самодовольства, даже хвастливости. Не внёс ничего нового этот рассказ и в образы молодых взрывников, уже знакомых нам Гришуки Мухина, Мусакеева, Васи Ивантеева. Словом, этот рассказ говорит о том, что автору пора распрощаться со Снарским и его товарищами, что эта «мощная скважина» уже иссякла.

Можно надеяться, что в будущих рассказах молодой писатель разовьёт лучшие стороны своего творчества и познакомит нас с новыми интересными героями — тоже людьми подвига, вдохновенного труда, ясных мыслей, глубоких чувств и великих дел — подлинными богатырями нашей советской действительности.

С. СМЕРНОВ.

★

Избранные произведения Павла Грабовского

Герцен однажды назвал историю русской литературы мартирологом или реестром каторги. В скорбном реестре загубленных самодержавием деятелей литературы значится немало и украинских писателей. Среди них одной из самых трагических была

судьба выдающегося поэта-революционера Павла Арсеньевича Грабовского. Он прожил тридцать восемь лет. Из них почти двадцать лет он провёл под полицейским надзором, в тюрьмах и в ссылке. В неволе, по существу, началась и печально завершилась его писательская биография.

П. А. Грабовский. «Избранное». Перевод с украинского. Редакторы Е. Климович и Л. Нестеренко. Гослитиздат, М. 1952.

В декабре исполняется полвека со дня смерти Грабовского. Гослитиздат отметил

эту годовщину выпуском в свет избранных произведений писателя.

Грабовский был поэтом, переводчиком и критиком. Во всех этих видах деятельности, органически связанных между собой, Грабовский предстаёт перед нами ярким и цельным человеком, различными родами писательского оружия борющимся за освобождение своего народа.

Ещё юношей увлёкся он идеями революционного народничества, а в зрелые годы, уже в ссылке, пришёл к марксизму. За два года до своей смерти, на заре нашего века, Грабовский писал: «Теперь всё, что только есть в России живого, подвижного и деятельного, идёт под знаком марксизма...».

Украинские буржуазные националисты не щадили усилий, чтобы привлечь на свою сторону Грабовского, вызвать в нём ненависть к передовой русской культуре. Но те были тщетные усилия.

Воспитанный в традициях русского революционно-освободительного движения, Грабовский чувствовал своё духовное родство с русским народом, с его передовой общественной мыслью, его литературой. Умирая, Грабовский завещал себя похоронить рядом с могилами ссыльных декабристов в Тобольске.

В суровых условиях сибирской ссылки он положил много труда и таланта, переводя на украинский язык и страстно пропагандируя произведения Пушкина и Лермонтова, Рылеева и Полежаева, Некрасова и Огарёва, Добролюбова и Михайлова, Плещеева и Сурикова. Этой работе он придавал громадное общественное, политическое значение.

Той же заботой о духовном сближении двух братских народов вызвано желание Грабовского сделать достоянием русского читателя лучшие произведения украинской классической поэзии. В рецензируемом сборнике помещены образцы переводов Грабовского с украинского на русский, в совокупности представляющие собой небольшую, но исключительно яркую антологию украинской поэзии XIX века.

Горячо любя Украину, Грабовский был абсолютно чужд национальной ограниченности. Его поэзия одухотворена идеей интернационализма. С чувством братской солидарности он обращался ко всем порабождённым народам, призывая «мстителя

грозного» к восстанию «на всех злодеев мировых».

В стихотворении, посвящённом Николаю Ожигову — поляку, осуждённому за революционную деятельность и отбывавшему ссылку вместе с Грабовским, — мы читаем строки, полные глубокого понимания единства интересов двух народов — украинского и польского:

...За то, чтоб дух свободы
И дружбы просветил умы,
Чтоб наши бедные народы
Так побратались, как и мы!

Из поэтического наследия Грабовского составители сборника выбрали самое важное и ценное. Верно выдержан и самый принцип отбора.

В дореволюционных изданиях стихи Грабовского печатались часто в искажённом виде. Они уродовались не только цензурой, но порой и самим автором. Скрепя сердце, он вынужден был делать это для того, чтобы откупиться от цензуры. Разъясняя Б. Гринченко — редактору своего сборника «Кобза» — происхождение некоторых помещённых в книге стихов, Грабовский писал: «Стихи я внимательнее «выстругал», да не знаю, угодил ли этим «выстругиванием» цензуре; по тем же соображениям поместил и стихи совсем ничёмные — о любви и поцелуях, может быть, эти «праведники» спасут весь сборник».

Составители рецензируемой книги правильно поступили, освободив «Избранное» Грабовского от подобных «праведников», дав русскому читателю возможность почувствовать истинный характер творчества поэта.

В сборнике представлены основные циклы стихов Грабовского, отражающие различные этапы его поэтической деятельности.

Ясно и выразительно предстают перед нами идейный облик поэта, его взгляды на жизнь, его мораль, эстетические принципы. Грабовский был поэтом-воином. Развивая традиции Шевченко и Некрасова, он писал:

Я не певец красавицы-природы,
Холодной, равнодушной ко всему,
Измученные вижу я народы:
Они — родные сердцу моему.

Грабовский «знал одной лишь думы власть». То была дума о порабождённой

Украине, о стонущем в ярме народе. И это не тихая, смиренная скорбь о «юдоли сей земной». Поэзия Грабовского клокочет гневом, полна страстных порывов ненависти. Она призывает к мести, к самоотверженной борьбе.

Эх, порвать бы путы,
Вырваться на волю,
Чтобы вьюгой лютой
Разгуляться в поле.

(«За оном в тумане»)

Всё творчество Грабовского проникнуто историческим оптимизмом, неодолимой верой в могучие силы народные, в конечное торжество правды.

На земле, где сгниют наши трупы,
Будет братство бессмертно чести!

(«Товарищам»)

Но верю я — мой жребий не бесплодный,
Мой крест — людей измученных спасёт,
Конеч положит муке всенародной,
Отчизне счастье принесёт!

(«Современнику»)

Вз годиною чёрной славы —
Царство волюности придёт,
И возглавит мир по праву
Сам трудящийся народ!

(«Надежда»)

Есть у Грабовского два стихотворения, в которых с большой художественной силой выражено, так сказать, моральное кредо поэта. Одно из них — «Счастливый человек». Эпитет «счастливый» ироничен. Презрением карает поэт этого всем довольного, «счастливого» человека, не отдавшего своей отчизне ни единой слезы:

Не зная ты с бедой лихою,
Под старость не возьмёшь суму,—
Дай бог подобно покоя
Не зная на свете никому!

Переноса страшные лишения и невзгоды в сибирской ссылке, Грабовский был бесконечно чужд мысли о возможности тихого, сытого покоя, жизни вне борьбы. Он с негодованием отвергает этот недостойный и унижающий человека идеал пошлого счастья.

Другое стихотворение — «Юноше», представляющее собой как бы антитезу «Счастливому человеку». Поэт обращается к юноше, горько переживающему разлуку с изменившей ему любимой, призывает его бросить «тоску-кручину», быть «твёрдым,

стойким» и даёт наказ своему герою — преклонить свои мысли и чувства в иную сферу:

У тебя есть думы, милые народу,
Ты в сердца людские их носи, как друг.
Всюду слышны стоны, всюду мрак
невзгоды,
Ты своей кручиной лишь добавишь мук.

Коль сможешь ближним сбросить гнёт
проклятый,
Собственного счастья и любви не жаль,
Погляди, как душит бедного богатый,—
Там твоя забота, там твоя печаль!

Грабовский писал: «Слово служит нам пулей разящей...». Поэтическое слово Грабовского действительно было его оружием, которым он беспощадно карал насилие. В историю украинской поэзии XIX века Грабовский недаром вошёл как прямой наследник шевченковской музыки.

Стих Грабовского очень поэтичен и своеобразен. Идеиная целеустремлённость, страстный гражданский пафос, непосредственность и глубина лирического чувства, ясность лексического материала, выразительность ритмического рисунка стиха, — всё это ставит перед переводчиком необычайно ответственные и трудные задачи.

С первого взгляда кажется, что Грабовского переводить на русский язык не так уж сложно. Но это впечатление обманчиво. Переводить близкого по языку поэта бывает очень нелегко. Иной раз целые строки как будто бы переносятся без особых усилий в русский стих, и переводчик, потеряв ощущение поэтической свежести и своеобразия оригинала, поддаётся соблазну. Тогда получается перевод внешне правильный, но обескрыленный и, в сущности, далёкий от оригинала (таковы, например, в рецензируемом сборнике некоторые переводы П. Карабана).

Большинство переводов, вошедших в книгу, оставляет благоприятное впечатление. Особенно следует отметить переводы Н. Сидоренко («Дума», «Народнику», «Во сне» и др.), Л. Озерова («Мечта», «Матери»). Они точно воспроизводят оригинал и вместе с тем поэтичны: в них почти утрачивается ощущение перевода. Ряд хороших переводов дали В. Цвелев («Соловейко»), А. Ситковский («По морю»), И. Поступальский («Из тюремных мотивов»).

Поэтический перевод должен с максимальной точностью воссоздавать оригинал

Казалось бы, едва ли нужно напоминать эту истину. Но, к сожалению, есть ещё переводчики, которые ею пренебрегают. И вот что тогда происходит.

В стихотворении «До України» Грабовский, говоря о своей жизни в глухой сибирской ссылке, отмечает, что ему

Однаково сумно і в свято і в будень —
то есть «одинаково грустно и в праздник и в будни». А В. Цвелев почему-то передал эту строку так:

И в будни тоскливо, а в праздники
хуже.

В другом стихотворении Грабовский пишет о народе:

Знедолений ладом ворожим,
Він працею держить всі станці...

то есть обездоленный враждебным строем народ своим трудом содержит все сословия.

Эти строки под пером П. Карабана преобразуются следующим образом:

Насильники все без изъяття
Сидят у народа на шее...

Глубокая мысль оригинала становится немощной и тусклой в переводе.

Стих Грабовского во многом напоминает шевченковский и некрасовский своей непосредственностью, безыскусственной простотой, своей близостью к народно-поэтической традиции. Но попробуйте найти эти черты стиля Грабовского в стихотворении «Разгневан Днепр. За валом...», переведённом И. Поступальским.

Первая строфа оригинала:

Лютеє Дніпр. Ревучі
Вали щораз встають,
Розб'ються об кручі
І знову заревуть.

Вот как эта строфа переведена:

Разгневан Днепр. За валом
Встаёт гряда валов,
Прикиннет, в пене, к скалам
И вновь подьёмлет ре́в.

Сколь неожиданно здесь одическое «подьёмлет ре́в», как оно безвкусно искажает художественную тональность стиха Грабовского!

Сравним ещё одну строфу:

Лютеє Дніпр сердитий,
Шлях ширше пробива,
Реве несамовитий,
Пороги підрива.

В переводе читаем:

Разгневан Днепр сердитый,
Широкий роет путь,
Ревёт, крушит граниты,
Порогов гложет грудь.

У Грабовского — энергичное «Пороги подрывает», у Поступальского — слащаво-декадентское «Порогов гложет грудь».

Как могут ужиться в переводе одного стихотворения столь поразительно разнообразные лексические элементы — высокое парение XVIII века и северянщина!

К счастью, подобные переводческие казусы в разбираемом сборнике — лишь исключения.

Представлена в книге и проза Грабовского: очерки, статьи, письма. Они дают возможность читателю полнее осмыслить теоретические позиции писателя.

Испытав влияние эстетических идей Чернышевского, Грабовский развивает взгляды на искусство, весьма близкие к программе русской революционной демократии.

Грабовский читал в Чернышевском великого мыслителя и революционера и немало содействовал пропаганде его идей. В течение нескольких лет Грабовский отбывал ссылку в том самом глухом Вилуйске, где некогда томился Чернышевский. В поэтическом очерке «На далёком севере» украинский поэт рассказал о том священном трепете, который охватывал его каждый раз, когда он проходил мимо бывшего жилища Чернышевского — угрюмого, заброшенного дома с тяжёлым замком на воротах и сургучной печатью на замке. В Вилуйске же Грабовский написал статью «Николай Гаврилович Чернышевский», в которой использовал записи и воспоминания людей, лично знававших Чернышевского.

Эстетические взгляды Грабовского ярче всего выражены в его превосходной статье «Кое-что о творчестве поэтическом». Грабовский борется за искусство, проникнутое передовыми общественными идеями, за литературу, которая служила бы революционному преобразованию действительности.

Критикуя сборник стихов малоизвестного украинского поэта Грицька Кернеренко, Грабовский отмечает, что автору этого сборника «нехватает трёх основных вещей», без которых невозможно стать подлинным поэтом: «общего всестороннего образования, трезвого цельного мировоззрения

общественного и достаточного понимания значения и целей деятельности поэтической». Поэт, по убеждению Грабовского, должен быть наделён острым чувством современности, уметь сказать что-нибудь интересное и полезное людям, направить их на «серьёзные действия». Поэт обязан быть «общественным вожаком» и осознавать свои высокие задачи: «его обязанность — не брэнчать без смысла, а вести совместную общественную работу, применяя и свои способности, и свои знания, — в противном случае на кой чёрт он нужен?».

Во многих своих положениях Грабовский почти текстуально перекликается с Чернышевским.

Воюя с идеалистической эстетикой, ограничивавшей искусство лишь сферой прекрасного, Чернышевский писал, что художника должно интересовать всё многообразие жизни; всё, что «интересует человека», всё «общинтересное в жизни» — «вот содержание искусства». Грабовский так выражает эти мысли: «исстинно человеческое содержание» должно стать достоянием «всякой истинной поэзии».

Известно, с какой яростью боролся Чернышевский с апологетами «чистого искусства». «Приверженцы так называемого чистого искусства... — писал он, — заботятся вовсе не о чистом искусстве, независимом от жизни, а, напротив, хотят подчинить литературу исключительно служению одной тенденции...». Грабовский: «Искусства для искусства» не было, нет и не может быть в действительности: это — пустопорожняя, пустозвонная фраза — не больше. Она, наоборот, всегда прикрывала собой самые тенденциозные направления мысли, проповедовала самую грубую тенденциозность в литературе».

Чернышевский говорит, что каждый художник, живя в определённых общественных условиях, выражает те или иные воззрения на жизнь. Поэтому тенденция в искусстве неизбежна. Она обнаруживается сознательно или бессознательно. Литература, как и искусство вообще, «по самой натуре не может не быть служительницей стремлений века, не может не быть выразительницей его идей». А вот Грабовский: «Не нужна, говорят, тенденциозность в искусстве! А это требование разве не тенденциозность, отвратительная, вред-

ная, эгоистичная? Пора благоглупостей прошла!».

Подобные сопоставления легко могут быть умножены. Они характерны в том отношении, что позволяют оценить, как глубоко усвоил Грабовский идеи Чернышевского; сопоставления показательны и тем, что дают понять, сколь велик был «радиус действия» идей гениального русского революционера-демократа.

Грабовский последовательно защищает мысль об общественной роли искусства. «Поэзия, — пишет он, — должна быть одним из стимулов человеческого прогресса, а в родной стране — и общенародного, средством борьбы с мировой неправдой, смелым голосом за всех угнетённых и обиженных. Такова её задача!» Грабовский призывал современных ему украинских писателей следовать заветам великого Кобзаря: «Шевченко был поэтом-борцом, виднейшим общественным деятелем; он всегда знал, куда идёт и зачем. В своей поэтической работе он имел в виду только человека и его счастье; поэтому он является для всех нас самым лучшим примером...».

Следует сказать, что раздел «Избранной прозы» отобран составителями сборника недостаточно тщательно. Целесообразность включения в «Избранное» некоторых статей Грабовского вызывает сомнение. Дело в том, что свои статьи Грабовский писал в ссылке, не имея под руками необходимой критической литературы, а порой даже и сочинений тех поэтов и прозаиков, о которых говорил. Отсюда невольные описки, неточности в его статьях, а порой и такие формулировки, с которыми трудно согласиться. Некоторые из этих ошибок оговариваются в примечаниях. Но далеко не все. Думается, что таким статьям, как «К пушкинскому вечеру в народной аудитории» или «Тарас Григорьевич Шевченко», скорее место не в избранном, а в академическом издании произведений Грабовского. Эти статьи интересны скорее литературоведу, специально изучающему взгляды писателя на те или иные проблемы литературы, чем широкому читателю.

Отметим в заключение содержательную вступительную статью, написанную А. Киселёвым, много лет занимающимся изучением П. А. Грабовского.

С. МАШИНСКИЙ

Сборник статей о классиках

Двадцать шесть очерков, составляющих книгу «Классики русской литературы», принадлежат перу авторитетных советских литературоведов; эти очерки посвящены крупнейшим русским художникам слова — от Ломоносова до Маяковского. При отсутствии обобщающей книги по истории отечественной литературы, при известных недостатках существующих школьных учебников сборник статей об отдельных писателях, безусловно, привлечёт внимание молодых читателей — школьников старших классов.

Надо сказать, что значение такой книги о русских писателях могло быть ещё больше, если бы издательство тщательнее продумало её план и содержание. В самом деле, если по замыслу составителей книга должна отразить — хотя бы и не в связном, последовательном освещении, а в сумме критико-биографических очерков — общую картину развития русской литературы, если сборник должен дать представление о её наиболее значительных явлениях, то почему в нём отсутствует, например, Николай Новиков — один из виднейших писателей-просветителей XVIII века? Почему есть Рылеев, но нет Кольцова? Почему не нашлось места для характеристики Д. И. Писарева, значение которого в истории нашей критики столь велико? А разве не заслуживали внимания такие выдающиеся писатели, как Гл. Успенский и Вс. Гаршин? Наконец, Александр Блок и Валерий Брюсов — тоже не последние имена в нашей литературе.

Всё это — досадные пропуски. Но этим не исчерпываются недостатки книги. Беда ещё и в том, что в ней отсутствует совершенно необходимая в издании такого рода вступительная обобщающая статья, которая вводила бы читателя в самый процесс развития русской национальной литературы на протяжении двух столетий — с середины XVIII до середины XX веков. В таком введении читатель мог бы почерпнуть стройное и ясное представление об исторических условиях формирования великой русской литературы, о главных этапах её истории, наконец, познакомиться с основополагающими выска-

званиями В. И. Ленина и И. В. Сталина о русской культуре и литературе, которые определяют наше понимание всего историко-литературного процесса.

Весь этот необходимый для познания литературы материал предстаёт в рецензируемой книге в разобшённом виде, разбросанный по страницам отдельных очерков. А ведь издательство в своём кратком предисловии утверждает, что оно «ставило перед собой задачу помочь учащимся в их самостоятельной работе по изучению родной литературы». Очевидно, что эту задачу не может полностью разрешить книга, если она не даёт представления о процессе литературного развития в целом. Даже очерки о А. М. Горьком и В. В. Маяковском, заключающие книгу, не предварены статьёй, в которой рассматривались бы принципиально новые черты советской литературы — литературы социалистического реализма. Недостаток в построении книги перерастает здесь в несомненную методологическую ошибку.

В чередовании статей, в потоке великих имён, которым посвящены очерки этого сборника, только опытный глаз сможет уловить известные периоды и определённые этапы историко-литературного развития. Но ведь книга предназначена для молодёжи, впервые приступающей к изучению родной литературы. Не рассказать об отличительных особенностях русской литературы, о её патриотизме, народности, правдивости, об освободительных идеях, которым она служила и служит, наконец, о её мировом значении в прошлом и настоящем — это значит обойти много важных для молодого читателя вопросов.

Что касается отдельных очерков и статей, вошедших в сборник, хочется раньше всего выделить те из них, которые написаны с учётом особенностей читателя книги и его воспитания. Это живые, выразительные очерки, в них серьёзный анализ произведений опирается на простые и доступные примеры; здесь нет ложного академизма, а есть стремление помочь читателю полюбить художника, почувствовать аромат его творчества, понять высокий смысл его деятельности. Таковы очерки Д. Благого о Радищеве, И. Андроникова о Лермонтове, Н. Анциферова о Тургеневе, В. Ермилова о Чехове.

Читатель найдёт в них не только общеизвестные биографические сведения и анализ произведений, но и попытку воссоздать живой, конкретный облик писателя, показать общественную среду, его окружающую, раскрыть главные идеи, одухотворявшие его творчество и запечатлённые в созданных им характерах.

Некоторые статьи, опубликованные в сборнике, представляют собой примеры хорошей популяризации трудного историко-литературного материала. Так, Л. Тимофеев просто и ясно рассказывает о значении Державина, не обходя при этом сложного вопроса о противоречии между реакционно-крепостническими взглядами поэта и прогрессивными мотивами его творчества; довольно подробно автор останавливается на изобразительных средствах державинской поэзии. Содержательные, ценные в познавательном отношении историко-литературные очерки дали С. Петров — о Пушкине, К. Пигарёв — о Рылееве, Б. Козьмин — о Чернышевском, Н. Гудзий — о Льве Толстом и некоторые другие авторы.

Есть в книге статьи, страдающие чрезмерной сухостью изложения, которая может отпугнуть малоподготовленного читателя, затруднить усвоение материала. Такова, например, большая статья М. Горячкиной о М. Е. Салтыкове-Щедрине (в других отношениях она не вызывает возражений). Ещё больше грешит в этом смысле статья Ф. Голывенченко о Белинском, содержащая много слишком общих положений и к тому же плохо отредактированная. Деятельность великого критика автор описывает холодными, невыразительными словами, не дающими достаточного представления о действительном значении Белинского для русской литературы и общественной мысли. Некоторые же утверждения автора могут вызвать лишь недоумение. Например, автор широко пользуется устаревшим термином «натуральная школа», никак не поясняя его и рискуя запутать молодого читателя.

«В биографии Белинского, — читаем в статье, — можно наблюдать редкое совпадение личной жизни и творчества...» Или: «Так называемая личная жизнь, в узком смысле, не была уделом Белинского». Вряд ли можно сказать и так: «...корни его (Пушкина. — В. Ж.) страдания и бла-

женства глубоко вросли в почву ответственности и истории»; «Белинский приложил немало усилий для того, чтобы поставить литературную критику на основаниях эстетики и философии»; «Подлинным народным интересом критик считал уничтожение крепостного права»; «...с восторженным пафосом звучали нотки идеализации современной жизни». Статья, написанная таким языком, не увлечёт читателя.

Неточности допущены в статье М. Добрынина о Добролюбове, в целом правильно характеризующей литературное наследие замечательного критика. Например, автор приводит известные слова Некрасова, сказанные над свежей могилой Добролюбова: «Бедное детство в доме бедного сельского священника...». Здесь две ошибки: детство Добролюбова нельзя называть бедным и его отец не был сельским священником (вероятно, Некрасов в то время не был достаточно осведомлён в подробностях биографии своего рано погибшего друга). Сам же М. Добрынин буквально вслед за этим сообщает, что будущий критик «родился в Нижнем Новгороде (ныне г. Горький), в семье священника». Кому же верить — Некрасову или автору статьи? Очевидно, что некрасовские слова следует приводить с пояснениями, исправляющими неточность.

Странное впечатление производит утверждение автора, будто в критических статьях Добролюбова «ясно раскрывается понимание реализма, народности, партийности, раскрываются смысл борьбы против теории «искусства для искусства» и социальная сущность литературы». Никак нельзя согласиться с тем, что понятие партийности искусства было раскрыто Добролюбовым, да ещё полностью. Если же автор употребил термин в данной статье условно, то это следовало бы оговорить, имея в виду читателя, привыкшего к современному значению слова «партийность».

М. Добрынин приводит слова Добролюбова о том, что «уничтожение дармоедов и возвеличение труда — вот постоянная тенденция истории». Повидимому, автор полагает, что эта мысль свидетельствует о приближении Добролюбова к пониманию борьбы классов как основной движущей силы человеческой истории. К сожалению, приведённые слова Добролюбова уже не в первый раз и не только М. Добрыниным

тракуются именно в этом смысле. Между тем они отражают как раз слабую, а не сильную сторону социологических взглядов Добролюбова. В той же самой статье «Русская цивилизация, сочинённая г. Жеребцовым», на той же самой странице, подробно развивая свою мысль о «постоянной тенденции истории», Добролюбов писал: «Нигде дармоедство не исчезло, но оно постепенно везде уменьшается с развитием образованности». Для подкрепления этого положения он приводил примеры из истории, которые должны были, по его мнению, показать читателю, что в ходе цивилизации труд, являвшийся «презренным у народов невежественных», постепенно приобретал всё большее и большее признание, а «дармоедство», эксплуатация, грабёж трудового народа, наоборот, шли на убыль; по словам Добролюбова, «теперь самые размеры грабежа уж не те, что были прежде», и «современные Лукуллы и Вителии ничего не значат в сравнении с древними».

Нужно ли пояснять, что эти рассуждения являются выражением просветительской, в основе своей идеалистической точки зрения Добролюбова на исторический процесс. Не в этих, а совсем в других высказываниях критика содержатся смелые догадки о материалистическом характере законов общественного развития (особенно важна в этом смысле статья Добролюбова «От Москвы до Лейпцига»).

Есть в статье М. Добрынина и более мелкие недосмотры. Так, напрасно автор утверждает, что Добролюбов «отправился в Петербург, намереваясь поступить в духовную академию, но раздумал...». На самом деле Добролюбов ещё в Нижнем решил отказаться от духовного поприща и задумал поступить в светское учебное заведение.

Надо сказать, что составители и редакторы сборника не приложили достаточно усилий, чтобы сделать текст всех статей и очерков более доходчивым и доступным пониманию тех читателей, которых имело в виду издательство. Можно предположить, что составители не всегда видели перед собой своих читателей, — в этом убеждают как приведённые примеры, так и не приведённые здесь, но в изобилии рассыпанные в тексте (добавим, например,

что в статье о Гончарове без всяких пояснений фигурирует термин «нигилизм», под которым разумеется передовое общественное движение 60-х годов; в статье о Гоголе можно найти такие малопонятные абзацы: «Тинчское для Гоголя неотрывно существует во всей реальности, во всей своей жизненной непосредственности и естественности»).

Не согласованы между собой равные части, главы книги. В результате получилось немало повторений и даже противоречий. Правда, повторения были в известной степени неизбежны (например, в статьях о Добролюбове и Островском), но некоторых мелких противоречий можно было бы избежать. И. Андроников, рассказывая о свидании Лермонтова с Белинским на гауптвахте в 1840 году, пишет, что «Лермонтов горячо убеждал Белинского» в важности поэзии, поднимавшей серьёзные общественные вопросы; а Ф. Головенченко в статье о Белинском, упоминая об этом же свидании, говорит: «Для Лермонтова встреча с Белинским не прошла даром. Под непосредственным впечатлением разговора с критиком он написал ряд острых стихотворений на политические темы». Кто же на кого влиял? Очевидно, между поэтом и критиком в ту пору не было разногласий, а было известное единомыслие, о чём и надо было ясно сказать.

Случай господствовал при решении вопроса о соотношении объёма отдельных статей. Видимо, редакция слабо руководила авторами, полагалась на их добрую волю: кто сколько принесёт, — не сообразуясь со значением того или иного писателя и с местом, уделяемым ему в школьной программе.

В заключение надо напомнить, что большинство статей, вошедших в книгу, по существу, вполне доброкачественно, и сборник, при всех его структурных и прочих частных недостатках, несомненно будет полезен для юношества, особенно если учесть, что наша школа не имеет подобный такого рода. Но беда в том, что книга, о которой идёт речь, в сущности и не попадёт к школьникам: её тираж ничтожно мал — всего десять тысяч экземпляров.

В. ЖДАНОВ.

Политика и наука

О продлении жизни

Каждый человек хотел бы жить возможно дольше. Любовь к жизни свойственна всем организмам и представляет самый сильный безусловный рефлекс — «инстинкт жизни».

Но физического бессмертия не существует. Его признают иные идеалисты-вирховианцы, не понимающие процесса развития в природе. Утверждая, что клетка произошла от клетки, они не видят начала развития, а, следовательно, и его конца.

В противоположность вирховианцам, биологи-материалисты видят все явления природы в их развитии. Они считают, что каждый живой организм, каждая клетка в организме и даже каждое доклеточное живое вещество имеют свои периоды юности, зрелости и старости.

Жизнь и смерть — это неизбежные этапы развития организма. Энгельс писал: «...жизнь всегда мыслится в соотношении со своим необходимым результатом, заключающимся в ней постоянно в зародыше, — смертью. Диалектическое понимание жизни именно к этому и сводится... Жить значит умирать»¹.

Следовательно, смерть естественна и бороться со смертью как с таковой — бессмысленно. Но мы должны и можем бороться с преждевременной смертью.

Тот факт, что смерть всякого организма неизбежна, должен был бы, казалось, в нормально состарившемся организме на смену инстинкту жизни вызвать инстинкт смерти. Так, кстати говоря, и утверждает наш великий соотечественник И. И. Мечников. В своей замечательной работе «Этюды о природе человека» он писал:

«Если бы цикл жизни людской следовал своему идеальному физиологическому ходу, то инстинкт естественной смерти появлялся бы своевременно — после нормальной жизни и здоровой, продолжительной старости. Вероятно, этот инстинкт должен сопровождаться чудным ощущением, лучшим, чем

все другие ощущения, которые мы способны испытывать».

К сожалению, люди умирают задолго до окончания «идеального физиологического хода цикла жизни». Инстинкт смерти не успевает у них появиться.

Некоторые учёные (в том числе и автор рецензируемой книги) считают, что искусство продлить жизнь — это искусство не сократить её. Это верно лишь отчасти.

Человек — разумное существо, «высший продукт земной природы», как называл его И. П. Павлов. Созданная и постоянно обогащаемая человеком наука должна не только помогать человеческому организму нормально функционировать на протяжении отведённого ему природой срока, но и приумножать природные силы человека, дать добавочную эластичность и жизнеспособность его сосудам и органам, чтобы продлить жизнь.

Но каков же естественный, нормальный срок человеческой жизни?

Известен целый ряд примеров удивительно долголетия. Некоторые из них приводит в своей книге В. С. Лукьянов. Особенно много долголетних людей в Советском Союзе. Как сообщает автор, в нашей стране насчитывается около 30 000 человек старше ста лет. До наших дней дожили люди, которые родились раньше Пушкина или были его сверстниками: 153-летний Мамсырь Киута — житель абхазского селения Киндги, 145-летний колхозник Василий Сергеевич Тишкин, заработавший в 1950 году в своём колхозе на Ставропольщине 256 трудовых, 142-летний колхозник Махмуд Эйвазов, работающий ныне со своей 120-летней женой в колхозе «Комсомол», Лерикского района, Азербайджанской ССР (эта славная чета имеет потомство в 118 человек, среди которых их правнук Джалил — Герой Советского Союза) и т. д.

Как указывал академик Богомолец, теоретически предел жизни человека никак не менее двухсот лет. Ещё Аристотель вывел эмпирический закон, согласно которому жизнь всякого организма в семь раз продолжительнее периода его роста. Стало быть, человек, растущий, как известно, до

В. С. Лукьянов. «О сохранении здоровья и работоспособности». Под редакцией заслуженного деятеля науки И. А. Валединого. С предисловием академика К. М. Быкова. Медгиз, М. 1952.

¹ Ф. Энгельс. Диалектика природы. Госполитиздат, 1950, стр. 238.

25 лет, должен в соответствии с этим законом жить 175 лет, а при благоприятных условиях и дольше.

Верная идея доминирует в рецензируемой книге: здоровье — это один из главных источников нашего счастья и радости; но мы нередко начинаем осознавать это только тогда, когда в здоровье появляются изъяны и когда нужно уже думать о починке «механизма». Известно, однако, что всякий механизм служит дольше и лучше не тогда, когда его ломают и чинят, а когда его не доводят до поломки. Тем более это относится к человеческому организму, который не идёт ни в какое сравнение с самым сложным механизмом. Именно поэтому И. П. Павлов считал, что будущая медицина — это главным образом профилактика.

«Человек, — писал наш прославленный физиолог, — сложнейшая и тончайшая система. Но для того, чтобы наслаждаться сокровищами природы, человек должен быть здоровым, сильным и умным... Физиология учит нас, — и чем дальше, тем полнее и совершеннее, — как правильно, т. е. полезно и приятно, работать, отдыхать, есть и т. д.»

Иные скажут, что «умнее» человек сделать себя не может, — это, мол, от природы. Но следует учесть, что при правильном режиме мысль всякого человека яснее и лучше работает и у каждого остаётся больше времени и возможностей для развития своего ума.

Что же нужно делать, чтобы избежать преждевременной «поломки механизма»? Как осуществить павловский завет, быть «здоровым, сильным и умным»? Какие условия работы, отдыха и питания следует считать наиболее правильными, то есть полезными и приятными?

На эти вопросы и отвечает хорошая книга В. С. Лукьянова.

Особая глава посвящена проблеме prolongation жизни. Остановившись на причинах, вызывающих старение организма, автор ссылается и на мою теорию старения. В чём она состоит?

Существеннейшим моментом в жизненном процессе является обмен веществ в организме. С прекращением обмена веществ прекращается и жизнь.

Старение организма выражается в том, что в клетках происходит явление гистере-

зиса, заключающееся в свёртывании белков, что затрудняет обмен веществ между клетками. Изменяется ядро клеток: оно сморщивается или распадается на отдельные части. Оболочки клеток также становятся плотнее и тоньше, что опять-таки затрудняет обмен веществ. Уплотнение белковых частиц клеток и клеточных оболочек ведёт к образованию плотной соединительной ткани, то есть к развитию склероза всех органов и в особенности кровеносных сосудов.

Явления гистерезиса, ведущие к старению организма, могут быть ускорены в результате целого ряда внешних причин, не зависящих от нормального развития организма. Уплотнению в клетках и, в частности, уплотнению оболочек клеток содействуют, например, курение табака, алкоголизм, ряд инфекционных болезней, переутомление, половые излишества, неправильное питание, угнетённое настроение.

Есть ли возможность задержать уплотнение белковых частиц клеток и их оболочек, «разуплотнить» уже уплотнившиеся белковые частицы? К этому могут вести те средства, которые повышают электрозарядку белковых частиц, содействуют их распылению и, следовательно, повышают их способность к обмену веществ.

Многочисленные опыты убедили меня, что под влиянием щёлочи (например, раствора соды) уплотнённые белковые частицы распыляются, их поверхность увеличивается. Помимо соды, и ряд других веществ распыляет белки, увеличивает их поверхность, способствуя повышению обмена веществ и тем самым жизнедеятельности организма. Преждевременно наступившая старость отступает.

Автор справедливо отмечает, что в борьбе со старостью совершенно исключительное по своей эффективности значение имеет ряд профилактических факторов: физическая культура и спорт, свежий воздух, нормальный сон, закаливание организма, рациональное питание, хорошо организованный режим труда и отдыха, сочетание умственного труда с физическим, крепкий моральный дух человека. Эти факторы играют ведущую роль в борьбе за здоровую, долгую жизнь.

Первостепенное значение В. С. Лукьянов справедливо придаёт правильному ритму, повседневному строгому режиму жизни.

Автор приводит примерный рациональный распорядок дня, оговариваясь, что его схема может быть конкретизирована и индивидуализирована в зависимости от различных обстоятельств, но что самое важное в строгом распорядке дня — это его комплексность, плановость, систематичность, претворение в повседневную жизнь, в режим, в привычку.

Один из вариантов распорядка дня я выработала для себя уже много десятков лет тому назад и твердо его придерживаюсь. Несмотря на то, что мне скоро исполнится 82 года, я чувствую себя бодрой, работоспособной.

В результате правильного режима труда, отдыха и питания все органы нашего тела «приучаются» к аккуратному функционированию.

Основную роль в борьбе за сохранение здоровья масс, за длительную работоспособность и долголетие человека играют социальные факторы. Лишь социалистические условия труда и быта создают предпосылки для продления и оздоровления человеческой жизни. Борьба за здоровую и долголетнюю жизнь советских граждан является в СССР одной из основных общественных задач.

Иная картина в мрачном мире капитализма. Там о разрешении проблемы долголетия широких слоев населения и не помышляют. В США, как известно, в большом ходу мальтузианские каннибальские теории о том, что на свете много «лишних людей» и что опустошительные войны являются — де «благом для человечества».

Несколько критических замечаний о книге В. С. Лукьянова.

Существенным её недостатком является то, что автор главным образом интересуется вопросами профилактики старения и очень мало уделяет внимания методам лечения уже наступившей старости. Этот вопрос является чрезвычайно важным. Надо не только предупреждать старость, но и лечить её. Мы все заинтересованы в продлении жизни каждого советского человека. Как чудесно было бы продлить надолго жизнь людей, обладающих большим опы-

том и знаниями и отдающих все свои творческие силы построению коммунистического общества в нашей стране!

Справедливо уделяя много внимания физкультуре тела, автор игнорирует «умственную гимнастику» — лёгкие упражнения для мозга, чередуемые с его серьёзной работой. Такими упражнениями могут служить, например, чтение художественных произведений, игра в шахматы и в шашки, разгадка ребусов, кроссвордов и т. д.

Несколько замечаний редакционного порядка. Автор пишет о «физиологии больших полушарий коры человеческого мозга». Следует, конечно, говорить не о больших полушариях коры, а о коре больших полушарий. Такая опйска в популярной книге с двухебтнятидесяттысячным тиражом особенно досадна. В другом месте автор пишет: «Наблюдения больных позволяют врачу видеть и понимать основы предупреждения болезней» и т. д. Читатель может понять эту фразу так, что больные помогают врачу, сообщая ему о своих наблюдениях. На деле же речь идёт о наблюдениях врача над больными. Небрежность стилиса исказила смысл фразы.

В конце книги автор выражает уверенность, что каждый человек при коммунизме будет «жить до ста лет без старости», объявляя заключённые им в кавычки слова словами поэта. Но известно, что у Маяковского сказано иначе:

Лет до ста
расти
нам
без старости.

Цитировать да ещё в кавычках следует точно.

В целом книга бесспорно полезна и своевременна. Её издание большим тиражом — новое свидетельство заботы коммунистической партии и государства о здоровье и долголетию советских граждан.

*Действительный член Академии
медицинских наук СССР*
О. Б. ЛЕПЕШИНСКАЯ.

Труд Аристотеля в русском переводе

Советская научная литература обогатилась ценным изданием: вышел первый русский перевод обеих «Аналитик» Аристотеля.

Аристотель (384—322 до н. э.) — величайший философ и логик древнегреческого общества. Его философия включала огромный круг вопросов, многие из которых разрабатываются в настоящее время специальными науками — астрономией, физикой, биологией, политической экономией, теорией литературы и т. д. Аристотель впервые создал некоторые из видов научного исследования. К их числу относятся также и логика.

В IV веке до нашей эры изучение вопросов логики велось, кроме Греции, только в Китае, где логические исследования начались совершенно независимо от работ греческих логиков и где сложилась оригинальная и мощная логическая традиция, в некоторых вопросах опередившая греческую.

Хотя предшественниками Аристотеля (в том числе материалистами Левкиппом и Демокритом) была выполнена большая работа по подготовке создания логики, систематическое изучение всего круга основных её вопросов впервые начал осуществлять Аристотель.

Логика Аристотеля неотделима от его философии и учения о познании. Подвергнув остроумной и основательной критике идеалистическую философию Платона, Аристотель создал собственное учение, в котором, несмотря на непреодоленный объективный идеализм, он в ряде вопросов становится на материалистическую точку зрения.

Учение это противоречиво. Аристотель «плотную» подходит к материализму¹, везде у него «живые зачатки и запросы диалектики», «наивная вера в силу разума, в силу, в силу, объективную истинность познания»². Но не менее характерны для него и «наивная запутанность, беспомощно-жалкая запутанность в диалектике общего и отдельного — понятия и чувственно воспринимаемой реальности отдельного предмета, вещи, явления»³.

Аристотель. «Аналитики первая и вторая». Перевод с греческого. Редактор М. Иткин. Госполитиздат, 1952.

Противоречия философии Аристотеля сказались и в его логике. Тесно связанная с учением о бытии, логика Аристотеля содержит теорию суждения и понятия, учение о категориях, о логических законах мышления, теорию умозаключения и доказательства. Все эти исследования, кроме вопросов о законах мышления, изложенных в «Метафизике», Аристотель развил в шести логических трактатах. Важнейшим из них и являются «Аналитики», где Аристотель обстоятельно обосновал своё учение о доказательстве и умозаключении.

До появления логических работ Аристотеля во всей греческой философии не было ничего равного им по систематичности, точности изложения, мастерству в анализе логических форм мышления. У Аристотеля учились философии и логике и мыслители поздней античности, и философы эпохи феодализма, в их числе великий таджикский философ Абу Али Ибн-Сина (Авиценна) и философы буржуазного общества. Трактаты Аристотеля были руководством в школьном преподавании логики вплоть до XVIII века. По ним учились логике в русских высших духовных школах XVII века — Киево-Могилянской и Московской славяно-греко-латинской академиях.

Только с развитием в новое время математики и естественных наук круг логических форм вывода и доказательства, исследованных Аристотелем, значительно обогащается новыми видами дедуктивных и обобщающих выводов. Логика, изучавшая главным образом выводы достоверности, дополняется логикой, изучающей также и выводы вероятности (индукция, аналогия, гипотеза и т. д.).

Но и в это время логика Аристотеля не отменяется в своих основах, а только расширяется. Поэтому попытки некоторых современных англо-американских идеалистических логиков отбросить материалистические философские основы учения Аристотеля и построенные им на этих основах специальные логические теории доказывают не полную устарелость Аристотеля (кое-что, конечно, устарело в его логике), а

¹ В. И. Ленин. Философские тетради. Госполитиздат, 1947, стр. 267.

² Там же, стр. 304.

³ Там же.

только характерный для самих этих учёных реакционный идеализм и их неспособность исторически оценить классические учения логики.

Всё содержание «Аналитик» основывается на учении о том, что формы умозаключения и доказательства — это формы научного мышления, ведущего от незнания к знанию, от истин данных к истинам неданным. В «Первой Аналитике» разрабатывается учение об умозаключениях, в центре которого стоит теория вывода, называемого силлогизмом. В создании этой теории, как отмечает сам Аристотель, он не имел предшественников. Во «Второй Аналитике» развивается учение о знании, о доказательстве и о высших основаниях доказательства. Материалистическая тенденция проявляется здесь в учении о происхождении знания — в его целом — из материалистически понимаемого опыта, а идеалистическая — в учении о том, что высшие аксиомы, лежащие в основе всего знания, — умозрительны и будто бы не могут быть почерпнуты из опыта.

Проницательность Аристотеля указала ему на эти формы как на центральный предмет всей логики. И действительно: логическое мышление есть прежде всего мышление умозаключающее и доказывающее. Огромное большинство всех истин во всех науках далеко не очевидно и потому доказываются. В свою очередь научное доказательство обычно ключает в себя — как часть — более или менее длинную цепь умозаключений или выводов.

Но если научная мысль с первых своих шагов оказалась мыслью умозаключающей и доказывающей, то это вовсе не значит, будто одновременно с применением в научной практике форм умозаключения и доказательства учёным сразу стало ясно, что представляют собой само умозаключение и само доказательство как логические формы. Именно постановка и разработка этих вопросов и сделала Аристотеля создателем науки логики.

Аристотель не описывает в «Аналитиках» отдельных конкретных примеров научных выводов и доказательств, а выясняет логическое строение этих форм и общие условия их применения, необходимые для познания истины.

Именно такая постановка вопроса характеризует логику как науку. В этом от-

ношении логика напоминает геометрию, которая, по словам И. В. Сталина, «даёт свои законы, абстрагируясь от конкретных предметов, рассматривая предметы, как тела, лишённые конкретности, и определяя отношения между ними не как конкретные отношения таких-то конкретных предметов, а как отношения тел вообще, лишённые всякой конкретности»¹.

Общая логическая теория мышления, в частности общая логическая теория умозаключения и доказательства, могла возникнуть не как априорная теория и не как теория, основывающаяся на ограниченном и несовершенном, бедном формами доказательства опыте обиходного мышления. Теория эта могла возникнуть только как философское — логическое — обобщение форм умозаключения и доказательства, применявшихся в практике научного мышления.

Но каким образом мог один мыслитель, пусть гениальный, как Аристотель, охватить в обобщающем логическом исследовании различные формы и виды умозаключений и доказательств, практиковавшихся различными науками?

Во времена Аристотеля — в IV веке до нашей эры — эта труднейшая задача облегчалась самым характером античной науки и её отношением к философии. В то время в древней Греции не было ещё наук, отдельных от философии, и философии, отдельной от наук. Даже математика, которая раньше других наук выделилась в специальную область исследования, в значительной мере развивалась трудами философов (пифагорейцы, Зенон, Демокрит). «По сути дела, — говорил А. А. Жданов, — греки знали лишь одну, нерасчленённую науку, в которую входили и философские представления. Возьмём ли мы Демокрита, Эпикура, Аристотеля, — все они в равной мере подтверждают мысль Энгельса о том, что «древнейшие греческие философы были одновременно естествоиспытателями» (Ф. Энгельс, Дialeктика природы. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XIV, стр. 498)»².

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. Издательство «Правда», 1950, стр. 20.

² А. А. Жданов. Выступление на дискуссии по книге Г. Ф. Александрова «История западноевропейской философии» 24 июня 1947 г. Госполитиздат, 1951, стр. 10.

Поэтому всеохватывающий ум Аристотеля мог развивать философские и логические исследования, опираясь на весь круг современных ему знаний: математических, физических, биологических и социальных. Основа логики Аристотеля и, в частности, его «Аналитик» — не схоластическая, а живая. Её опытным и строгим материалом оказались главным образом: 1) виды умозаключения и способы доказательства, практиковавшиеся современной Аристотелю математикой; 2) виды классификации, применявшиеся Аристотелем и учениками его школы в биологии — в сравнительной анатомии животных, созданной трудами самого Аристотеля, в зоологии, в ботанике, а также в языкознании, в поэтике, в риторике и т. д.

Созданная на этой научной основе общая логическая теория, развитая в «Аналитиках», оказалась превосходной по разработке. Для тех задач, которые Аристотель перед собою ставил, и при тех точках зрения, которыми он руководствовался, его логическая терминология полна, точна и целесообразна. Аристотель уже частично пользуется системой логических обозначений, которые получили дальнейшее развитие в новейших работах по логике.

В силу всех этих своих качеств «Аналитик» Аристотеля давно вошли в историю логики как один из основоположных классических трудов. Энгельс, который полагал, что исследование форм мышления есть «очень благодарная и необходимая задача...»¹, чрезвычайно высоко оценил её решение, данное Аристотелем. Эту задачу, говорил Энгельс; «выполнил после Аристотеля систематически только Гегель»².

Казалось бы, центральный труд Аристотеля по логике должен был давно существовать в русском переводе. В действительности же в досоветское время полного русского перевода «Аналитик» не было, хотя, как уже упоминалось, логика Аристотеля была предметом преподавания в русских духовных школах ещё в XVII веке.

В 1894 году в Петербурге появился выполненный Н. Ланге перевод одной лишь «Первой Аналитики», содержащей учение

об умозаключениях. Чрезвычайно важное учение о доказательстве, изложенное во «Второй Аналитике», оставалось недоступным русскому читателю, не владевшему в совершенстве греческим языком или, по крайней мере, теми иностранными языками, на которые были переведены обе «Аналитики».

Ныне этот важный пробел заполнен. Советский читатель получил возможность читать и изучать полностью гениальное произведение Аристотеля. Для специалистов возможность эта имеет особенно важное значение. В многочисленных учебных заведениях, где ведётся преподавание логики и читается обширный курс её истории, изучение логических учений Аристотеля занимает по праву видное место. Незаменимо обращение к тексту «Аналитик» и при изучении теоретического курса логики.

Помимо полноты, перевод «Аналитик» отличается высокими научными достоинствами. Он без всякого преувеличения может быть признан одним из лучших — наиболее точных, наиболее тщательных и с полным знанием дела выполненных — переводов «Аналитик», какие только имеются на новых языках.

В основу текста положен перевод «Аналитик», выполненный покойным профессором Б. А. Фохтом. Однако переводчик, как указывает редакционное предисловие, подверг перевод значительной переработке.

Читатель, незнакомый с древнегреческим языком и, в частности, с языком сочинений Аристотеля, не может составить себе даже приблизительного представления об огромных, порой почти непреодолимых трудностях, которые встречает попытка перевести на современные языки логические трактаты Аристотеля.

Переводчик этих сочинений должен быть не только прекрасным филологом, знатком древнегреческого языка, но и знатком философии Аристотеля и его логики.

Трудности уяснения всех противоречий и оттенков мысли Аристотеля усугубляются в «Аналитиках» трудностями языка. Стиль логических работ Аристотеля настолько сжатый, что сжатость эта зачастую наносит ущерб понятности. Дословный перевод текста Аристотеля делает его попросту невразумительным.

Не удивительно поэтому, что некоторые переводчики Аристотеля впадали в дру-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XIV, стр. 493.

² Там же.

кую крайность: вместо точного перевода они предлагали более или менее свободный пересказ. Изложение становилось более понятным, но более интенсивная при этом методе интерпретация текста Аристотеля часто уводила читателя далеко от подлинной мысли греческого философа.

Переводчик «Аналитик» не пошёл ни по одному из этих двух путей. Он поставил своей задачей дать перевод по возможности точный, но не копирующий сжатость подлинника. Там, где сжатость эта грозит попятности, переводчик не подставляет на место фразы Аристотеля другой фразы с приблизительно тем же смыслом. Он сохраняет всё основное содержание и построение фразы подлинника, но расширяет предложение Аристотеля, вставляя слова, подразумевающиеся и поясняющие его

смысл. При этом все добавления выделены в тексте посредством косых скобок — превосходный метод, дающий читателю возможность сразу видеть, что говорит сам Аристотель и что добавил переводчик.

Такие труды, как «Аналитики», нуждаются в комментариях. Текст часто содержит лишь намёк на мысль, которая ещё должна быть развёрнута и представлена во всех логических звеньях. Особенно полезно то, что переводчик, составивший комментарии, развивает в них в полной форме те умозаключения, логическая характеристика которых дана Аристотелем в тексте лишь схематически, с помощью буквенных обозначений терминов.

Особо следует отметить прекрасное качество литературной редакции перевода.

В. АСМУС.

★

Африка борется

События последних лет убедительно свидетельствуют, что народы Африки с огромной, доселе невиданной силой поднимаются на борьбу за свободу и независимость своей земли. Трудящиеся массы Египта мощно выступили против английских империалистов, стремящихся удержать Суэцкий канал, это национальное достояние египетского народа. Развитие национально-освободительного движения в Тунисе, Алжире, Марокко колеблет устои французской колонизации. Всё смелее отстаивают свои насущные права угнетённые африканские народы в бельгийских, испанских, португальских колониях.

В свете этих событий значительный интерес представляет книжка С. Датлина «Африка под гнётом империализма». Ценность её заключается в довольно обильном, удачно отобранном фактическом материале, который мало знаком советскому читателю. Это в особенности относится к таким актуальным вопросам, как вторжение доллара на Чёрный континент.

В своих агрессивных планах правящие круги США отводят Африке видное место. На африканском материке возводятся различные военные сооружения. Широкое развитие получило строительство аэродромов

Некогда маленькие африканские порты с ограниченным грузооборотом превращаются ныне в мощные военно-морские базы. Оборудуется порт Монровия в Либерии. Многие тысячи африканцев согнаны со всей территории Танганьики для строительства военного порта Макинъдани.

США прибирают к своим рукам не только воздушные и морские, но и наземные пути. Под руководством американских специалистов прокладывается железная дорога от Монровии, через Либерию, до Французской Гвинеи. США финансируют строительство и другой важной железнодорожной магистрали, которая свяжет Центральную Африку с портами британской Восточной Африки. Все эти дороги, по замыслу американских монополистов, должны образовать несколько трансафриканских линий: Триполи—Кейптаун через французскую Экваториальную Африку, Каир—Кейптаун через Кению, Дакар—Порт-Судан и т. д.

Впрочем, монополии США, не дожидаясь, пока будут построены и освоены коммуникации, уже захватили месторождения нефти, урана, свинца, цинка, марганца, вольфрама, принадлежавшие их европейским партнёрам.

В вассальное положение попали французские владения в Африке. С. Датлин пра-

С. Датлин. «Африка под гнётом империализма». Редактор Г. Головенков. Госполитиздат, М. 1951.

вильно отмечает, что нынешние правители Франции, раболепствующие перед американским капиталом, проложили дорогу экспансии Уолл-стрита в Африке. Американские монополии распространили своё влияние на Западную и Экваториальную французскую Африку. Трест «Юниливер», фактическими хозяевами которого являются американцы, пользуется там почти монопольным правом на скупку какао и масличных культур.

Широко открыло перед американцами двери своих колоний и бельгийское правительство. До войны американцы вывозили из Бельгийского Конго только пальмовое масло. В настоящее время на их долю приходится треть всего экспорта колоний. Больше того, по специальному американо-бельгийскому соглашению, США вывозят оттуда всю урановую руду.

Действенную помощь доллару в его борьбе с фунтом оказывает так называемое «Управление экономического сотрудничества», занятое осуществлением плана Маршалла. В связи с деятельностью этого управления, направившего в Африку многочисленные геологические и топографические экспедиции, газета «Дэйли мейл» писала: «Американским властям будут предоставлены полные стратегические и экономические данные о Британской империи. Более года английские военные самолёты «Ланкастер», базируясь в Восточной и Западной Африке, ведут подготовку к осуществлению этого замысла. Все фотоснимки джунглей, произведённые ими над необследованной территорией в тысячах миль, отправлены в Вашингтон».

Вторжение доллара в Африку ожесточило борьбу империалистических держав и ещё больше ухудшило положение населения. Коренные жители страны во всех отношениях бесправны. Достаточно сказать, что африканцы не признаются гражданами так называемого «Британского содружества наций». Они лишены права голоса в их собственной стране, на земле, щедро подаренной им потом и кровью.

Колонизаторы стремятся держать миллионы африканцев в состоянии темноты и невежества. В Британском Сомали и Англо-Египетском Судане 99 процентов туземного населения неграмотны. В Бечуаналенде на 300 тысяч жителей имеется всего одна средняя школа.

Эпидемические болезни, из которых чума является не самой страшной, беспрепятственно свирепствуют среди населения Африки. Это вполне понятно, если вспомнить, что в Нигерии, например, один врач приходится на 133 тысячи человек. Подсчитано, что во всех африканских колониях Англии более миллиона слепых. Однако в четырёх случаях из пяти потеря зрения могла быть предотвращена, если бы больному была оказана необходимая медицинская помощь.

«Белые в Африке, — заявил бывший премьер-министр Южной Родезии Хаггинс, — никогда не согласятся рассматривать африканцев как равных себе в политическом или социальном отношении».

За одну и ту же работу туземец получает в десять раз меньшую зарплату, чем европеец. В случае потери трудоспособности туземец немедленно возвращается в резервации и, лишённый средств к существованию, обрекается на голод. Телесные наказания стали настолько обычным и узаконенным явлением, что этого не в состоянии отрицать сами колонизаторы. По словам английского представителя в Совете по опеке Организации Объединённых Наций, наказание негров кнутом — «вполне нормальное явление».

Однако, свидетельствует С. Датлин, на африканской земле нарастают грозные события. Последние годы были отмечены бурным ростом рабочего класса Африки. Только с 1938 по 1948 год число рабочих в Южно-Африканском Союзе выросло в два раза.

Одновременно растёт организованность трудящихся, сплачиваются их ряды. Профсоюзы Южно-Африканского Союза насчитывают около 200 тысяч, Алжира — более 200 тысяч, Туниса — 50 тысяч, Марокко — 80 тысяч человек.

Сила прогрессивных африканских профсоюзов состоит в том, что они решительно выступают против расовой и национальной розни и всей своей деятельностью олицетворяют единство трудящихся. Теперь уже не в диковину, когда профсоюзом, состоящим на две трети из рабочих-европейцев, руководит туземец.

С. Датлин отмечает, что движение африканских трудящихся за свободу и независимость возглавляют коммунисты. Старейшие компартии Африки — Южно-Африканского Союза, Алжира, Туниса — суще-

ствуют по 25—30 лет и накопили значительный опыт борьбы за независимость своих народов.

На африканском континенте растёт армия борцов за мир, включающая в себя самые широкие слои трудящихся. Волнующее зрелище представляют митинги сторонников мира, происходящие в самых глухих уголках континента. «Нередко бывает,— пишет известный африканский борец за мир У. Кулибали,— что темнокожие крестьяне проходят пешком по 20—30 километров лесными и горными тропами, спеша на митинги, о которых возвещают из деревни в деревню гулкие звуки там тама... В Бобо-Диулассо, на территории Верхней Вольты... на митинге присутствовало больше 10 тысяч человек».

Борьба против колониального гнёта развернулась на территории всего африканского континента, но особенно большой размах она приобрела во французской Северной Африке, Южно-Африканском Союзе, в Нигерии, Уганде, Кении, Англо-Египетском Судане, на Мадагаскаре и Золотом берегу.

Империалисты всячески изощряются в своём стремлении сковать растущую активность трудящихся. Они спешно заменяют слово «колония», ставшее синонимом неограниченного произвола и угнетения, новыми названиями — «заморские территории» или «присоединившиеся государства». Но, сменив вывеску, колонизаторы оставили неизменными самые порядки в колониях. На землях Египта, Туниса, Алжира, Марокко свирепствуют пуля и штык. Вот уже 14 лет Тунис находится на осадном положении; на военном положении находятся многие города Египта. Не проходит дня, чтобы из городов и посёлков Африки не приходили вести о новых и новых выступлениях трудящихся против колониального произвола.

Французские колониальные власти, поощряемые к этому американской военщиной, установили на территории Туниса, Алжира, Марокко кровавый полицейский режим. Генеральный резидент Туниса, обязанности которого выполняет вишист Перийе, по существу наделён неограниченными полномочиями. Выполняя его приказ, французские солдаты буквально потопили в крови мирную манифестацию тунисских патриотов.

Но с неослабевающей силой продолжает бушевать на тунисской земле огонь освободительной борьбы. По всей стране происходят забастовки. На произвол колониальных властей, бросивших за тюремную решётку руководителей компартии и профсоюзов, жители Туниса ответили грандиозной стачкой, в которой участвовали не только рабочие, но и крестьяне, ремесленники, торговцы. Прекратили работу заводы, фабрики, учреждения, закрылись рынки и магазины. Американские суда, прибывшие в тунисские порты с оружием, остались неразгруженными.

Петэновскому чиновнику Перийе не уступает правый социалист Нежлен, которому доверен пост алжирского генерал-губернатора. Нынешний Алжир, где полицейские обязанности выполняют оккупационные войска, в сущности, находится, как и Тунис, на осадном положении. По словам видного алжирского деятеля профессора Андре Мандуза, выборы в Алжире напоминают настоящую военную операцию, а избирательные участки — укрепленные пункты.

Нежлену принадлежит замысел грандиозной провокации, имеющей целью «одним ударом» покончить с движением алжирских патриотов. С помощью своих сподвижников Нежлен, чтобы столкнуть европейцев, живущих в Алжире, с коренным населением, распространил по стране слух, будто бы арабы хотят расправиться с французами. Прикрываясь этой провокацией, Нежлен снарядил карательные экспедиции, жертвами которых стали сотни прогрессивных алжирских граждан. Но Нежлен ошибся в расчётах. Трудящиеся Алжира, руководимые коммунистами, создали по всей стране комитеты борьбы против репрессий. В этих комитетах с трудящимися алжирцами деятельно сотрудничали трудящиеся европейцы. Уступая требованиям комитетов, Нежлен вынужден был освободить многих из тех, кого он бросил в тюрьму.

В нынешнем году мощная стачка охватила весь Алжир. Она началась забастовкой железнодорожников. В борьбу включились докеры всех алжирских портов, прекратившие на три дня работу. Затем забастовали транспортные рабочие. Наконец, разразилась всеобщая стачка рабочих электросети и газовых предприятий. Выступление алжирских рабочих убедительно показало, насколько непрочно положение коло-

низаторов в этой стране. Непопулярными и бесплодными оказались попытки очернить Советский Союз в глазах трудящихся Африки. Члены алжирской рабочей делегации, побывавшей в СССР в октябре нынешнего года, писали: «Мы убедились, насколько клеветнической является пропаганда империалистов, пытающихся доказать, что Советский Союз готовит войну и угрожает миру. После месячного пребывания в Советском Союзе мы можем и должны заявить, что народы Советского Союза искренне желают мира и неутомимо работают для его сохранения».

Книжка С. Датлина во многом выиграла бы, если бы её последняя глава, посвящённая национально-освободительному движению Африки, была во всех своих разделах подкреплена достаточным количеством фактов. Борьба трудящихся Египта, Англо-Египетского Судана, Бельгийского Конго освещена в ней слишком бедно. Мало показаны те изменения, которые произошли в рабочем движении Африки за последние годы, в частности, обойдена борьба за сплочение прогрессивных сил

всего африканского континента. Следовало отметить, например, такое крупное событие, как подготовительное совещание к Всеафриканской конференции прогрессивных профсоюзов, на котором была выработана хартия борьбы за гражданские права и жизненные условия трудящихся Африки. Как свидетельствуют материалы сессии Исполнительного Комитета Всемирной Федерации Профсоюзов, состоявшейся в июне сего года в Вене и специально обсудившей вопрос о рабочем движении в Северной Африке, прогрессивные профсоюзы Египта, Туниса, Алжира, Марокко играют всё большую роль в национально-освободительной борьбе своих народов.

В книге делается попытка обрисовать роль рабочего класса метрополий в борьбе трудящихся колониальных стран. Но вопрос этот раскрыт далеко не так полно, как он этого заслуживает. Следовало бы дать читателю хотя бы общее представление о программных установках на этот счёт французской, английской и бельгийской коммунистических партий.

С. АРТЕМЬЕВ.

★

Энциклопедия бандитизма

Энциклопедией бандитизма вполне может быть названа книга американского криминалиста Франка Танненбаума «Преступление и общество», вышедшая в свет в Нью-Йорке. Видимо, помимо воли автора эта книга рисует ужасающую картину бандитизма, вымогательства и коррупции в США. Интерес этой книги для советского читателя заключается в том, что каждая её строка подтверждена ссылкой на официальные источники, правительственные обследования, полицейские отчёты, судебные материалы.

Понятно, что не от хорошей жизни буржуазный автор подробно описал потрясающие факты тесной и вполне «деловой» связи между господствующими политическими партиями, миром «блестящих порядков» и миром организованного преступления.

Эти факты настолько убедительны, что

Франс Танненбаум. „Crime and the Community“. New York, 1951. (Франк Танненбаум. «Преступление и общество». Нью-Йорк, 1951.)

профессор Колумбийского университета Макивер, снабдивший книгу предисловием, вынужден согласиться с её автором, что так называемое «организованное преступление» в США является порождением всего социального строя страны, и признать, что, пока в Америке не произойдут глубочайшие социальные изменения, не изменится ни количество преступлений, ни их характер. «Я советую,— осторожно замечает Макивер,— чтобы читатель тщательно изучил этот вывод и рассмотрел бы, куда он ведёт».

Мы позволим себе привести пространную цитату из Ф. Танненбаума, являющуюся по существу квинтэссенцией всей его книги.

«Преступники,— пишет он,— составляют часть нашего общества и являются его продуктом так же, как наши философы, поэты, изобретатели, наши бизнесмены и учёные, наши реформаторы и святые. Если бы мы пожелали изменить количество преступлений в данном обществе, мы должны были бы изменить само общество, так как

преступление — кость от кости и плоть от плоти общества. Оно даёт преступнику не только цели и идеалы, не только связывает его с тем миром, в котором он действует. Общество предоставляет ему те средства, которые преступник применяет, включая огнестрельное оружие». Мало того, «само противопоставление общества и преступного мира как добра и зла есть ложное положение, только затемняющее сущность вещей. Количество преступлений в Соединённых Штатах соответствует всем факторам и силам американской жизни, оно является отражением нашей политики, полицейской организации, гражданской и судебной администрации, нашей иммигрантской политики, наших социальных условий, нашего промышленного строя, нашей морали, нравов и культуры. Преступление это такая же характерная черта американской жизни, как увлечение бейсболом, рост количества разводов, как фродизм или кино. Преступление — продукт всей совокупности наших установлений».

Далее Ф. Танненбаум пишет:

«Тому, кто предложил бы вопрос: «почему вы имеете такую большую преступность и почему распространён именно этот вид преступлений?», следует самому ответить на более широкий вопрос: «почему вы имеете такой тип полетической жизни в больших городах?». Этот второй вопрос вынуждает ответить на ещё более широкий: «почему американская цивилизация и культура стала именно такой?». Только в этих широких рамках проблема преступления и может обсуждаться».

Приняв этот принципиальный тезис, автор стремится всё же как-то смягчить и завуалировать непосредственную связь американских господствующих партий с преступным миром. «Политический деятель, — говорит он, — сам по себе не преступник и не покровитель преступников; такое определение было бы слишком грубым, неточным и прямолинейным».

Но тут же автор, противореча себе, пишет: «До очевидности ясно, что значительная часть преступлений стала возможной в нашем обществе, а может быть — неизбежной, благодаря своеобразной связи, которая существует между нашими политическими организациями и поощряемой партиями преступной деятельностью разных банд. Здесь не имеется в виду, — спохватывается он, — бросить прямой упрёк на-

шим политикам, так как мы не можем осудить их, не осудив всего нашего общества...».

И всё же, как бы подводя итог, автор вынужден признать, что «создавшиеся на типично американской почве партийные организации... среди многих других дел покровительствуют некоторым антисоциальным и преступным элементам и извлекают пользу из их деятельности».

Эта преступная деятельность, поощряемая политиками, приносит им немалую пользу — рука руку моет, хотя обе и остаются грязными...

Но гангстеры нужны политическим партиям не только для получения денежных средств: без них невозможно было бы осуществить «демократическую» систему выборов в Соединённых Штатах.

Бандиты принуждают избирателей заполнять списки вымышленными фамилиями или фамилиями лиц, не имеющих избирательных прав. Они насильственно устраняют должностных лиц, уполномоченных для проведения выборов и подсчёта голосов, и заставляют их путём угроз признавать недействительными бюллетени, поданные за другую партию. Они путают подсчёты, набивают урны бюллетенями ещё до начала выборов или делают налёты на избирательные участки и выкрадывают урны. Терроризируя счётчиков, они принуждают их засчитывать подложные бюллетени. Не в диковинку и обстрел избирательных участков, а также разгон избирателей.

В капиталистической Америке человек, живущий преступлением, рассматривает его исключительно с экономической точки зрения. Он говорит о преступлении, пользуясь терминологией, свойственной любой другой отрасли предпринимательства. Он смотрит на преступление как на профессию, дающую ему средства к существованию.

Американская преступность достигла высокой степени организованности. Отдельные шайки специализируются на определённых видах преступлений, например, на похищении автомобилей, на ограблении банков или ювелиров и пр. Всё это требует специальных навыков и опыта, тщательного «планирования» и даже хронометража, что обеспечивает высокий «технический уровень» выполнения. Знаменитая теселеровская банда в Нью-Йорке пользо-

валась глушителями на оружии, имела специального ювелира для ремонта и переделки украденных драгоценностей, содержала гаражи, где изменялся внешний вид угнанных машин, располагала помещениями, где производилась продажа краденых вещей, создала запасный фонд для поручительства и оплаты гонораров адвокатам.

Скупка краденого принимает в США оптовые формы. Владельцы «складов» имеют постоянные кадры взломщиков и магазинных воров для похищения различных товаров. Склады располагают машинами с надписями «молоко» или «хлеб». Это обеспечивает им безнаказанные поездки по городу в ранние утренние часы.

Американская полиция, суд, прокуратура — всё подкуплено. Ради выгод «предприятия» все средства признаются допустимыми. Исчезают судебные протоколы, терроризированные свидетели отказываются давать показания, иначе их похищают и даже убивают, судей и присяжных подкупают, мотивы преступлений извращаются, постановления судов задерживаются исполнением, возводятся клеветнические встречные обвинения, — словом, проделывается всё, чтобы затруднить расследование или свести к нулю его результаты. Организованные преступники систематически освобождаются от наказания после уплаты необходимой суммы. Преступные банды так могущественны, что, действуя через посредство провокаторов, добиваются осуждения невинных людей, если они не в состоянии купить свою свободу. Эти факты, замечает автор, кажутся невероятными, но они полностью доказаны.

Тесные отношения между организованными преступниками и судьями устанавливаются через посредство клерков, профессиональных поручителей и защитников по уголовным делам. Весь день эти тёмные личности толкуются в судах в поисках лёгкого заработка. Они в дружеских отношениях с детективами, полисменами и сотрудниками прокуратуры. В таком большом городе, как Нью-Йорк, сотни тысяч людей ежегодно подвергаются приводу в суд. В большинстве это бедняки. Вся обстановка суда, чужие люди, неведомые силы, двигающие судебную машину, ужасают, подавляют их, и они легко становятся добычей аферистов. Судебные клерки — самые

удобные посредники между бандитами и судьями. Клерки обычно являются членами политических партий, состоят председателями избирательных комиссий, завсегда членами политических клубов и других организаций, где могут проявить свою активность и зарекомендовать себя в глазах влиятельных людей. Для того чтобы получить назначение в судебный аппарат США, никаких юридических знаний и подготовки не требуется.

Политическая атмосфера в Америке такова, что дружеские отношения между судьями и гангстерами поддерживаются открыто. На банкетах, даваемых судьями, в качестве почётных гостей частенько присутствуют всем хорошо известные гангстеры и бывшие осуждённые.

На похоронах убитого в Чикаго гангстера «Большого Джима Колосимо» среди почётных участников церемонии было двенадцать высших должностных лиц, в том числе восемь членов городского самоуправления, два конгрессмена и двое судей. Первую роль в церемонии играли сенатор и член городского совета.

Автор книги приводит персональный список «почётных» участников похорон убитого бандита. Среди них были двадцать один судья, девять адвокатов и шестнадцать других «уважаемых» лиц, в том числе государственный прокурор и представители ряда фирм. Погребальная процессия растянулась на две с половиной мили; в ней участвовало около восьми тысяч человек. Цветов на гроб было возложено на восемь тысяч долларов.

Если начинается движение прогрессивных элементов за создание в США независимой юстиции, то все силы политической машины объединяются против подобной реформы.

В отличие от прямых фальсификаторов автор в меру своих сил и классовой ограниченности пытается всё же найти практический путь к излечению социальных недугов современной американской жизни. Для этого он предлагает... улучшить систему тюремно-исправительных учреждений.

Таков тупик, в который заходит мысль даже наиболее объективных буржуазных учёных, не могущих порвать с миром капитализма.

А. НИКИФОРОВ.

Арктика глазами художника

Многие из книг советских полярных исследователей по своей художественной силе не уступают романам. Они увлекают героической борьбой с суровой северной природой, они сильны правдой подлинной жизни, жизни мужественной, целеустремлённой.

К таким книгам можно отнести сборник очерков советского арктического исследователя Н. В. Пинегина, совмещавшего в одном лице учёного-полярника, талантливого художника-пейзажиста и писателя.

Пинегин умер в 1940 году и не успел полностью подготовить к печати свой сборник «Записки полярника». Его труд завершил И. С. Соколов-Микитов.

Книга открывается ранними работами Пинегина, объединёнными общим названием «На неведомый Север». В очерке «Первое путешествие» Пинегин рассказывает, как он, молодой студент-художник, с группой таких же юных энтузиастов путешественников отправился исследовать старинный Екатерининский канал. Нелепая случайность — гибель товарища, происшедшая в результате неосмотрительности, — помешала исследователям выполнить свой замысел. Этот трагический случай послужил Пинегину уроком на всю жизнь. Он твёрдо усвоил и всегда соблюдал золотое правило путешественника — проводить тщательную, продуманную подготовку перед экспедицией.

Вскоре Пинегину удалось побывать на Мурмане. Это был уже подлинный Север — преддверие Арктики. В очерках «Старый Архангельск», «За полярным кругом» и других Пинегин описывает свои впечатления от этой поездки. Наблюдательность художника, замечающего малейшие детали северного пейзажа, характерные черты быта русских поморов, позволила Пинегину правдиво и занимательно рассказать об этой «неведомой» тогда окраине нашей Родины.

Очерк «На птичьих островах» — лучший из «мурманской серии» — удивительно живо и выразительно передаёт своеобразный колорит природы Мурмана. Читатель ярко представляет себе сказочное царство непуганых птиц, фигуру его добродушного стража монаха Пантелея.

Свою первую поездку в «настоящую» Арктику, на Новую Землю, Пинегин совершил в 1910 году. Этой поездке посвящены очерки «В Крестовой губе», «На голый земле», «К мысу Желания» и др.

На пароходе Пинегин познакомился с офицером-гидрографом Седовым. В своей книге «Георгий Седов», вышедшей отдельным изданием, Пинегин рассказывает, как он вначале недоверчиво относился к Седову и как позднее искренне привязался к нему. В дальнейшем эта привязанность перешла в крепкую дружбу и определила жизненный путь автора. Пинегин стал участником прославленной экспедиции Седова, его ближайшим помощником, разделившим все тяготы двухлетнего полярного плавания.

Очерки Пинегина, относящиеся к поездке 1910 года, интересны главным образом тем, что в них — впервые в полярной литературе — раскрывается картина хищнических действий норвежских браконьеров-зверопромышленников, картина беззащитной эксплуатации капиталистами и чиновниками новоземельских зверобоев — ненцев и русских.

Приходится лишь пожалеть, что Пинегин не исчерпал до конца всего огромного запаса наблюдений и впечатлений, вынесенных из этой поездки. Он мог бы рассказать о чудовищной по своей гнусности истории, связанной со снабжением новоземельских колонистов гнилыми продуктами, в которой были замешаны крупные царские чиновники. Очень мало говорит Пинегин о своём знакомстве с Русановым и о встрече в Крестовой губе Русанова с Седовым, свидетелем которой он был.

Самую большую по объёму часть сборника занимает известная работа Пинегина «В ледяных просторах», посвящённая экспедиции Седова. М. Горький, ценивший литературный талант Пинегина, в своё время содействовал выходу этой работы в свет. Книга сильна своим драматизмом, эмоциональностью, замечательными описаниями Арктики, яркими портретами некоторых участников экспедиции.

Эта работа Пинегина могла бы считаться одной из лучших книг о полярных путешествиях, если бы она не страдала неко-

торыми существенными недостатками. В частности, Пинегиным почти не освещена та обстановка клеветы и злопыхательства, в которой Седову пришлось готовить свои экспедиции. Недостаточно ярко обрисована фигура черносотенца Кушакова, справедливо названного матросами «Фоки» «злом экспедиции».

Автор должен был бы полнее осветить взаимоотношения участников экспедиции. Он не дал объяснения некоторым фактам, записанным в судовом журнале, не использовал многих безусловно известных ему документов. Опущен, например, такой замечательный документ, как последний приказ Седова перед отправлением на полюс. В этом приказе знаменитый путешественник, обращаясь ко всем участникам экспедиции, говорил о большой чести, выпавшей им, «маленьким людям»: осуществить мечту Ломоносова, Менделеева и других великих русских людей, «сделать посильное идейное и научное завоевание в полярном исследовании на гордость и на пользу нашего отечества».

Следовало ожидать, что обо всех упущениях автора скажет редактор-составитель, предпослав сборнику обстоятельный критический разбор литературного творчества Пинегина. К сожалению, И. С. Соколов-Микитов ограничился лишь кратким предисловием.

В серии очерков, озаглавленных «В стране песцов», Пинегин описывает свои путешествия по Северной Якутии и зимовку на Новосибирских островах в 1927—1929 годах. Он рассказывает о работе советских полярников, о переменах, происшедших в Северной Якутии после Великой Октябрьской социалистической революции, о жизни северных охотников, об истории исследования этой области Арктики. Автор щедро вводит в повествование фольклорный материал.

Лучшие страницы этих очерков — те, на которых Пинегин говорит о своих друзьях, бескорыстных и деятельных его помощни-

ках — промышленниках и каюрах. Вместе с автором читатель глубоко переживает смерть скромного, самоотверженного охотника Митрофана Иванова, восхищается поразительным умением каюра Меника ориентироваться в пургу, любитесь стойкой выносливостью проводника Николая Рожина с реки Бытантая.

Однако для того, чтобы читатель яснее мог представить сегодняшний день Якутии, следовало дать и к этой части сборника некоторые комментарии. Их роль, по замыслу составителя, должны были выполнить четыре очерка, завершающие книгу и объединённые в цикл «Воспоминания». Однако за истёкшие годы в Советской Арктике произошли огромные сдвиги, тогда как события, описанные в этих очерках, относятся к тому времени, когда лишь началось развёрнутое наступление большевиков на Север.

Не совсем удачен заголовок заключительного очерка «Новые люди», в котором показан, по существу, лишь один человек.

Не стоит на высоте и художественное оформление «Записок полярника». Если документальные фотографии обогащают книгу, то работа оформителя А. М. Орлова оставляет желать лучшего. Явно не удовлетворяет читателя тривиальный рисунок на обложке. Наивны и неинтересны заставки, концовки, шмуцтитуты, обнаруживающие слабое знакомство художника с арктической тематикой. Следует пожалеть и о том, что в книге Пинегина отсутствуют репродукции с его картин, по которым читатель мог бы судить и о художественном таланте автора.

Отдельные неточности встречаются в словаре местных и морских терминов, в примечаниях редактора.

Все эти легко исправимые недостатки играют роль пресловутой «ложки дёгтя» в хорошей, интересной и нужной книге Н. В. Пинегина.

Н. БОЛОТНИКОВ.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

(Октябрь — ноябрь 1952 года)

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс и Ф. Энгельс. Об Англии. 518 стр. Цена 9 р. 80 к.

В. Григорьян. Правые социалисты — оруженосцы империализма. 80 стр. Цена 1 р.

Идеологи империалистической буржуазии — проповедники агрессии и войны. 344 стр. Цена 5 р. 50 к.

А. Кузнецов. Новый Китай. 152 стр. Цена 1 р. 75 к.

В. А. Маслеников. Углубление кризиса колониальной системы империализма. 63 стр. Цена 60 к.

А. Н. Радищев. Избранные философские и общественно-политические произведения. 676 стр. Цена 9 р. 35 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Михаил Голодный. Стихи. Баллады. Песни. 136 стр. Цена 2 р. 40 к.

«Дружба народов». Альманах № 4. 380 стр. Цена 6 р.

Вера Инбер. Поэмы и стихи. 196 стр. Цена 3 р. 50 к.

Берды Кербабаяев. Стихи и поэмы. Авторизованный перевод с туркменского. 164 стр. Цена 3 р. 60 к.

Вадим Кожезников. Мера твердости. Повести и рассказы. 608 стр. Цена 8 р. 95 к.

Вл. Лидин. Свежий ветер. Рассказы. 384 стр. Цена 6 р. 30 к.

Вл. Мазурюнас. Стихи. Авторизованный перевод с литовского. 160 стр. Цена 2 р. 60 к.

Орест Мальцев. Югославская трагедия. Роман. 492 стр. Цена 8 р. 30 к.

Виктор Полторацкий. В дороге и дома. Очерки и рассказы. 220 стр. Цена 3 р. 90 к.

Мицла Руденко. Поколения идут. Стихи. Авторизованный перевод с украинского. 112 стр. Цена 1 р. 70 к.

Александр Чаковский. Хван Чер стоит на посту. Повесть. 244 стр. Цена 4 р. 70 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Антология венгерской поэзии. Вступительная статья Анатолия Гидаш. Составление и редакция переводов Анны Красновой. 563 стр. Цена 16 р. 30 к.

Рудольф Блауман. Рассказы. Перевод с латышского Л. Блюмфельд. 184 стр. Цена 2 р. 30 к.

М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах. Том 19. Жизнь Клима Самгина. 1925—1936. 548 стр. Цена 12 р.

Эмиль Золя. Рассказы и статьи. Перевод с французского. 240 стр. Цена 2 р. 45 к.

Аветик Исаакян. Избранные произведения. Авторизованные переводы с армянского. 363 стр. Цена 7 р. 10 к.

Генрих Манн. Верноподанный. Роман. Перевод с немецкого А. Полоцкий. Предисловие И. Миримского. 376 стр. Цена 7 р. 70 к.

Николай Никитин. Северная Аврора. Роман. 459 стр. Цена 8 р. 75 к.

Осетинская литература. Переводы с осетинского. Составители Х. Ардабейнов, Т. Епхийев, Д. Мамсуров. 363 стр. Цена 15 р. 15 к.

А. Н. Островский. Полное собрание сочинений. Том XI. Избранные переводы с английского, итальянского, испанского языков. 1865—1879. 392 стр. Цена 10 р. Том XIII. Художественные произведения. Критика. Дневники. Словарь. 1843—1886. 404 стр. Цена 10 р.

Лев Ошанин. Стихи и песни о друзьях. 292 стр. Цена 6 р. 5 к.

Борис Полевой. Повесть о настоящем человеке. Рисунки Николая Жукова. 318 стр. Цена 16 р. 70 к.

Русские народные сказки. Вступительная статья, составление и подготовка текстов. А. Нечаева. 536 стр. Цена 7 р. 75 к.

Вальтер Скотт. Роб Рой. Роман. Перевод с английского Н. Вольпин. Вступительная статья Р. Самарина. 468 стр. Цена 7 р. 70 к.

Стендаль. Избранные произведения. Перевод с французского. Составление и вступительная статья А. Ф. Изващенко. 804 стр. Цена 25 р. 35 к.

В. Г. Ян. Чингиз-хан. Роман. 359 стр. Цена 8 р. 20 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Георгий Брянцев. По ту сторону фронта. Повесть. 383 стр. Цена 7 р. 35 к.

Расул Гамзатов. Слово о старшем брате. Поэма. Авторизованный перевод с аварского. 56 стр. Цена 2 р. 70 к.

С. Гегузин, А. Прокофьев, В. Чачин. Могучие строители Волго-Дона. 56 стр. Цена 55 к.

Борис Изюмский. Призвание. Повесть. 272 стр. Цена 5 р. 90 к.

Бабкен Карапетян. Голосом сердца. Стихи. Авторизованный перевод с армянского. 128 стр. Цена 2 р. 85 к.

И. Кобзев. Прямые пути. Стихи. 103 стр. Цена 2 р. 35 к.

Анна Ковусов. Утро Кара-Кумов. Стихи. Авторизованные переводы с туркменского. 80 стр. Цена 3 р. 10 к.

Н. А. Михайлов. Пионерская организация имени В. И. Ленина. 32 стр. Цена 25 к.

Николай Островский. Сочинения в двух томах. Том 1. Как закалялась сталь. 320 стр. Цена 8 р. 65 к. Том II. Рожденные бурей. Речь, статьи. 375 стр. Цена 9 р.

В. Сафонов. Первооткрыватели. Повесть. 384 стр. Цена 9 р. 85 к.

Конст. Симонов. Стихи и поэмы. 264 стр. Цена 5 р. 35 к.

Эд. Хаританович. Высотный аттракцион. Повесть. 144 стр. Цена 4 р. 20 к.

ДЕТГИЗ

В. Ардаматский. Знамя дружбы. 160 стр. Цена 3 р. 50 к.

Н. Асанов и К. Ларионова. Щука с золотыми серёжками. Повесть. 208 стр. Цена 4 р. 45 к.

И. Вазов. Избранные произведения. Перевод с болгарского. Вступительная статья, вступительные примечания А. Собковича. 352 стр. Цена 6 р.

Волшебная игла. Сказки нешековых и словачских писателей. Составление сборника и перевод М. Зельдович и С. Шмераль. 88 стр. Цена 2 р. 20 к.

Добрый молодец. Сказки народов СССР. Составила и обработала для детей Н. Колпакова. 136 стр. Цена 3 р. 75 к.

Н. Дубов. Огни на реке. Повесть. 128 стр. Цена 3 р. 15 к.

Г. Кунгуров. Артамошка Лузин. Историческая повесть. 256 стр. Цена 5 р. 5 к.

А. Малышев. Золотое озеро. Повесть. 256 стр. Цена 5 р. 10 к.

Мольер. Избранные произведения. Перевод с французского. Вступительная статья Н. А. Славянского. Общая редакция и примечания С. С. Мокульского, 448 стр. Цена 8 р. 40 к.

Л. Раковский. Константин Заслонов. Повесть. 178 стр. Цена 4 р. 20 к.

Рассказы и сказки русских писателей. 160 стр. Цена 2 р. 65 к.

М. Сервантес. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Сокращённое издание. Перевод с испанского Н. Любимова. Стихи в переводе М. Лозинского. Редакция и примечания В. Узина. Вступительная статья К. Державина. 640 стр. Цена 12 р. 15 к.

Н. Томан. Разведчики. Рассказы. 320 стр. Цена 5 р. 10 к.

Узбекские народные сказки. Под редакцией М. Швердина. 104 стр. Цена 2 р. 85 к.

Э. Эмден. Школьный год Марины Петровой. Повесть. 232 стр. Цена 5 р. 90 к.

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Из истории русского военно-инженерного искусства. Сборник статей. 152 стр. Цена 5 р. 20 к.

И. А. Коротков. Иван Грозный. Военная деятельность. 88 стр. Цена 1 р. 10 к.

М. Минасян. Победа в Белоруссии. Пятый сталинский удар. 56 стр. Цена 1 р. 10 к.

П. С. Паша, Ф. Г. Корнилюк, А. В. Петров. Военная топография. 400 стр. Цена 12 р. 40 к.

Рассказы о новой Венгрии. Составитель О. Громов. (Библиотека солдата). 166 стр. Цена 2 р.

В. Фёдоров. Плечом к плечу. Стихи и поэмы. 167 стр. Цена 3 р. 30 к.

ВОЕННО-МОРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

И. Всеволожский. У нас на флоте. Повесть. 294 стр. Цена 6 р. 15 к.

Р. Н. Мордвинов. Волжская военная флотилия в гражданской войне. (1918—1920 гг.). 224 стр. Цена 8 р. 75 к.

ГОСКИНОИЗДАТ

В. Р. Гардин. Воспоминания, Том II. 278 стр. Цена 16 р. 70 к.

А. Головня. Съёмка цветного кинофильма. (113 операторской практики). 226 стр. Цена 11 р. 90 к.

А. Штейн. Адмирал Ушаков. Киносценарий. 184 стр. Цена 4 р. 30 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Академик Николай Дмитриевич Зелинский. К 90-летию со дня рождения. 269 стр. Цена 16 р. 50 к.

М. П. Баскин. Современная американская буржуазная социология на службе экспансионизма. 195 стр. Цена 7 р. 65 к.

Вопросы диалектического и исторического материализма в труде И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Выпуск 2. 318 стр. Цена 13 р. 70 к.

О. Б. Лелецинская. Развитие жизненных процессов в доклеточном периоде. 301 стр. Цена 5 р. 35 к.

В. П. Никитин. Русское изобретение — электрическая дуговая сварка. 138 стр. Цена 4 р. 30 к.

С. А. Покровский. Политические и правовые взгляды Чернышевского и Добролюбова. 380 стр. Цена 16 р. 60 к.

Прогрессивная литература стран капитализма в борьбе за мир. 390 стр. Цена 11 р. 50 к.

Учение И. П. Павлова и философские вопросы психологии. Сборник статей. 474 стр. Цена 18 р. 70 к.

Ф. И. Шабшина. Народное восстание 1919 года в Корее. 278 стр. Цена 12 р. 90 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР

Н. Д. Левитов. Вопросы психологии характера. 383 стр. Цена 9 р. 20 к.

Н. И. Пирогов. Избранные педагогические сочинения. 702 стр. Цена 18 р.

Сборник руководящих материалов о школе. 308 стр. Цена 9 р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Дэн Чжун-ся. Краткая история профсоюзного движения в Китае. Перевод с китайского. 309 стр. Цена 11 р. 70 к.

Индия говорит. Стихи индийских поэтов. Перевод В. Журавлёва. 127 стр. Цена 2 р. 55 к.

Шандор Надь. Примирение. Перевод с венгерского Ю. Шишмонина. Предисловие В. Байкова. 61 стр. Цена 1 р. 20 к.

Джеймс Олдридж. Дипломат. Перевод с английского Е. Калашниковой, И. Кашкина, В. Топер. Предисловие В. Григорьева. 831 стр. Цена 25 р. 70 к.

Поэзия Свободной Венгрии. Перевод с венгерского. Предисловие А. Гидаш. 151 стр. Цена 4 р. 90 к.

Андре Стиль. Первый удар. Книга вторая. Перевод с французского И. Эрбург. Под редакцией Н. Немчиновой. 222 стр. Цена 7 р. 35 к.

Юлиус Фуцик. Избранное. Перевод с чешского. 255 стр. Цена 6 р. 95 к.

Ху Кэ. Они выросли в боях. Пьеса. Перевод с китайского Ф. Чжоу и Л. Эйдли-на. 91 стр. Цена 1 р. 75 к.

МУЗГИЗ

Б. Асафьев. Избранные статьи о русской музыке. Выпуск II. 80 стр. Цена 1 р. 50 к.

Г. Бернад. Советские композиторы — лауреаты Сталинской премии. Справочник. 140 стр. Цена 3 р. 10 к.

Г. Шнейерсон. Музыкальная культура Китая. 252 стр. Цена 3 р. 35 к.

Б. Ярустовский. Драматургия русской оперной классики. 376 стр. Цена 13 р. 50 к.

ПРОФИЗДАТ

Великим сталинским стройкам. Сборник. 156 стр. Цена 3 р. 70 к.

Канадские рабочие о Советском Союзе. 56 стр. Цена 70 к.

Н. Максимов. Пыски счастья. Роман. 526 стр. Цена 9 р. 40 к.

АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Н. Чебаевский. Полный вперёд! Повести и рассказы. 166 стр. Цена 3 р. 60 к.

ВОРОНЕЖСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

М. Булавин. Товарищи. Рассказы. 84 стр. Цена 1 р. 30 к.

Михаил Сергеевко. О тех, кто сражался за Воронеж. Очерк. Второе, переработанное издание. 96 стр. Цена 3 р. 20 к.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

П. Комаров. Весёлое новоселье. Стихи. 47 стр. Цена 2 р. 10 к.

Георгий Марков. Строговы. Роман. 612 стр. Цена 10 р.

В. Муравьев. Высокая широта. Роман. 308 стр. Цена 6 р. 80 к.

Анатолий Рыбочкин. Радуга над полигоном. Сборник стихов. 52 стр. Цена 1 р. 15 к.

ЛАТВИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Рудольф Блауман. Избранное. 280 стр. Цена 5 р. 40 к.

Латышские народные сказки. 216 стр. Цена 3 р. 20 к.

Пётр Стальной. Дорога в люди. Роман. 304 стр. Цена 8 р. 50 к.

Я. Судрабкалн. Стихи и миниатюры. 268 стр. Цена 4 р. 75 к.

«РАДЯНСКИЙ ПИСЬМЕННИК»

Павел Беспощадный. Стихи, Песни. 294 стр. Цена 5 р. 35 к.

Леонид Вышеславский. Пути правды. Стихи и поэмы. 100 стр. Цена 2 р. 30 к.

ТУРКМЕНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Рухи Алиев. Родина моя. Стихи. Перевод с туркменского. Под редакцией А. Жарова. 80 стр. Цена 4 р. 50 к.



СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»

за 1952 год

★

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ

А. Акимова. Первое сентября. Повесть. VI—8; VII—138.

Сергей Антонов. Первая должность. Рассказ. XI—7.

О. Белкин. Барсова шкура. Рассказ. I—59.

А. Гарри. В глухой тайге. Повесть. IV—9.

Василий Гроссман. За правое дело. Роман. VII—3; VIII—74; IX—5; X—128.

Николай Дубов. Огни на реке. Повесть. III—3.

Вл. Дудинцев. У семи богатырей. Рассказ. II—97.

И. Забелин. Мои товарищи. Рассказы: Талановский рудник; Последний маршрут; Спор. V—52.

С. Залыгин. Второе действие. Рассказ. IX—124.

В. Каверин. Доктор Власенкова. Роман. II—33; III—73; IV—62.

Вадим Лукашевич. Девушки. Рассказ. I—22.

И. Меттер. Учитель. Рассказ. V—112.

Людмила Молчанова. Детство Лены. Повесть. VI—83.

Юрий Нагибин. Трубка. Быль (Со слов Н. Нарожного). V—89.

Шандор Надь. Примирение. Рассказ. Перевод с венгерского Ю. Шишмонина. III—126.

Дмитрий Осин. Тревожная ночь. Рассказ. II—115.

Рытхэу. Два рассказа: Окошко; Тэгринэ летит в Хабаровск. Авторизованный перевод с чукотского А. Смоляна. XII—3.

Константин Симонов. Товарищи по оружию. Роман. X—9; XI—43; XII—28.

Андрэ Стель. Первый удар. Роман. Перевод с французского Л. Лунгиной, Д. Милютиной, К. Наумова. I—85; II—132.

Андрэ Стель. История с пушкой. Роман (Вторая часть трилогии «Первый удар»). Перевод с французского Л. Лунгиной, К. Наумова, Д. Милютиной. VIII—3; IX—129.

Иван Фролов. Повелитель рек. Рассказ. I—9.

Назым Хикмет. Легенда о любви. Драматическая поэма (Пьеса). Перевод с турецкого А. Бабаева М. Павловой, Р. Фиша. XII—142.

Кришан Чандр. Мост Махалашми. Рассказ. Перевод с английского Ю. Мирской. VI—129.

Чань Дэн-кэ. «Могилы живых людей». Повесть. Перевод с китайского Вл. Рогова. V—3.

ПОЗМЫ И СТИХИ

Ираклий Абашидзе. Песня жатвы. Стихи: Две Алазани; Жатва в Греми; Хлеб насущный; Чирнахули; К нивам Шираки...; Мне хочется увидеть Волжский край; Насакирали. Перевод с грузинского Н. Гребнева. VII—132.

Ай Цин. Разговор с углем (Стихи современных китайских поэтов). Перевод Александра Гитовича. I—75.

Константин Ваншенкин. Лирические стихи: Я прошёл от самого вокзала...; О, если бы ты хоть на миг... IV—60.

Константин Ваншенкин. Памяти Кирова. Стихи. XII—27.

Расул Гамзатов. Старшему брату. Стихи: Песня о счастье; Мой старший брат любил меня... Авторизованный перевод с аварского Н. Гребнева. I—77. В Колонном зале. Авторизованный перевод с аварского Я. Козловского. I—80.

Николаас Гильен. По дороге. Стихи: Хорошая песня; Загадки; По дороге...; Труд и изнур. Перевод с испанского О.Савича. V—86.

Юрий Гордиенко. Новогодние письма. Стихи: ...Тишь полустанка...; У Лысых гор...; ...По тем местам... I—82.

Юрий Гордиенко. Карта мира. Стихи. III—72.

Николай Грибачёв. Перевал. Стихи. IV—59. **Дмитрий Гулиа.** Человек в горах. Стихи: Сколько ни таилось бы...; Голуби; Другу; Олень; Признание. Перевод с абхазского Марка Соболя. VIII—67.

О. Зверев. Сыновья. Стихи. III—124.

М. Исаковский. Новый Свет. Стихи. XI—41. **Василий Казин.** Лирические стихи: О тебе; Любовь; Из осетинской тетради: Цейдон; В Дигорском ущелье; Гора. XII—184.

Павел Кустов. У нас на севере. Стихи: По дороге в Пошехонье; Зима пошла уверенно...; Семья; Рыбинское море; На выпуске. X—124.

Николай Кутов. Новых дней строители. Стихи: Главная улица России; Город, рождённый вновь; Строитель. VIII—72.

Кэ Чжун-пин. Думаю о товарище Ван Чжэне; Передай ему этот цветок (Стихи современных китайских поэтов). Перевод Александра Гитовича. I—74.

Люй Цзянь. В турецкую тюрьму (Стихи современных китайских поэтов). Перевод Александра Гитовича. I—75.

Марк Максимов. Мир — за нас! Стихи: Не к нам, взобравшись на двуколку...; Пасаремос! Что сказал Ли Дук Ку; Голубка; Робсон в Москве. I—3.

Реваз Маргиани. Вестники шестидесятых годов. Стихи. Перевод с грузинского А. Межирова. XI—6.

Маро Маркарян. Шесть стихотворений: Поеду в Москву. Перевод с армянского Марка Максимова. III—66. Богатство. Перевод с армянского А. Ахматовой. III—66. Ревнуешь меня; Красавица Сона. Перевод с армянского Т. Спендиаровой. III—67. Мой дедушка; Лоза винограда. Перевод с армянского Л. Гинзбурга. III—70.

Александр Марков. Вышки в море. Поэма. II—3.

Леонид Мартынов. Красные ворота. Стихи. VI—80.

С. Маршак. Четыре стихотворения: Степной колхоз; Тракторист; В пути; Стихи о сыове. XII—139.

Дмитрий Осин. Москва, Кремль. Стихи. V—48.

Дмитрий Осин. С первых дней Октября. Стихи. XI—3.

Пак Тен Сик. Родина моя. Стихи. Перевод с корейского В. Журавлёва. IX—3.

Николай Перевалов. «Человек без паспорта». Стихи. VI—81.

А. Рыбачкин. На границе. Стихи: Роцца; Родные берега. II—118.

М. Светлов. Два стихотворения: Живая вода; Здравница. V—50.

Паруйр Севак. На мой земле. Стихи: Герои; Москвичи; На уроке географии. Авторизованный перевод с армянского Марка Максимова. VI—3.

А. Твардовский. К портрету. Стихи. XI—5.
Маринанна Фофанова. Час настанет. Стихи. IX—123.

Назым Хикмет. Шесть стихотворений: Человек с Востока и СССР; Сижу на земле...; Полемика с Омаром Хайямом; Что делает она сейчас... Авторизованный перевод с турецкого М. Павловой. IV—3. Прощание; Сражение. Авторизованный перевод с турецкого Л. Лиходеева. IV—7.

Назым Хикмет. В годы заключения. Стихи. Перевод с турецкого М. Павловой. X—122.

Чжу Дэ. Уходим из Тайханшаня (Стихи современных китайских поэтов). Перевод Александра Гитовича. I—74.

Степан Щипачёв. На ней простая блузка в клетку... Стихи. VIII—71.

Степан Щипачёв. Два стихотворения: На теплоходе; Свидание. XI—183.

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

С. Маршак. Из Роберта Бернса: Тост (отрывок); Когда кончался сенокос; Мой папень; Где к морю катится река; Перед разлукой; Моё счастье; Горько; Прощанье; Новогодний привет старого фермера его старой лошади. IV—121.

С. Маршак. Из Роберта Бернса: Счастливая дружба; К портрету Фергюссона, шотландского поэта; Послание; Тэм Глен; Де-

вущка с приданым; Нэнси; За полем ржи; Сон (отрывок); Прощание; Сова; Жалоба девушки; Западный ветер. XI—185.

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Д. Мельников. Л. Чёрная. Под сенью доллара, под знаком свастики. VI—167.

Георгий Пиринский. Борьба за мир в США. I—201.

И. Полтавский, А. Васин. Оккупированная Япония. III—185; IV—182; V—140.

А. Стручков. Первый том трудов Мао Цзе-дуна. XI—196.

В. Ясновский и Д. Невский. В портах Малайи: В. Ясновский. Пенанг и Светенхем. II—194. Д. Невский. Малакка и Сингапур. II—201.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Ванда Василевская. В Вене. Перевод с польского Я. Бодуэн. IV—128.

Вера Инбер. На линии воды. III—148.

Валентин Катаев. О драматургии для детей. VI—209.

С. Маршак. Литература — школе. VI—197.

Валентин Овечкин. Районные будни. IX—204.

Валентин Овечкин. В одном колхозе. XII—187.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Семён Гарин. Миланфан — долина риса. VI—139.

Анатолий Злобин. На водоразделе. IV—144.

Ив. Зыков. По Волге. I—149.

Елена Нагаева. Школьный сад III—171.

Иван Симонов. Берёзовая аллея. V—125.

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Сергей Напалков. В Египте (Из записок морского инженера). I—183.

ПУБЛИЦИСТИКА

М. Дынин, доктор философских наук. Враги человечества. XII—210.

Знаменосец идей партии Ленина — Сталина (К сорокалетию газеты «Правда»). V—170.

Съезд строителей коммунизма. X—3.

ПРОБЛЕМЫ НАУКИ

И. Исаков, профессор. Адмирал Нахимов (К 150-летию со дня рождения П. С. Нахимова). VII—205.

С. Клементьев, В. Мезенцев. Механизация и автоматизация на службе социализма. II—209.

Н. А. Максимов, академик. Лаборатории искусственного климата. V—161.

В. А. Обручев, академик. Лёсс и его значение. III—212.

Б. Петрушевский. На разведке пустыни. XI—203.

ИЗ ИСТОРИИ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

В. Асмус. Абу Али Ибн-Сина. VI—188.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Б. Боголюбов. Выдающийся реалист и демократ (К столетию со дня рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка). X—225.

Н. Богословский. Гоголь — поборник реализма и народности (К столетию со дня смерти Н. В. Гоголя). III—233.

П. Вершигора. Всеволод Вишневский (Очерк жизни и творчества). VI—224.

Е. Гальперина. Анна Зегерс. VIII—242.
Аренд Григулис. Творчество **Андроя Уинта.** Перевод с латышского **Т. Иллеш.** XII—218.

В. Жданов. Революционные демократы в борьбе за Гоголя (К столетию со дня смерти Н. В. Гоголя). III—245.

В. Залесский. Тема борьбы за мир в советской драматургии. XI—216.

Иван Кацмин. Традиция и эпигонство (Об одном переводе байроновского «Дон-Жуана»). XII—229.

М. Кузнецов. Новое издание «Молодой гвардии». II—227.

М. Кузнецов. Певец латышского народа. VII—239.

Т. Мартылова. О прогрессивной французской прозе. V—180.

В. Николаев. Великий сын французского народа (К 150-летию со дня рождения Виктора Гюго). II—239.

Иван Новиков. О любимой книге. Заметки писателя (К столетию со дня опубликования «Записок охотника» И. С. Тургенева). IX—222.

Б. Фюриков. О некоторых вопросах социалистического реализма. IV—222.

Ан. Тарасенков. Гоголь и современность (К столетию со дня смерти Н. В. Гоголя). III—224.

Л. Тимофеев. О положительном герое советской литературы. I—217.

П. Голар. О некоторых принципах художественного перевода. I—232.

А. Турков. Старое, но грозное оружие (Заметки о барне). VII—253.

В. Фралов. Заметки о языке советской комедии. VIII—228.

ДНЕВНИК ИСКУССТВ

В. Комиссаржевский. Человек на сцене (Заметки режиссёра). X—210.

В. Лазарев. Великий художник и учёный (К 500-летию со дня рождения Леонардо да Винчи). V—214.

А. Членов. Зритель о картинах (Отзывы о Всесоюзной художественной выставке 1951 года). V—202.

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

Литература и жизнь. IV—206

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

Н. Абалкин. Лабиринты вместо исследования (А. Богуславский. «А. Н. Афиногенов. Очерк жизни и творчества»). IX—235.

А. Авикист. Рыцарь надежды трудовой Бразилии (Жоржи Амаду. «Луис Карлос

Престес». Перевод с португальского **Н. Тульчинской**). II—254.

М. Белкина. В снегах Якутии (Н. Мординов. «Весенняя пора». Роман. Авторизованный перевод с якутского **А. Дмитриевой** и **Л. Корниловой**). I—254.

Е. Бесняцкий. К этому ли стремился автор? (Николай Волков. «Наше родное». Роман). I—257.

М. Брагин. О пользе военной грамотности (Иван Сотников. «Корсунское побоище». Записки офицера. **Ю. Стрехнин.** «На поле Корсунском». Повесть). VI—265.

С. Васильев. Поиски главного (Ирина Луговской. «Край любимый»). X—263.

С. Вашенцев. Советские солдаты (Михаил Алексеев. «Солдаты». Роман). II—260.

П. Вершигора. Добросовестно, но с огрехами (Н. А. Задонский. «Денис Давыдов. Историческая хроника»). XI—258.

Б. Галанов. История одной советской семьи (Г. Шолохов-Синяевский. «Волгины»). Роман. Части 1—5; 6—8). III—261.

Е. Герасимов. Определённость характера (А. Кононов. «Верное сердце», Повесть). X—256.

Е. Герасимов. Черты современников (Ворис Полевой. «Современники». Рассказы). XII—250.

Л. Герасимович. Под солнцем свободной Монголии («Под солнцем свободной Монголии». Повести и рассказы. Перевод с монгольского). IV—272.

В. Гоффеншефер. Традиционный образ и современность (А. Кешоков. «Стихи». Перевод с кабардинского). XI—252.

Д. Данин. Живые страницы истории (Эдуард Вильде. «Ходоки из Анны». Перевод с эстонского. Эдуард Вильде. «Война в Махтра». Роман. Перевод с эстонского **Л. Тоом**). III—267.

Б. Дацик. «Степан Разин» (Ст. Злобин. «Степан Разин». Исторический роман). IV—261.

А. Ерёмин. Страницы великого наследия (Архив А. М. Горького. Том III. Повести, воспоминания, публицистика, статьи о литературе). I—248.

А. Ерёмин. Сборник статей о Л. Толстом («Лев Николаевич Толстой»). Сборник статей и материалов. XI—262.

Д. Ершов. Против ремесленничества (Макс Зингер. «Подводник Гадиная»). II—249.

В. Жданов. Сборник статей о классиках (Классики русской литературы. Критико-биографические очерки). XII—263.

Б. Заис. Светлый образ («Жизнь и творчество А. П. Гайдара»). I—260.

Д. Заславский. Яркий роман об американских учёных (Митчел Уилсон. «Жизнь во мгле». Роман. Перевод с английского **Н. Тренёвой**). IX—268.

Е. Златога. Деревенские портреты (Ефим Дорош. «С новым хлебом». Рассказы). IX—258.

С. Ильичёва. Главное не раскрыто (Николай Ворисов. «Светлый ключ». Роман). III—264.

Н. Калитин. Молодость побеждает (Елена Успенская. «Наше лето». Повесть). IX—252.

А. Караганов. Поучительный опыт (К. Тренев. «Пьесы, статьи, речи»). XI—242.

Ю. Карасев. О чувстве меры (Евгений Пермяк. «Драгоценное наследство». Роман). IX—261.

И. Кашкин. Удачи, полуудачи и неудачи (Джордж Гордон Байрон. «Избранное»). II—266.

М. Козьмин. Русская проза XVIII века («Русская проза XVIII века». Тт. I и II). V—253.

А. Кондратович. Завод и люди (Вера Кетлинская. «Дни нашей жизни». Роман). XII—245.

В. Коротеев. Неудавшиеся мемуары (Н. Филиппов. «Северо-западнее Сталинграда. Записки армейского редактора»). XI—249.

К. Лапин. Рассказы Вилиса Лациса (В. Лацис. «Новеллы и рассказы». Перевод с латышского. В. Лацис. «Новеллы и рассказы». Авторизованные переводы с латышского). V—246.

М. Лифшиц. Книга по истории русского искусства (Г. Жидков. «Русское искусство XVIII века. Архитектура, скульптура, живопись»). VIII—266.

Ю. Лукин. Поэма молодого автора (Маргарита Агашина. «Мой слово». Поэма). II—258.

Ю. Лукин. Советы мастера (М. Исаковский. «О поэтическом мастерстве»). VI—259.

С. Макашин. Новая биография Добролюбова (В. Жданов. «Николай Александрович Добролюбов»). IX—247.

А. Марьямов. Хорошее начало («Театр». Ежемесячный журнал драматургии и театра. №№ 1, 2 за 1952 г.). IV—268.

А. Мацкин. Книга о великом актёре («Памяти В. И. Качалова». Ежегодник Московского Художественного театра, 1948 г. Том III). I—263.

Н. Мацуев. Пушкиниана юбилейного года («Библиография произведений А. С. Пушкина и литературы о нём»). X—269.

С. Машинский. Русско-украинские литературные связи («Русско-украинские литературные связи»). II—269.

С. Машинский. Избранные произведения Павла Грабовского (П. А. Грабовский. «Избранное». Перевод с украинского). XII—258.

Л. Михайлова. «Журбины» (Всеволод Кочетов. «Журбины». Роман). V—232

Л. Михайлова По страницам «Советской Украины» («Советская Украина», ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. №№ 1—12 за 1951 г., №№ 1—6 за 1952 г.). XI—230.

Вл. Николаев. Воспитание мужества (В. Осеева. «Васёк Трубочёв и его товарищи», повесть. В. Осеева. «Васёк Трубочёв и его товарищи», книга вторая). V—228.

Л. Никулин. Очерки советского журналиста (В. Полторацкий. «В дороге и дома»). V—243.

Н. Носов. Хорошая книга (Владимир Беляев. «Старая крепость», трилогия). III—254.

И. Нуруллин. Татарские рассказы («Татарские рассказы»). XI—246.

В. Огнев. Тема и индивидуальность (Евгений Винокуров. «Стихи о долге»). VI—262.

В. Огнев. Талант и время (Ф. Панфёров. «Когда мы красивые», пьеса). VIII—256.

Ю. Олша. Образ и содержание (Сергей Орлов. «Радуга в степи»). XII—253.

В. Панков. Семья и Родина (Е. Поповкин. «Семья Рубанюк». Роман). V—236.

Л. Рейнгардт. Вредная схема (В. Зименко. «Советская портретная живопись»). X—265.

Н. Реформатская. Заявка на тему (Дм. Молдавский. «Маяковский и поэзия народов СССР». Очерки). V—249.

С. Розанова. Битва на Дону (А. Калинин. «Красное знамя». Роман). 1—252.

Е. Русакова. Серые слова (Иван Никитин. «Они вступают в жизнь»). XI—256.

В. Семанов, Б. Рифтин. Новые герои китайской литературы (Юань Цзин и Кун Цзюэ. «Повесть о новых героях». Перевод с китайского П. Жарова). X—253.

В. Сергеев. «Под сенью свободы» (Тамаш Ацел. «Под сенью свободы», роман. Сокращённый перевод с венгерского О. Громова и Г. Лейбутина). V—258.

И. Сергиевский. Обеднённая картина (Григорий Свирицкий. «Здравствуй, университет!». Роман). IX—255.

С. Смирнов. Фельетоны Семёна Нариньяни (Сем. Нариньяни. «Дама с Нарциссом», фельетоны. Сем. Нариньяни. «Двойная игра», фельетоны). III—258.

С. Смирнов. Приключения одной идеи (Николай Лукин. «Судьба открытия». Роман). V—239.

С. Смирнов. Богатыри (Владимир Дудинцев. «У семи богатырей». Рассказы). XII—255.

Н. Соколова. Мужающие характеры (Н. Заржевский. «Снежный поход», повесть). VII—270.

А. Тарасенков. Кукрыниксы — иллюстраторы классиков (А. П. Чехов. «Дама с собачкой». Иллюстрации художников Кукрыниксы. М. Горький. «Фома Гордеев». Иллюстрации художников Кукрыниксы. Н. Гоголь. «Портрет». Иллюстрации художников Кукрыниксы). VIII—263.

А. Тарасенков. Темы жизни; идеи борьбы («Рассказы советских писателей». Томы первый, второй, третий). X—247.

А. Тарасенков. Пути лирика (Николай Рыленков. «Стихи и поэмы»). XI—239.

П. Топэр. Путь к борьбе (Дайсон Картер. «Будущее за нас». Роман. Перевод с английского Р. Райт-Ковалёвой). X—259.

Т. Трифонова. Неудачи большого замысла (Николай Вирта. «Вечерний звон», роман. Тт. первый и второй). VII—263.

Т. Трифонова. Роман об алтайской деревне (Ефим Пермитин. «Горные орлы». Роман). XI—235.

П. Трофименко. Новое издание хорошей книги (П. Вершигора. «Люди с чистой совестью»). VII—273.

С. Тураев. Незавершённый труд (В. Ивашёва. «История западноевропейской литературы XIX века», курс лекций). VI—273.

А. Турков. Первые шаги (Янка Брыль. «В Заболотье светает». Повесть и рассказы). Ай-

торизованный перевод с белорусского В. Тарсиса). V — 225.

А. Турнов. Альманах воронежских писателей («Литературный Воронеж»). Альманах Воронежского отделения Союза советских писателей. №№ 1, 2, 3 за 1951 г., № 1 за 1952 г.). XII—241.

Е. Успенская. Дети Алтая (Л. Воронкова. «Алтайская повесть»). VI — 270..

Я. Фрид. «Полковник Фостер признаёт себя виновным» (Roger Vailland. Le colonel Foster praitéra sa culpabilité. Pièce. Роже Вайян. «Полковник Фостер признаёт себя виновным». Пьеса). VIII — 260.

Г. Эмин. Чувство семьи единой (С. Капуртиян. «Мои родные», стихи. Авторизованный перевод с армянского). IV — 265.

Политика и наука

Х. Абдуллаев, вице-президент Акад. наук Узбекской ССР. Недостатки полезной книги (В. Виткович. «Путешествие по Советскому Узбекистану»). IV — 281.

М. Азарин. Зелёная защита (В. П. Князев. «Полезные лесные полосы — верное средство борьбы с засухой и неурожаями»). IX — 277.

Кир. Андреев. Завтрашний день наступает (В. Захарченко. «Путешествие в завтра»). IX — 274.

Ю. Арбатов. Правосудие доллара (D. Wilson. «My six convicts». Д. Вильсон. «Шесть заключённых»). XI—275.

С. Артемьев. Африка борется (С. Датлин. «Африка под гнётом империализма»). XII—272.

В. Асмус. Труд Аристотеля в русском переводе (Аристотель. «Аналитики первая и вторая»). Перевод с греческого). XII—269.

Н. Болотников. Советские полярники (Л. А. Ушаков. «По нехоженой земле»). V — 273.

Н. Болотников. Арктика глазами художника (Н. В. Пинегин. «Задлиски полярника»). XII—278.

Б. Быховский, доктор философских наук. Фальшивая личина буржуазной демократии (А. Денисов. «Буржуазная демократия — рай для богатых и обман для народа». В. Иванов и Ю. Тодорский. «Ложь и лицемерие американской буржуазной демократии»). I — 275.

В. Волгин. Путь австрийской компартии. (Johann Koplenig. «Reden und Aufsätze. 1921—1950» Иоганн Коплениг. «Статьи и речи. 1924—1950»). I — 266.

В. Волгин. Против ремилитаризации Австрии («Die Aufrüstung Österreichs (Dokumente und Tatsachen)». «Ремилитаризация Австрии. (Документы и факты)»). V—263.

П. Гензель, профессор, доктор биологических наук. Борьба за мичуринскую науку (Академик В. А. Келлер. «Избранные сочинения»). I—273.

М. Голей. Искра—инструмент («Электрические методы обработки металлов»). II—279.

М. Давыдов. Летопись вдохновенного труда («Великим стройкам коммунизма». «На-

ша область — стройкам коммунизма»). IX—279.

И. Забелин, кандидат географических наук. Создатель карты нашей Родины (Г. Федосеев. «Мы идём по Восточному Саюну»). XI—269.

Вал. Зорин. «Красная гроза над Азией» (R. Payne. «Red Storm over Asia». Р. Пэйн. «Красная гроза над Азией»). VII—279.

Вал. Зорин. Негодные рецепты (James P. Warburg. «Victory without war». Джемс П. Варбург. «Победа без войны»). X—274.

А. Иглицкий. Глазами объективного наблюдателя (W. Burchett. «Der kalte Krieg in Deutschland». В. Бэрчетт. «Холодная война в Германии»). VIII—273.

В. Иллеш. Фотолетопись успехов демократической Германии («Deutsche Demokratische Republik im Aufbau». «Германская Демократическая Республика на стройке»). IV—275.

Л. Каманин, кандидат географических наук; **Е. Донская.** Историческое плавание (В. В. Невский. «Первое путешествие россиян вокруг света»). V—276.

Б. Коньков, К. Тараданнин. Слава русского спорта («Рассказы старых спортсменов»). I—280.

Б. Кузнецов, профессор. Русское естествознание до Дарвина (В. Е. Райков. «Предшественники Дарвина в России. Из истории русского естествознания»). III—281.

Д. Лебедев, доктор географических наук. Русские первооткрыватели («Открытия русских землепроходцев и полярных мореходов XVII века на северо-востоке Азии». Сборник документов). X — 279.

В. Левачев. Стройки коммунизма и транспорт (В. В. Звонков. «Великие стройки коммунизма и транспорт»). XI—267.

Б. Леонтьев. Американский тыл лагеря империализма (Н. Мостовец. «Прогрессивные силы США в борьбе за мир»). III—271.

О. Б. Лепешинская, действительный член Академии медицинских наук СССР. О продолжении жизни (В. С. Лукьянов. «О сохранении здоровья и работоспособности»). XII—266.

Е. Лунашова, кандидат географических наук. Умение видеть (Ю. К. Ефремов. «Курьское ожерелье»). VI—281.

С. Львов. Большое путешествие (Георгий Кублицкий. «Большая Волга»). VIII—276.

Н. Ляшко. Воспоминания рабочего-революционера («Воспоминания Ивана Васильевича Бабушкина. 1893—1900 гг.»). XI—271.

М. Марич. Воспоминания декабристов («Воспоминания Бестужевых»). IX — 281.

С. Марков. Разведчик недр (С. Гурвич. «И. В. Мушкетов — геолог и путешественник»). V — 271.

Н. Мацуев. Материалы по истории русской библиографии (Н. В. Здобнов. «История русской библиографии до начала XX века»). V — 281.

Ю. Милёнушкин, Губители микробов (Б. П. Токин. «Губители микробов — фитонциды»). X—283.

В. Мотылёв, профессор. Международные отношения на Дальнем Востоке («Междуна-

родные отношения на Дальнем Востоке (1870—1945 гг.). X—271.

А. Никифоров. Энциклопедия бандитизма (Felix Tappebaum. „Crime and the Community“. Франк Танненбаум. «Преступление и общество»). XII—275.

П. Нилин. Новое в Донбассе («Слово горняков Донбасса. Рассказы о работе по графику один цикл в сутки»). I—271.

А. Ничипорович, доктор биологических наук. Гордость русской науки (Г. В. Платонов. «Мировоззрение К. А. Тимирязева»). V—261.

В. Обручев, академик. Записки русского путешественника (М. В. Певцов. «Путешествия по Китаю и Монголии»). II—277.

В. Обручев, академик. Новый труд о Сибири (Н. И. Михайлов. «Сибирь». Физико-географический очерк). VIII—281.

Г. Пицхелаури, кандидат медицинских наук. Победа над болью (И. С. Жоров. «Развитие хирургического обезболивания в России и СССР. Краткий исторический очерк»). V—279.

А. Погребинский, доктор экономических наук. Расцвет Советского Казахстана (Г. Чуланов. «Экономическое развитие Казахской ССР за XXX лет»). I—278.

А. Полторац, подполковник юстиции. Правда об истории Америки (W. Foster. Outline political History of the Americas. У. Фостер. Очерки политической истории Америки). II—273.

И. Поляков, кандидат биологических наук. Биолог-материалист (С. Р. Микулинский. «И. Е. Дядьковский (1784—1841). Мировоззрение и общеприродные взгляды»). VI—283.

М. Расцветаев. Монголия сегодня (В. Масленников. «Монгольская Народная Республика на пути к социализму»). VII—276.

В. Розен. Основоположник науки о кристаллах (И. Шафрановский. «Е. С. Фёдоров»). X—281.

В. Серов. За фасадом царства доллара (R. Allen and W. Chaplin. „The Truman merry-go-round“. Р. Аллен и У. Чепеннон. «Трумэнская карусель»). V—266.

П. Сидоров, полковник Германский империализм и США (Л. М. Лецинский. «Банкротство военной идеологии германских империалистов»). I—269.

М. Сидоров, кандидат философских наук.

Ошибки повторяются («Из истории русской философии». Сборник статей). VII—282.

Е. Симонов. Пик Сталина (Е. А. Белецкий. «Пик Сталина»). X—276.

Л. Славин. Путь английского интеллигента (Арчибалд Джонстон. «Во имя мира». Перевод с английского). VI—276.

М. Соловьёв, кандидат исторических наук. Достижения советских археологов («По следам древних культур»). III—278.

М. Соловьёв, кандидат исторических наук. История археологии Европы (Гордон Чайлд. «У истоков европейской цивилизации». Перевод с английского М. Б. Свиридовой-Граковой и Н. В. Ширяевой). XI—277.

В. Сытин. Основоположник современной физики (В. Волковитинов. «Столетие. 1839—1896»). V—269.

Е. Тарле, академик. Путь американского империализма—путь войны (А. Клод. «Куда идёт американский империализм». Перевод с французского). IV—278.

М. Тихомиров, член-корреспондент АН СССР. Древнейшая культура русского народа («История культуры древней Руси. Домонгольский период. Том I. Материальная культура. Том II. Общественный строй и духовная культура»). VIII—278.

М. Толчёнов, полковник. Орудие международной реакции (В. В. Карпович. «Армия США—орудие американского империализма»). VIII—270.

Г. Фиш. Первая научная биография Вильямса (И. и Л. Крупениковы. «Вильямс. 1863—1939»). II—281.

Н. Цицин, академик. Растительный мир Советского Союза («Флора СССР», томы XIV—XVII). VI—280.

М. Цунц. На свободной болгарской земле (А. Стекольников. «В Новой Болгарии»). I—275.

А. Черкасов, доктор технических наук. Путь к улучшению природы (Академик А. Н. Костяков. «Основы мелиораций». Пятая, переработанная изданию). XI—265.

Е. Шведов. Борьба продолжается (Луиджи Лонго. «Народ Италии в борьбе». Перевод с итальянского). IX—272.

Н. Щербинковский. Иранские впечатления (Ф. Талызин. «По Ирану и Ираку. Записки врача-эпидемиолога»). XI—273.

О. Эрастов. Небесные камни (Е. Л. Кринов. «Гигантские метеориты»). XI—280.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**
Редколлегия: **М. С. Бубеннов, В. П. Катаев,**
С. С. Смирнов, А. К. Тарасенков, К. А. Федин, М. А. Шолохов

Редакция: Москва, 6, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-06-96.

Сдано в набор 6/Х-52 г.

Подписано к печати 13/ХI-52 г.

А 06874. Формат бумаги 70x108 $\frac{1}{8}$. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 130.000. Заказ № 2004.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская площадь, 5.

Цена 9 руб.